

Мелания Ванага

На берегу Вель-реки

1941–1957



Мелания Ванага

На берегу Вель-реки

1941-1957

Вель-река, *река велей* не значится ни на одной карте. В латышской народной мифологии вели - духи умерших, духи близких людей, соприсутствующие в мире, как бы пребывающие рядом, но в ином измерении. Берег Вель-реки - место и время, сохраненные и оживленные памятью Мелании Ванаги, женщины, в судьбе и книгах которой воплотилось многое из судеб ее народа, ее родной Латвии в XX веке. «На берегу Вель-реки» - книга, опубликованная незадолго до крушения советской империи, в условиях все еще действовавшей цензуры. Книга и ее автор стали легендарными еще при жизни Ванаги. Несмотря на то, что теперь о тех же событиях, о том же времени существует целая библиотека, «На берегу Вель-реки» сохраняет значение первоисточка. Литературовед Вия Югане назвала книгу «святой».

Мелания Ванага

На берегу Вель-реки 1941-1957

Общество "Фонд развития
Аматского края" 2014

Книга издана при поддержке Государственного Фонда
капитала культуры



Благодарим за участие в издании
Латвийский литературный центр

Спасибо Чирису за поддержку в
издании книги!

Мелания Ванага

На берегу Вель-реки

Перевод с латышского: Роальд Добровенский

Редактор, корректор: Жанна Эзите Макет и дизайн

обложки: Анда Нордена

В книге использованы фотографии из
личного архива Мелании Ванаги

© Наследники Мелании Ванаги, 2014

© Роальд Добровенский, перевод, 2014

© Анда Нордена, дизайн, 2014

© Biednba Amatas novada attīstības fonds

ISBN 978-9934-14-253-6

*Посвящаю памяти моих соколят**
сына Алниса и мужа Александра



* Фамилия Ванагс, если буквально перевести ее с латышского, означает «сокол».

Познакомимся!

Родилась в Пятом - мятежном году,
крещена в церкви Арайши.
Росла при царе в Российской империи.
Училась в Латвии.
Мучилась в Сибири.
Состояние духа - светло-тревожное.
Имущественное положение - жалкий без-пенсионер.
Люблю: глубину незапамятных времен,
беспокойные души, белые цветы.
Мечтаю о свободном и чистом мире.

Автор

Вступление

Где началось наше - семьи Ванагов - хождение по мукам? Где и как этот путь обозначен?

Может быть, об этом могла бы поведать звезда, видимо или незримо светившая над флигелем усадьбы Лиепари в Литве, где появился на свет первенец управляющего имением?

Или рассказали бы об этом следы, уже заросшие, бойкого мальчишки Александра, Лекшелиса, который во время Первой мировой войны тайком перешел границу и добрался до Елгавы, где сын латыша из Литвы мог учиться в латышской школе?

Может быть, в редакции газеты «Брива Земе», где отзвучавший голос редактора Ванагса забивают теперь совсем другие голоса?

Может быть, все началось с призыва президента Улманиса в 1939 году основать в Даугавпилсе новую газету, «Даугавас Вестнесис», и с предложения назначить ее ответственным редактором именно Ванагса?

Может быть.

Путь страданий его, наших, всего народа черной меткой навсегда закрасил дату: 16 июня 1940 года.

В Даугавпилсе уже ранним утром солнце, придя с Востока, вбросило в Даугаву алый отблеск крови: то была кровь первых жертв - пограничников и их жен, убитых на заставе.

Мы догадывались, какой день несет нам июньское солнце: знали, что у границы наготове стоят полки Красной Армии.

Раным-рано позвонил городской голова Даугавпилса Швиркстс и попросил Ванагса срочно прибыть на полчасовой разговор. Муж ушел и довольно скоро вернулся.

- Русские будут здесь уже сегодня, но президент обратился в Москву с просьбой разрешить нам провести Праздник песни. Те пообещали. - Так и сказал Александр участникам Праздника песни, гостившим у нас. Сам он был бледен, выглядел потрясенным. Секретарь Праздника песни, он чувствовал, что ответственность за происходящее лежит на его плечах.

И день, наступивший после кровавой зари, звенел от напряжения: атмосфера сгустилась, как перед грозой.

В Стропы, к месту проведения праздника, по всем дорогам направлялись машины, автобусы. Журналисты Латвийского радио, корреспонденты газет были уже здесь. Появились представители правительства, другие почетные гости.

Президент Латвии Улманис известил, что чрезвычайное положение не позволяет ему покинуть Ригу и он не сможет присутствовать на празднике, как обещал. Карлис Улманис обратился к участникам праздника и ко всей стране по радио.

Концерт открывал Латгальский объединенный хор национальным гимном - «Боже, благослови Латвию!» Повторили его трижды. Гимн звучал, как никогда и нигде прежде. Это не был уже просто хор, не были только тысячи людей, присутствовавших там, - кажется, весь народ соединил голоса в прощальной, лебединой песне. Время остановилось, чтобы песня-молитва проникла в каждую душу - и осталась на все предстоявшие времена и безвременья.

Площадь замерла. Слезы текли по щекам слушателей, падали наземь, впитываясь в сухой желтый песок. Никто не пытался их стереть. Плакали старцы. Плакали молодые. Плакали женщины и девушки. Плакал народ.

Настала никем не объявленная минута молчания. Стояли с непокрытыми головами долго, застыв, точно заколдованные. В полной тишине. Пока на всхолмье не застрекотал ни о чем не ведавший кузнечик.

Начался концерт. Песни звучали непривычно, проникая пряником в оголенную душу.

В заключение мужу надо было произнести последнее слово, надо было сообщить, что то был первый и последний день латгальского Праздника песни, что предусмотренных программой второго и третьего дня не будет. Голос его дрожал, слова выговаривались с усилием. И когда Ванагс напоследок тихо произнес: «До свидания на следующем Празднике песни», - едва ли хоть кто-нибудь поверил в сказанное.

От границы, казалось, уже доносились звуки стрельбы. Хористы и слушатели в спешке покидали окаймленную соснами площадь. Машинами, поездом, изнывая от тревоги, возвращались они по домам.

Праздник кончился, можно сказать, почти не начавшись. Его растоптали вторгшиеся в Латвию чужие войска.

Ванагс был сразу же уволен с поста главного редактора «Даугавас Вестнесис», газета немедленно сменила название. Муж сдал дела, и через месяц семья перебралась в окрестности Цесиса. Дом назывался Сермули.

Сермули, средней руки хозяйство, радовало больше красотой, чем практической пользой. То было родовое гнездо, где проживали к тому времени моя мама, сестра Элла, брат Арнольд. Второй брат, Вернерс отбывал обязательную воинскую повинность. Их судьбы, их беды станут неотъемлемой частью моего повествования.

Осенью того же года советские власти по договоренности с Германией разрешили репатриироваться тем балтийским немцам, которые не успели это сделать в 1939 году. Таких нашлось немало, хотя и не все они были «чистокровными арийцами».

И наш «литовский» дед Карлис Ванагс всех своих детей и внуков обеспечил нужными документами об «арийском происхождении» и звал уехать с ним вместе. Александр понимал, что нам следует бежать, но я отчаянно сопротивлялась: «Лучше с тобой в русской тюрьме, чем без тебя в немецком дворце!». Усвоенное с детства насчет 700 лет немецкого господства помешало мне принять другое решение. Мы должны были спастись от беды, бежать хотя бы и в Германию, где родной дед обещал всех «соколят» взять под свое крыло.

Родные, жившие в Литве, уехали. Мы, единственные, остались. Мои непродуманные наивные слова, мое категорическое решение стоили жизни моему мужу, потерянного детства и отрочества сыну и половины жизни мне самой. Ничто не может искупить этот грех, облегчить угрызения совести. Лишь мой безыскусный рассказ, точно памятный обелиск, я попытаюсь возвести над всем бывшим и несбывшимся.

13-14 июня

Последний день, последняя ночь

13 июня 1941 года.

Изю всех сил стараемся, спешим выполнить план. Сажаем капусту, помидоры. Капусты целый гектар, помидоров еще полгектара. Работа нешуточная, пот затекает в глаза. Пятница, позднее послеобед. Я доставляю рассаду из парника, мама с Эллой сажают, Арнольд подвозит бочки с навозной жижей, Лекшелис поливает. Все устали, но отдыхать некогда. Вечером десятник, неумолимый, как когда-то староста с плетью, проверит, что сделано. На поляне за речкой Недиеной пастушит сынок, Алнис. То песенку запоет, то обойдет поляну, то к нам прибежит, а долгий день, кажется ему, и не думает кончаться.

- Я наверно не дождусь вечера! - жалобно тянет пастушок. Но вечер все-таки наступил.

Домой идем молча - вроде и сделали все, а привычной радости нет. Стая галок, громко бранясь на лету, пронеслась над нами.

После ужина Алнис и мама пошли спать, а нам предстоит еще одна трудная работа - нужно закопать ящики со стеклами для новой теплицы, иначе, если начнется война, при первой бомбежке стеклам не уцелеть. Место мы выбрали за рекой в молодом вишневом саду, там и ямы уже вырыты.

Мужчины загрузили ящики и сами решили пойти вброд через речку, а я с тачкой двинулась дальним путем, через мост.

От речки навстречу плыли призрачные, колеблющиеся клубы тумана, поднимались к небу закрывая звезды. Возле моста они сгрудились. Речка Недиена вывела толпу этих мгlistых призраков, они качаются, как живые, их влажное дыхание касается щек. Вот и мост, бревенчатый настил в ночной тишине откликнулся на вторжение словно бы пулеметной очередью. У меня кровь застыла в жилах, но исчадия мглы треска не боятся. Вьются кругом, упорные и неуловимые, как наши страхи.

Надо бы кончать с этими ночными вылазками. Будет жизнь, тогда и все остальное вернется. Не будет жизни - ничего из этого не понадобится. Вот мы крадемся в ночи, как воры, хотя всего-навсего пытаемся спасти от войны свое же добро. Так думала я. Так, может, думали и другие, только стеснялись признаться. Мы продолжали. Снова и снова трещали под тяжестью кругляки настила, распугивая тьму.

Давно уже перевалило за полночь, дело идет к рассвету. И кажется, что от ближнего перекрестка тоже доносится невнятный шум.

Последнюю тачку катит сам Арнольд. Мы с Лекшелисом тащимся следом. Кто-то незримый подкинул камешек, муж споткнулся.

- Что же ты меня не придержала? - Лекшелис крепче сжал мой локоть.

- Не думала, что споткнешься на ровном месте. От большака теперь ясно доносится шум мотора.

- Кого там черт несет? Похоже на военных, - говорит Арнольд.

- Осталось-то всего ничего, яму засыпать, - откликается Лекшелис.

Когда мы закончили, солнце уже собиралось вернуться с ночной стороны, и мы, обессиленные, провалились в сон. А через час или два...

14 ИЮНЯ

- Вроде бы машина въехала во двор! - спросонок плохо соображая, бужу Лекшелиса.

Он уже отработанным движением выскакивает из постели. Через заднюю дверь - к жасминовому кусту. Тишина.

- Ну что там? Молочник, что ли, приехал в такую рань? - говорю я ему, высунувшись в окно. - Ничего не слышно. Иди-ка домой.

Александр возвращается.

В тот же самый миг хлопает, точно выстреливает, входная дверь, та, что не запирается, и с тем же грохотом - дверь гостиной. В комнату, еще тонущую в полумраке, вламываются трое вооруженных людей и наш, здешний, милиционер.

Не поздоровавшись, один, в синей форме, направил на Лекшелю оружие, не давая одеться. Другие уже роются в шкафах, в ящиках. Вещи, вытащенные оттуда, летят на пол, чужаки их топчут. Серебряные ложки и сахарница, завернутые в полотенце, перекинулись в портфель одного из товарищей. Незванные гости составляют опись мебели.

Когда шкафы и ящики опустели, а посреди комнаты выросла гора белья, книг и всяких мелочей, нам приказали одеваться.

- Чтобы через 15 минут были готовы!

- Куда вы нас повезете?

- Без вопросов!

Понятно. Кто же скажет, что тебя везут на расстрел.

Потом мы узнали: некоторым людям было сказано, что их высылают в отдаленные области России, что их имущество распродадут в течение 10 дней, а вырученные средства вышлют почтой. «Решение партии и правительства. Там вы поймете, что значит работать!» В этих случаях будущие ссыльные, по крайней мере, знали, что нужно что-то захватить с собой. Те, что вторглись к нам, до объяснений не снизошли.

- А ребенок где? - один из пришлецов спросил, глядя в какой-то список.

- Спит.

Только полшестого. Алнис крепко спал, уж конечно не ведая, что и он включен в перечень миллионов людей, предназначенных Сталиным и его безумной партией к систематическому уничтожению.

- Разбудить! Он тоже поедет с нами.

Подошла к кровати сына, но будить не посмела. Подскочил один из этих, синих, сорвал с него одеяло и крикнул моей маме, уже стоявшей рядом, чтобы одела мальчика.

- Ребенка не отдам! - моя мама рванула одеяло обратно.

- С законом не спорят.
- Что же это за закон такой, малое дитя хватают, будто преступника?

- Вам захотелось туда же? - синий ткнул пальцем в список. Элла и мама одели Алнису, и через несколько минут мы были готовы отправиться в неизвестность. В темный лес? В чужую тюрьму?

Некоторые из высылаемых просили вооруженных людей пристрелить их тут же, возле дома. Представители власти не соглашались. Ишь, чего выдумали - отделаться так легко!

- В машину! - скомандовали нам, словно бы мы были подчиненные им солдаты.

Мама еще уговаривала нас выпить на дорогу молочка, но оно выплескивалось на одежду, поскольку нас уже подталкивали в спину.

Арнольд вынес бельевую корзину с провизией и двумя одеялами сверху. Видно, кто-то ему шепнул, что дорога предстоит дальняя.

Поцелуй на прощанье сестре и брату. Последний раз погладить седую мамину голову.

Мы старались держаться, маме это не удавалось. Вся ее душа плакала и кричала из почерневших глаз.

- Быстрее, быстрее! - обрушивалось на нас со всех сторон.

Грузовик ждал у самых наших дверей. Нас усадили на скамьи спиной к кабине. Чужаки уселись по углам.

Заурчал, точно нехотя, мотор. Машина заскользила по зеленой траве, свернула на знакомый путь меж рядами акаций. Захолонуло сердце.

Клен тянул к нам руки-ветви, то ли не хотел отпускать, то ли прощался.

Остающиеся застыли у дверей, точно окаменев. Ни рукой махнуть, ни шевельнуться.

На повороте у пруда опять открылся наш дом. Все там стояли по-прежнему. И только мгновенья простого ушедшего счастья, казалось, гнались за машиной.

Последние километры. Прощальные. Отец взял Алнису к себе на колени.

- Иди ко мне, сынок, всё теплее.

Мне он почему-то отдал свои серые, с коричневым узором по краю, варежки.

- Замерзнешь - пригодятся! (Сам он зиму встретит с голыми руками).

Куда?

Трое вросли в землю там, во дворе дома Сермули. Три пары глаз не отрывались от Яудзумского холма, за которым скрывался большак. Солнце задернуло землю облачной завесой.

Увезли!

Куда?

Рассказ Эллы

В тот день ни одна работа не клеилась. Плиту не растапливали. Обед не варили. Ближе к полудню послышалось из хлева мычание. Мать спохватилась, корову повела на выгон. Арнольд отправился в лес - не знал, чего ждать в следующие часы.

Я пыталась звонить куда-то. Телефон молчал.

Пришла Алайниете, рассказала: кругом все гудит, едут машины с арестованными, творится что-то невероятное. Душа отказывается верить тому, что слышат уши, видят глаза.

Когда соседка ушла, я решилась войти в дом. Там все разбросано, разорено. Ящики вытащены, все вывалено на пол. Руки не поднимались взяться за уборку. Сердце отказывало. Сходила к маме на выгон, вернулась.

Настала ночь. О сне нечего было и думать. В ушах безжалостно гудит машина, будто только что въехала во двор. Обе с мамой одна за другой трусим наверх, подбегаем к окну. Арнольд остался в лесу. Жуткая ночь.

На другой день чудом узнаем, что арестованные загнаны в вагоны, их эшелон стоит в Цесисе. В спешке пакуем чемодан, и я на

велосипеде качу в Цесис. По пути было не так уж много подъемов, когда приходилось слезать с велосипеда, но до Цесиса я так и не добралась. Возле Зиперкалнса встретила таких же, как я, но уже тащившихся обратно; от них и узнала, что эшелон с чуть ли не сотней зарешеченных вагонов уже ушел. Куда? В сторону станции Иерики.

Мама не ждала меня назад так скоро и совсем упала духом, увидев, что чемодан не отдан.

На третий день нам сказали, что эшелон еще стоит в Гулбене. Арнольд сам на этот раз, нимало не думая о своей безопасности, поспешил в Амату. Там начальник станции подтвердил, что эшелон с арестованными все еще в Гулбене, и первым поездом Арнольд выехал туда. И снова опоздал, состав уже отбыл.

Цесис

С мужем простились без слез. Руки его были холодны, все тепло сосредоточилось в глазах. Я сказала: «До свиданья!» Он не сказал ничего.

Это происходило на станции Цесис у длинной цепи зарешеченных вагонов.

- Не задерживаться! На месте встретитесь! - крикнул один из конвоиров, отрывая Александра от нас. То была безбожная ложь, но легче было хоть немного верить сказанному, чем не верить.

Двое синих теперь подгоняли мужа вперед, третий заталкивал нас с Алнисом обратно в вагон. Нас бесчеловечно разлучили на весь нам остававшийся век. Его погнали в юдоль пыток, от которых избавляла только смерть. Меня с ребенком... - об этом будет весь дальнейший рассказ.

Наш вагон товарный, его широкая дверь отведена вбок до отказа. Вагон для перевозки скота, в который загоняют людей! Я огляделась по сторонам. Направо и налево - все те же телятники, им не видно конца.

Только забрались внутрь, проем со скрежетом закрылся. Дверь задвинули и, кажется, еще и закрыли на засов снаружи. Мы

взаперти. В тюрьме. Нуда, и перед окошком решетка.

Вагон с широкими полками в два этажа был еще полупуст. Я заняла место сверху, у того самого зарешеченного окошка. Тут побольше света. На нижних полках вообще темно.

Вскоре снова раздался лязг и скрежет, дверь отошла вбок, обозначив в середине вагона широкую светлую полосу. В вагон забралась молодая мать, сама еще полуребенок, с полуторагодовалым мальчиком, ухватившимся за руку; вторая рука прижимала к телу синий узел с совсем уж крохотным младенцем. За ними дощатая грязная дверь снова с грохотом закрылась. Новенькая устроилась на нижней полке и осторожно развернула узел.

- Сколько ж ему может быть? - соседка Петерсоне шепотом спросила у Аустры Калныни.

- Еще и двух недель нет. Только вчера нас привезли из больницы.

- А самой?

- Двадцать два.

И снова пополнение: жена мельника из Цесиса Луиза Эглите с несколькими мешками и тремя мальчиками. Младшему два месяца, старшему пять или шесть лет. Устроилась на другом краю нашей полки, мешки оставила на полу. Вскоре им передали из дому шмат копченого сала, крендель и серебряную ложечку. Маленькому Карлису! Младенца назавтра собирались крестить, но вместо этого арестовали. Бабушка сказала, чтобы тогда уж крестили в вагоне. Луиза дала мальчику отцовское имя - Карлис. Если у нее отнимут большого Карлиса, останется маленький (большого уже отняли]. Полуторагодовалый Гунтис хныкал и ворочался. Зато Андрис со своим пятилетним или чуть большим жизненным опытом сидел смирно и наблюдал за происходящим. Он пообещал отцу вести себя как большой и помогать маме.

Улеглись поперек полки. У взрослых ноги не умещались, немного свисали через край, а детям было в самый раз.

Между мной и Луизой пристроила сверток, укутанный в стеганое красного шелка одеяло, Вероника Айвиекте. Так она завернула взятую с собой одежду. Ни лишнего хлеба, ни денег почти никто не захватил с собой. Чекисты не говорили, куда везут.

Мы думали, что в тюрьму, и запасались резервным одеялом, чтобы подстелить на пол камеры.

Матушка Киегаль не умела справиться с бойким двухлетним внуком Русиньшем и с нетерпением ожидала, когда появится ее невестка. Она в Риге, но должна была услышать, что случилось, или хотя бы почувствовать. Пока Вилма была на учительских курсах в столице, ее мужа, сына и свекровь арестовали. Бабка успела позвонить в Ригу и вот теперь ждала... Лишь через многие годы, совсем недавно, мне рассказала внучка матушки Киегаль, Айя Зиедыня:

- С нами в Риге жила приехавшая на учительские курсы жена маминого брата Вилма. И тогда, утром 14 июня, к нам вломились люди и в форменных синих фуражках, и в штатском, арестовали моих родителей и нас, двоих детей. Вилмы в том списке не было, и она помогла нас собрать в неведомый путь, отдала и все деньги, какие были в кошельке. Когда нас увезли, Вилма позвонила к себе домой, чтобы поведать о нашей беде, но там никто не отвечал. Потом соседи позвонили ей, сказали, что и там все арестованы и вывезены в Цесис. И маленький Русиньш, и его бабушка.

Три часа спустя Вилма была возле эшелона. В летнем платье, без пальто, с непокрытой головой и пустой сумочкой, она вихрем влетела в вагон и так схватила в объятия своего малыша, словно ей надо было вырвать его из самой преисподней. «Сыночек, милый, я тебя все-таки увидела!»

Секретарь Веселавской волости Милда Сика укачивала на руках свою полугодовалую дочку Тейку. Девочке накануне сделали прививку от оспы, и она приболела. Забрали и родителей Милдино мужа, и их вторую дочь Анну.

Школьницу Анну Сику отыскиали в Приекульском интернате для крестьянских детей. Дети еще спали, когда Анну разбудили и приказали собираться. «Преступнице» не потрудились сказать, куда ее везут, и девочка не взяла с собой ни лишнего платья, ни книжки. Анна теперь в вагоне в голос рыдала - от обиды, унижения, от бесчеловечности происходящего. Ее взяли из школы, когда девочке оставалось сдать один, последний экзамен. Что подумают одноклассники? Что она украла что-нибудь? Кого-нибудь убила?

Просто так ведь не сажают людей за решетку! Невыносимо долго, безутешно плакала Анна.

Рядом с нами в вагоне была и жена торговца Петерсона с сыном-подростком. Она помогала матерям утешать ребятишек, а мальчик, стеснясь, забился в самый темный угол нижних нар.

Была здесь и учительница Элза Эверте, тоже помогавшая справиться с малышкой: этому приспичило пописать, тот расплакался, третий расшалился, хотелось и как-то отвлечь детей от общего несчастья. Посреди вагона на узлах, сваленных прямо на пол, притулилась владелица крестьянского хозяйства и адвокат Анна Екабсоне со своими тремя детьми. Двое совсем маленькие, третьему пять лет. Дети поскуливали в вагонной полутьме, потом хныканье перешло в рыдания, унять которые не удавалось ничем, пока они сами собой не стихли. Мать так устала от пережитого за последние сутки, что, кажется, стыдилась перед людьми и своей слабости, и рева детей.

Я ненадолго прижалась лбом к решетке, глянула вниз. Там гнали и гнали все новых людей. Кто-то опускал наземь узлы или чемоданы, чтобы переменить руки. Кто-то волочил суму одной рукой, другою прижимая к себе ребенка. Можно было понять, кому какие достались конвоиры. Одним было сказано, что ведут все-таки не на расстрел, другим ничего не сказали. Много знакомых лиц, еще больше увиденных впервые. Вот показался мужчина из Драбешы, о котором говорили, что по его заявлениям уже раньше были арестованы многие; этим он вроде бы надеялся обеспечить себе безопасность. «Гляди-ка, свалился в ту самую яму, куда столкнул других!»

Видно было, что каждый переживает происходящее по-своему. Матери стыдились выказать отчаяние и молча глотали слезы. Отцы слепо смотрели перед собой, словно бы не желая ничего видеть. Вооруженные конвоиры, точно погонщики скота, шагали позади. Команды подавали по-русски. У женских вагонов мужчин отделяли и гнали в другой конец эшелона.

Б вагоны чуть ли не запихивали женщин с чемоданами, мешками, плачущими детьми. И засов нашего вагона клацал снова и снова, дверь открывалась и закрывалась. Попад внутрь, каждая

женщина останавливалась - оглядеться и отдышаться, затем искала свободное место на полках, пристраивала и успокаивала детей, на полу складывала взятое с собой.

Последней присоединилась к нам Мария Залите из Югуркалнса. У нее было несколько узлов, семилетний сын Дзинтарс с красной звездочкой на матросской бескозырке и корзина с мокрым бельем. За двадцать минут столько всего никак не собрать, вслух удивлялись мы. Вдоволь изругав «этих бандитов», Мария спокойно объяснила нам, что сборы у нее заняли целый час. Она сказала тем людям: хоть убейте на месте, никуда и шагу не ступлю, пока не выжму белье и не соберу самое нужное. И что же - чекисты ждали, машина ждала. «Так бы надо и нам всем!»

Выговорившись, Мария смолкла. Сняла пальто, затем протянула через весь вагон шнур и развесила на нем мокрое белье. Потом этот самый шнур пригодился молодым матерям - сушить пеленки.

Наконец, дверь вагона окончательно заперли. Женщины разобрались по местам, занятые своими детьми и своим отчаяньем.

За решеткой

День на исходе. Над Цесисом сгустились тучи. Вечером пошел сильный дождь. Крыша и стенки вагона гремели, как под обстрелом.

- Может, ливень хочет смыть наши следы, чтобы никто не нашел дорогу назад? - тихо промолвила Луиза.

- Не смоет. Мы их впечатали глубоко, - откликнулась Айвиесте.

- Дождь был нужен. Капуста только того и ждала, - вступила в разговор Мария.

- Ну да, мало было тех слез, что сегодня пролиты в домах и по всем дорогам. Как же, капуста не вырастет для наших незваных гостей, - высказалась бабушка Сика.

Больше желающих говорить не нашлось.

Сумерки, а потом и ночная тьма окутала длинную вереницу вагонов. Только сон не хотел к нам прийти. Может быть, его

отпугивал вид пулеметов, установленных на крышах? Может быть, вооруженные люди перед каждым вагоном? Сон не шел. Лишь мысли, рваные и тревожные, метались по темному вагону из конца в конец. У изголовья каждой из нас толпились грозные призраки будущего. Они приближались вместе с шагами конвоиров, в которых уже таилась близкая смерть многих из нас и горькая судьбина родины.

Элза Кезбере:

Мрачная ночь

*Полночь. Ливень и суровый
Ветер, бьющий в дверь вагона.
Дальний путь, венец терновый,
Беззаконье их закона.*

*Вся земля в слезах и муке
Задышается, похоже.
Нестерпима боль разлуки.
Мы в руках Твоих, о Боже!*

*Наш народ не помнит мрака
Беспросветного такого.
Полночь горя. Полночь страха.
Полночь. Латвия в оковах.*

Последние мгновения на родине

Воскресенье, 15 июня

Трудно было утру пробудиться. Воскресному утру. И все же понемногу оно занялось.

При свете солнца вдоль вагонов возобновилось хождение конвоиров и подконвойных - женщин с узлами. И при всем при том ни одной из нас не хотелось верить в реальность происходящего. Посреди ужаса сердце не верит тому чему верить невозможно.

Отошла с уже привычным лязгом дверь вагона, и солнце родины поспешило протиснуться в нашу тюрьму. Его луч в последний раз обласкал маленького Русиньша, который еще не проснулся. Открыли глаза Карлис, Юрис, Янис, кажется, еще и Андрис, Гунарс и Айгарс, чтобы в последний раз увидеть солнце своей родной стороны. А Элза Эверте, матушка Сика, Анна Екабсоне - кольнуло ли женщин предчувствие, что родина не дожидется их возвращения?

Пришла мама Луизы, принесла большие клубки пряжи и шепнула дочери: пусть побережет до поры, когда будет в них крайняя нужда. Узнав, что эшелон еще не ушел, они оба с отцом поспешили сюда. Отец, правда, дойти до самого вагона побоялся, остался ждать поодаль. Прощай, доченька! Береги сыновей!

Бабка уходила, не решаясь даже глаза поднять к зарешеченному окошку, к которому успел подползти заспанный Андрис. Он махал бабушке изо всех сил, но она не видела.

- Бабушка не посмотрела! - жалобно произнес мальчик и отправился ползком на свое жесткое ложе.

И еще кое к кому пришли родные, принесли провизию, теплую одежду. Конвоиры открывали дверь, разрешали поговорить. Наши узнали о такой возможности с опозданием, и домашних припасов нам не досталось.

В воскресенье 15 июня в 3 часа дня поезд тронулся в путь. В путь, никому из нас не известный. Мы, бывшие возле окна, отрывались от него, чтобы и другие могли посмотреть на голубой клочок небес, на крыши убегающего города, на придорожное дерево, знакомое с детства. Кто знает, как долго придется жить этими воспоминаниями.

Поезд шел медленно: в составе было девяносто два товарных вагона, битком набитых людьми (в Цесисе прицепили «хвост», прибывший из Валмиеры). Но драгоценные мгновения, последние на родине, неудержимо таяли. Минуты бывают разной длины - эти летели быстро.

В Иерики, правда, эшелон простоял четыре часа. Перрон был пуст - никого не подпускали к станции. Одни железнодорожники проходили вдоль состава, украдкой бросая взгляд на зарешеченные оконца, за которыми угадывались светлые детские головки.

При выезде со станции солнце оказалось позади поезда, за последним вагоном. Значит, везут на восток. В Россию, о которой ходили недобрые слухи. Ехали молча - никто не хотел вслух говорить о своих предчувствиях.

Блеснула серебром излучина Аматы. Уплыл назад большак, дорога, по которой столько хожено и езжено в школьные годы. Счастливые мгновенья, щедро рассыпанные вдоль берега, вдоль этого пути, уже не вернуться. За станцией Амата еще раз сверкнула река, отбежали назад береговые ивы. Рамульский бор. Дороже во сто крат сразу сделались все эти места.

Уже смеркалось, когда поезд въехал в большой лес между Уриекстой и Лизумсом. Поезд карабкался вверх по высокой насыпи. Вдруг что-то словно оборвалось, от резкого толчка люди посыпались с нар. Поезд встал. Где-то над головами затрещал пулемет, раздались винтовочные выстрелы. Может быть, кто-то атаковал эшелон, чтобы спасти нас? Или наоборот, мы и есть мишень, убивают наших мужчин, а потом придет черед женщин и детей?

В вагоне смолкли все речи, даже дети не плакали. Матери застыли в смертельном страхе. Некоторые молились. Алнис нырнул мне под руку.

Через полчаса стрельба прекратилась, поезд снова набрал ход.

Оказалось, кто-то из мужчин еще в Цесисе отвинтил и отогнул оконную решетку и посреди Уриекстского бора, где поезд преодолевает подъем, выбил решетку, выбрался наружу, спрыгнул и побежал в лес. В него стреляли, и лишь годы спустя мы узнали, что беглецу удалось скрыться.

Вот его рассказ. «Вытащил решетку, еще в Цесисе отвинченную и расшатанную, пролез в окошко, вобрал голову в плечи и, изо всех сил оттолкнувшись от стенки вагона, прыгнул. Казалось, летел в неизвестность нескончаемо долго. Упал в двух метрах от путевого столбика. Тут же послышались выстрелы из последних вагонов, где была чекистская охрана. Но пока поезд не остановился, задние вагоны больше всего мотало, и стрелявшим было трудно прицелиться. Я кувырком скатился по откосу - и в лес. Пули свистели рядом, но мне повезло. Дошел до лесов, мне знакомых, и там скрывался».

Спустя многие годы этот человек навестил женщину, ехавшую тогда в одном с ним вагоне, и до смерти напугал ее: она слышала и считала все время, что он мертв. И вот что писал после этого он сам: «Говорю ей: не бойся, я свой. Называю имена людей, которые мне доверили ее адрес. Вижу - она молчит и явно мне не верит. Тогда я сказал: а что если я тот самый человек, который тогда выпрыгнул в окошко вагона? Тут она тихо, нерешительно возразила: того человека солдаты застрелили. Я удивился: вы что же, самолично видели, что он убит? Нет, сама не видела, но солдаты утверждали, что так. Вот видите, конвоиры ввали, чтобы запугать народ и чтобы еще кто-нибудь не вздумал бежать. А мне удалось тогда уйти, хотя стреляли в меня напропалую. Судьба надо мной сжалилась. А к вам я пришел, чтобы узнать, что было потом с людьми, запертыми в вагоне. И тогда она мне наконец поверила и рассказала: «Помните, вагон был четвертый с конца, и пальба там была, как на поле боя. Поезд не сразу встал. Потом дверь нараспашку, солдаты влетели внутрь, крича и матерясь, грозились всех расстрелять. Мы думали уже, что и впрямь пришел наш последний час. Солдаты кричали еще, что там снаружи валяется сбежавший, его пристрелили, как собаку. Кто сомневается, может посмотреть. Но желающих не нашлось. Отведя душу в ругательствах, конвоиры собрали

мужчин; бывших среди нас, и отвели в другой вагон. У нас остались только женщины и дети, и эшелон двинулся дальше». Ту женщину увезли в Красноярский край, там умерли обе ее дочери. Через несколько лет она еще с одной подругой бежала, добралась до родины и прожила год, потом их снова арестовали, этапировали обратно. Судили, дали обеим по 8 лет. И уже отбыв этот срок, она окончательно вернулась домой».

В Гулбене

В Гулбене простояли ночь и почти весь следующий день. Там в сопровождении конвоира двоим из каждого вагона разрешили пойти на станцию за водой. Возле крана я встретила профессора Аушкапса, приведенного тоже под конвоем. Оказалось, он в том же вагоне, что и муж. Спросила - как он.

- Такой же. Рассказывает, расспрашивает, не дает людям унывать.

И другие мужчины из Цесиса едут с ними.

Прошу передать от меня и сына приветы, с крохотной неожиданной искоркой радости возвращаюсь в вагон.

И тут напротив вагонного окошка, к которому приник мой Алнис, остановился человек в коричневой форме железнодорожника. На какой-то миг он застыл, точно боясь пошевелиться. Закусил губу, метнул по сторонам быстрый взгляд, приподнялся на цыпочках, через решетку протянул Алнису плитку шоколада и тихо сказал: «Не забудь, сынок, свою родину!»

Добрый человек, вы еще живы? Примите мою благодарность.

Папа!

В Даугавпилсе по соседним разветвленным путям с лязгом Двигались туда-сюда вереницы зарешеченных вагонов. Бог ты мой, сколько же их тут было, этих вагонов!

Вечером рядом с нашим эшелоном остановился другой точно такой же. Взрослые уже устали вглядываться в узкий световой промежуток окна, и лишь некоторые из детей что-то высматривали за пределами своей тюрьмы.

- Папа! - вдруг вскрикнул Алнис, вцепившись в решетку так, точно хотел ее вырвать.

И правда - напротив нас оказалось такое же зарешеченное окошко, за которым теперь и я увидела лицо мужа.

«Мужские» вагоны успели отцепить и составить из них отдельный эшелон. Случаю было угодно, чтобы некоторые из детей еще раз, напоследок увидели своих отцов, жены - мужей, матери - сыновей.

У окошка места хватало только для одной головы, и каждую минуту головы сменяли одна другую. Никто не знал, как долго эшелоны простоят по соседству. Каждому хотелось хоть на миг взглянуть на любимые черты, прокричать пару слов, хотя свистки маневровых паровозов, лязг и грохот колес, переключки охранников то и дело нас заглушали. Но недослышанное можно было прочесть по губам.

- Смотри, какой дождь прошел, хватит воды твоим рыбкам, - говорил отец Алнису.

Сын от волнения не нашелся, что ответить; в нем как будто было подсознательное чувство, что отец от нас уже навсегда отрезан.

- Учись, сынок! Это такое богатство, которого не отнять, - торопился сказать родитель.

- Учиться я люблю, - наконец обретя голос, откликнулся Алнис.

- Ты, может, вернешься. Вербы, которые ты посадил у пруда, будут уже большие. Передай им мой поклон. Береги маму, как я!

И я почти не находила слов, чтобы сказать своему Лекшелису:

- Они же обещали, что расстаемся только до пункта назначения. Мы же еще... свидимся?!

Он покачал головой. Не верит.

- Скорей всего, больше... Расти сына! Будь сильной! Я в мыслях всегда буду с вами! С вами!

Он хотел еще что-то добавить, но успел только вымолвить: «Сыночек!» - и в его окошке уже показалось другое лицо, да и нам нужно было уступить место у решетки другим.

Вечность оказалась щедрой. Она нам подарила несколько мгновений, позволив увидеть еще раз своих, обменяться словами, которых теперь должно было хватить на всю оставшуюся жизнь.

Милда поднесла к окошку Тейку и указала отцу на ее ручку, припухшую после прививки. «Не знаю, понял ли он что-нибудь, просто смотрел на нас с печалью».

Послышались шаги и голос охранника. Милда отпустила руку девочки, вытерла тыльной стороной ладони слезы со щек. Нужно было оторваться от окна.

Ночь в Даугавпилсе

Настала ночь. Дети хотели спать, хотели есть, просили молочка. Молочка не было. Была вода и засохшие бутерброды. Алниса, Андриса, Дзинтарса я уже к детям не причисляла. Дети - прежде всего младенцы, от нескольких месяцев до двух лет, чьи пеленки и штанишки вот уже четверо суток не видели стирки. На запах от нестиранного белья шестерых младенцев, днем и ночью сохнувшего на протянутом Марией шнуре, никто не жаловался. Не это было самым худшим в вагоне.

Алнис после встречи с отцом сидел бледный и молчаливый. Не хотел ни есть, ни пить. Может быть, только спать. И мне кусок не лез в горло. Но и спать не хотелось.

Я думала о напутствии мужа: «Расти сына!» Неужели в людях столько зла и недоброй силы, что они навсегда отнимут у ребенка отца? Я не могла в это поверить. Если не щадят люди, Бог пощадит! В душе и поступках Лекшелиса было больше небесного, чем земного. Если жил в мире Христос, сын Божий, не раз думалось мне, то мой муж мог бы быть еще одним сыном того же Отца. Он любил людей и все живое любовью, какой, может быть, не любил ни один святой на земле. Боже милостивый, если Ты это знаешь, храни его! Храни этих малых детей, их матерей и отцов! Спаси и сохрани наш народ от беды и гибели! Если Ты и вправду всемилостивый и всемогущий!

В вагоне стало тихо. Только Анна Екабсоне сидела на своих узлах с маленьким Айгарсом на коленях и бормотала едва слышно: «Раз мать дала жизнь детям, она ее может и взять. Мужчин уже увели на расстрел, с нами будет то же самое!»

Раздался лязг отодвигаемой двери, и конвоиры втолкнули в вагон ее тестя, старого Екабсона. По его словам, из «мужского» вагона его убрали, потому что он слишком дряхл. Екабсон кое-как устроился прямо на полу вагона, перед дверью, другого свободного места не нашлось. Новые тревоги прогнали сон, каждая из нас думала: что же теперь будет с нашими мужчинами? Чего ждать, если от них уже отделяют стариков?

Между тем в вагон впихнули двух странных девиц, в которых мы заподозрили шпионок. Однако той же ночью их увели.

Сидевшие у окна видели, что в вагоне напротив мужчин обыскивают, проверяют их чемоданы. Около четырех утра соседний эшелон ушел; видели это только Вилма и Анна Екабсоне. Последняя рассказывала утром, что слышала, как вызывали ее мужа, после чего послышались выстрелы. Так что Екабсон, ее муж, расстрелян, и наверняка не он один.

Как-то не верилось, чтобы людей расстреливали прямо тут же, на станции. Глаза Екабсоне лихорадочно горели, и говорила она точно в бреду. Годы спустя мы узнали, что в ту ночь кто-то из мужчин пытался бежать и действительно был застрелен там, рядом с нами.

В Сибирь

За что?

18 июня наш эшелон покинул Даугавпилс. В 15.20 мы пересекли российскую границу у Индры.

Отчаяние переполняло нас, перехлестывая через край. Почва вырвана из-под ног, отнято все. Железные, не ведающие жалости колеса, бешено крутятся, несли нас на чужбину, в неведомое.

Кто может взять ответственность за происходящее перед будущими поколениями? Наш президент Карлис Улманис, не давший латышам встретить врага с оружием в руках? Сталин, чьи дела и чья власть всюду сеют мучения и разруху? Гитлер, всеми силами рвущийся на Восток? Или те, кто спокойно наблюдает, как страны Балтии гибнут, отчаянно взывая о помощи?

За какую вину людей гонят из своей страны, как скот? Еще живых людей везут в товарняках, как ягнят на убой или как какие-нибудь кирпичи? За то, что Латвия богата и можно попользоваться всем тем, что она успела совершить и построить?

Может ли Советский Союз, поступая таким образом с малыми странами и государствами, найти общие с другими народами идеалы, общую истину, общий язык? Да нет, чтобы оценить случившееся, нужен, наверное, некий новый язык, существующих слов для этого не хватит.

Власти приходят и уходят. Народы остаются, привязанные, как деревья, к своей родине. Она, родина, для них она - единственная и вечная. С ней их вера, с ней их любовь. Жизнь можно отнять, но родина, Богом данная, от человека и народа неотъемлема.

А теперь? У латышей, у литовцев и эстонцев, оставивших за спиной границу, отнята и родина. Отнято все. Все.

*Лишь ветра с утра и до вечера
Вдаль относят слова прощания...*

Первые жертвы

Отрыв от родины, сознание полного бессилия заметно помutilили разум нашей спутницы, Екабсоне. Ее терзала мания преследования. Что будет с ней и детьми? То же самое, что и с мужем? Что, что будет с детьми? Вечером она вроде бы слышала, как конвоиры за стенкой вагона переговаривались: вагон собираются взорвать или пустить в него удушающий газ. Да, вот оно: уже просверливают дыры, в которые пустят газ... Мы дружно убеждаем несчастную, что ей все это почудилось, но она никого не слушает. Впрочем, мы и сами недалеко от ее состояния.

У Екабсоне с собой несколько узлов, наспех собранных в дорогу. Весь вечер адвокат рылась в них, что-то искала. Вагон погрузился в сон. Проехали между тем Великие Луки. Впереди станция Мга.

На рассвете 20 июня в приступе безумия Екабсоне своими руками лишила жизни трех детей и пыталась убить себя, опасной бритвой глубоко поранив горло. Милда Сика так рассказывает об этом: «Екабсоне с детьми лежала прямо под нами, на нижней полке. Тем утром я проснулась от детского крика: «Мама, мама, не надо!» Свесила голову - увидела, что двое малышей лежат окровавленные, а старшенький пытается уползти. Проснулся их дед, вскрикнул: «Анна, Анна, что ты делаешь!» Он бросился отнимать у невестки бритву, но было уже поздно. Дети, все трое, уже были мертвы, и сама она билась на полу с окровавленной шеей».

Рядом с несчастной было место Вилмы Киегале. Та проснулась, ощутив рядом какие-то судорожные движения, подтекающую теплую влагу, оказавшуюся кровью. В ужасе Вилма подхватила на руки спящего Русиньша, закричала:

- Спасайтесь! Спасайте своих детей, она с ума сошла, она всех перережет!

Через миг весь вагон был на ногах. Множество кулаков колотили в дверь. Поезд остановился. Явились два чекиста и фельдшер, еврейка. Подоспел еще один военный, начал допрос свидетелей. Кровь продолжала течь, и следователь отошел в сторону: не хотел запачкать сапоги.

Фельдшер расстелила посреди вагона окровавленные простыни, конвоиры уложили на них крохотные тела - первые жертвы страшного пути. Мать, еще подававшая признаки жизни, посылала чужакам взгляды, полные ненависти, словно это они были палачами ее детей. Она еще смогла снять с пальца обручальное кольцо и знаком показала - передать его старику Екабсону. Говорить она не могла.

Двери вагона на этот раз распахнули до отказа, но только для того, чтобы вынести мертвых. Конвоиры вынесли завернутых в простыни детей, целую латышскую семью, плоть от плоти народа. Тут же на краю леса вырыли могилу, отдали земле отныне принадлежащее ей, засыпали яму. Мать все еще была жива, ее труп вынесли уже на станции Мга.

Утро осветило скорбную процессию. И покраснело от стыда: оно опоздало. При свете солнца весь этот ужас мог бы и не произойти. Несчастная мать уже несколько суток не видела солнца, даже днем живя в полумраке. Ее угол был чуть ли не самым темным.

Могильщики вымыли руки в канаве, принесли и нам ведро воды, чтобы смыть кровь. Матерям пригрозили: если случится еще что-нибудь, у всех отберут детей! Эшелон тронулся с места и покатил дальше.

Дети страшно испугались. Боялись, что их разлучат с матерями.

- Мамочка, только не отдавай меня! Не отдавай им! - слышалось отовсюду.

- Правда, мама. Не отдавай ни за что! - просил и мой Алнис. Рука не поднимается, чтобы на бумаге повторить жалобные мольбы, которые мы тогда слышали от своих детей. Старый Екабсон дрожащими руками раскрыл блокнот, который был у него с собой. Огрызком карандаша вывел на бумаге: «Андрис Екабсон, Гунарс Екабсон, Айгарс Екабсон, 20 июня 1941 года, станция Мга». Поставил рядом с каждым именем крестик и дал всем нам подписаться под именами маленьких мучеников.

Тюрьма на колесах

Детей у нас не отняли. Их постигла другая напасть - дизентерия. За долгую, долгую дорогу только раз в два-три дня нам давали пшеничную кашу, назвать которую едой язык не повернется. Первый раз мы получили ее в Великих Луках. До этого обходились кипятком и тем немногим, что взяли из дома. В каждом ломтике хлеба я ощущала заботу и тепло мамы, это она пекла хлеб, и теперь он помогал вынести невыносимое. Сразу за Уралом нам выдали порцию казенного хлеба, пересоленного настолько, что есть было невозможно.

Малые дети жили впроголодь, но это исполнителей акции не волновало. Зато их плакаты, их газеты вещали со всех сторон: «Все для человека!», «Дети - наше будущее!» Впрочем, в их понимании мы не были людьми в полном смысле слова. В лучшем случае рабочая скотинка, из которой нужно выжать все возможное (и выжимали!), в худшем - груз, подлежащий возможно более быстрой и бесшумной ликвидации. Дети болели и чахли всю дорогу. Нестиранные штанишки и пеленки сохли на том же самом марьином шнуре всю дорогу.

Милда Сика писала в своих заметках: «Дочке в вагоне нечего было есть. На какой-то станции, выйдя за водой, я купила у русской женщины пол-литра молока. Но оно уже скисло. Бывало, оболью овсяные хлопья холодной водой, дам постоять пару часов и даю ребенку попить. На станциях иногда разрешали по двое сходить за кипятком. Но после случая с Екабсоне из нашего вагона разрешали выйти только после возвращения всех остальных.

Помню участок дороги, где поезд проезжал между крутыми скалами и рекой Сылвой. На одном повороте мы сосчитали вагоны - их в эшелоне было 90. Дизентерией заразилась и я, да и почти все население вагона страдало тем же. Хотелось умереть, так было тяжело. Анна всю дорогу заливалась слезами. Ей было всего 20 лет, на родине оставалась неоконченная сельскохозяйственная школа и любовь. Происходившее в вагоне ее словно не касалось.

В Приуралье на одной из станций мы видели мобилизованных. Чернявые, плохо одетые парни, стесняясь, отталкивали плачущих матерей и невест. Нам навстречу ехали целые составы

с солдатами, весело кричавшими о том, как они скоро будут пить чай в Берлине. По всему чувствовалось: началась война.

Мы пересекали множество рек. Москву объехали стороной. Добрались до Урала. Горы не показались высокими. Лишь по временам вырастала рядом крутая скала, проплывала, кружась, чернеющая лесом вершина. Заснеженных вершин летом не встречали. Правда, по Уралу (около 150 километров) мы передвигались только ночью.

Мы знали, что родина осталась далеко за спиной, но по-прежнему не представляли, куда нас везут. Что расстреливать нас не собираются, в общем-то было уже ясно».

Началась война

В Свердловске эшелон загнали на какие-то запасные пути и оставили на несколько дней. Погода стояла жаркая. По обеим сторонам от нас протянулись такие же длинные поезда с литовцами и эстонцами, через окошки удавалось даже с ними поговорить.

Полный штиль. Воды мало, и та теплая. Между поездами воздух такой спертый, душный, провонявший тысячью немытых, нездоровых тел, что женщины теряли сознание одна за другой. И в самом вагоне воздух был ужасный, то и дело засорялся деревянный сток уборной. В просветах между вагонами мы видели проносившиеся мимо военные составы. Да, значит, война. Нельзя желать войны - ведь она несет смерть и разруху. Но в этот раз война давала нам как будто единственный шанс на спасение, на то, что мы еще увидим свой дом.

Подтверждение тому, что война и впрямь уже идет, мы слышали из громкоговорителей в Свердловске, сообщавших на всю округу последние известия.

22 июня немцы перешли границы Советского Союза. Через станцию каждые 20 минут следовал очередной военный состав. А мы вслед за ним посылали туда, на Запад, наши гаснущие надежды.

жизни. Жестокая реальность, казалось, отступила. Даже шаги конвоиров не слышны. Душистые ветви тянули к нам березки - точь-в-точь такие же, как дома, с чудесным смолистым запахом еще клейких листочков.

Алнис отломил две веточки, да и все вокруг возвращались с живой и пахучей зеленью в руках. Этот вечер накануне Янова дня незабываем - своей красотой, радостью, смешанной с бесконечной болью. Не отпразднованный праздник. Облитый слезами.

Паровоз коротко свистнул, тайга отозвалась глуховатым эхом. Нужно было возвращаться в нашу тюрьму.

Дети украсили зеленью решетчатое окно. Снаружи в него смотрел на нас погрустневший вечер. Вагон заполняли сумерки и воспоминания.

Записки Милды Сини

В вагоне то одна, то другая из нас рассказывала, как была арестована, что пережила. Все те ужасы не перескажешь. Но прежде чем начнется наша Сибирь и Сибирь вообще, запишу только то, что мы слышали от нашей спутницы Милды.

- Секретарь Веселавской волости вышел на пенсию, и меня по окончании соответствующих курсов приняли на его место. Тогда же отремонтировали для меня трехкомнатную квартиру с большой кухней. Дом с хозяйственными строениями, хлевом, с фруктовым садом, мне одной этого было многовато, всего я и не использовала. В канцелярии я все устроила по-своему. Мне поручили заодно вести бухгалтерию сберегательно-заемного общества, так что нагрузка была нешуточная, но и зарплата немалая - 200 латов в месяц. Приступила к работе 21 августа 1937 года.

16 июня 1940 года в здании волостной управы был киносеанс и потом танцы. Только все закончилось, посреди ночи мне звонят из Цесиса: нужно уничтожить мобилизационный план № 3. Я решила, что звонят из районного военного управления, начала жечь. Тут мне позвонили из Рауны, спрашивают - что я делаю?

Сказала, что уже жгу бумаги. Решили с коллегой, что власти, должно быть, хотят приостановить возможную мобилизацию латвийских резервистов.

На другое утро около 7 часов позвонил знакомый, сказал, что русские перешли нашу границу, уничтожили даже пограничные посты. Страшное дело. Что теперь будет? Телефон молчит. Я вышла на улицу взглянуть, что творится в мире.

Около 11 со стороны псковского шоссе донесся рокот моторов, и вскоре я увидела, как с Риньского холма вниз катятся бронемшины. За ними шли небольшие открытые грузовики с солдатами, те сидели в кузове по четыре в ряд. Я поняла, что они раздавили нашу свободу. В небе появился самолет с красной звездой. Прошел низко, видимо, разведчик. Но никто вторжению не сопротивлялся, и чужие солдаты въехали, как экскурсанты.

Вереницы машин тянулись весь день. Был слышен и рокот помощнее. По дороге Мадона-Цесис передвигались танки. Воздух гудел три дня кряду. На обочине остался один поврежденный танк. Жутко.

21 июня объявили, что составлено новое правительство. Министерский пост занял Вилис Лацис. Из тюрем выпущены политзаключенные.

В середине июля - выборы Саэйма. Из Цесиса приехали проверить списки избирателей. А у нас таких вовсе нет, никто их никогда не составлял. Теперь вот надо переписать всех жителей с номерами паспортов и прочими сведениями. Дело непростое, но я справилась.

В день выборов поразило то, что принуждают голосовать всех, хочешь или не хочешь. Приезжие из Цесиса говорят, чтобы заходили в кабину для голосования. Что там делать? Бюллетень один. Испортить его? Бесполезно, все равно посчитают годным. К вечеру подъехал начальник политуправления Максимов. Все выглядит фарсом, от которого слезы подступают к горлу.

5 августа Москва принимает нашу республику в состав Советского Союза.

Безземельным крестьянам выделяют по 10 гектаров земли, отобранной у прежних хозяев. Прибыл землемер. А как новые

хозяева обойдутся без инвентаря? Бланки - заявления на землю - заполнять приходится мне. Там нужно указывать, от чьего хозяйства заявитель хотел бы отрезать кусок. Да, и в Латвии колхозов не будет.

Для поддержки новых хозяев организован пункт проката лошадей и машин. В нашей волости его устроили в Цирцени - в доме моего тестя, который национализировали. Но и с лошадьми напрокат не похоже, чтобы у них что-то получалось; выйдет, скорей всего, очередной конфуз.

От меня требуют чуть ли не ежедневно докладывать в Цесис, кто сколько и чего сделал - сколько вспахал, засеял и т. п. И следуют инструкции: как пахать, как боронить, удобрять, сеять. Моя задача найти десятников, каждый из которых отвечает за десять домов - собирает все нужные сведения и приносит в волостную управу, по-теперешнему исполком. Злятся и десятники, и крестьяне, люди не привыкли мерить и учитывать каждый обработанный квадратный метр, каждый свой шаг в поле или на лугу. Говорят, иди, меряй сама!

Старый Сика перебрался в Сирны. Дом у него отняли. Раньше он был членом волостной управы, председателем суда.

В конце апреля 1941 года из райисполкома сообщили, что с 1 мая я с работы уволена по решению партии. И в тот самый момент, когда я читала этот приказ, вошел в канцелярию мой преемник, Янис Такерс. (Между прочим, осенью 1940 года приезжали комсомольцы из Цесиса и добивались, чтобы я еще и пионервожатой работала. Отстали только когда я сказала, что состояла в айзсаргах).

Я была рада, что больше не служу в волости, - эти бесконечные бумаги, проверки из разных инстанций уже допекли. Сплошное недоверие! Кроме того, Максимов из госбезопасности сказал, что давно уже собирался посадить меня, но пожалел. Спрашивается: за что сажать? И за что жалеть? Зимой нередко по утрам видела под своими окнами свежую лыжню. Кто ночью наведывался к нам? Что хотел подсмотреть, что узнать? Ночью-то?

Такерс в детали своих новых обязанностей не входил. Подписал акт приема-сдачи, и точка.

30 апреля 1941 года мы уехали в Леяскемели. Там нам разрешили поселиться, по крайней мере временно. Там я, наконец, вздохнула с облегчением, стряхнув с себя всю ту ношу.

Первый день на новом месте - 1 мая. В небе кружили самолеты с красными звездами, в саду пчелы заблудились среди дочерна обмерзших яблонь. Через пару дней - приказ из Цесиса: явиться в райисполком. Матисонс предложил мне место в Яунпиебалге или Рауне. Выбрала Рауну: это ближе. Я снова работала, Вилис, перед этим тоже уволенный, сидел с дочкой. Моим шефом был Таливалдис Берзиньш, теперь известный хоровой дирижер в Риге. Служба непыльная, если сравнивать с предыдущей.

Иногда мы просили кого-то из местных посидеть с дочкой Тейкой, и вот «куда надо» поступил донос: в доме собираются какие-то люди и распевают националистические песни. Хорошо, нашелся человек, подтвердивший, что нас обоих не было дома, а были там посторонние, которых попросили приглядеть за ребенком. На этот раз пронесло, но с нас теперь не спускали глаз.

Начальник окружного управления госбезопасности, истовый сталинский активист, прибыл из России, но чисто говорил по-латышски. Люди его боялись. Однажды он заявился поздно вечером, вошел в дом без стука, не поздоровавшись, заорал на меня, повторяя, что давно собирался посадить меня, да вот пожалел. Вилис в смежной комнате забился в угол и ждал, что его вот-вот арестуют. Аресты не были редкостью: то из одного, то из другого дома людей уводили, и о дальнейшей их судьбе ничего не было известно.

13 июня 1941 года. Мы с Вилисом отправились к его двоюродному брату Волдису за саженцами помидоров. Его дом был у Цесисского шоссе. Странно. Множество машин, и легковушек, и грузовиков, двигались в сторону Цесиса. Уже ходили слухи о новых ночных арестах, и эта масса машин заставляла задуматься. Вечером Вилис с соседом ушли из дому. Я просилась уйти вместе с ними, с дочкой было кому посидеть, но Вилис успокаивал: кто тебя, женщину, тронет! Я осталась дома, однако дурное предчувствие не оставляло. Легла спать, прикидывая в уме, что бы я взяла, если бы приказали собраться в пять минут. Продумала все до мелочей.

Тут в окно постучали. Испугалась. Но оказалось, отец Вилиса, на велосипеде прикатив из Цесиса, хотел предупредить сына - пусть скроется, в Цесисе полно машин и чекистов. Сказала ему, что Вилис уже ушел. И попыталась забыться.

После полуночи заплакала Тейка. Перепеленала ее. Отогнула занавеску, вижу - четыре человека идут вдоль нашего сарая. Один в чем-то светлом, трое других темные. Сердце подскочило к самому горлу. Накинула халат, жду. Стучатся с черного хода. Я медлила. Мелькнула мысль - схватить ребенка и через садовую дверь бежать в лес. Но если и там уже кто-нибудь тебя ждет?

Вышла в прихожую, спрашиваю, кто. Не отвечают. Потом: открывайте. Вилис дома? Нет его, в Ригу уехал. Все равно откройте. Отпираю дверь, сама отступила, чтобы щелкнуть выключателем. При свете увидела среди вошедших двух местных. Один - бывший дорожный мастер Зилверс, теперь заведующий финансовым отделом Цесисского райисполкома, второй - мой преемник в Веселаве Янис Такерс. Он вместе с женой всего две недели назад был у нас в гостях, справляли именины Вилиса. Третий - чекист в черной форме и фуражке с синим околышем, четвертый - рослый незнакомый парень, бессловесный, руки в карманах.

Чекист выложил на стол какие-то бумаги, заставил меня сесть, видно, боялся, что упаду в обморок. Зилверс тут же переводил им сказанное: нас высылают в отдаленные области Союза. «В Сибирь?» - спросила я. Никто не ответил.

Начали обыск. Даже фотоальбом пролистали, изъяли несколько снимков, из ящика стола вынули значок айзсарга в виде аусеклиса, нашли золотую монету царских времен, подаренную мне свекровью, кольцо. Прибрали к рукам. Копались долго, я все это время должна была сидеть. Наконец сказали, чтобы я одевалась и собрала вещи. С собой можно взять до 50 кг. Я подумала: кто их понесет, эти полцентнера? Однако положила в чемодан все, что надумала еще с вечера. Дочку закутала в большой платок. Из продуктов взяла буханку хлеба и пачку овсяных хлопьев. Хотела выйти на двор за бельевой веревкой, связать узел - не дали.

Перед самым уходом слышу - проснулась старенькая тетя, жившая у нас. Она знала Зилверса, когда-то даже его нянчила

и, видно, сразу же поняла, что происходит. Подошла к Зилверсу: «Сынок, сынок, что же ты творишь!» А он: «Не я творю, мне велят!»

Чекисты забрали радиоаппарат, мой велосипед и мотоцикл Вилиса. Все это покидали в грузовик, туда же препроводили меня с Тейкой и вещами. На дороге стояла еще и легковая машина, в нее влезли двое. Остальные со мной. Теперь я должна была показать, как проехать в Стирны, к старикам Сикам. Добрались туда. Меня оставили в машине, сами в дом. Прошло около получаса. Вышел на крыльцо Зилверс, сказал, что я должна помочь старикам собраться, сами ничего уже не могут.

Вхожу. Старый Сика на кровати, совсем больной. Мать от потрясения тоже едва стоит на ногах. Я начала собирать им котомки в дорогу. Во время всей этой суеты вошел хозяин дома и шепнул мне, что звонит Вилис. Я бочком выбралась в другую комнату, к телефону, сказала Вилису, чтобы он взял бидон молока для Тейки и ехал к нам, потому что нас высылают. Тогда нам в голову не пришло, что можно бы и не ехать.

Наконец сказали вернуться к машине. Я так растерялась, что, помню, чекист мне говорит - дочку-то не забудьте, берите с собой! Поехали. Соседи молча смотрели, как нас увозят.

В Приекули в школу за Анночкой заехала только легковая машина, мы ждали. Вскоре появилась Анна, сидящая между двумя конвоирами. Сидит, прямая, как свечечка, смотрит вперед, нас вовсе не видя.

В Цесисе нас высадили возле железнодорожного переезда. Там меня встретил Максимов, осклабился: «Ага, подруга моя появилась! А где ж господин супруг?» Отвечаю - не был дома, должен подъехать. «Что ж, для таких у нас пуля всегда найдется!»

Провели нас вдоль длинного ряда красных товарных вагонов, в один из которых приказали влезть. Там уже было полно - женщины с детьми, мы прибыли чуть ли не последними.

Около полудня в оконце увидела, что по шоссе подъехали наш сосед и Вилис. Через минуту муж протягивал мне бидончик с молоком и какую-то одежду. Остальное отдаст на месте. Швейную машинку тоже взял с собой.

Из Цесиса состав вышел на другой день в полдень. На станции Арайши поезд встал, и я услышала, что кто-то зовет меня по

имени. Это, оказывается, примчался в Арайши Спранцис из нашей волости, привез мне последнюю зарплату, масла, хлеба. Передал в окно, через решетку. Рядом коммунист Густс Елевичс кричит: «Не плачь, Милда, ты вернешься!» Так еще некоторые и надеялись, не зная, какая машина уничтожения тут задействована.

Да, еще в Цесисе к вагону подошел чекист, который меня арестовывал, и отдал золотую монету и кольцо, взятые при обыске. Все-таки и среди них не все были негодяи...

Папа ждет!

Омск. Новосибирск. Станция Тайга - поворот к Томску. За Тайгой вскоре высадили эстонцев. Мы им завидовали - по крайней мере, людям не придется дальше задыхаться в душных раскаленных вагонах.

Дизентерия, измотав всех и каждого, вроде бы отступила. Пришла жара, дошла до пика и спала. Только вот дети от слабости уже не могли ходить. Детские голоса уже давно почти не были слышны. Маленькие арестанты молча лежали, глядя в потолок. Никакой врачебной помощи не было, так же как лекарств, так же как молока для детей - всего несколько раз удавалось купить молока на станциях, когда из вагонов нас по двое отпускали за водой.

В вагоне стояли невыносимая духота и вонь. Не хватало воздуха. Все мечтали об одном - поскорее добраться, куда бы то ни было: в лес, в болото, в песчаную пустыню. Только бы ощутить ветер, вдохнуть наружного воздуха.

И вот наши конвоиры вежливо - на сей раз вежливо! - объявили: готовьтесь, вот-вот будем на месте. Я это слышала точно в полусне - опять поднялась температура.

Было 4 июля, раннее утро. Матери поднимались, собирали постели, увязывали вещи. Алнис тоже готовился, все подряд укладывая в бельевую корзину, ему помогала собраться Айвиексте.

Вагон и без того тонул в полумраке, а теперь стало вовсе темно, в окне торчали все время чьи-то головы. Женщины высматривали

своих мужей - обещано ведь, что на месте все встретятся. И впрямь - от окошка раздался радостный возглас:

- Смотрите, вон где они должны быть! Только спят еще!

Остатки сна тут же слетели с обитателей вагона. Даже больные, даже ослабевшие дети приподнялись.

- Там папа! Отец нас ждет! - слышалось чуть не из каждого угла.

Ложь плюс колючая проволока

То был Ачинск. Вдали в легкой дымке виднелся сам город. А здесь - лишь «обжитое» пространство за высоким забором, опутанным колючей проволокой. Открылись тяжелые ворота, и перед вновь прибывшими предстала вытоптанная площадь с множеством сидящих и лежащих людей.

Но это не были наши мужья. Не были отцы.

То были такие же, как мы, женщины, матери с детьми, привезенные несколькими днями или часами раньше и высаженные на огражденный кусок земли с тремя большими сараями в конце. (Раньше тут была территория зернового элеватора, а еще перед тем, по слухам, зоопарк.)

Какая подлость! Какая бесчеловечная ложь! Она вызвала неисчислимые беды: самые необходимые детские вещи, которые мужчины взяли с собой, чтобы облегчить ношу своих подруг, оказались недоступны, а ведь это нередко было вопросом жизни или смерти.

Вынеся на волю детей и узлы, мои спутницы помогли и нам выбраться из вагона и уложили поблизости от недавней тюрьмы на одеяле. Укрыли меня вторым одеялом и вдобавок сверху положили пальто. У меня еще выше поднялась температура. Алнис притулился рядом. Накрытая с головой, я не видела, что он делает. Не могла видеть и того, чем занимались остальные. Слышала только людской говор, целое людское море волновалось и рокотало вокруг. Потом меня сморил тяжелый сон, из которого я выныривала иногда на мгновение.

Пошел дождь. Я лежала, как прежде, не в силах подняться. Да и некуда ведь было идти. Ни одного дерева поблизости. Три сарая, замыкавшие площадь, были уже забиты до отказа. Еще до нашего прибытия их заполнили белоруски, полячки, еврейки. Так что «опоздавшим» оставалось закутаться поплотнее в платки и одеяла и мокнуть под дождем. Алнис был рядом и успел уже вымокнуть до нитки. Теперь он забрался ко мне под одеяло и, согретый моей лихорадкой, уснул.

Мы находились в Ачинске, небольшом городе в Азии, на Транссибирской магистрали. Это я могу сказать лишь теперь, глядя на карту; в тот момент Ачинск был для нас голым, ничего не говорящим названием.

Проспала день и ночь и наутро почувствовала себя лучше. Может быть, помог дождевой компресс. Смогла наконец оглядеться вокруг. Все пространство вокруг было заполнено людьми, и волны проходили по нему, точно рябь по морской поверхности. При ближайшем рассмотрении обнаруживались сотни узлов, чемоданов вперемешку с человеческими телами: женщины, дети на расстеленных одеяльцах, расprostертые на земле болящие. Тяжелые вздохи, стоны, плач, крики, шепот. Не знаю, как было с другими, но путь длиной в три недели совершенно измотал нас, латышек. Окончательно подкосила та ложь насчет предстоящей встречи с мужьями. С теми, у кого оставались чаще всего и последние средства к существованию. Отчаяние накрыло огромную площадь, точно густая черная мгла.

Дети, грудные младенцы за колючей проволокой, без крыши над головой! Люди сгрудились вокруг меня или призраки? Временами казалось, что виновата болезнь, я брежу и в моем рассудке рушатся последние опоры. Только бы не поддаться отчаянию, которое граничит с безумием! И нельзя вспоминать о трех невинных душах, погубленных материнской рукой. Нельзя! Держаться до последнего за жизнь и разум. Вон сколько нас - смерти со всеми не справиться. Кто-нибудь да выживет. Солнце и здесь восходит по утрам и заходит вечером.

Через день-другой самодельные укрытия, палатки, навесы латышек покрывали часть площади. Чтобы защититься от ветра и

дождя, в ход шли чемоданы, мешки, одеяла. Никто не знал, сколько еще предстоит пробыть здесь. У нас с Алнисом всего добра - бельевая корзина и пара одеял, палатку из них не устроишь. Потом нас в свое убежище принял старый Екабсон, у которого было два чемодана и мешок, но не осталось ни одной родной души.

Добровольно на 20 лет

И вот однажды в ворота въехала машина с несколькими чекистами. Они выгрузили и водворили посреди площади стол, два стула, пачку бланков и приступили к регистрации сосланных. Имя, фамилия, год рождения, род занятий. Подпись.

- А в чем подписываться-то? - спросил кто-то из толпы.

- В том, что ваши сведения верны.

Но женщина, стоявшая возле самого стола, прочитала: там сказано о «добровольном переселении сроком на 20 лет». Женщины ахнули.

- Какое там добровольное? Это обман!

- То, что там значится на бланке, не имеет значения. Подпись нужна только для учета.

- Не подпишем!

- Дело ваше. Никто не принуждает. Но без этой подписи никто вас отсюда не выпустит.

Шум, возмущение.

- Добровольно! На 20 лет! Сколько можно врать и обманывать!

Но люди в синем невозмутимы. Ничего, пошумят и подпишут. И подписали. Так сказать, пожалуйста на каторгу по вашей собственной просьбе.

Здесь, кажется, впервые у нас появилась возможность задать чекистам вопросы, и мы этим воспользовались.

- За что мы арестованы? Почему без ордера на арест, без суда, тайком, посреди ночи хватали женщин и детей, разрушая семьи, оставляя людей без родины и без всяких средств к существованию?

Ответ гласил: все вам уже сказано при задержании.

- Да вы что! Нам даже не сказали, что куда-то повезут. Вы должны объяснить, у арестанта ведь есть право знать, за что его взяли! - не отступались женщины.

- Не мешайте работать! - раздраженно орал им в ответ. Да и что могли сказать эти люди? Не было и не могло быть никаких юридических оснований для массовых арестов и высылки целых семей. Беззаконие и бесчеловечность, за которые отвечать следовало бы не этим пешкам.

Когда большинство уже подписались на свою 20-летнюю каторгу (ссылкой могли называть это лишь те, кто не знал обстоятельств дела), в ворота начали заезжать одна за другой колхозные подводы. У колхозников были серые лица, потухшие взгляды, - почти бескровные, бездумные создания. Обувь - лапти или стоптанные вконец башмаки, многие в старых, чуть ли не царского времени ушанках, и это посреди лета. Один из первых, жадно вгрызаясь в ломоть черного хлеба, другой рукой помогал закинуть вещи «новым сибирячкам», выделенным его хозяйству по разнарядке.

Колхозников к этой встрече готовили. Они хорошо знали, кто эти вновь прибывшие: жены кулаков, эксплуататоров трудового народа, кровопийц. Дармоедки, жившие за счет чужого труда, фашистки. Сюда их доставили, чтобы они, наконец, узнали, что такое работа. И уж они у нас узнают! Заодно и в грехах покаются.

С нами, женщинами, колхозники были резки и грубы, а вот к детям внимательны, даже ласковы. Заботливо расчищали для них место в телеге, поднимали и сажали, гладили по головке, брали за подбородок, чтобы взглянуть в глаза.

Регистрация продолжалась ежедневно с утра до вечера, и каждый день колхозники увозили ссыльных. Лагерь постепенно пустел, но последним из нас пришлось провести тут пару недель.

Воды хватало. Привозили ее в бочке подозрительно коричневого цвета. В одном углу территории к тому же протекал Ручей, бежавший с ближних гор. Вода в ручье была чистой и вкусной. Правда, тут же отстирывали черные с дороги пеленки и мылись сами, но через минуту ручей был снова прозрачен и чист.

А вот еды здесь не давали. Никакой, даже хлеба. Делились последним тем, у кого оставалось хоть что-нибудь, взятое из дома.

Голодных детей было до слез жалко. Иногда удавалось купить молока у местных, подходивших к забору. В одном углу женщины поддерживали костер, варили детям раздобытое или сбереженное.

Там мы с Ансисом доели последнюю корочку домашнего хлеба, обласканного руками моей мамы, пахнущего родным полем. Большой каравай Арнольд в спешке сунул в бельевую корзину, он и спасал нас всю дорогу. Та последняя корочка с серой полоской пепла врезалась в память на всю жизнь. Снаружи корка черноватая, но на разрезе коричневая и с блеском. Мы смаковали эти последние крошки, высасывали до конца их сладость, загадывая при этом - хоть бы поскорее исполнилось наше заветное желание! Это «поскорее» обернулось для нас шестнадцатью годами.

Самое скверное, что на территории не было ни одного санитарного ограждения. Людей же - тысячи, и у всех дизентерия. По краям площади вид был ужасающий. Вонь нестерпимая. Мухи. Пояс нечистот расползлся от края к центру. Люди умирали. Прежде всего дети. Родные должны были сами позаботиться об умершем: завернуть в одеяло, отнести к машине, погрузить тело, проехать до склона ближнего холма, где и закопать под присмотром конвоиров. А вот детей проводить умершую мать не пускали. Некоторых покойниц увозили без участия близких. Говорили, что их просто кидают в штольню заброшенной шахты. Обстановка была такая, что женщины сами спешили к столу - подписать любые бумаги, лишь бы оказаться на вольном воздухе.

Кроме колхозников, за работницами приезжали с лесозаготовок. Туда брали молодых бездетных женщин. Иногда у ссыльных даже был выбор - ехать в колхоз или на лесопункт, а бывало, что все зависело от того, чей транспорт первым прибыл.

Милда вспоминала: «Однажды вызывали женщин на лесные работы - им предстояло пароходом добираться по реке Чулым в назначенный район тайги. Я тоже была в том списке, но мне одна женщина подсказала не отзываться: там столько гнуса, дети не выдержат. И мы не поехали, хотя рвались убраться с той площади».

Мы, женщины из Цесиса, оставались на территории чуть ли не до самого конца. Не спешили сами. Предчувствовали, видно, что вонь этой самой площади - не худшее из зол, нас ожидающих.

Нас в конце концов забрали колхозники из Тюхтетского района, выглядевшие совсем убого. Упряжь из какой-то пакли, без хомута и шлей. Телега - примитивные дрожки без бортов и задника, вместо досок - шесть жердей, тонких, как рукоятка грабеля. Для перевозки пассажиров такой «экипаж» был совершенно не годен, но другого транспорта для женщин, детей и нашей бедной клади не было. Так что пришлось и нам с Алнисом напоследок примоститься на тех самых жердочках.

Выехали к вечеру. Подводы с людьми выкатывались за ворота одна за другой. Лошади семенили, низко наклонив головы. В нашей узкой, длинной телеге поместились шестеро - две матери, трое детей и возчик. Сидели на привязанных к жердям узлах, держась друг за друга. Ехали сперва по ухабистым улицам Ачинска, добрались до моста через Чулым. Мост узкий, только двоим разойтись. И кажется, положен прямо на воду, как плот. Шатается и местами утоплен в воде. Никаких перил. Вода бурлит тут же, под ногами. Дети дрожат и прижимаются покрепче к матерям. Матери закрывают глаза и вцепляются в узлы, привязанные к тележному дну.

- Не пужайтесь! Еще ни один тут не свалился, - успокаивает ребятишек возница; правда, дети ни слова по-русски не понимают.

Перебравшись на тот берег, возница заговорил и с нами, взрослыми. Рассказал, что он так же, как и мы, сослан из России в Сибирь, только это было ранней весной. Родители его умерли в дороге. За высланными тогда точно так же приезжали из колхоза с подводами. И тоже нужно было перебираться через реку, но вброд. Был ледоход, лошади боролись с течением. «Мы-то с грехом пополам перебрались, а тех, что ехали за нами, унесло вместе с лошастью, все семейство, Казаковы они звались».

За рекой, за болотами, в которых некоторые повозки застряли, начались заливные луга; длинная вереница подвод остановилась здесь на ночлег. Женщины расстелили одеяла и устроились на них с детьми. Колхозники распрягли лошадей и пустили их пастись.

Мне вспомнился почему-то цыганский табор в излучине Аматы, когда-то казавшийся таким романтическим. Теперь я и сама была как цыганка, только без романтики и свободы. От реки

волнами набегал ветерок, принося воздух такой чистый, такой сладкий, что невозможно было надышаться. К ночи похолодало, налетела мошкарa. И главное, мучила неизвестность: что дальше?

Жандармов в фуражках с синими околышами, вооруженных конвоиров с нами больше не было. Отвечали за нас только возницы. Да и то сказать, к чему теперь было охранять нас - куда денутся слабые, измученные женщины с детьми? Тут и бежать-то некуда.

Когда лошади отдохнули, возницы поспали и за Ачинском небо начало светлеть, подводы с пленницами двинулись дальше. Милда Сика пишет об этом: «Было уже 14 июля, когда появились наши «покупатели» из Тюхтетского района. Работницы были нужны на промкомбинат, льнозавод, на базу «Заготскот». Желających ехать переписали, и вечером мы покинули лагерь. На мост через Чулым нужно было съезжать с крутой горки, притом с поворотом. Лошади одно время были почти неуправляемы, упряжь без шлей, без нормальных постромок. Думала, не переедем этот мост, узкий, на понтонах у самой воды, без перил, лошадь ступает на один конец доски, второй взлетает вверх... Притом уже смеркалось. Но выбрались на другую сторону, там дорога в сплошных ухабах. Перед нами ехали на своих узлах старики-евреи, и на очередном ухабе они вылетели из телеги с громкими воплями. Беда, конечно, положение трагическое, но на меня напал приступ неудержимого, истерического хохота.

Проехав еще немного, возчики распрягли и отпустили лошадей, и мы могли соснуть. Но тут навстречу подъехал грузовик, остановился. Полуторка прислана из Тюхтета. Кто с малыми детьми, садитесь. Забрались в кузов, небольшой, так что сидели впритирку. Дети плачут, утомонились только когда сдвинулись с места. В поселке Белый Яр остановка; мотор заглох - дети как по команде в рев. Поехали дальше - тишина.

Добрались до Боготола. Начался дождь. Улицы там немощеные, грязь, густая, точно черная глина. Выехали за город - еще хуже. Колеса буксуют, и одно, заднее, сползло в канаву. Мы с детьми высыпали из машины. Ночь. Шофер машину вроде бы выровнял, но женщины в один голос заявили, что ночью по такой дороге

дальше не поедут. Потащились обратно в ближайшую деревню Катиюл - переночевать. Мы попали в избу, где раньше побывали ссыльные из Латвии, латгалыцы, и хозяйка даже знала пару слов по-латышски. Дом прохладный, не топлено, но все-таки крыша над головой.

Наутро на том же грузовике двинулись дальше. Дорога еще больше размокла. Несколько раз пришлось вылезать из кузова и выталкивать машину из очередной ямы.

В Тюхтете нас подвезли к милиции, но там мы оказались не нужны, переадресовали всех в клуб (бывший католический костел). Там уже находились прибывшие раньше женщины с детьми. На улице толпились местные зеваки, смотрели во все глаза, как на цирковых зверей. Как же, фашисток привезли!

В клубе спали на полу дети, мирно посапывая. Тейка тоже прилегла, от слабости не в силах даже глазом моргнуть. Совсем исхудала. Остальные еще не добрались из Ачинска.

В Тюхтете

Близится окончание пути

Под вечер в тот самый день разразилась сильнейшая гроза. Ливень был такой, словно само небо обрушилось. Молнии хлестали так близко, что при каждой мы вздрагивали, как от удара кнута по спине. Придорожные кюветы превратились в мутные бурлящие потоки. Одежда, которыми мы прикрывались, тут же промокли насквозь. Промокли мы сами, промокло все, что было у нас с собой. Последняя горстка сахара растаяла.

- У нас завсегда так, - сказал наш возница. - Ливанет, так уж точно как из ведра. Но долго это дело не бывает.

Никаких зонтиков и плащей у нас, конечно, не было. Промокшие до нитки согревались на ходу, больным приходилось хуже.

Места малообжитые. Тайга. Один населенный пункт от другого отстоит на 10-20 километров. Мы проехали уже Белый Яр, Красную Речку, Боготол. К очередной деревне подъехали уже поздно.

Слабый отблеск заката освещал небольшие дома и темную рощу с белеющими стволами. В роще и провели ночь. Колхозники развели на опушке несколько костров, у которых мы грелись и сушились. Матери укачивали, согревали детей на руках. Выглядели они точно на крестинах перед неким огненным алтарем. И так всю ночь, - лечь на сырую землю никто не решился. Сидеть сидели: целую ночь не прстоишь на ногах, на подводе замерзнешь. Огонь был нашим спасением.

17 июля после полудня из-за дальнего синего хвойного бора вынырнул силуэт поселка. То был Тюхтет, центр района и цель нашего странствия. Люди ожили. Дорога, длившаяся больше месяца, всех уже допекла.

Новое местожительство медленно выкатывалось нам навстречу - длинная улица, застроенная по обеим сторонам. Иные избы покосились от времени и нужды. На кольях заборов

нанизаны закопченными днищами вверх чугунок и кастрюли. Дома совсем небольшие, с маленькими оконцами. Высыпали из домов дети - неухоженные, полуголые, уставились, раскрыв рот, на приезжих. За детьми выстраивались в ряд женщины в длинных льняных и ситцевых юбках, на ногах лапти, галоши, валенки. Некоторые и вовсе босиком.

Женщины глаз не могли отвести от «мироедок и кровопийц», как им успели напеть на политзанятиях. Они смотрели не только глазами, а, кажется, и губами, и ушами, и всем телом. Даже ни словом не обмениваясь друг с другом, чтобы ничего не упустить из виденного.

Улицу, издавая довольное хрюканье, пересекла свинья, вывалявшаяся в грязи. За нею шла женщина с коромыслом; увидев приезжих, она поставила ведра наземь и присоединилась к толпе.

Весть о прибытии кулачек-фашисток разнеслась быстро, и число зрителей по обеим сторонам улицы быстро росло. Жгло беспощадное июльское солнце, но еще сильнее обжигали злые или недоуменные взгляды. Их нельзя было не видеть, они не могли не ранить. Их ощущали на себе и несчастные матери, склонявшиеся над больными или даже умершими в дороге детьми. Глядя на больных, истощенных детишек, на их измученных матерей, жительницы Тюхтета пожимали плечами и переглядывались с немим вопросом. Мысли возникали в их головах и душах, но думать им не полагалось. Думало за них начальство. И начальство же решало за них, какие чувства следует испытывать.

А вот мост через реку Тюхтетку был здесь хорош. Высокий, надежный, хотя река была много уже Чулыма в Ачинске. Вдали за рекой синел бор, круто взбиравшийся в гору, и посреди него светлая лента дороги - точно валок скошенной травы.

Проехали мост. На правом берегу застройка была лишь по краю дороги, а дальше между лесом и рекой - луга и кустарники. Со временем на этом месте возник густо заселенный район спецпоселенцев, землянки там устраивали в основном калмыки и греки.

Слева от дороги тянулась речная пойма, поросшая высокой травой, за ней - изрезанный глубокими ущельями крутой берег древнего русла и прямая линия домов на самом верху.

Через густой бор въехали на взгорье. Миновали затененную деревьями ветеринарную клинику, районную больницу. Лесная свежесть, юные березки, столпившиеся вокруг больницы. После бедности первых улиц взгляду было на чем отдохнуть.

Костел

Подводы остановились у костела, колокола которого давно уже смолкли, - теперь здесь был клуб. Здание отвели нам, ссыльным, под временный кров.

Те, кто был здоров, с узлами сошлись в старом храме; под его сводами было по-настоящему прохладно. Больных разрешили отвезти в больницу. Умерших в дороге погребли на кладбище тут же, возле церкви.

Луиза приехала на другой день после нас. Собрав последние силы, она передела мертвого младенца в чистое. Но похоронить ребенка на кладбище у костела ей уже не позволили: там больше не было места. В тот же самый день спешно отмерили большой кусок пастбища в двух километрах от поселка для нового погоста. Там-то, кажется, именно Луиза первой похоронила своего сына - в дальней, чужой, не освященной земле.

Чужбина отняла у Луизы не только ребенка, но и здоровье. Ее положили в больницу с высокой температурой. Детей, Андриса и Гунтиса, взяла к себе старушка Дзирнекле из Цесиса и в дальнейшем заботилась о них, как о родных внуках.

Стены костела стали свидетелями и еще одной трагедии: сошла с ума мать одной из ссыльных. Дочь несчастной с четырьмя детьми ничем не могла помочь, так как сама болела. Через несколько дней обезумевшая женщина бежала в тайгу; посланные за нею санитары нашли и доставили беглянку в туже районную больницу, поскольку отдельной психиатрической лечебницы в Тюхтете, конечно же, не было. Вскоре больная скончалась, похоронили ее за счет больницы. Дочь умершей разболелась окончательно, и старшие дети теперь сами присматривали за младшими.

Дети, попавшие в больницу, умирали один за другим; матери были с ними рядом, но при полном отсутствии лекарств и детского питания женщины были беспомощны. Из маленьких латышей, отвезенных в те дни в больницу, не выжил никто. А на новом кладбище вырастали один за другим могильные холмики; здесь упокоились навеки Карлис Эглитис, Русиныйш Киегалс, Мартынын Осис, Эрика Киселе, Вилнис Карклиньш, Янис Гредзенс и несколько позднее также Дайнис Юрьянс, Байба Дзените, Ария Шмите, Инесе Звиедре...

Рынок рабов

В храме-клубе теперь жили около 300 человек - сосланные латышки с детьми. В помещении царил полумрак, а слышались чаще всего громкие всхлипы. В Цесисе женщины не плакали, держались, а здесь у нас уже не было сил. Многие дошли до крайности. Матери не скрываясь плакали над участью детей, не видевших горячей пищи уже... да кто там сосчитает, как долго. Плакали не стыдясь, хотя и понимали - слезы не помогут ни молока раздобыть, ни кашу сварить, ни хворь вылечить.

И все же то не была толпа одинаково отчаявшихся и скорбящих людей, хотя всех и объединяло общее горе. Среди нас можно было видеть и мать с больным дитем на руках, не уронившую ни слезинки. И бездетную парикмахершу, любящую лишь себя самое. Там бок о бок ожидали дальнейшего художника и студентка, учительница, крестьянка, жены пограничника, сельского почтальона, прокурора, - и каждая на свой лад боролась с отчаянием и молча или вслух откликалась на общую беду. Женщины делились последним с теми, у кого не оставалось уже ни крошки съестного. Были и такие, правда, немногие, что ели в сторонке и тайком, а затем громко жаловались, что, мол, ничего не взяли с собой и придется им, видно, помирать с голоду. Не хочется называть здесь имена ни тех, ни других. Лишь констатировать, что в очередной раз подтвердилась старая истина: в трудный час

всего отчетливее выявляется истинная сущность человека. И в характере каждого - не одно лишь добро и не стопроцентное зло.

Мы с Алнисом были относительно здоровы, но так ослабели, что не хотелось ни двигаться, ни говорить. Я сидела, опершись спиной на алтарное возвышение (теперь - клубную сцену), и наблюдала. Матери хлопотали над детьми или сами отдыхали с ними рядом. Ребятишки, более или менее здоровые, высыпали наружу и глазели вокруг, в том числе и на местную публику, которая в свою очередь глазела на них, а еще больше - на вещи, развешанные на столбах и цепях церковной ограды для просушки. Посмотреть было на что - все наше добро промокло, так что пришлось вынести и развесить все подряд: одеяла, платья, содержимое узлов и мешков. И два моих лоскутных одеяла из Видземе сушились там же. И никогда не виданные здешними жителями нарядные костюмчики и платьица наших детей вызывали изумление: Тюхтет давно уже прозябал в убогой серости сталинизма, и у людей не было ни малейшего представления о том, как живут люди за пределами большевистского «рая».

В церкви, заполненной до отказа людьми и узлами, не умолкал слитный ропот. Мы чувствовали себя в храме не столько богомольцами, сколько Богом забытыми людьми, которые точно в насмешку оказались согнанными в его святилище. Только не давать волю этим мыслям! Сойти с ума - дорога без возврата, капкан, прихлопнувший не одну из нас. Лучше смотреть на все как бы со стороны, не давая происходящему придавить себя.

Маленькая Банюта ходит, похожая на взъерошенный куст. Мама забыла или не успела заплести в косы или причесать ее черные, невиданно густые волосы. Но девочка так или иначе славная, ласковая.

Угол, где собрались жительницы Валки, слышен отовсюду: там о чем-то громко спорят.

Вчерашняя хозяйка хутора занята делом: разбирает вещи, разглаживает, уносит сушить. Так легче, отвлекаешься от тяжелых дум; самая главная забота - выживут ли дети.

Бывшая воспитательница детского сада пытается убедить собеседниц, что уж ее-то выслали по недоразумению: она ни в чем не повинна! Женщина из Трикаты не выдерживает: «А вот Янис

Калныныш, которому было 10 дней от роду, наверняка виноват, и его не зря арестовали! А в чем повинны все эти дети? А их матери? Что вы тут лепечете о своей невиновности?!» Воспитательница устыдилась. И вскоре уже действовала с профессиональной сноровкой, помогая справиться с детьми то одной, то другой матери, нуждавшейся в помощи.

Секретарша волостного правления совсем ослабла и почти не вставала. Тейку нянчила теперь свекровь.

Сестра милосердия с утра до ночи была занята тем, что оберегала дочку Инесу от любой опасности, от сквозняков и микробов. На просьбы помочь и другим детям и взрослым она отвечала без всякого милосердия: «Не видите, устал человек!»

У Звиедры трое детей, но почему-то у нее находятся доброе слово и ободряющая улыбка и для многих других.

Сколько человеческих созданий, столько бед, столько лиц и характеров. Какая понадобилась бы книжища, чтобы каждую показать крупным планом! Каждую со своей речью, болью, мыслями, ненавистью и надеждой! И в этом поруганном храме, именно в этом месте и в это время, не знавшее даже слова «завтра»!

На второй день алтарь заняли наши новые начальники - представители Тюхтетской комендатуры, директора, председатели колхозов, пришедшие отбирать для себя работниц. В зубы не заглядывали, мускулы не щупали, лишь спрашивали, смерив презрительным взглядом, кто что умеет. Некоторые из нас вовсе не понимали по-русски, из-за чего случались всякие недоразумения. Парикмахерша не знала, как назвать по-русски свою профессию. Она взъерошила, потом пригладила свои волосы, легко повела пальчиками в воздухе, проговорив: «Фризур, маникюр». Покупщики в недоумении пожимали плечами, комендант же, подмигнув одним глазом, сказал секретарю: «Пиши б...дь!»

Самые расторопные из вербовщиков быстренько отобрали тех, кто помоложе, здоровее и чьи дети успели подрасти, и отбыли в свои колхозы и на предприятия. Женщины послабее с малолетними и больными детьми оставались в клубе до последнего.

Немалую часть ссыльных приняли промкомбинат и МТС [машинно-тракторная станция]. Вновь прибывшим отвели там большую комнату в общежитии.

На нескольких подводах отбыли отобранные на Лёнзавод, расположенный в восьми километрах от райцентра, в Аскарровке. Его директор с круглым, откормленным лицом при вербовке особенно старался. Труд на заводе был тяжелым; рабочий день ненормированный, зарплаты мизерные. Не удивительно, что местные от этой участи бежали, как от чумы. И как раз в эти дни в районе Лёнзавода свирепствовала эпидемия дифтерии, вскоре скосившая и нескольких латышских детей, ведь ни одного врача поблизости не было.

Мы с Алнисом попали в партию ссыльных, которую отобрал для себя управляющий базой «Заготскот» Анпалов - льстивый, когда ему нужно, человек со змеиными глазами, за которым тянулась слава авантюриста и убийцы первой жены. База была в шести километрах от Тюхтета, и нас ожидали три подводы, запряженные быками.

На этот раз последними, как в Ачинске, мы не были. В сумрачных углах церкви и после нашего отъезда оставались больные дети, для которых не нашлось места в больнице, и многодетные матери, этих никто из вербовщиков брать не хотел.

Черные дни Аустры Калныни

В самом темном углу у северной стены церкви устроилась Аустра Калныня со своими 22 годами и двумя детьми. Все трое были тяжело больны. Лежали молча. Единственная поддержка, которую они получали, - кружка холодной воды, ее не забывала принести им Звиедрите из другого угла. Эти две семьи оставались в церкви последними. Их, правда, зарегистрировали в Тюхтете, но ни один из руководителей не хотел брать на свою шею таких слабаков.

Ближе к вечеру, когда комендант и работоторговцы освободили алтарь, тяжелая дверь костела снова медленно отворилась. Вместе с полосой света внутрь вошел низенький сиво-седобородый мужичок и направился напрямик к темному углу. Он долго и терпеливо будил Аустру, знаками показывая, чтобы она следовала

за ним, - видимо, решил, что слов иностранка не поймет. Сам он взял чемодан, а потом помог вынести и детишек. На длинные дроги мужичок пристроил и узлы двух других семей, а сверху усадил и уложил женщин и детей, никто из них не мог идти самостоятельно.

Эту горстку латышей он отвез за 10 километров в густую тайгу, в Пищиково, где выгоняли живицу для скипидара.

Отъехав от Тюхтета, старый разговорился.

- Ссылка, бабоньки, та же тюрьма, только без решеток и надзирателей, но зато и без казенных харчей. У вас-то все еще впереди, а мы тут с двадцать седьмого годика! Нас вывозили зимой, но, правда, ссылали всей семьей. А холодище вокруг - зима!

Найдя благодарных слушателей, мужичок не смолкал уже всю дорогу.

- Солнце, как сейчас помню, светило вовсю. Снег сухой, скрипит под ногами. Мороз прям трескучий, и нас, значит, гонят в глухую тайгу, где вроде и нога человека еще не ступала. Самим надо было дорогу прорубать. Боже упаси кому-нибудь еще пережить такое. И стужа все сильнее, все сильнее, вздымается, как по лестнице. Воздух стал серый, съел солнце. Дети совсем замерзли, мы их снегом оттирали. А, вспоминать неохота. Вот эта самая дорога, по чем едем, вся людскими костями устлана.

Старик запахнул на груди фуфайку, словно и теперь еще мерз.

- Январь был. В январе нас вывезли. Завели в тайгу и бросили. В холоде и голоде. Ели древесную кору, личинок всяких, как птицы. Большинство не выжили, до весны дотянули самые стойкие. И зажили дальше, кто как умел. Весной приехали начальнички, приказ нам, голякам, - основать колхоз. Названье, говорят, придумайте сами. Мы и назвали новый колхоз, выбрали имечко, в два слова: «Некуда деваться». Привезли нам, врать не буду, для начала кой-какую скотинку: несколько лошадей, коров, поросят и семена. Так мы начинали. Построили какие-никакие дома, где жить, каждой семье выделили приусадебный участок, мизерный, хотя кругом земли сколько хошь. На сено тоже был лимит, пусть лучше трава сгниет на горелых полянах, только бы не нам. Да и сейчас так. Опоздаешь на работу на полчаса - три месяца тюрьмы, притом где - в Тюхтете, и туда арестант должен топать сам за

100 километров. И как все для нас, первых ссыльных, началось, так и идет по сей день.

Вас-то уже принимают как гостей, сразу дают крышу над головой, работу. Как-нибудь перетерпите, сдюжите. Прежде я тоже проклинал и власть, и жизнь свою, думал, лучше бы мне не рождаться. Но помаленьку обжились, привыкли. У Гитлера было бы не лучше.

В деревне Пищиково, куда доставил Аустру Калныню словоохотливый возница, ее поселили в комнате, которую пришлось делить еще с двумя семьями. Того говорливого мужичка никто из женщин в Пищикове больше ни разу не видел.

Приезжим на другой же день надо было выходить на работу в тайгу. Аустра с детьми осталась дома, не в силах подняться.

Разнарядку давал бригадир Тюхтетского промкомбината. Нужно было вырубать мелкие пихты, отсекал их мелкие, пахучие ветки, складывать в кучи; затем лапник увозили на завод, бывший у реки, тут же рядом. «Завод» этот собственно представлял собой большую бочку, чан, в который сваливали собранную хвою, толкли, прижимали грузом и затем паром выгоняли из нее живицу для скипидара, - густое масло, прозрачное, как дистиллированная вода. В молодых пихтах живицы больше, чем в больших деревьях, поэтому и заготавливали только молодняк. (Эти мощные деревья с серебристо-голубоватой хвоей местные называли пихтами, и если на самом деле хвойные великаны называются как-то иначе, пусть наши дендрологи великодушно простят!)

Работа не была тяжелой. Воздух полон бодрящих ароматов. Ни колючей проволоки, ни конвоиров. Горести и унижения как будто отступили хотя бы на шаг. Тайга дышала полузабытой свободой.

Но комнатка трех семейств на окраине деревни была по-прежнему пропитана слезами. Вся мебель состояла из столика и дощатых нар. На них, так же как прежде на церковном полу, почти недвижно лежали трое. Рано утром и по возвращении с работы соседки по мере сил помогали, но весь день напролет больные были предоставлены сами себе. Лишь изредка заглядывала какая-нибудь местная русская: изба не запиралась. Но Аустра могла и не заметить вошедшую, она горела в лихорадке, сознание то и дело отключалось.

Однажды вечером, - это было в один из начальных дней, - женщины, вернувшиеся с работы, увидели, что младенца Яниса уже нет. Нет, он был тут же - но и не был, его мучения прекратились вместе с дыханием. Сама Аустра этого не знала. Не сознавала она и того, насколько больна сама, не знала, что старший сын Юрис, которому было полтора или два года, так же борется с болезнью. Она металась в горячечном бреду, не отличая сон от яви. Врачебной помощи здесь, разумеется, не было и в помине.

Сестры по несчастью сколотили из досок ящик, в котором и отправился в последний путь человек, который мог бы в ином случае взять на плечи будущее своей страны. Самодельный гробик поднесли к Аустре, она взглянула на него, но глаза ее тут же сомкнулись снова. Мать даже не поняла, что это было прощание, прощанье навеки.

Болезнь отступила примерно через неделю. Встав на ноги, Аустра уже на следующий день ушла в деревню - менять вещи на картошку, хлеб, молоко. Есть-то было нечего. Торговаться у нее не было сил - сколько давали за туфли или платье, столько и брала. У нее не было сил даже говорить, каждое движение все еще давалось с трудом.

От угла тянуло холодом. Мать руками пыталась согреть ступни ребенка, но и в руках тепла не хватало. Собравшись с силами, она совершила невозможное: на руках отнесла сына в Тюхтет, в больницу. Лошадь ей не дали: как это, не успела ни одного дня проработать, и уже с просьбами! Аустра шла долго. Пройдет кусок дороги, посидит, отдышится, еще кусочек одолеет. Вышла она рано утром, когда тайга была еще темно-зеленой, с черными тенями, оставшимися с ночи, хотя солнце уже успело брызнуть ярким светом на всё.

Прохлада еще держалась в воздухе. Дорога шла мимо таежных гарей, уже воспрянувших молоденькой свежей зеленью. Алые лесные колокольчики ласково позванивали, чтобы скрасить дорогу. Над черными пнями от выгоревших кедров покачивались синие точеные башмачки, сердобольный ветерок освежал взмокший лоб путницы, забывавшей его вытереть. Среди серебристо-седых стеблей полевицы вспыхивала оранжевым огнем гордая сибирская лилия - саранка. Она словно хотела

поделиться с человеком солнцем, накопленным в сердцевине цветка, но бредущей с ребенком на руках путнице было явно не до нее. Вплотную к заросшей таежной дороге подступали лютики - самые скромные и не понятые из лесных цветов, вроде бы не нужные ни зверю в пищу, ни человеку ради красоты. И не замечают люди, что в знойный полдень, когда другие цветы не выдерживают жары, лютик свеж и несгибаем, и может быть, именно в нем спасается в эту пору душа лета. Через лютики переступают, ищут для букета лилию, лесную розу или синюю орхидею - кукушкины слезы. Только ребенок умеет порадоваться солнечной желтизне лютика. Аустра взглянула на стайку лютиков, губы ее дрогнули, но и на улыбку сил не хватило. Она все-таки нагнулась, не выпуская из рук ребенка, сорвала лютик и протянула малышу. Но ребенок не смог разжать сомкнутую в кулачок ладошку. В глазах матери блеснула слеза. И такая же капля росы сверкнула в чашечке цветка.

Дальше прямо на дороге перед ними оказались ромашки, одна и другая, и они словно плакали, сочувствуя прохожей, роняя с белых лепестков слезинки росы ей на ноги. Аустра остановилась.

Кажется, расплакались этим утром все цветы, туфли совсем мокрые. И множество звуков вокруг. Осинник расшумелся, как осенью. Под ногами хрустит валежник. Где-то стучит и стучит дятел. Нет тишины. Тишина нужна Аустре, чтобы слышать сердце ребенка.

Аустра вдруг прижала свою дорогую ношу к плечам еще крепче и, казалось ей, заспешила. На самом деле она передвигалась медленно. Очень устала.

Я ее встретила тогда в больнице с сыном, переброшенным через плечо, точно узел с платьем, в руке малыша был зажат смятый лютик.

- Что доктор говорит?

- Я толком не поняла. Но ему немного осталось.

Ей еще предстоял обратный путь, те же 10 километров. Цветы уже не стояли у дороги. Они, похоже, спрятались в траве, чтобы не видеть людского горя.

Юриса похоронили в Пищикове рядом с братиком.

Как чужбина встретила Александрю Звиед্রে

В Тюхтетском клубе оставалась только одна семья: Александра Звиедрите, как мы ее ласково называли, с двухгодовалыми близнецами и шестимесячной Инесой. Мать обреченно ждала решения своей участи. Комендант не знал, куда ее сплавить, пока не перехватил, наконец, прямо на улице проезжавшего мимо колхозного председателя и чуть ли не силком заставил взять к себе последних ссыльных. Председатель, недовольно ворча, привязал лошадь к обглоданной сосне у церкви, открыл тяжелую дверь. Он был крив на один глаз. Но и своим единственным глазом внимательно осмотрел молодую, красивую, несмотря на все пережитые тяготы, мать и предложил ей собираться - бричка ждет снаружи.

Александрю с детьми и узлами председатель привез к себе домой, сказал жене, чтобы накормила приезжих; хлеб и молоко появились тут же. Новая колхозница быстро поправилась, ожили и дети. Все были сыты и здоровы, но о работе председатель все еще даже не заикался. Жалеем из-за детей? - гадала Звиедрите. На работу рано утром уходила хозяйка, зато одноглазый покровитель все чаще с поводом или без повода оказывался дома посреди дня. Прошла неделя, хозяйские знаки внимания стали совсем уж недвусмысленными. Поняла это и председательская жена. Оставаться здесь становилось опасно: кто знает, до чего может довести женская ревность. Порывшись в чемодане, Звиедрите нашла мужнину новую сорочку и отдала ее колхозному кучеру со слезной просьбой - отвезти ее с детьми обратно в Тюхтет, да так, чтоб никто этого не заметил. Путь был недалек, всего шесть километров. Парень согласился, и однажды днем, когда председатель распоряжался в конторе, а его жена была в поле, латышская семья очутилась снова в районном центре возле общежития, где ютились латышки, принятые на работу в МТС. Что было в Троицке, где в председательском доме обнаружилась к вечеру пропажа жильцов, история умалчивает.

Большая комната общежития была сплошь занята нарами и пожитками, притом без разрешения администрации здесь никого не селили. Подробностей добавить не могу: что там было, чего не было, точно не знаю. Зато известно, что Звиедрите не растерялась. Во дворе, у стены общежития расстелила одеяло, на него уложила детей, вокруг - узлы, чемодан, и все вместе укрыла еще одним одеялом. Двойняшкам строго-настрого наказала лежать смирно, а если маленькая заплачет, дать соску. Приблизится собака или свинья - кричать во все горло, авось испугаются и уйдут. Самим ничего не бояться и никуда не бежать. С тем Александра и оставила малышей и чуть не бегом отправилась на поиски жилья.

В центр она и не заглядывала - ее целью были боковые улочки, карабкавшиеся вверх по склону холма. Карабкалась и она, то вверх, то вниз, не пропуская ни одной избы, но всюду встречала отказ. По-русски она понимала и говорила, но это не помогало. «Так много?» - нет, никто не хотел брать семью на постой. Да ни у кого и не было лишнего помещения на четверых.

Подступали сумерки, Звиедрите брела по какой-то Банной улочке, боясь думать, как там дети на чужом дворе... Вроде бы все уже пройдено, дом за домом, все спрошены, везде отказано. Еще один раз, последний, для очистки совести, пройти у подножья холма, еще калитка, еще отказ; нет, никому они не нужны. Так что же, придется провести эту ночь с детьми под открытым небом? Так или иначе, бежать к ним! Столько часов они сами по себе, что там творится? Александра пустилась опять бегом вверх по каменистой тропе, к центру. И тут в облаке густой вони навстречу ей вышла женщина с лопатой на плече. Встречная остановилась, спросила грубовато:

- Чего ревешь?
- Реву? Разве я плачу? - сама себе удивилась Звиедрите.
- Как же не ревешь, если слезы ручьем?
- У меня нет дома.
- Дома нет? А куда ж он девался?
- Мне ночевать негде. Дети одни - на голой земле.
- Давай ко мне, если вонь не пугает. Я говно вычищаю. Моя землянка вон, видишь, внизу.
- Ой, спасибо. Я приду. Только за детьми слетаю.

Когда Звиедрите добралась до общежития, уже стемнело. Во дворе было тихо, двери общежития заперты. Затаив дыхание, подошла Александра к стене, возле которой оставила детей. Малыши мирно посапывали под одеялом, возле них сидела на корточках незнакомая девушка.

- Девочка, тебе что, тоже некуда деться? - тихо спросила Звиедрите.

- Есть куда. Я тут живу, в комнате. Я подошла, когда они плакали и звали маму.

- Как тебя зовут?

- Валда.

- Спасибо тебе, Валдочка. - Александра погладила девочку по голове. - Ступай теперь домой, к маме, мы уходим.

К ночи и дети, и узлы, наконец, были на месте. Усталая до смерти, Александра в то же время радовалась: есть крыша над головой, нашлась добрая душа.

Хозяйку звали Москвичкой. Под этим прозвищем ее знали в городке, потому что женщина за много лет до этого была арестована и выслана из Москвы или Подмосковья. Настоящее свое имя она, кажется, и сама успела забыть. Помнила только, что и у нее были дети, двое, но их отняли и отправили в детдом. Больше она о них не слышала. Теперь Москвичка жила в землянке, брошенной каким-то цыганом. Чистила выгребные ямы. Если появлялись деньги, пила и курила. Не было ни работы, ни денег - спала. Никто ее в гости не звал, без особой надобности никто не ходил и к ней.

Москвичка приняла Александру, точно родную сестру, малышей - как родных детей, вернувшихся к ней. Указала им самый теплый и сухой угол, настелила пихтовый лапник. Крыша землянки давно прохудилась, и за пределами «гостевого» угла было совсем сыро и грязно.

Писатель с самым богатым воображением вряд ли смог бы выдумать все то, что в реальности пережили матери с детьми, брошенные на чужую неласковую землю. Да и всю правду, виденную своими глазами, не расскажешь: память не достает до дна той пропасти немыслимых, часто невыносимых страданий.

На базе «Заготскот»

В бараке

Нас с Алнисом определили на Тюхтетскую районную базу «Заготскот», примерно в шести километрах от города. Специально для нас и таких, как мы, там был выстроен длинный барак, разделенный тонкими перегородками на четыре отсека. В них разместились мы, 30 человек:

Кукайне Алма (39 лет) с 12-летним сыном Янисом Праулине Анна (42 года) с 9-летним Атисом и 12-летней Астридой

Ванага Мелания (36 лет) с 9-летним сыном Алнисом Хасмане Эмма (ок. 50 лет) с 11-летним Рене и 16-летней Эдифью Хасмане Анна (ок. 60 лет)

Брока Вера (33 года) с 4-летней Илзе и 7-летней Интой Айвиексте

Вероника (33 года) Эверте Элза (ок. 45 лет)

Карклия Аустра (ок. 35 лет) с 9-летним Иварсом. Вилнис, родившийся здесь, умер в больнице

Залите Мария (38 лет) с 9-летним Дзинтарсом

Дзирнекле Паулина (62 года)

Эглите Луиза (29 лет) с 2-летним Гунтисом и 5-летним Андрисом. Карлис умер на пути в Тюхтет Киегале Алвине (старше 60)

Киегале Вилма (37 лет). Двухлетний Русиньш только что умер в местной больнице Сика Минна (57 лет) Сика Анна (20 лет)

Сика Милда (26 лет) с 7-месячной дочкой Тейкой. (Имена и возраст - согласно записям Милды Сики)

Барак построили из старых балок и досок, нам досталась вторая из четырех комнат. В отсеке 10 жильцов, каждой семье

отведена полоса в две-три половины, на этой площади нужно было пристроить вещи и разместиться самим. И не было ни одного среди нас, кто не радовался бы окончанию пути, каким бы оно, это окончание, ни было. Хотя сквозь щели в полу был виден дневной свет, а ветер нес внутрь пыль и холод.

Дом стоял на шести сваях, приподнятый на полметра над землей, как иногда у нас клетки поднимают, чтобы проветривались. Вскоре нам соорудили нары - вместо кроватей. Но доски для них были от какой-то старой постройки и кишели клопами. И стены барака происхождением своим были обязаны снесенным домам, и там в клопах не было недостатка.

Уже на другой день по прибытии нас снарядили на работу, хотя никто не успел толком отдышаться после долгого мучительного пути. Но ведь не на курорт прибыли. Кому предстояло косить траву, кому рыть выгребную яму, кому дрова заготавливать, скот пасти. Но налетели кровопийцы-комары, и никакой работы не получилось. Никто нас не предупредил об этой напасти - ни у одной из нас не было накомарника, без которого здешние не выходили из дома. Да и одежда наша не годилась для работы - шелковые платья, особенно у тех, кто работал в тайге, быстро обращались в лохмотья.

Мне выпало пасти коров, и я была рада, хотя работать пришлось без собаки. Сибиряки о собаках - помощниках пастуха ничего не знали и даже верить не хотели «таким сказкам». Главпастухом на базе был Васька, день-деньской не слезавший с коня. Вдоль края тайги мы гнали стадо к дальнему выпасу. Удивительно, но этот путь я еще дома, в Латвии несколько раз видела во сне. Объяснить такое простым совпадением невозможно. Первый день прошел удачно, к вечеру мы сдали коров целыми и невредимыми ночным сторожам.

База состояла из нескольких объектов. За нашим бараком была так называемая черная изба, где складывали и хранили то-сё по мелочи; позднее избу посчитали жилой. Между нами и конторой была и еще одна избушка без крыши, вначале там держали забитых бычков до обработки, потом в нее поселили Кукайните с семьей.

Между латышами прошел слух, что надежда вернуться на родину будет у тех, кто сумеет подготовить себе смену из местных русских, и мы чуть ли не все разом превратились в «неграмотных», ибо образованных людей, которых можно было бы подготовить себе на смену, здесь было не много. Я делала вид, что даже расписаться в получении зарплаты не могу, и за меня долгие годы расписывалась бухгалтер Патылицына. Наш наивный обман раскрылся много, много позже. Но возвращение домой он ничуть не приблизил.

Первая «гонка»

Завезенный на базу скот следовало доставить на мясокомбинат. Операция эта называлась «гонкой».

На третий день после нашего прибытия перед нами была поставлена задача - гнать партию скота на мясокомбинат в тот самый Ачинск, где мы томились за колючей проволокой; расстояние было 100 километров. Крупного скота в стаде около 400 голов и еще 700 овец. Погонщиками назначили и трех латышек, владеющих русским языком, в том числе меня. Как я ни убеждала, что еще не выздоровела после тяжелой дизентерии, что малолетний сын остается без присмотра, без еды и без денег (почти все деньги остались у мужа), это не помогло. Управляющий ехидно переспрашивал: «Больная, значит? Подумать только! Ребенка не можешь оставить? Грудничок, что ли?»

Старый Черт, как мы его тут же прозвали, не давал забыть ни на миг, что мы сюда привезены не затем, чтобы жить. Выжать из человека все, что возможно, и с концом. Мы, те, кто выжил, вынесли всё лишь потому, что в нас была заложена невероятная жажда жизни, природные силы и надежда на освобождение. А еще помогало то, что все беды сваливались на нас неожиданно.

Тем утром мне удалось купить за три рубля у одного старичка на базе лапти, - в туфлях на каблуках я бы далеко не ушла. Платье, правда, осталось то же самое - пестрое шелковое. (Лапти до конца пути не выдержали, развалились. Последние километры шла босиком).

Стадо сопровождали шесть пеших и два конных погонщика, то и дело щелкавшие кнутах так (кнutowища короткие, плети длинные], словно они палили из ружей.

Алнис остался стоять у дверей. Один. Один на чужой земле, в чужом углу, у чужих людей. «Держись, сыночек! Видишь - мне нужно идти, ничего не поделаешь. Будь сильным! Если покажется совсем трудно, вспомни папу. Или подойди к тете Айвиексте. В обед тебе дадут молочного супа, как всем работникам, - мою порцию. Только не опоздай, приходи вовремя!»

Так для Алниса началась самостоятельная жизнь. Ему, как мальчикам в каком-нибудь индейском племени, нужно было с малых лет самому научиться защищаться, бороться со злом, с холодом и голодом.

«Гонка» началась сразу после завтрака. За день предстояло пройти с нашими стадами 30 километров. На ночь животных сгоняли в круг, тесный, как пчелиный рой. Разжигали костры, в которые кидали лапник и гнилушки, чтобы дыму было побольше. Иначе не было никакого спасения от гнуса - комаров и мошки, налетавших черной тучей. Не только люди, но и животные сами старались оказаться в полосе дыма, и так и стояли до глубокой ночи, когда даже гнус убирался в свои зеленые логова до рассвета. В эти часы, наконец, засыпали и животные, при них оставались дежурить только двое.

Первую ночь мы провели в тайге на плоской выгоревшей площадке на макушке высоченного холма. Среди горелых пней все было усеяно белыми ромашками и розовыми лесными пионами - напоминало это цветочную плантацию в Голландии, виденную, конечно, только на картинках. На северном склоне горы вздымались огромные пихты и кедры, с юга серебристую изнанку выказывали при малейшем ветре ивы. Бродяги-осины разбежались повсюду, на их ветвях стрекотали сороки, покачивались галки. Наверху попадались обгорелые остовы деревьев, точно обугленные великаны с обрубками вместо рук. Далеко внизу лежала тайга - темная, как ночь, как бездна.

Природа Сибири захватывает первозданной красотой, только вот в людских сердцах ей, этой красоте, нет места, они заполнены до краев заботами и тяготами трудной жизни. До Ачинска было

пять ночевков. Добрались наконец до места - а на мясокомбинате перебор крупного скота, принимают только овец. Перед сдачей овечкам весь день не дают воды, поят лишь в последний момент - чтобы вес нагнать. Поили стадо у того самого ручья, который протекал и через территорию нашего недавнего лагеря за колючей проволокой.

При взвешивании наши умельцы тоже не дремлют. Загоняют на весы 15 овец. Взвесили, выпускают затем через другие ворота, весовщики их при этбм пересчитывают, и в этот самый миг наши хитрецы одну овечку «выдергивают», оттесняя к еще не взвешенным. И так на каждом шагу - все делается, чтобы нагнать вес. Не ради спорта, не из преступных намерений, а чтобы возместить потерю веса в дороге. Ну и разве что иногда подзаработать на лишних килограммах. Когда овцу «выдергивают» назад, количество сосчитанных животных остается неизменным, меняется только вес. Нас нагревают на каждом шагу, а чем мы хуже? Говорю «мы», хотя латышки в таких проделках не участвовали. И потом, с годами, этим мелким жульничествами так и не научились.

Крупный рогатый скот не принимали, коров и бычков пришлось гнать обратно через Чулым, по тому самому, почти лежащему на воде понтонному мосту; переправляли на тот берег мелкими партиями, и наши подопечные сами брели по мосту медленно, осторожно, стараясь держаться подальше от края. За рекой, тут же, на заливных лугах надо было пасти все стадо неделями, пока не подойдет наша очередь на мясокомбинате. День и ночь на открытом пространстве, точно в степи. Под палящим солнцем и холодными ночами, в дождь и грозу. Молока было вдоволь, а вот хлеба, уже привычного, недопеченного и пересоленного, не хватало, с базы его доставляли редко. Ели ягоды черемухи, росшей по берегам Чулыма. Сухой климат резок и переменчив. На солнце было жарко, как в печке, ночами приходилось завидовать местным, кутавшимся в полушубки. Многие из русских и посреди лета ходили в шапках-ушанках.

У меня опять жар, поднялась температура так, что и света не взвидела. Днем и ночью лежала под телегой. Хорошо еще, что привезли хлеб, и возница взял меня с собой обратно на базу. Он

мчался по таежной, перевитой корнями дороге сломя голову. Уже не верилось, что я живой доберусь до места, и я попросила возничего - если помру в дороге, пусть бросит тут же, в тайге, чтобы сын такую не видел и чтобы другим латышкам не надо было беспокоиться о похоронах.

Витька - сын сосланных еще в 1937 году российских литовцев, у которого жива осталась только мать, - посмотрел на меня и испугался не на шутку. Должно быть, я и впрямь походила на призрак. И он помчался еще быстрее, безжалостно хлеща и погоняя лошадь. Телега шла вразнос по корням и ямам, ветки хлестали по лицу. Усидеть я не могла, а когда ложилась, мозги взбалтывались, как яйцо в миксере. Видно, смерть не могла угнаться за нашей повозкой, и Витька довез меня, как ни странно, живой.

Как жил все это время Алнис? Хороших дней было немного, а о плохих он не хотел рассказывать, потому что с малых лет был приучен не жаловаться на трудности, свои или чужие. На рабочий обед ему полагалась тарелка супа и 150 граммов хлеба, остальное он добирал в тайге.

Алнис тоже начал работать

Короткое сибирское лето подходило к концу, а сено на зиму было заготовлено далеко не полностью. Управляющий базой попросил, чтобы я и «своего пацана» пустила поработать. Сено возить. Ничего трудного. Всего лишь верхом на лошади ехать куда скажут.

Алнис в летнее время в деревне жывал, даже пас коров, но на спину живой лошади не взбирался ни разу. Теперь я вместо седла возложила на хребет старому мерину Рыжику одно из двух наших одеял, усадила мальчика и посоветовала, если что, ухватиться покрепче за гриву.

Управляющий, оказавшийся рядом, вырвал из-под Алниса одеяло и отдал мне со словами: «Не унижай мужчину!»

Почти все косари на лугу были русские, и мальчик поначалу не понимал ни слова - все ему нужно было показывать на пальцах.

Но через несколько дней он уже знал главные рабочие команды и термины, а вскоре и другие слова и выражения, столь же необходимые, но неудобопроизносимые, по крайней мере, дома.

Неделю спустя Алнис на жеребце Зубаче мчался так, что мне этого лучше бы не видеть.

- Теперь я скачу на коне не хуже русских мальчишек! - похвастался мне вечером.

Хвалить его за это не хотелось, но ведь не бранить же?

После сенокоса пришло время молотбы, на току детям тоже поручали лошадей, и так вплоть до первого снега.

с

В тайге

Как ни уставали мы к вечеру, нас манила тайга; темная, таинственная, она простиралась вниз, к западу от холма, на котором стояла база, и второго края у нее, кажется, не было вообще.

Как-то воскресным утром мы с Алнисом отправились в тайгу, точно в волшебную страну. Вышли на рассвете, пока начальство не придумало нагрузить и в выходной какой-нибудь срочной работой. Хотелось однажды хотя бы на миг вырваться из обычной рутины. Жаль, что не было у меня тогда фотоаппарата, - и таежные чудеса, и лица и фигуры работников базы так и просились на пленку; что это были бы за неповторимые кадры!

По тропе дошли до выпаса, так называемого Блюдца, а оттуда смело углубились в тайгу, собираясь дойти до реки. Русские рассказывали, что как раз от Блюдца до реки кратчайший путь. Замысел был вдоль речного берега дойти до места водопоя, в этом случае заблудиться невозможно. Местные, правда, предупреждали, что «так далеко» обычно никто не заходит, но мы в ответ лишь самонадеянно посмеивались.

Тайга - первозданный сибирский лес - покоряет глубоким миром и безмолвной красотой. Ожидание некоего волшебства нас с сыном не обмануло. После первой же сотни шагов нас обняли

густой запах лесной прели и полумрак. Множество оттенков зеленого и черного чередовались с коричневыми, золотистыми. Гигантские лиственницы и кедры приветствовали вошедших приглушенным ропотом. Такие маленькие в сравнении с ними, мы невольно примолкли и посерьезнели.

И на земле были такие же великаны, но уже поверженные. А иные, с уже отмершими ветвями, продолжали стоять, как огромные свечи. Где-то я прежде читала о таком, не вспомню только автора: «Издаст громкий стон сухое дерево, уже отжившее свое, но вокруг не находится места, куда упасть, где приклонить голову. Может быть, поэтому иные падают наземь до времени, еще живые». Это и мои впечатления.

Река!

Да, за подлеском часто дышит таежная речка. Бежит точно бы поверх почвы, как в пору половодья, мимо кустов и палых деревьев. Течет она почти вровень с берегами, и к самой воде склоняются ивы, краснотал, смородина. Ольшаников в сибирской тайге нет, во всяком случае нет в окрестностях Тухтета.

Медленно продирались мы через заросли вдоль реки. И радовались. И река, казалось, была рада нам: наконец-то было кому полюбоваться ею. Все было зелено возле реки и в самой реке, даже отражения облаков в воде.

Лиственницы и кедры так пропитаны смолой, что могут лежать на земле десятками, если не сотнями лет. Нам некоторые из них стали помощниками: вскарабкаешься на темный ствол и несколько метров идешь по нему свободно, ничто не мешает. Упавшие деревья со временем обрастают мхом, травой, даже новыми деревцами и кустами. На них опрокидывается очередной великан; на месте падения образуются иногда ямы в полный человеческий рост, которые легко не заметить. И кроме всего прочего, приходится все время обмахиваться, как веником в парилке, чтобы тебя окончательно не съели крупные таежные комары. Местные без накомарника в тайгу не ходят. У нас такой защиты не было.

Нас обступали со всех сторон ели, лиственницы, пихты, кедры, осины, березы. Кедры увешаны сине-фиолетовыми шишками, но

нам их было не достать. Ствол у кедра совсем гладкий, а до нижних ветвей далеко. И они слишком широкие в обхвате, чтобы можно было залезть даже шустрому мальчугану. Мы чуть не вывихнули шеи, глядя снизу на заманчивые кедровые шишки.

Чем дальше мы продвигались, тем непролазней становилась тайга: упавшие деревья, густой кустарник местами дополняли высоченная крапива и плети хмеля толщиной с хороший канат. Мы же по наивности вышли в путь с голыми ногами; руки по локоть чуть ли не с самого начала оказались расцарапаны до крови. Но азарт открывателей был так велик, что его не могли затмить мелкие неприятности и неудачи.

Дошли до еще одного кедра с множеством шишек. Невдалеке от него обнаружили сломанную и уже высохшую сосенку. Приставили ее в наклон к стволу кедра, и Алнис полез наверх. И опять же до нижних ветвей и шишек было высоко, но у Алниса там, наверху, голова кружилась меньше, чем у меня, следившей за каждым его движением с замиранием сердца. Сыну удалось сбить наземь порядочную кучку вожделенных шишек. Мы уселись и начали доставать и грызть их тут же, - понятно, что сварить или пожарить их не было никакой возможности. Кедровые орешки еще не спели полностью, в это время в них все съедобно, нужно только отварить или пожарить их и снять смолистый верх. Наелись вдосталь мы и малины, смородины, еще и соседям набрали бидончик. Черную смородину в тайге вообще-то никто не собирал по ягодке, просто отряхивали всю ветку на какую-нибудь тряпицу. Кусты смородины выше человеческого роста, обирать их трудно. Но спелая ягода падает сама и вкусна сказочно.

- А мы выберемся из тайги до вечера? - спросил опасливо Алнис.

- Должны, а как же иначе!

И снова вперед, и вновь перед нами заросли крапивы в два человеческих роста, которые не обойти. Жмемся как можно ближе к реке, но и берег в густых зарослях вплоть до кромки воды. Только мы пробились, наконец, через крапиву, перед нами стена из смородиновых кустов, усеянных сплошь светло-серыми, сочными

ягодами. Но им уже нас не соблазнить, живот полон, и бидон тоже.

Усталость, подступая, гасит понемногу наш интерес к тайнам тайги, ее величию и неприрученной красоте. Вдруг вспомнилось, что ведь в тайге бродят и медведи, - еще часом раньше ничего такого даже в голову не приходило. Теперь у нас было одно желание: поскорее выбраться из чащобы и успеть отдохнуть.

Через некоторое время нам повезло: попали в молодой сосновый бор, что означало хотя и временную, но свободу. Стройные стволы сосен отсвечивали медью. «Ужасно» красиво! Но силы почти на пределе. Присели на упавшее дерево перевести дыхание. И глядь: на другом его конце мелькнула желтая с коричневыми полосками спинка бурундука (мы таких уже видели). Зверек подбежал чуть ли не вплотную и с любопытством заглянул прямо в глаза. «Привет!» - прошептал Алнис. Но тот свистнул и исчез. Однако через минуту зверек тут как тут, привстал на задние лапки и, видно, просто сгорает от любопытства. Пошелохнемся - пропадает. Посидим тихо - опять вот он. Так мы и игрались, пока не спохватились: надо спешить!

После долгой и нелегкой борьбы с дикой и прекрасной тайгой мы вышли на обширную гарь, поросшую нормальной, такой же, как у нас в Латвии, крапивой. Мы со своими голыми ногами смотрели на нее враждебно, еще не подозревая, что она-то и станет в недалеком будущем нашей спасительницей от голода. Там, где гарь кончалась, сверкнула в глаза долгожданная речка - это и было место водопоя для стада нашей базы. Мы побыли пленниками тайги и больше ни разу не рискнули повторить этот опыт.

У подножья холма, занятого нашей базой, оглянулись. Кажется, всего лишь несколько километров от Блюдца до водопоя, но чтобы преодолеть расстояние между ними, нам понадобился целый день. Искушенные комарами, исцарапанные, с исколотыми и гудящими от усталости ногами, мы были довольны, сыты, мы могли одарить других и таежной ягодой, и кедровыми орешками. Мы с сыном глотнули и неизвестности, и опасности, и свободы. А уже назавтра нас ожидал обыкновенный, рабский труд.

Картошка, картошка!

Нам, сосланным в Сибирь пожизненно (в Ачинском лагере мы подписывали бумагу, согласно которой соглашались «добровольно-принудительно» поселиться здесь на 20 лет; через год каждой предложили писать новое заявление, предусматривавшее добровольную пожизненную каторгу... извините: добровольное поселение до конца дней), нужно было делать самую трудную и черную работу за минимальную плату. За ненормированный рабочий день нам не платили даже столько, чтобы хватило на еду. Поначалу в полном объеме получали только ругательства, вражду и унижения. На нас смотрели с таким презрением, что мы поневоле начинали и сами себя стесняться. Дни тянулись нескончаемо, голодные, безрадостные.

Даже дети уже понимали, сколько несправедливостей вокруг, видели воровство, возведенное в обычай, чувствовали, как ярмо несвободы душит их родителей, страдали от всего этого и особенно от голода.

- Мам, сварим? - Алнис протягивал мне на ладошке три картофелинки, чуть больше трех горошин. Нашел - «там... кто-то выбросил». Я знала, как ему хочется есть, но не могла позволить, чтобы он подбирал на помойке выброшенное нашим сытым начальством. Сказала, чтобы выбросил, - не будем мы подъедать за Старым Чертом!

Мальчик выбросил картофелинки и долго смотрел им вслед, словно горсть золота вышвырнул. И меня эти три картофелины долго еще преследовали наяву и во сне.

Вскоре все мысли и старых, и малых сосредоточились на еде. Каждый вспоминал, что и когда ел дома. Заснешь - и во сне видишь щедро отрезанные ломти хлеба, блины, рассыпчатую картошку. Но сны голода не утоляли.

Хлеба нам выдавали по норме, и было его так мало, что приходилось решать: кому сколько? Мне, чтобы возместить хоть как-то затраты сил на тяжелой работе, или сыну, которому, как-никак, следовало расти? Этот вопрос я задаю только здесь, в книге. В жизни каждая мать ни о чем таком не размышляла - думала прежде всего о детях.

Однажды латышки обнаружили где-то на краю тайги картофельное поле нашей базы и по ночам стали туда заглядывать. И мы вдвоем с Айвиексте решили рискнуть, не видя другого выхода. Взяли с собой наволочки, поскольку других мешков не было, и с наступлением темноты отправились в набег. Страшно было до того, что сердце звенело в ушах. Остановились, озираясь вокруг и прислушиваясь. Казалось, весь мир полон шумов и шорохов, но то был всего лишь ток крови в наших жилах. Отступить мы не могли, голод оказался сильнее страха.

Копали лежа, лихорадочно, точно кроты, роющие нору. Когда наволочки заполнились примерно до половины, страх сделался невыносимым. Хватит на первый раз. Быстрее ветра мы неслись в сторону базы. Но когда добежали до подножья холма со знакомыми строеньями, вдруг залаял Волчок - пес, стороживший базу. Стоп! Дальше нельзя. Собака запах и шум человеческих шагов чует и слышит издали, а мы для Волчка пока что чужие.

Спрятались на дне канавы за кучей хвороста, тихие, как трава под нами. Ночи были уже холодные, но с обеих тек пот. Может, люди видели, как мы уходили, и кто-нибудь нас выдаст? Может, Алниси уже допрашивают - где мать? Голова трещала, как перетопленная печь.

За строениями базы выплывала луна. Только ее и не хватало! Поднимается выше и выше, словно ей не терпится увидеть картофельных воришек. Увидеть и другим показать! Но мы так схоронились в тени за кучей хвороста, что луна зря старалась. Ах ты, предательница! Ах ты, ищейка! На родине луна освещала дорогу влюбленным, ни один честный человек ее не боялся. М-да, честный человек. А мы...

Как же нам попасть домой? Луну мы не взяли в расчет. Спрятаться от нее можно было в тайге, но уж никак не на голом месте перед базой.

И тут случилось непонятное. В небесах засверкали разноцветные сполохи. Сделалось еще светлее. Мы припали к земле, вросли в нее.

Огненные полосы быстро заполняли небо, точно проливаясь сверху вниз потоками огня. Мы даже подумали, что на базе включили мощные прожекторы и пытаются ими нащупать нас. Со

стороны базы и впрямь слышались голоса, значит, там не спали. Единственное, что нам оставалось, - бежать в тайгу.

Нам даже не понадобилось слов - обменялись мыслями и наутек. На бегу мы потеряли друг друга, о том, чтобы позвать спутницу, не могло быть и речи. Мы лишь чувствовали, что другая жертва голода и страха где-то рядом. В тайге ни звука. Лишь мирное дыхание задремавших деревьев. Хорошо им!

Страх отпустил, в темной тайге я сразу сообразила, что впервые в жизни видела северное сияние.

Домой повлеклась, когда погасли сполохи и луну тоже скрыло сердобольное облачко. Это было похоже, наверное, на детскую игру: я бежала вовсю, замирала, когда луна опять выходила из-за облака, скроется ночное светило - опять бегу, появится - прячусь в тени дерева или припадаю всем телом к земле. Где Айвиесте, что с ней - не знаю.

Возле самого барака лежало огромное неошкуренное бревно. Я притаилась за ним, глядя во все глаза: что в доме? Там было тихо. Лишь по другую сторону кругляка слышалось вроде сопение.

- Веруня, ты?

- Ну да! - прозвучало оттуда слишком радостно и слишком громко. Мы аж расцеловались от избытка чувств и в барак прокрались бок о бок.

Теперь днем мы «вкалывали» на поле или при скотине, а ночью хотя бы пару раз в неделю совершали вылазки за картошкой. Голод идет рука об руку с унижениями и преступлениями.

Большое картофельное поле базы пострадало сильно, и Старый Черт догадывался, что за этим стоят латышки. У русских картошка была своя, выращенная на приусадебных участках. Местные жители, зная, что мы голодаем, и то удивлялись, почему с их огородов не пропало ни одного капустного листа. Медленно, но верно их отношение к нам менялось, по крайней мере, внешние проявления вражды встречались все реже.

Картофельное поле теперь охраняли сторожа, предупреждавшие: попадетесь - будем стрелять. Выбор был невелик. С одной стороны, риск получить заряд дробы. С другой - боязнь, что дети зачахнут от голода. И мы все-таки продолжали свои ночные вылазки, рискуя головой. Если ночью к темноте прибавлялся

ливень, да еще с грозой, способные двигаться латыши отправлялись за картошкой чуть ли не поголовно. Гроза была наш лучший союзник, она загоняла сторожа с ружьем под крышу избушки, и мы могли набрать по мешку картошки. Ливень к тому же смывал наши следы. Правда, грозы были не так уж часты, а есть хотелось все время.

Настали и осенние ночи, в ясную погоду землю уже подмораживало. Однажды разнесся слух, что сторож, старик Попов, покончил с собой - его нашли в избушке повесившимся. Земля ему пухом, но наши дети просили есть, и зная, что стражи ночью не будет, мы с Айвиексте и еще одной женщиной, Верой Брокой, босиком отправились к полю. Босиком, потому что лапти мы берегли для работы, а кроме того, боялись оставить следы: русские, работавшие на базе, в лаптях не ходили, а Старый Черт уже не раз грозился, что самолично поймают хотя бы одну латышку на месте преступления.

Ноги жутко мерзли, душа уходила в пятки. Тишина такая, что слышно было, как лопаются корбочки пикульника и как мыши грызут клубни картофеля.

Добрались до середины поля, так понадежней. Залегли каждая в своей борозде - и ну копать. Картофелины крупные, справились быстро. Уже вернулись «с урожаем» на край поля, когда сбоку раздался вроде бы хруст тяжелых шагов. Старый Черт выследил нас? Мы замерли, боясь пошевелиться: подмерзшая картофельная ботва, стоит задеть, выдаст нас.

Выстрел!

Мы обе, испугнутые, точно лесная дичь, уже мчались к тайге. Трава на опушке затвердела и колет, как иглами, впрочем, нам не до того. С добычей через плечо бежим без оглядки. Старый Черт, кажется, сопит за спиной, вот-вот догонит. Влепит пулю - и поминай как звали, сын дома ждет тебя - не дождется.

Выстрел. Еще выстрел. Запах пороха. Из черемуховых зарослей выходит охотник и спешит к реке - собрать подстреленных уток.

Той осенью у латышек было немало таких ночей. Таких тревог, вплетавших серебряные нити в волосы женщин, чтобы ничто не забылось.

Я уже достаточно поправилась, и меня можно было снова

послать на гонку. Снова в Ачинск. Холодные ночи проводили так же, как прежде, под открытым небом, но на этот раз я не заболела.

Алнис опять оставался один с ежедневными 150 граммами хлеба, с правом на мой рабочий суп, но без права по ночам самому пробираться на картофельное поле.

В следующее воскресенье все наше начальство отбыло в Тюхтет, и Айвиекте решила, что можно предпринять поход за картошкой днем. С собой она позвала Алниса, уговорились так: мальчик останется внизу, возле дороги, и если кто окажется поблизости, он запоет.

Айвиекте выше, на взгорье, вздрагивая и торопясь, копала картошку, Алнис присел на придорожный пенек и зорко оглядывал окрестность. Крутил головой, крутился и сам, глазел во все стороны, пока не забыл, зачем он здесь сидит, зачем головой вертит, куда и зачем смотрит. Ему надоело сидеть, он вскочил с места, схватил первую попавшуюся ветку и, отбивая этой самой веткой такт на только что покинутом пне, запел новую тогда песенку: «Три танкиста, три веселых друга...»

Айвиекте, заслышав сигнал тревоги, впала в панику. Бросив на борозде свой мешок с картошкой (первый и единственный случай в истории наших прегрешений), она ринулась к тайге. Тут Алнис вдруг понял, что натворил, но было уже поздно. Айвиекте он нашел в тайге, она часто дышала, хватаясь за сердце. За картошкой пришлось идти ему.

Через несколько дней началась уже официальная уборка картофеля. На поле вышли работники «Заготскота» в полном составе. И латышки. И я, уже успевшая вернуться из Ачинска.

Мы сами не без ужаса наблюдали следы своих ночных посещений: точно стадо кабанов перерыло все поле. Старый Черт был тут же. Он отлично знал, что это за кабаны поработали, но, как говорится, не пойман - не вор. Начальник хотя и грозился нас самих втоптать в землю вместо вырытого, но слов мы уже не боялись. Пусть собака лает, лишь бы не кусала. Как только Старый Черт или кто-то из чужих уходил, мы торопливо устраивали ямку, бросали туда побольше картофелин и прикрывали сверху землей. Когда работы здесь закончатся, мы вернемся ночью и заберем спрятанное.

Увы, зря старались. Или кто-нибудь видел и донес о наших схронах, а может быть, то был обычный порядок, но когда урожай был собран, на поле выгнали свиней, оголодавших не меньше, чем спецпереселенки, и уж те постарались.

Русские рабочие разошлись по домам, а мы, латышки, еще оставались в поле и выглядели, должно быть, так, словно только что услышали о наступившем конце света. Свиньи с необыкновенной быстротой уничтожали все надежды на добавку к скудному рациону наших семей. Мы, конечно же, знали, что у свиней на эту картошку прав гораздо больше, чем у наших детей. Спасибо еще, что успели набрать картофеля в платки или просто в завернутый подол юбки. Но тут появился один из подручных Старого Черта и ну орать! Не только заставил все высыпать на землю, но и собственноручно и отнюдь не ласково «помогал» освободиться от драгоценной ноши. И стоял рядом, пока свиньи не сожрали все отнятое дочиста. Немногим удалось выхватить несколько клубней из-под рыла очередной хавроньи и все-таки принести детям на ужин.

- Бабушка пекла оладьи. Варенье тоже было на столе, но я не успел попробовать, - рассказывал мне утром Алнис. - Проснулся!

Сны наших детей и наши собственные были похожи. Нам снилась еда.

Первая осень в Тюхтете

Тяжким испытанием стала уже первая осень в Сибири. Мы работали то 8, то 12 и даже 15 часов в сутки, но заработка не хватало на еду. Мучила и неизвестность: мы ничего не знали о судьбе наших мужей, родных, оставшихся в Латвии. Немногим больше мы знали и сами о себе - мы все еще верили, что в Тюхтете ненадолго, что если не Сталин, то война нас освободит. В Ачинске мы припадали к земле и слышали далекую (от самой Риги!) канонаду. Я сама так делала, сама слышала (!). Что там гремело и звенело у нас в ушах, не пойму и сегодня. Трудная и скудная жизнь притупляла чувства и мысли, мы чем-то себе напоминали тех бычков, которых гнали в

район на убой. Одуревших от ударов (бить можно ведь не только батогами).

У Анны Гредзены родился в Тюхтетской больнице сын Янис и там же умер. На базе Аустра Карклиня родила сына Вилниса, и он, недолго промучившись на холодном, недобром свете, умер. Негде было оставить мертвого младенца. Я дала бельевую корзину, привезенную из дома, мать уложила в нее ребеночка. Корзину разрешили подвесить в избушке под самым потолком; помещение было целиком занято тушами забитых животных, по мере обработки их отвозили на мясокомбинат. Один из работников базы сколотил ящик, в котором маленького Вилниса похоронили на Тюхтетском кладбище. Уже настала зима, земля промерзла, и могильщик выкопал неглубокую яму поверх другого гробика - там, где недавно упокоился сын Киегале, Русинын. Узнали мы об этом только весной. Но перед этим зимними ночами Вилме снился ее сын; там, во сне, он жаловался, что его теснит сверху Вилнис...

Тетушку Дзирнекле поймали с собранными в поле колосками ржи. Ей грозило восемь лет лагерей. Но так как на ее иждивении были два мальчика и Луиза, только что вышедшая из больницы, Старый Черт заступился за бабушку, и она отделалась тремя днями тюрьмы. Марию Азене за такие же колоски посадили на восемь лет. Пока она отбывала заключение, ее сына в лесу насмерть пришибло падающим деревом.

За 11 украденных картофелин на льнокомбинате в Аскарровке была осуждена на два года Лидия Зейде; в тюрьме она умерла. Ее сыночка Яниса отдали в детдом.

За два капустных кочана приговорили к двум годам заключения Милду Югере с двухлетним ребенком. Но, как ни странно, в тюрьме о ее ребенке заботились, в тюремном отделении матери и ребенка оба получали казенную еду, и оба выжили.

В Тюхтете умирали дети латышек. Реже взрослые. Никто никого специально не убивал, люди гибли сами.

Инту Броку на току лягнула лошадь - шрам от удара кованым копытом оставался на ее лице до конца дней. При молотье детей приставляли «командовать» лошадьми.

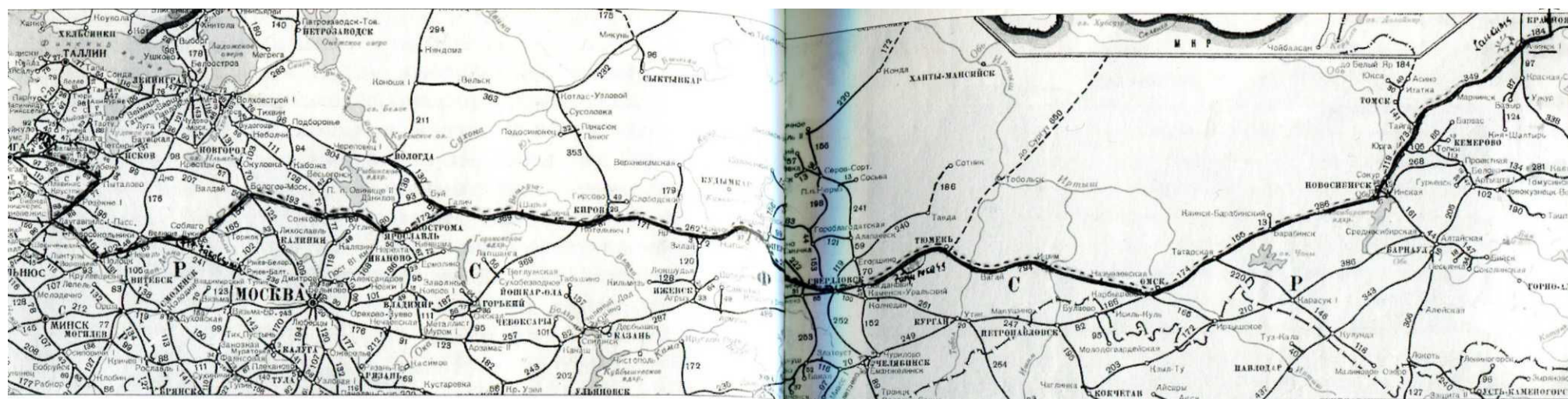
Вилис Звиедра тоже получил копытом в лицо.



Семья Ванас
в 1936 году

<p> Jevārds, vārds, ģimenes stāvoklis precēts, neprecēts, atraitnis vai šķirts un bērni līdz 16 gadiem, kuriem nav tseviskja pase vai personas apliecība </p>	<p> Pase vai personas apliecība, tās №, no kā un kad izdota un uz kādu laiku </p>	<p> Kad pietiekts </p>	<p> Kad un uz ku- riem aizgājis </p>	<p> Kad izrakstīti </p>
<p> Vanas, Melānija prec. Vanas, Alnis </p>	<p> Pases nr. 329232 M.A. № 007735, izdoti Rīgas prefektūrā 1941. g. 31. decembrī </p>	<p> 26.10.41 </p>	<p> 1941. g. 14. jūnijā Uz kuršmā nesim </p>	<p> 16.11.41 </p>
<p> Vanas, Aleksandrs prec. </p>	<p> Pases nr. 115939 BK № 015844 izdoti Rīgas prefektūrā 1928. g. 7. decembrī </p>	<p> 20.10.41 </p>	<p> 1941. g. 14. jūnijā Uz kuršmā nesim </p>	<p> 16.11.41 </p>

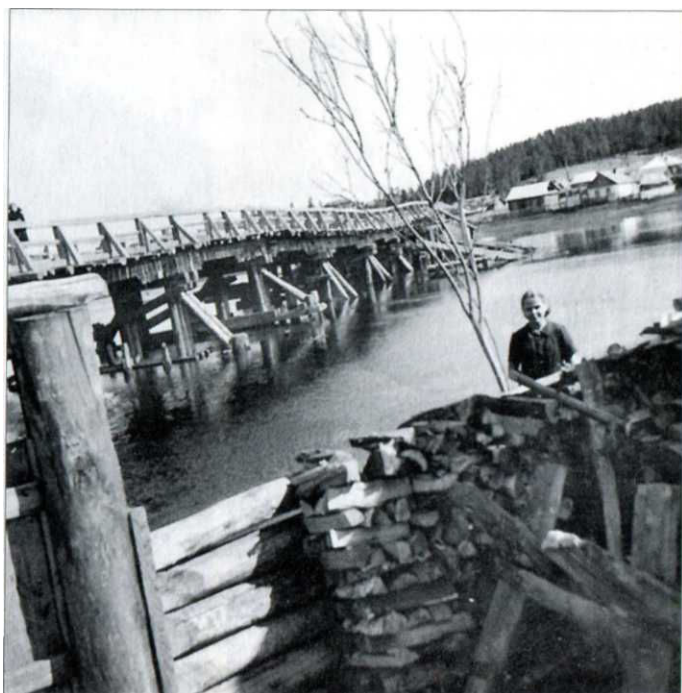
Страница «Домовой книги» с записью о нашей высылке



Наш путь в Сибирь - 5169 км, судя по карте



* * *



Мост через реку Тюхтетку



Наше общежитие и его отражение в воде. Запруду и дорогу справа не один год строили мы сами



На базу «Заготскот»



Одна из скотобаз



Это домик ссыльных литовцев



Тетя Праулине и Астрида



Моя хижина с подновленной
крышей и только что
прорубленным большим окном



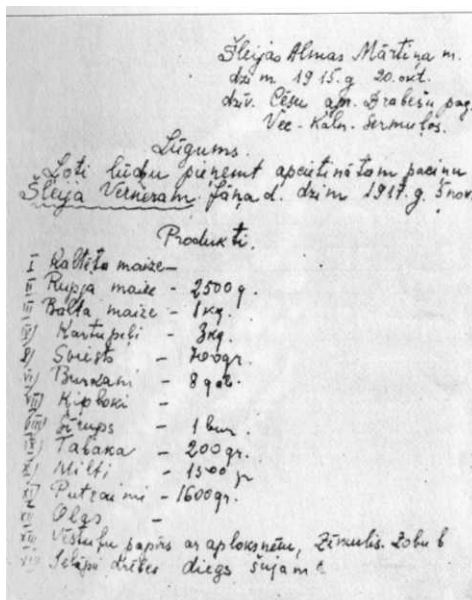
Тюхтетский мост



Калмыцкая землянка на улице
Крупской. В конце улицы - дом
ссыльных немцев



Алма



Передача, которую жена моего
брата Вернерса принесла ему в
Центральную тюрьму в 1946 году



Мамочке 62 года



Звиедрите с сыном Вилисом

lietus - 800	2 mēc - 20
jūnijs - 270	podis - 5
kārtis - 37	kastes - 20
vešana - 30	st. burka - 10
	koki - 30
pl. durvis - 20	<u>1750.</u>
dēli - 60	Kart. 400
dēli - 20	50 p.
nāgļas - 10	2150
durvis - 20	krāso 20
zemeļauko - 20	<u>2170</u>
	1295
siens - 30	žēdi - 64
kaķa - 300	
gulta - 30	
	<u>1655.</u>
	2234.
	(sagā at 800 l. par dienu.)

Самые большие покупки
1948 года



Могила Адольфа Фришманиса весной 1951 года

Не нужно бы, наверное, перечислять все беды, писать лишь о плохом. Но хорошего-то было так мало. Столько, сколько уходилось в сердцах людей, почти незнакомых. Нет, неправда: добро изначально есть в каждом сердце, но нам, латышкам, природная сдержанность не позволяла открываться без крайней необходимости.

Хороша была тайга, но не было времени заглянуть туда.
Безупречны небеса, но они были слишком высоко,
доступные только взгляду.

Возвращение с гонки

Перегонять стадо в Ачинск приходилось часто. Иной раз дня через три после возвращения из одной гонки надо было приступить к следующей. Привычный путь уже не казался таким невыносимым, как вначале. Правда, Милда как-то заметила, что худшую работу трудно было бы сыскать на земле. И вряд ли она ошибалась.

Когда Айвиекте одновременно со мной послали перегонять скот, Алнис оказался вовсе предоставлен самому себе. У других латышек хватало своих забот, да и сын мой был уже не так мал, чтобы не обойтись без посторонней помощи. Общество Айвиекте нравилось Алнису (дети вообще ее обожали), но попечительство других взрослых Алнис принимал без особой охоты.

- Алнис, чашку-то вымой! - как-то заметила ему одна из женщин, когда они вместе подошли за порцией супа. - Скоро ложку не сможешь повернуть, вон сколько всегоросло!

- Сойдет и так! - ответил мой ребенок. - И вообще... Я должен быть самостоятельным, так мама говорит.

Ответ не назовешь особенно вежливым, и после такого ждать покровительства обиженной тетеньки не приходилось. Алнис и не ждал.

На обратном пути из Ачинска сердце мое всегда обгоняло едущих. Домой тянуло меня с невероятной силой, хотя дом этот

состоял из дощатых нар и... и сына. Меня влекло домой намного сильнее, чем в дни, когда меня ждали теплые, уютные комнаты, сытная еда, близость родни, свой народ, свобода, родина.

Я спешила домой, зная, что мой мальчик уже вышел на дорогу и, как только увидит меня, понесется со всех ног навстречу. Знала я и то, что все наши на базе ждут, когда вернутся погонщики, что на плите уже стоят крынки с чем-нибудь, приготовленным специально для нас. Из мякины, «заимствованной» из кормов для свиней, получался неплохой овсяный кисель. А каждый из детишек наверняка припрятал для мамы теплую картофелину.

Погонщики возвращались голодными. Взятых с собой припасов не хватало и до Ачинска, а после этого предстоял обратный путь, два-три дня пешком или в лучшем случае почти двое суток на лошадях. Можно было по пути попросить воды в каком-нибудь доме, иногда удавалось раздобыть несколько картофелин или капустные листья, оставленные в поле. На деньги еды купить было невозможно; в избе, куда погонщиков пускали погреться, поживиться было нечем, да и хозяева глаз с гостей не спускали. О хлебе нечего было и мечтать, в войну хлеб повсеместно стал предметом роскоши. Зная все это, дома все, от мала до велика что-нибудь да припасали для погонщиков. Встречали нас ласково. И мой Алнис тоже каждый раз умел приготовить что-нибудь «вкусненькое». Одна семья утолить голод матери, вернувшейся с гонки, была не в состоянии; поэтому сбрасывались, каждый и каждая вносили свою толику.

И когда чуть не полведра супа бывали с благодарностью съедены, а частый гребень освобожден от паразитов, можно было блаженно растянуться на дощатом ложе и, отдыхая до конца дня, почувствовать, что тебе хорошо, «как никогда в жизни».

Привезли немцев

В середине сентября в Тюхтет привезли с Поволжья, из автономии в Саратовской области сосланных немцев. Выслали их всех до одного, но с семьями и с пожитками. Молодые мужчины,

правда, отправлялись в армию на работы. Немцев распределили по колхозам, часть оставили и в Тюхтете. Немцы привезли с собой не так уж мало домашнего скарба и продуктов, положение их было все-таки не таким отчаянным, как наше в ожидании первой сибирской зимы.

Первая сибирская зима

В балке за клетью осинник с каждым днем становился краснее, большие березы у дороги расплачивались золотом за летние радости. Близились зима.

- Мам! У других шубы, а у нас?

- А у нас нету.

- У других картошка...

- А у нас и картошки нет. Знаю.

- Как же мы жить будем? - глядя на медленно падающий снег, сказал Алнис.

- Придумаем что-нибудь. Наверно, придется отдать последнее из домашней одежды. Обменяем на картошку.

Алнис за одно лето вытянулся так, что перерос своих одноклассников. Он привык к самостоятельности и о будущем заботился чуть ли не больше меня самой.

Зима умудрилась с первых дней запереть наших ребятишек в бараке до самой весны, как телят в теплом хлеву у нас на родине. Босиком на мороз не выскочишь, а именно детскую обувь легче всего было обменять на картошку. Затем пошли в ход и другие детские вещи: малышам на работу не надо, о школе еще и речи не было. Главное - выжить.

По тюхтетским домам ходили гуртом в выходные дни. Той зимой я рассталась со следующими вещами:

Ночная рубашка Алниса - отдана за семь головок чеснока.

Верхняя сорочка сына - продана за 15 рублей. Его зимнее пальто принесло нам пуд муки и ведро квашеной капусты.

Мое шерстяное платье ушло за семь пудов картофеля; столько же дали за мои красные туфли, шелковые чулки я выменяла на полбуханки хлеба и пол-литра молока.

Шерстяное одеяло добавило еще семь пудов картошки.

Торговаться мы не умели, да и не знали настоящей цены. Брали, что дают. Колхозники и сами зачастую жили впроголодь, а ссыльных, менявших вещи на еду, было предостаточно.

Зиму мы теперь могли пережить. Правда, добавить к картошке было нечего. К тому же первые семь пудов оказались подморожены - под кроватью дуло из огромных щелей, наносило снег. Много позже русские научили нас делать завалинки, после чего и снег не проникал внутрь, и холод уже был не так пронизывающ.

А все-таки суп из мерзлой картошки, если еще и добавить к нему выменянной на детское пальтишко муки, казался таким вкусным. В первую зиму настоящего голода мы не знали.

До холодов мы готовили снаружи, на кирпичях. Плита в бараке появилась, когда выпал снег и все уже успели порядком померзнуть. Перед плитой лежали собранные в осиннике гнилушки, в темноте они светились сами по себе.

В бараке было тесно, между двумя рядами нар проход был так узок, что вдвоем не протиснуться; на площадке перед плитой одновременно еле-еле помещались лишь двое.

Большинство из нас работали скотницами. Рабочий день начинался с приемки скота от ночного сторожа, пересчета. Затем в длинном здании фермы с пустыми окнами задавали корм - солому, исчезавшую во мгновение ока. После этого мы шли к таежной речке, бывшей в километре от базы, обновляли проруби, работая топором и ломом. Топором вначале продельвали узкую мелкую канавку во льду, потом с помощью лома добирались в двух-трех местах до воды. Это делалось напоследок, когда животные уже были пригнаны к реке, иначе канавка с водой успела бы снова замерзнуть. Пробиваешь ломом лед, вода, брызнув из-под него, тут же облепляет лапти коркой льда. Эта корка неплохо защищала ноги от холода, только в дом в лаптях нельзя было заходить, пока не собьешь ее.

Стоило отворить большие боковые двери фермы, как животные сами устремлялись к реке, ведь поили их только раз в день. Подгонять не приходилось. Напившись, с побелевшими

от инея мордами они точно так же без подсказок и понуканий сами бегом возвращались на базу. Лишь с овцами было сложнее, ягненок мог провалиться в прорубь, случалось, что обледеневшую овечку приходилось нести от реки на плечах.

На время уборки скотину выгоняли на площадку снаружи. В длинное здание въезжали на запряженных быком санях, к которым была привязана огромная, плетеная из черемуховых ветвей корзина. В нее мы руками бросали смерзшиеся комья навоза, покуда корзина не наполнялась. Все окна были без стекол, вдоль фермы гуляли сквозняки, и навоз быстро замерзал. Сибирский скот, так же, как и люди, был привычен ко всему. Если у кого-то от холода, сквозняков и голода пропадало желание жить, он тут же легко и навсегда засыпал, чтобы затем попасть на бойню.

После этих утренних действий следовали приемка вновь привезенного скота, доставка кормов, воды для больных животных, еще одно кормление и сдача поголовья ночному сторожу. Таков был примерно распорядок дня на районной базе «Заготскот».

Сотни коров и бычков стояли не привязанные и не мерялись силами, как это непременно случилось бы у нас. Может быть, потому что были ослаблены. А когда одна из коров телилась, бычки обступали новорожденного теленка плотным кольцом и не подпускали к нему никого, даже мать. Быки сами облизывали и тормозили малыша, теплыми мордами согревали, так как холод был жестокий. Ни один теленок не замерз, хотя сторож иногда, не заметив происшедшего, и не уносил его в контору. А заметив, он должен был разыскать отелившуюся корову, чтобы утром теленок мог припасть к материнскому вымени.

Вечером, после работы начиналась беготня у единственной плиты; нужно было еще найти и приласкать деток, просушить мокрые обутки и одежду. Лапти, в которых мы весь день ходили на ферме, подсыхая, издавали оглушительный треск, а также и вонь, по силе не уступающую шуму.

Дети, день-деньской сидевшие на своих нарах, заметно сдали. Вечерами я старалась рассказать им или сказку, или занимательную историю. Потом мы на скорую руку организовали нечто вроде

школы; каждой «учительнице» был назначен свой урок и своя тема. Среди нас были и три настоящие учительницы: Айвиексте, Эверте и Вилма. Остальные учили тому, что умели и знали. Детям пытались преподавать родной латышский и русский языки, арифметику, географию, историю, естествознание; были уроки пения, игры, ребяташки учились делать деревянные пуговицы, плести лапоточки, приобретали другие умения и навыки, без которых нельзя в Сибири. В них воспитывали вежливость: не указывая на человека пальцем, говоришь с кем-то - смотри ему прямо в глаза, старайся не перебивать собеседника.

Все мы в сравнении с местными были слишком легко одеты, слабы, однако на работу надо было выходить все равно, в том числе и в свирепые морозы, нередко надо было гнать стада в Ачинск. Мерзли, простужались, отмораживали ноги и носы, но выжили. Лишь немногие из латышек не вынесли эту первую зиму в Тюхтете. Правда, зимние гонки обернулись сущей каторгой.

Милда пишет: «На базе летние работы закончились, а зимой столько людей не требовалось, поэтому часть наших «одолжили» на лесозаготовки для сети Сельпо. Для чего переместили в так называемый Черный дом - совершенную развалюху. В комнате нас вместе с детьми набралось 14 душ. Единственное окошко, и без того небольшое, было наполовину забито досками. Дверь вся в щелях.

Зима 1941/42 года в Сибири была очень холодная. В иной день стрелка термометра зашкаливала за минус 40. Работали мы двумя группами, по трое в каждой. Снегу по пояс. Начальство наше оставалось в Тюхтете, и мы в самый холод просто не выходили на работу. Сидели в комнате, весь день топили печку. Однажды вечером шквальный ветер переломил балку, державшую крышу, так что та просела. Раздался жуткий треск, мы думали уже, что дом рухнет, с детьми выскочили наружу. Одна из нас, правда, в страхе и о детях забыла. Но Черный дом устоял, и мы вернулись в комнату...»

Как раз на Рождество, в субботу мне выпало чистить свинарник. Разделавшись с очередной корзиной навоза, я присела на край кормушки и сочинила рождественский рассказ.

Никого из начальства поблизости не было, с работой, правда, вышла задержка. Вечернее солнце, холодное и красное, уже давно провалилось в тайгу, а у меня еще целая ходка впереди. Хорошо, день уже прибывал, да и первая вечерняя звезда светила вроде ярче обычного, - не пришлось вывозить навоз в темноте.

Женщины, работавшие на лесоповале, пришли в свой Черный дом пораньше, у них рабочий день был ненормированный. Принарядиться. Найти огарки свеч, привезенных из дома. Кто-то занялся угощением: «рождественские пряники» готовились из чудом раздобытой ржаной муки.

В комнате возвышенное настроение. Пол выскоблен дочиستا. Умытые личики детей сияют. Переоделись в лучшее и чистое, у кого осталось во что переодеться. Я рассказываю свою святочную историю, и с первой вечерней звездой посылаем приветы отцам и мужьям, еще не зная, что многие из них эту вечернюю звезду уже не увидят. Вспомнили и родных, оставленных на родине.

Дети выступили с песенками, разученными к этому дню, и получили в награду по ржаному темному «прянику». Взрослым таких не досталось. Никакой общей трапезы не было, только общие светлые воспоминания.

В тот вечер больше всего поразила нас всех годовалая Тейка в национальном наряде - она стояла столбиком на тщательно застеленных нарах, улыбалась и казалась живым образом Латвии, воплощением надежды. Тейка единственная из грудничков выдержала и тяжелую дорогу, и все дальнейшее и осталась в живых.

Мой Алнис уже несколько дней и ночей почти не спал. Разутым выбегая на снег по нужде, он простудился; теперь его мучили боли в ушах, голова трещала.

В первый день Рождества нас на пару с Айвиексте послали в лес на заготовку дров, так как на базе в это время скота было мало. Нам указали старые березы, почерневшие от старости, с множеством шрамов и наростов. Они, как живые, стойко держались, противясь зубьям тупой пилы. И потом с тяжким стоном падали, роняя поседевшие головы наземь. Люди думают, что деревьям не больно. Я в это не верю.

Из-за визга пилы я не сразу услышала, что меня зовут. Сразу

поняла: Алнису худо. Бросила пилу и бегом домой. Алнис метался в постели, всхлипывая от боли. Взяла его на колени и услышала:

- Умираю. Не могу больше. Голова раскалывается.

В больницу его такого везти боязно, да и вряд ли там помогут. Праулине дала горячую грелку, я приложила ее к больному уху, качая сына на руках. Укачивала долго-долго. И долго-долго слышались жалобные стоны болящего. И вот он перестал бороться, умолк, смежил веки. Жизнь еще теплилась. Уложила мальчика, в отчаянии склонилась над ним. Неужели все? И ночью увидела вдруг, что из уха потекло. Сердце екнуло: спасен.

Новая напасть - нас одолели нарывы, фурункулы. Но на работу всех выгоняли по-прежнему без малейшего милосердия.

Бездна страданий

У околицы

На окраине Тюхтета, к которой вплотную подступал густой бор, в покосившемся домике, в его единственной комнате ютились три латышские семьи. Здесь жили Звиедрите с тремя детьми, Югерите с дочерью Инесой, Дзените с дочерьми Рутой и Байбой. Звиедрите не могла дольше оставаться у Москвички. Нестерпимую вонь и грязь вместо пола вынести не было никакой возможности. Спасибо ей за доброе сердце, спасибо, что приютила в самую трудную минуту!

Все три матери рано утром спешили на работу в колхоз, в доме оставались одни дети. Малышей привязывали, кого к постели, кого к ножке кровати. Свобода передвижения была оставлена только старшей из девочек, Руте Дзените. В обед при малейшей возможности матери спешили домой - покормить, перепеленать, приласкать. И опять в поле, до которого иной раз было не близко. Как-то вечером Югерите вынесла с колхозного поля кочан капусты. Преступницу поймали с поличным и приговорили к двум годам тюрьмы. Как уже говорилось, тюрьма, где матери с ребенком полагался казенный паек, спасла и мать, и дитя. В покосившемся домике одно кроватное место опустело.

Сибирский мороз не шутил, он, бывало, задавал такой треск по углам, что ребяшня под грудой тряпок вздрагивала в испуге. Ночью дверь не закрывалась, поскольку в ней торчала длиннющая жердина, один конец которой вовсю пылал в плите, а другой еще мерз на дворе. Огонь в топке вовсю бушевал, но и холод через дверь входил по-хозяйски. Дети были укрыты, чем только можно, а матери тем временем добывали жерди от соседней ограды. Другого выхода не было: колхоз ни лошадей, ни дров не давал, поскольку латышки «не выполняли норму». Не было в доме ни топора, ни пилы. Когда жердь сгорала наполовину, дверь наконец можно было закрыть, и комната начинала согреваться. Время подходило к полуночи, и спать оставалось совсем немного.

С утра, поев с детьми болтушки из мякины, подобранной после отвеивания зерна на току, матери привязывали малышей, чтобы те случайно не повредили что-нибудь себе и другим, и спешили на работу. Начинался длинный, трудный сибирский день. А вечером снова поход за топливом, страх, что поймают, забота о полуголодных малышах. И так с утра до вечера, с вечера до утра.

Умерла Байба Дзените. Похоронили ее на новом кладбище рядом с другими латышскими детьми. В больницу после этого попала и мать, Лидия Дзените, долго мучиться ей не пришлось - умерла от туберкулеза. Погребли за счет больницы, по рассказам - рано утром, без гроба. Где ее могила, никто из латышей не знал, а к весне и в больнице уже не могли вспомнить, где ее холмик. Старшая дочь, Рута Дзените, поначалу оставалась в том же доме, что и Звиедрите с ее тремя детьми, а позднее, когда семейству отвели другой дом, комендатура передала осиротевшую девочку в детский дом в Тюхтете.

Заболела Инесе Звиедрите. Мать отнесла ее в больницу, но там ребенка соглашались принять только вместе с матерью. Прознав об этом, Валия, сама в ожидании ребенка, предложила посидеть с двумя другими малышами, пока Звиедрите с Инесой будут в больнице.

- Но... А, не хочу вспоминать... В общем, пришлось мне самой с больной дочкой возвращаться домой, - отмахивалась потом от расспросов Звиедрите.

Новая ночь, но в доме стужа. Хозяева стали сторожить по ночам свои заборы, и ни одной жерди добыть не удалось.

Холод и мрак. Не было ни лучины, ни свечного огарка, ни угольков, догорающих под пеплом. Холод, темнота и присутствие чего-то еще, чужого и пугающего. В этой недоброй тьме перестало биться маленькое сердце. Мать почувствовала это сразу. Она подняла остывающее тельце, перенесла на другую кровать и обреченно ждала утра. Забрезжил рассвет. Звиедрите передела Инесу в чистое, снова уложила. Проснувшимся детям сказала: «Не разбудите сестренку, она спит!» И отправилась на промкомбинат, заказать гробик.

- Ничего не выйдет, - сказали там, разведя руками. - Гвоздей нету.

- Как же быть? Где взять гвозди?
- Гвозди как бы и есть, но нужно разрешение райисполкома.

День ушел на то, чтобы получить разрешения на гвозди, на доски, на изготовление гробика. Когда под вечер мать вернулась домой, живые дети, не дождавшиеся обеда, спали. На другой день она сама несла на кладбище гробик с ребенком, подвязав его перекинутым через плечо полотенцем. Следом Анна Юрьяне тащила две лопаты и лом. Других провожающих у маленькой Инесы не было. На кладбище гробик поставили на снег, и две женщины принялись выдалбливать в мерзлой почве могилу. Трудились до сумерек, и могила не была глубокой. Я сама при этом не могла присутствовать, а потому воздержусь от подробностей, которых лично не видела.

Звиедрите была не первой из матерей, кому пришлось своими руками рыть могилу для собственного ребенка.

Дома - все та же стужа, изголодавшиеся и дрожащие от страха дети. Нужно было во что бы то ни стало раздобыть три жерди. Три, не меньше. Как матери удалось выйти из положения, знает лишь она сама.

В Тюхтетском ЗАГСе, куда несчастная мать пришла зарегистрировать факт смерти дочери, ее встретили вопросом:

- А ты случаем не сама придушила девочку?
- Может быть, вы душите своих детей, если у вас язык поворачивается спрашивать такое! - в ужасе произнесла Звиедрите и выбежала на улицу. Так Инесе и осталась в списках живых навеки.

Все мыши сгорели

Заболели и оставшиеся в живых близнецы, пошатнулось здоровье матери. На работу выйти она была не в силах; в колхозе ничего не желали слышать и грозились выселить семью из дома. Может быть, не было закона, который запрещал бы выгонять мать с детьми посреди зимы на мороз. Или был закон, но ссыльные под него не попадали?

Надо было срочно искать посильную работу и какое-никакое пристанище. Рано утром Звиедрите покормила детей, теперь уже только двоих, и отправилась в Тюхтет на поиски. И ей повезло: в тот же день ее приняли в Земельный отдел уборщицей. Выделили и место для жилья. В неотапливаемой прихожей, под истертой, выдавшей вида учрежденческой лестницей. Не из жестокости, а напротив, из человеколюбия. Жилья у земотдела не было, а как раз оно для новой уборщицы было главным. Звиедрите согласилась с радостью: теперь у нее опять была крыша над головой. Дети днем обретались под лестницей, а ночью могли спать в теплой конторе, печь в которой уборщица сама и топила. «Ночью хорошо было, тепло».

Работала Звиедрите очень хорошо, и начальнику показалось, видимо, что не дело держать ее слабеньких, хворых детей в закутке под лестницей. И он разрешил семейству занять «хомутовку» - отдельную будку напротив конторы, в которой хранились старые седла, хомуты, прочая лошадиная сбруя. К изъясам нового обиталища относились стойкий запах лошадиного пота и вездесущие мыши, но нельзя же было требовать от него совершенства.

Звиедрите была благодарна судьбе. Дети могли теперь днем выбираться из-под одеяла и ходить, вернее ползать по комнате. На третьем году жизни ходить они еще не умели. Но счастье их матери не было долгим. Однажды, когда она поехала с тамошним конюхом за сеном, хомутовка загорелась.

- За печкой начали возиться мыши, а мы их боялись, - поведала мне совсем недавно одна из тогдашних малышек, Аня (официально она звалась, как и ее мама, Александрой). - Я и говорю Вилису: пока мамы нет, давай их сожжем! Сказано - сделано. Составили табуретки друг на друга, добрались до спичек, спрятанных мамой на верхней полке. Вилис чиркал спичкой, я подносила к огоньку бересту и швыряла ее за печку. Придет мама, вот обрадуется, что всем мышам капут! Но, конечно, дело обернулось иначе.

Пожар обнаружил случайный прохожий, детей он успел спасти, но все остальное, включая и скудные пожитки семьи, сгорело. Звиедрите в благодарность подарила спасителю своих детей мужнины золотые часы, которые всегда на цепочке носила на шее.

Выдержали

Латышки принесли ей и детям кой-какую одежду но этого было недостаточно, чтобы согреться в закутке под лестницей. Надо было искать новую работу и новое жилье. Место нашлось при больнице. Звиедрите устроилась прачкой. Своей комнаты у нее и тут не было, но были тепло, свет и еда, которую уборщицы приносили от тяжелых больных, часто оставлявших свою порцию недоеденной.

Звиедрите с детьми жила там же в прачечной, где одну стену занимали огромный котел и топка, вторую - стол для глажения белья. На кирпичном полу оставалось место только для ванны, полотенце и грязной одежды больных. Дети днем сидели в постели, ручками разгоняя клубы пара. Только вечером, когда белье было выстирано и мать бралась за утюг, малыши могли порезвиться на полу, теперь уже чистом и теплом.

Белье стиралось все разом. В том числе и вещи туберкулезных, инфекционных больных. Никакой особой дезинфекции не было, и соблюдать какие-то меры предосторожности Звиедрите тоже не удавалось. Но ни она, ни дети не заболели. Слишком сытой жизнь и здесь не была, но они не голодали. Дети страдали от вечного чада, были все еще слабы, однако не хворали. Выдержали.

Работа оказалась тяжелой. Прачка одна на всю больницу, и никаких машин, все руками. Но зато можно было пользоваться старыми рубашками, халатами, одеялами. А летом для детей открывался просторный больничный двор.

Звиедрите проработала здесь три года. Потом перешла на базу, в тот же «Заготскот».

Каждую латышскую семью ждала своя судьба. У одних чуть полегче, у других невыразимо тяжелая. Обо всех мне не рассказать, всю бездну людских страданий не вычерпать.

«Если заставить человека жить в обстоятельствах, приемлемых разве для животных, ему остается одно из двух: восстать или в самом деле превратиться в животное». Карл Маркс. Правда, пересказанный своими словами.

Во власти Енисея

Отчаяние не помогло

Весна 1942 года настала внезапно. Вмиг растаяли снежные сугробы за фермами. В трех березах у конторы кувыркались скворцы. На реке сошел лед.

В тайге у подножья холма зацвели синие медуницы, белые анемоны. В одну ночь зазеленела рощица за кюветом, и на следующее утро там уже куковала кукушка. Первую сибирскую зиму мы одолели. Весну встретили с восторгом.

Но как-то майским утром в Тюхтетскую комендатуру вызвали всех бездетных женщин и тех, чьи дети умерли. Им было объявлено, чтобы собирались в дорогу - уже на следующий день их отправят в другие области Севера и Дальнего Востока. Латышки были в отчаянии. С таким трудом пережили суровую зиму, и, на тебе, гонят опять в неизвестность, туда, где еще северней, еще холодней. Но отчаяние ссыльных никого не трогало. Нас собирались «использовать» по мере надобности до тех пор, пока мы хоть на что-то годились.

Матери поспешили на кладбище, насадили вокруг могильных холмиков молодые ели - живую изгородь, чтобы коровы или овцы не вытоптали, и навсегда покинули эти, святые для них, места. Женщины, еще не знавшие счастья материнства, так же потерянно и угрюмо готовились к новой ссылке.

- Наберите в дорогу чесноку, луку, черемши, иначе не доедете! - советовали бывалые люди.

Анна Сика и Вилма Киегале были увезены на самый край земли, в Советскую Гавань, где им пришлось работать на лесопилке, стоявшей на берегу океана. Баграми вытаскивали из воды бревна, подымали невероятные тяжести, - ну понятно, женщины в этой стране равноправны с мужчинами! Через какое-то время их перевели на строительство железной дороги, где опять же

пришлось выполнять все те работы, что вроде бы испокон века считались мужскими. Но голодать им не пришлось - кормили, как в армии. Рядом работали и заключенные. Анна там познакомилась с Екабсом Гинтерсом, и вскоре они поженились.

Айвиексте и Эверте попали в партию, отправленную в Красноярск; после трехдневного ожидания их погрузили на баржи.

Айвиексте рассказывает

Красноярск, берег Енисея.

Погода теплая. Разгар весны. Люди сидели на своих узлах, и опять вокруг - вооруженная стража. Толпа ссыльных тиха, неразговорчива, однако на лицах можно прочесть скорее оживление, чем уныние. Хотя ненадолго отдохнуть, согреться после долгой зимы. О завтрашнем дне нечего беспокоиться - хуже того, что уже пережито, вряд ли будет, и терять после всего уже утерянного тоже нечего.

Через Красноярск когда-то при царе гнали каторжников, и теперь миллионы несчастных судеб сходились и во многом решались здесь.

Енисей у Красноярска - это только первая треть реки, но уже и тут он поражает широтой и мощностью. Летом по Енисею шли чередой пароходы и баржи на Север, туда и добраться можно было лишь по воде или по воздуху.

К нашему причалу подваливали баржи одна за другой и вскоре отбывали, нагруженные людской массой. Подошла и наша очередь, мы держались вместе - я, Эверте и Рогайне из Валки.

По берегам Енисея темнела тайга, к северу переходившая в тундру. Города или поселки на великом водном пути встречались редко.

Нас и еще нескольких женщин высадили недалеко от Туруханска на диком, совершенно не обжитом берегу. Там мы провели первую, полную отчаянья ночь. На другой день нам

доставили старые доски, из которых самим нужно было соорудить нечто вроде жилья. Тут мы и устроились с грехом пополам - на жизнь или на смерть. Вскоре нам доставили несколько лодок, рыбацкие сети и нормы выработки.

Итак, ловля рыбы в Енисее. Незнакомый труд, показавшийся поначалу невыполнимым. В первые дни мы даже не знали, как усидеть в лодке, как грести, где и как забрасывать сеть. Но мало-помалу привыкли - человек привыкает ко всему. Научились рыбачить, выполнять план, забирать свою долю улова, есть рыбу сырой, чтобы спастись от цинги.

Недалеко от нас на Енисее был большой песчаный остров. Туда мы причаливали в непогоду, когда в лодке, нагруженной рыбой до бортов, не успевали вернуться домой. В таких случаях лодку выволакивали на мель, а мы сами зарывались в песок, чтобы волной не смыло, и так переживали бурю. Случалось там и ночевать.

Енисей требовал и человеческих жертв - мы, рыбаки поневоле, были неопытны, непривычны к воде. Если при установке сетей, перегнувшись через борт лодки, кто-то падал в реку, спасти человека удавалось не всегда. Однажды в шторм лодка так запуталась в выброшенной сети, что ушла в бездну, - а с нею все пять человек. Это были финны, ни один не спасся.

Там же на берегу Енисея в нашей самодельной хижине мы и зимовали. Что тут скажешь. Наши обстоятельства вряд ли может вообразить человек, ничего подобного не знавший. Рыбачили и зимой, опуская сети в проруби. Руки отморозили на всю жизнь. Но голода мы не знали. Вместо хлеба нам выдавали муку. Рыбы было сколько угодно, ели ее и сырой тут же на льду, и дома жарили.

За дровами ходили в тайгу, довольно далеко, и нести их приходилось на своем горбу - поблизости не было ни людского жилья, ни лошадей. Север, первозданная тайга. Опасаясь волков, мы ходили по дрова скопом и огораживали свой путь шнуром с флажками, которых волки боятся. Зимой перетерпели.

Пришла весна 1943 года. Прошел лед на Енисее, опять мы выходили рыбачить на лодках. Из-за переохлаждения зимой я захворала почками и не могла работать. А весной самые лучшие уловы. Бригады выходили на лов дважды в день, и в короткое

время лодки были полны рыбой. Вместо меня в бригаде работала одна немка.

Однажды две лодки ушли к острову и не вернулись. Снарядили еще одну лодку и отправились на поиски рыбаков. Мы на берегу ждали с замиранием сердца. На закате поисковики вернулись, ведя на буксире две пропавшие лодки. Перед нами открылась жуткая картина. В первой из наших лодок не было ни одного живого. У погибших были почерневшие, неузнаваемо изменившиеся лица. Лежавшие во второй лодке еще подавали признаки жизни.

После долгого времени снизу на моторке прибыл врач. Он констатировал отравление и сказал, что умерших нужно немедленно предать земле. Больным, бывшим без памяти, вливал в рот лекарство и в изобилии воду; нам приказал «трясти их как можно сильнее, пока не оживут». Придя в сознание, выжившие рассказали, что случилось.

Эверте нашла какие-то белые, спрощенные шарики, срезала их перочинным ножом, попробовала: вкусные, сочные, сладковатые. Поела сама, угостила других. Досталось кому-то побольше, кому-то меньше. Уже через несколько минут у всех начались судороги, головокружение, страшные рези в животе и боль во всем теле. Люди корчились, точно на огне, и уже спустя полчаса некоторые были мертвы. Первой умерла сама Эверте. Балва Рогайне попробовала всего чуточку и тем не менее потеряла сознание.

Весеннее половодье принесло на остров одно из самых ядовитых растений - цикуту. (Здесь к рассказу Айвиексте стоит добавить, что и в тухтетских джунглях попадалась цикута; если забредшая в чащу корова съедала хотя бы один лист этого растения, через несколько часов ей был конец).

После этой трагедии нашу бригаду перевели ниже по течению, в Усть-Порт, последний городок в северной части Енисея. Поселение было похоже скорее на пересыльный лагерь; правда, здесь имелись школа и консервная фабрика.

В Усть-Порте и до этого жили ссыльные латыши, размещенные в небольших бараках. Меня по состоянию здоровья определили в ночные сторожа на консервной фабрике. На Север были сосланы и матери с детьми, в том числе почти взрослыми. Молодые парни работали на той же фабрике истопниками, рыбачили.

Тетушка Саулите, уже в годах, в сарае у реки сторожила только что выловленную рыбу и нередко как можно незаметней кидала упитанную рыбину случившемуся рядом латышу.

Я жила в одной комнате с Гутманисами, матерью и сыном Олафом, который трудился в рыбацкой бригаде, сочинял стихи, по вечерам рассказывал обо всем, случившемся за день на реке, или пел звучным баритоном оперные арии.

За стеной в соседнем помещении обитали шестеро жителей Вентспилса - мать и пятеро взрослых детей. Похоже, ветрами бедствий и невзгод выстудило бывшее семейное тепло, человеческие отношения там, за стенкой, были прохладными.

Пришла зима, уже вторая моя зима на Севере. Поселок заметало пургой. Вдоль улиц протягивали веревки. На землю опустилась полярная ночь, источниками света оставались лишь луна и звезды.

Нам было где жить. Уголь для печки можно было украсть. Голодать не приходилось. Я за углом склада не раз находила банку консервов, но взять боялась: думала, кладовщик нарочно проверяет нашу честность. Но он однажды сам зашел и сказал, чтобы я не стеснялась, - ему не жалко, дает от души.

Однажды ночью пурга разбушевалась. Ужас для всех, кого она застигла. В такие ночи мне разрешалось сидеть в сторожевой будке, чтобы не занесло снегом. Воров в такую погоду можно было не опасаться: шастать по окрестности в снежную бурю было бы чистым самоубийством. Но и в будке нельзя было долго оставаться: вот-вот ее погребет под снегом. Я еле успела выбраться наружу и ползком кое-как добраться до стены склада; там и укрылась до утра.

Наутро пурга все еще бесновалась с прежней силой. Кладовщик сумел пробиться ко мне, убедился, что я еще жива, и, держась за веревку, доволоч меня до дома. Но и оттуда надо было убираться, пока можно было открыть двери; нас приютили в другом доме, побольше и понадежней.

Пурга не стихала трое суток. А когда стихла, оказалось, что рабочие заперты в своих бараках, замеченных доверху. Нужно было отыскивать двери, откапывать, чтобы выпустить людей на свет божий. Снег был таким твердым, что приходилось сугроб рубить топором.

Один большой барак скрылся под снегом целиком, откапывали его полдня. Открыв наконец двери, увидели, что все сорок его обитателей мертвы. Снег забил так плотно все щели низкого строения, что людям не хватило воздуха. Пурга нередко требовала человеческих жертв.

По рассказам Олафа

Прежде всего - о самом Олафе Гутманисе. Он в моем пристанище когда-то в давние времена прожил полторы зимы и много рассказывал о Севере, где был вместе с нашей Айвиексте. Олаф - писатель и, конечно же, сам расскажет о пережитом лучше и точнее. В моем повествовании слышанное от него призвано лишь ярче высветить среду в которой прошли северные годы Айвиексте, и то, что довелось видеть и пережить там и тогда другим латышам.

Ширина Енисея у поселка Усть-Порт - восемь километров, другой берег почти не виден. Сообщение с ним летом по воде, зимой - по льду на машинах.

Однажды в воскресенье из Усть-Порта в селенье на ту сторону реки собрался самодеятельный оркестр, в котором играли и латышские парни. С ними попросилась ехать и единственная дочь Калныншей, Лаймдота, там ее ждал молодой человек, ее первая любовь. Мать не хотела отпускать, но девушка умела пустить в ход все свое обаяние, чтобы смягчить родительское сердце. Итак, на ту сторону Енисея выехала машина со всем оркестром и еще несколькими желающими. Олаф Гутманис опоздал и остался на нашем берегу, донельзя расстроенный этим.

Около полуночи по Усть-Порту пронеслась страшная весть: машина на обратном пути провалилась под лед. Люди не хотели верить услышанному, но оделись и побежали на реку. Бежала со всех ног и мать Лаймдоты, уже терзаясь зловещим предчувствием.

И что же - в нескольких километрах от поселка чернела огромная треугольная полынья. Вокруг уже стояли люди из автоинспекции, ощущение полнейшей глуши и вдруг автоинспекция,

родственники жертв и зеваки. Из всех, кто ехал в машине, спаслись лишь два немца, каким-то чудом успевшие выскочить из-под брезента и прыгнуть с грузовика.

Оказалось, от сильного мороза к ночи лед как бы взорвался, и две трещины разошлись треугольником прямо на пути машины. Под ее весом огромный кусок льда ушел в глубину, увлекая за собой грузовик с людьми. Брезент был для защиты от холода наглухо застегнут; люди, возможно, даже не успели понять, что происходит. Машину с жертвами катастрофы на другой день подняли со дна. В похоронах участвовал весь поселок.

Кладбище находилось довольно высоко, на холме, куда вели каменные ступени. Могилы выдалбливали неглубоко, только чтобы звери не разрыли. Почва здесь никогда не оттаивала: вечная мерзлота.

Горе было неопишное, плач и стон стояли над землей. Мать Лаимдоты, потрясенная, порывалась лечь в могилу вместо дочери.

Позднее, когда в одном из лагерей смерти счастливо обнаружился сам Калныньш и сообщил, что хотя и крайне слаб, но жив, мать не решилась рассказать ему о гибели любимой дочери; она уговорила одну девушку писать ему письма от имени Лаимдоты. Многие потом осуждали ее за эту ложь, но женское сердце знало свою правду.

И вновь весна. Весна уже 1944 года. Для северян это самая горячая пора, заготовка дров. С весенним паводком начинается вылавливание леса из Енисея - единственная возможность запастись топливом на зиму. Других дров было не сыскать в радиусе сотен километров.

Весной вместе и вслед за ледоходом река несла бревна, вырванные с корнем деревья, коряги, бурелом из далеких таежных массивов. Население Усть-Порта высыпало на берег. Люди целыми днями ловили длинными шестами и баграми все, что где-то отняла или стащила река. Смелчаки даже выходили по двое на лодках с той же целью. Один был на веслах, второй работал багром. То была игра не на жизнь, а на смерть. Нужно было очень ловко лавировать, причем далеко от берега вообще нельзя было отходить. Захватил дровину, тащи к берегу, потом спеша за следующей, и так до тех пор, пока хватает сил и сноровки.

- Весной 1944 года я рыбачил со своей бригадой в восьми километрах вниз по течению от Усть-Порта, - рассказывал Олаф, - и до ледохода мы не успели вернуться домой. Жили в будке на пологом берегу Енисея. Как-то среди плывущих льдин увидели бочку. Ее нельзя упустить! Трое парней уселись в лодку, на берегу ее держали за крепкий канат их товарищи. Течение стремительное, только успевай увертываться от льдин. Люди рисковали жизнью. Однако бочку поймали и выкатили на берег. И сделали это в последний миг: скрежеща и руша все на своем пути, на берег обрушилась огромная ледяная глыба. Лодку смяло. Было видно, что вот-вот сомнет и нашу будку, а ведь там были все наши пожитки. Но ничего не поделаешь - надо было спастись самим. Только один немец бросился в домик за своей кожаной курткой, но уже через мгновение ледяная гора пробороздила пологий склон, оставив после себя ровное место - словно и не было там ни нашей будки, ни человека в ней. Мы сняли шапки, склонили головы.

Бочку мы укрепили стоймя, вкопав ее в мох. В ней оказалось растительное масло, которого латышам хватило на целый год.

Сила Енисея чудовищна. Ледовая стихия внушает ужас каждому. Ледяные горы сталкиваются с треском и скрежетом, ломаясь и круша, громоздясь друг на друга. Однажды в шуме и треске ледохода нам послышались людские голоса. И впрямь: кто-то истошно звал на помощь. И вскоре на одной из несомых течением льдин, довольно далеко, мы увидели восьмерых людей. Река несла их льдину, и никто им не мог помочь. Но об увиденном удалось сообщить спасателям, и через какое-то время над рекой уже кружил вертолет. Позже мы узнали, что он опоздал. Сколько летчики ни вглядывались в ледяное крошево - аж до самого Ледовитого океана - людей уже не было видно. Значит, очередная гора льда навалилась и подмяла под себя все...

Енисей давал людям многое от своей мощи и богатства, но и стоил им немалых мучений, трудов и жертв.

Айвиексте уже не сможет указать на ошибки или упущения в этом рассказе: ее испытания закончились навсегда. А Олафа Гутманиса прошу извинить, если в передаче его рассказа мне что-то не удалось, а также за то, что привела его слова, не имея на то разрешения.

Вижу, что страницы моей книги походят на фронтовой репортаж: тень смерти возникает чуть ли не на каждой. Но отличие нашей тогдашней действительности от фронтовой огромно. На войне люди знают, за что воюют, что защищают, за что умирают. А здесь человеческие жизни растрчивались, уничтожались бессмысленно и жестоко. Этими жизнями насильственно распоряжались, мостили ими путь к «светлому будущему». Но свет не построить из тьмы.

Вернемся, однако, на Тюхтетскую базу «Загоскот», к событиям, о которых я могу говорить без боязни соврать или быть уличенной в невольном плагиате, - тут я сама всему и свидетель, и участник; по этим мукам хожено до самой их глубины.

Главное - выстоять!

Крапива, крапива, лебеда

Весной 1942-го, когда на Север отправили бездетных женщин, нам тоже пригрозили: вышлем всех. Поэтому картошку мы не сажали - сидели, можно сказать, на чемоданах.

Все, что было выменяно, съели зимой, и теперь менять было нечего. Мы работали много и тяжело, а кормила нас лишь тайга. Таежная крапива.

Каждый день после обеда Алнис, Атис, Андрис и Инта, перекинув через плечо наволочки, отправлялись за добычей, каждый день. С голыми ногами, зудящими руками. Ступни болели от острых сучьев очередной гари. Крапива жглась. Комары облепляли каждый непокрытый клочок кожи. И беспрестанно хотелось есть. И каждый вечер на плите стояли горшки, в которых дымилась темно-зеленая крапивная гуща, без соли, не говоря уже о других приправах, - такую у нас варили ранней весной для скота.

- Мам, можно сегодня, только сегодня не ходить за крапивой? - умоляет Алнис. - У меня все пальцы сожгло.

- Тогда собери лебеды. На лугу поищи что-нибудь. Мне все равно, лишь бы было что варить.

- Лебеду Броцены всю собрали, я ходил смотрел.

Если зайти поглубже в тайгу, можно было набрести на черемшу. Но обычно там уже успевали побывать местные. На лугу все хоть сколько-нибудь съедобное быстро исчезало. Щавель почему-то не был кислым, а вот слегка ядовитым был. Варить вроде можно было и бодяк, и медуницу, звездчатку или саранки, но все это было намного хуже крапивы и окончательно невкусно.

О медунице нужно еще сказать, что местные жители называли ее медвежьим снадобьем. Помогает она при легочных заболеваниях, при катаре желудка. В Англии медуницу даже выращивают специально для салата. Медуница встречалась в тайге целыми сине-лиловыми массами. Но если часто ее варить, она начинала

казаться противной. Основной нашей пищей оставалась все же крапива, а если повезет, то и лебеда.

Вера однажды унизилась до того, что у дверей дома, где жил Старый Черт, подобрала выброшенные картофельные очистки. Жена начальника увидела это в окно и в дальнейшем очистки уносила сразу на скотный двор, чтобы никто из нас не мог поживиться этим добром.

Чего только мы не ели, лишь бы выжить. Как муравьи, тащили к себе все, попадавшееся на пути. Главное - выстоять! Воля к жизни в нас была не слабее голода.

У страха глаза велики

И тем не менее из-за хронического недоедания силы таяли. Но на работу надо было идти, в силах ты или нет. Работа летом была всегда в поле, в лесу, в лугах, на выгоне или же гонка. В пути удавалось подкрепиться чем-нибудь найденным в поле или на лугу, мы беспрестанно жевали какую-нибудь зелень, умудряясь и норму выполнить, и что-нибудь урвать для дома. Голод давал себя знать. Лица позеленели, глаза становились больше, животы распухали.

Ближе к осени базе выделили для заготовки сена угодья в колхозе за 30 километров, в Лазареве. Старый Черт вместе с русскими рабочими послал туда и меня. Стряпухой. Сына разрешил взять с собой. Это означало, что нам будет что есть! Что хотя бы ненадолго отдохнем от крапивы и голодухи. Надежда на такой поворот и стала одним из самых светлых мгновений тогдашней жизни.

Рабочие с сенокосилкой, косами и прочими орудиями труда выехали на нескольких подводах. С собой взяли еще и корову с базы, для молока. Нам сказали, что едем на месяц.

Было довольно поздно, когда посреди лесов и полей из темноты вынырнуло еще более темное здание с пустыми глазницами окон. Одинокое строение с полуотворенными дверьми выглядело пугающе. Внутри оно было еще непривлекательней, сырое, с

железной печуркой в углу и длинными нарами вдоль стены. Пол завален дровами и щепой, мусором. То был полевой стан, где жили колхозники во время молотбы или сенокоса, так как до деревни отсюда было далеко. Кем и когда было построено здание, давно забылось. Мы здесь провели лишь несколько ночей, пока немного подсушили сено. И перебрались дальше, на луга. В ближней рощице косари уже устроили себе шалаши из жердей и веток, покрытых сеном. Мы с Алнисом точно такой же соорудили и себе.

Наконец мы были вдали от базы, от людской суеты, от мычания и блеяния скота, от голода, от тяжелого труда, от горьких забот и от начальства. Счастье, пускай и короткое, было полным. Нам было так хорошо, как до того бывало лишь в воспоминаниях. Здесь даже клопов не было, да и вшей вроде поубавилось.

В шалаше Алнис рассказывал мне только что сочиненные сказки. На базе такого не случалось, а тут у него почти каждый вечер наготове новая сказка. Как в прежние годы у его отца. Может быть, отец посылал ему из неведомой дали с попутным ветром эти сказки, чтоб хотя бы так быть снова с нами вместе? И его любовь, забота достигли нас, как только в свинцовой тьме рабства появился просвет?

Тут припомнились слова мужа о сыне:

«Я хотел бы видеть его садовником. А если судьба не даст ему чутких рук садовода, если окажется, что душа лежит к чему-то другому, пусть ищет свое. Нет плохих работ. Только вот рабом пера становиться не надо. Слово не терпит посредственности. Если не можешь словом высечь искру, лучше работай и думай руками!» Лазаревские луга оставляли время и для таких воспоминаний, и для неосторожной мечты.

Днем рабочие косили и просушивали сено. Я доила корову Беяну и трижды в день варила молочную кашу из ячневой крупы. Алнис ходил по ягоды, бродил по окрестностям, собирал бурелом, хворост для костра.

По утрам мы ездили за водой на реку, за пять километров от стана - ближе невозможно было найти и капли воды.

После ужина все собирались у костра, подбрасывали разлапистые пихтовые ветки и ждали, пока роща прикроет собою закат. Раньше не начинали.

Подсаживались поближе к живому огню, грели руки, хотя вечер еще хранил дневное тепло. Так привыкли зимой. А может быть, тут в крови оживал голос предков, видевших в огне божество и протягивавших к нему руки в молитве?

- Чья очередь рассказывать?
- Василий пускай рассказывает.
- Это да. Васька всех лучше.

Васька - молодой долговязый работник с одним классом образования, с лицом в оспинах, в заплатанных штанах и рваной ушанке - скрючился, сжал руками острые коленки и уставился взглядом в огонь. Глядя на пламя, лучше думается и слова находятся сами собой.

- Ладно! Слушайте...

Говорил он легко и складно. Простой, теплый язык, текучая речь. Слушали, затаив дыхание, хотя многие многое слышали уже не раз. Русские умеют рассказывать, если уж возьмутся. Русские умеют и слушать, если возьмутся. Тишина мертвая. Только трещат сучья в огне да галки бранятся в осиннике.

Какая аудитория у рассказчика! Ему может позавидовать не один артист, выходящий на сцену. Артист, выходя к публике, не спрашивает, какую арию она предпочитает, какой монолог из какой пьесы. Не спрашивал и Васька, что хотят услышать его товарищи. Рассказывал, повторяя иной раз слышанное ими десять, а то и двадцать раз. И слушали его как будто впервые.

Днем Васька был груб, плохо обращался с женой, нещадно хлестал скотину, забывал мыться и совсем не умел радоваться жизни. Существо отталкивающее. Но после этих вечеров у костра у меня о нем сложилось совсем другое представление. Светлое и притом не гаснущее впечатление. Он мне казался теперь заколдованным принцем, нарочно заключенным в уродливую оболочку. И никогда уже меня не мог обмануть его облик: в сокровенной своей сути этот человек просто не мог быть злобным, тупым, недобрым.

Васька не был единственным там, у костра. Другим тоже было что порассказать, и они тоже умели захватить слушателей, и речь их тоже была проста, текуча, по-своему вдохновенна. Русская душа удивительно богата и открыта, когда над ней, хотя бы на

миг проглядывает клочок свободного, чистого неба. Латыш более замкнут, он словно опасается, что стоит только приоткрыться, и его засмеют. Стесняется запеть во весь голос, сплясать на глазах у других, что уж там говорить о сказках... Как бы кто не подумал, что у него ветер в голове. (И мои лесные походы в почтенном уже возрасте с рюкзаком на спине припишут со временем легкомыслию).

Сам Старый Черт иной раз прискакивал к нам в луга. И вечером у нашего костра точно сбрасывал с себя чертову кожу, приглушенно рассказывал о том, как мыл когда-то золото на приисках, об удачах и черных днях золотоискателей. Иной раз он даже улыбался, хотя, правду говоря, улыбка его больше походила на волчий оскал. Улыбаться Старому в жизни почти не приходилось, вот и разучился, а может, никогда не умел. Днем он, впрочем, улыбнуться и не пытался, но вечерами под открытым небом размякал. Спать он ночью не мог, как ни проснешься, слышно - ходит взад-вперед, курит. Черные дела и думы отнимали, видно, ночной покой.

Не только лазаревские вечера были хороши. Утром, когда мы с водовозкой ехали к реке, кругом царила благодать. Мы не спешили. Пели, болтали. И лошадка не спешила, семена помаленьку. Тут над нами не было надсмотрщиков, не нависала над душой норма выработки, не надо было бежать на ферму. Никогда в жизни у нас с Алнисом не было столько времени, чтобы наговориться всласть, как в этих неспешных поездках. И я не была такой усталой, измотанной, как обычно на базе. Ближе к полудню все десять километров - пять туда, пять обратно - оставались за спиной, и мы снова на стане. Я доила корову, Алнис таскал дрова для костра. Приготовим обед, покормим всех, поедим сами и до вечера свободны. Иногда, «чтоб не заскучать», я шла подсобить косарям.

Как-то субботним утром рабочие сговорились поехать домой. Мы с Алнисом решили остаться - наш дом там, где мы сами. К тому же заманчиво было оказаться на выходной только вдвоем, ни одного чужого вокруг. Косари наши удивлялись - неужели нам не страшно одним в лесу, вдруг да медведь! Нет, мы не боялись. И они могли спокойно ехать на побывку домой, потому что было кому посторожить и Беляну, и оставленные вещи.

Как только остальные уехали, мы пустились на поиски приключений. И вскоре набрали на колхозное картофельное поле. Вот это сюрприз! Судьба нам явно благоволила, и мы принимали ее дары с молчаливым восторгом. В мой ситцевый фартук набрали картошки на ужин и завтрак и заспешили домой. Там нас ждал еще не погасший костер и нагретая вода в большом котле. Подоила корову. Умылись. На ужин было картофельное пюре на молоке. Ужин, который отпечатался в памяти весь, до последней мелочи. Ели, сколько хотели и даже немного больше, и мыслями переносились в теплый солнечный двор родного дома. Воспоминания вытеснили из души все мрачное, и стало так легко, как, может быть, не бывало даже в самых смелых мечтах.

В шалаш забрались поздно вечером и перед сном еще молча поблагодарили судьбу за этот золотой час. Пришел отец, положил к изголовью новую сказку, теплую ладонь воспоминания приложил ко лбу.

В воскресенье, хорошенько выспавшись, после разговоров о будущей зиме я повязала на голову легкий, в полоску платочек и отправилась к виденному накануне ржаному полю, где первые снопы уже были составлены в суслоны. Алнис остался на месте, чтобы сообщить, если вернутся косари, и присматривать за вещами.

Можно было и не ходить, поблаженствовать на воле, точно кузнечикам на лугу. Но впереди нас ждала голодная зима, вещей на обмен не осталось. Волей-неволей нужно было рискнуть, хотя за кражу колхозной ржи мне грозило восемь лет тюрьмы, Алнису - детский дом.

До поля дошла быстро - обрамленное со всех сторон темной зеленью тайги, оно как бы лучилось. Копны стояли с открытым верхом. Прошла ближе к центру, где хлеб выглядел спелее. Встала на колени перед копной, расстелила свой полосатый платок. Взяла сноп ржи и, головой вниз, начала энергично встряхивать. Еще один, еще, третий, пятый. Когда на платке собралась небольшая кучка зерна, я отбежала на край поля, отвеять половицу, а заодно убедиться, что поблизости никого нет. Очищенные зерна я ссыпала на снятый фартук и относила в кусты. Так повторялось много раз, пока в переднике не оказалось примерно полведра

зерна. Возвращаться в поле уже не было сил. Пора домой, мальчик, наверно, заждался. Собранного нам хватит недели на три. На сегодня довольно.

Домой брела по самому краю ржаного поля, заросшему высокой травой. То и дело останавливалась, оглядываясь и прислушиваясь: не трещат ли сучья, не слышны ли чьи-нибудь шаги.

Так и есть! Из разнотравья воздвиглась фигура: широкое лицо, крупная голова, черная шапка, точно горшок с дегтем. Точь-в-точь староста крепостных времен, каких помню по картинкам. Думать было некогда, ноги сами понесли меня через поле. Позади смутно слышала какие-то крики. Бросила наземь фартук с зерном и припустила еще быстрее! Изо всех сил! Сколько позволяли босые ноги.

Хоть бы он не выстрелил!

Скорость я развила невероятную - как Баба Яга в ступе. За мной раздавались громкие возгласы, кажется, и лошадиное ржание. Кто кричит, кто там гонится за мной, я себя не спрашивала. Только бы успеть, только бы не поймали, не пристрелили... Только бы Алниса не забрали в детдом... Неужели вчерашний вечер был для нас последним, прощальным?

- Мама! - отчаянный возглас раздался совсем рядом. - Куда ты бежишь?

Обернулась. Да ведь это Алнис! Запыхался, догоняя меня.

- От кого ты бежишь? Кого-нибудь увидела? Остановилась.

Смотрю во все глаза на сына. Неужели он и есть та грозная фигура? Тот староста времен барщины? Черный школьный пиджачок. Черная фуражка без козырька. Он и есть. Не зря говорят - у страха глаза велики. От страха в человеке остаются только глаза и ноги. В чем я сама смогла убедиться.

От радости прослезилась. Отдышалась. И - по моим следам обратно, туда, где я в ужасе бросила собранное зерно. На краю тайги, там, где я пустилась бежать, мы уселись в тени огромного, почти двухметрового купыря. Алнис принялся рассказывать:

- Тебя долго не было, и я пошел тебя искать. Увидел, как ты идешь навстречу, и немного присел за травой, чтобы не испугать. А когда ты была уже рядом, распрямился. И тут ты бросилась бежать. Я озираюсь кругом - может, еще кто-нибудь тут есть? Никого не

увидел, давай догонять тебя, звать. А ты бросила свой мешок и от меня, быстрее прежнего. Ну и я припустил из последних сил, еле-еле догнал!

Отдохнули, пошли домой.

И только когда мешочек драгоценной ржи был под головой, мы по-настоящему очухались от пережитого и давай смеяться! Смеялись долго, пока не приехали рабочие; вскоре началась гроза, а там и ночь наступила. Все хорошо, что хорошо кончается, но в глубине души шевельнулось подозрение: а все ли со мной в порядке?

Сено собрали в большие, длинные стога, пора было возвращаться на базу. Не хотелось говорить «домой»: если в Сибири у нас с сыном где-то и был дом, то здесь, на лазаревских лугах.

Выехали перед закатом солнца. Впереди на двух подводах рабочие, за ними на сенокосилке - завбазой, Баранов, человек недалекий и грубый. Мы ехали последними с коровой Беляной в поводу. Не торопились, хотя уже смеркалось и из тайги навстречу нам выступала непроглядная осенняя ночь.

Проехали Лазарево и, не слыша впереди звяканья сенокосилки, придержали лошадей. Я подоила Беляну в глиняную крынку, и мы с Алнисом в последний раз угостились парным молоком, что называется, до отвала. И медленно двинулись дальше. Спешить было некуда, впереди долгая ночь, и на телеге, в обществе лошади и Беляны, страшно нам не было.

Но у поворота на тракт нас ожидал Баранов. С места принялся распекать: почему это мы так тащимся? Отвечаю: корова иначе не поспела бы. Поверил. Но это было не все. Оказывается, не одним нам захотелось молочка. Мне приказано подоить корову. Алнис в беспокойстве заерзал. Я пыталась отговориться: мол, и посуды нет под рукой, и корова ночью не доится. Но Баранов сам отыскал в мешке кружку и настаивал на своем: «Давай дои!» Алнис тяжело вздохнул. Я жала на вымя, тискала его и про себя молила коровушку: «Дай ты ему эту кружку, одну-единственную, ну, пожалуйста, завтра хоть совсем не доись, прошу тебя. Иначе начальник совсем озверееет!» Беляна вняла моей просьбе, кружку молока пожаловала.

- Парню дай тоже! - раздобрился Баранов. Алнис испуганно отозвался: ему не хочется ничего, только бы уснуть!

По возвращении на базу нам и семейству Праулиней отвели целиком крайнюю комнату барака. Как хорошо, как просторно было в этой комнате по сравнению с теснотой средних помещений! Но как уныло и тесно в сравнении с лазаревскими лугами, их широтой, светом, свободой!

Астрида Праулине уже выполняла на базе работы полегче. Атис дома добывал топливо и готовил. Старшая Праулине устроилась в контору счетоводом и приемщицей скота. Мы с этой семьей отлично ладили.

Жизнь вошла в прежнее русло: с непролазной тамошней грязью, вечным голодом, с нелегальной добычей картошки и зерна, с бесконечными мыслями о том, как протянуть зиму. Бывало, что мелькала на горизонте и какая-нибудь надежда, точно светящееся облачко в небесах, но ветер неумолимой реальности уносил его тут же.

Рождество у безумца

Наступила и вторая зима в неволе - в отношении пропитания она была еще хуже первой. Детям о школе опять не приходилось думать: ни одежды, ни еды. Но работы им и зимой хватало, и главным из их занятий была заготовка «сырья» для лаптей.

Лапти оставались нашей единственной обувью и летом, и зимой. Лапти плели не из лыка, а из пакли, которую тащили со стройки. Купить «исходные материалы» нельзя было нигде. В конце концов, чтобы не остаться вовсе без работниц, Старый Черт начал продавать, притом совсем не дешево, строительную паклю. Материал хлипкий - бывало, ребята только кончат вить полоски для одной пары, как обутки уже прохудились и опять нужно плести новые. Когда удавалось раздобыть старую корзину, из лозы получалась обувь не в пример прочней.

Плести длинные «косы» для лаптей - труд однообразный и выматывающий. Алнис искал и находил иногда другой, хотя

и мизерный заработок. Надергает, скажем, из стены какой-нибудь развалюхи длинных ржавых гвоздей, молотком разогнет, обработает - и вот уже готов ножичек, за который одна из наших хозяек оплатит горсткой муки или блюдцем картошки.

Незадолго до Рождества нас, четырех латышек (на базе всех называли не по имени, а по национальности; так оно пошло с самого начала и стало негласным правилом] - Милду, Луизу, Вилму и меня - послали опять со стадом в Ачинск. Время холодное, а одежда из рук вон. На мне было только летнее пальтишко, подкладку которого я давно отдала за картошку. И без того тонкая ткань во многих местах прохудилась. Поверх пальто я обычно надевала еще демисезонное пальтишко Алниса с наполовину отпоротыми рукавами; на ветру они трепыхались, как цыплячьи крылышки. На ногах - штопанные-перештопанные чулки и огромные лапти. Юбка, понятно, с заплатами, а из белья почти ничего. Милда еще в первую зиму в тайге порвала пальто. Низ, порванный в лоскуты, пришлось отрезать, и Милда придумала подшить вместо удаленной полосы посудное полотенце. Подпоясывались мы лошадиными путами.

С тяжелым сердцем оставляла я и в этот раз Алниса. Как-то он справится, один? Мальчик тоже, может быть, расставался со мной не без грусти, но другой стороной души и радовался наступающей свободе. Самостоятельность влекла его, как любого подрастающего человека.

В путь вышли с большим стадом скота, шестью возами сена и одной пустой подводой с замороженной клячей в упряжке. В первый день мы прошли в сторону восходящего солнца 32 километра, до села Катюл. Все бы хорошо, но в ночь грянула такая пурга, в какую скотину вообще не выпускают из хлева. Единственное спасение было - гнать стадо дальше. Кроме прочего, поджимали сроки: упустишь день - сена не хватит.

Снежная буря, между тем, бушевала. Перед глазами крутилась белая пелена. Шли согнувшись, с закрытыми лицами, берегли глаза. Ледяные иглы пронизывали тело насквозь. Дорогу мы скорее нащупывали, чем видели. А когда Катюл остался за спиной и вышли в открытое поле, случилось то, чего и следовало ожидать: животные, гонимые пургой, бросились бежать, как

оглашенные. Погонщик, шедший впереди, не мог удержать эту лавину, мы сзади не поспевали за ней. В зимнюю гонку верховой пастух не был предусмотрен.

Я, Милда и один русский были в этот раз возницами, сани гружены сеном для скота. Буря не давала и нам спуску опрокинула воз. Только мы втроем поставили сани на полозья, как вторую подводу ударом снежной массы завалило в кювет. Мы шли пешком рядом с санями. Пришлось смириться с тем, что полвоза ушло на ветер, спасти бы остальное. Едем дальше? Но тут заупрямилась наша кляча. Возница начал стегать одра изо всех сил и бил в остервенении, пока не прикончил. Мы этому не могли помешать, мужик совсем озверел и стоял, выставив на нас вилы. Наконец, Костенков, так его звали, вилы бросил и провалился в пургу. Больше мы его не видели. Человек этот был принят на работу недавно, перед тем освобожден из заключения. Мы сняли с несчастного одра упряжь, кое-как отволокли в сторону, пустые сани привязали к другой подводе и продолжили путь.

Дойдя до следующего поселка, Вагино, выгрузили сено, задав корма скоту и с пустыми санями двинулись обратно: нужно было забрать погибшую лошадь, в Ачинске сдать на мясо. Ехали мы вдвоем с Милдой, ночь темная, хоть глаз коли. Пурга, правда, притихла. Подъезжаем к месту происшествия - слышим тихое лошадиное ржание. У нас ноги подкосились от этого звука даже больше, чем от усталости. Неужто лошадиная душа пришла требовать ответа за бесчеловечное обхождение? Чувство такое, будто сами убивали. И поди докажи, что это были не мы.

Ржание повторилось, и у нас не было права ни в обморок падать, ни бежать без оглядки. Мы обязаны были найти лошадь, перетащить в сани и возвращаться на место ночевки. Подходим к нашему мертвецу, а он поднял голову. Жив! Затащили мы беднягу - как только сил хватило! - кряхтя и охая, в сани, обложили мягким сеном, медленно едем обратно. По дороге старый одер однако испустил дух окончательно.

Третий день был еще труднее. Самых слабых телят и овец с огромным трудом удавалось сдвинуть с места, да и удавалось не всех. Застывших на снегу без движения, полуживых и уже неживых на руках переносили в сани.

Следующую ночь предстояло провести в Красной Речке. Добре́ли туда уже ночью, а перегон был куда короче, чем предыдущий. Загнанные на скотный двор, животные тут же в изнеможении свалились на снег. Вместо необходимых двух возов сена у нас оставался один, да и то неполный. Значит, под конец кормить бычков и коров будет нечем. Ночью один из погонщиков должен дежурить, сторожить и забивать не выдержавших дорогу. Мучения животных были не меньшими, чем наши, людские, сердце болело и за них, наших братьев по страданиям.

Четвертый день не был лучше. Опять пурга, снег легко мог занести овечку а за каждую потерянную мы должны будем платить. Наш путь превратился в какую-то дурную бесконечность. Пурга не унималась. Падеж в стаде продолжался. Заночевали в Белом Яре.

На пятый день достигли Ачинска. Павших животных на этот раз не повезли с собой, а оставили на месте ночлега. Потом с комбината приедут рабочие обработать туши и затем сдадут на мясо. Без предварительной обработки павших животных не принимали.

Пурга, казалось, еще больше рассвирепела. Мы завязывали глаза марлей, стараясь рассмотреть через повязку, где дорога, где бычки и овцы. В Ачинске загнали стадо во двор «Заготскота», на котором ни разу раньше не были. Погонщики должны были посменно дежурить снаружи. Остальным отвели подвальное помещение, стены в измороси, вместо мебели - пустые бочки. Зато здесь была плита и немного дров. Затопили, греемся. Хлеба у нас не осталось, но по счастью было несколько капустных кочанов, упавших с какой-то подводы. Этого хватило на ужин и на завтрак. Сидя на бочках, мы отрывали по листу капусты, согревали на плите или сразу во рту.

Здесь было хорошо. Буря бушевала наверху, за дверьми. Все пережитое за четыре дня трудного пути осталось тоже снаружи. Мы могли наконец отдохнуть.

Буря набрала такую силу, словно хотела смести с лица земли самую ночь. Ночь со всеми людьми в подвале и животными во дворе. Над замученными бычками и овцами быстро нарастали снежные сугробы, и сменяющиеся погонщики должны были

всю ночь освобождать их и заставлять двигаться, чтобы до утра не зачоченели. Такие ночи - испытание для всего живого, и нам приходилось выдерживать его не впервые.

Под утро пурга прекратилась внезапно, будто где-то кто-то нажал кнопку на пульте. Сразу похолодало. Выплыл месяц, зажег в небе над собой большой крест. Меньшие кресты зажглись справа от него и слева. В старые времена такой знак посчитали бы предвестием беды: войны, морового поветрия, голода. А что н предвещал нам? Новую пургу. Такую же, как вчера и позавчера, оказывал, что не надо верить затишью.

Милда пишет: «С утра скот сдать не смогли, на мясокомбинате была большая очередь. Пришлось ехать за три километра от Ачинска за ржаной соломой, у нас сена не осталось. Мороз, животные подвело, ночью, считай, не спали. Солома занесена снегом, верхний слой смерзся в ледяную корку. Пока справились, обнаружилось, что еще один бычок замерз насмерть».

Наконец, сдали скот комбинату. В пути, оказалось, потеряли четырех коров, бычков и многих овец. За них погонщики долго будут работать бесплатно, возмещая государству нанесенный ущерб. Примут ли во внимание разгул стихии? Едва ли. Такие снежные бури тут не редкость. Правда, в пургу гонку не начинают. Но если она застала стадо в пути, ничего не остается, как довести дело до конца.

Один местный житель сообщил, что вроде бы две наших коровы отбились от стада еще накануне, когда мы входили в Ачинск. Решили идти на поиски - вдруг повезет. Узнать своих животных не было проблемой - у каждого и каждой в ухе блестящая бирка. Мы обходили улицу за улицей, не пропуская ни одного дома. Люди Удивлялись, глядя на нас.

- Вы откуда? - спрашивали нас.
- Из Америки, - отвечала шутя Милда.
- В Америке уж точно таких не бывает.
- Каких - таких?

На Луизе галифе айзсарга, синее пальто с белыми заплатами, вместо пояса шнурок. На одной ноге лапоть, на другой - валенок, только низ, без голенища. Это ей выдала одна хозяйка, нечаянно спалившая второй лапоть Луизы, сунутый в печь на просушку.

Вилма в штанах, пошитых из цветастого покрывала, куртка, подпоясанная полотенцем, набитая тряпьем шляпа не по размеру, похожая на шлем водолаза.

У Милды пальто все в заплатках и «отороченное» снизу посудным полотенцем, лошадиные путы вместо пояса.

В моих чулках дети однажды насчитали 73 заплатки и штопки. Разноцветные вставки были собраны по чужим дворам и дорожным обочинам. Поверх своего семисезонного пальто, пальтишка Алниса я надевала еще одеяло Луизы с клочками ваты, дрожавшими на ветру. От одного моего вида шарахались даже лошади, сбиваясь с наезженной колеи в снежную целину. Один возница пытался даже огреть меня кнутом за то, что лошадей пугаю. На ногах у нас у всех были лапти неопишемого состава, размера и вида, утепленные фетром, натасканным из лошадиных седел.

Заблудших коров мы не нашли. Если они забрели в чей-то двор, никто их оттуда не выпустит. Увы, голову бедолаги мгновенно отделят от тела, мясо закопают в снег, шкуру - в котел и на плиту. Голодали все. А мы и вовсе ничего не держали во рту после тех капустных листьев, поэтому спешили домой, не по тракту, а по льду Чулыма, не так занесенному снегом, как лесные дороги. Выехали после обеда, и тут же опять завела свою песню пурга. Лошади тащились еле-еле, тоже голодные.

Мороз крепчал. Сойти с саней и пробежаться пешком, чтобы согреться, ни у кого уже не хватало сил. А северный ветер только и знал, что зубами впиваться в плоть, и без того заледеневшую. Язык и то замерзал во рту. Мы не могли даже перемолвиться словом, сказать, что вот-вот околеем, как собаки, в самый канун Рождества.

Даже прибрежные деревья стонали и хватались друг за друга. Так и мы цеплялись, жизнь за жизнь, пытались думать о чем-нибудь теплом, чтобы хоть мозги не вымерзли. О жарко натопленной печке. О свечках на еловых лапах. Покуда свет этих воображаемых огоньков сохранялся в мечтах, мы оставались живыми. Вот и там, в мечте, студеным ветром вроде задуло пламя. Нет, рождественские свечи не имели права погаснуть!

Медленно влачили над рекою минуты. Нескончаемые, как часы. Время точно застыло. Мы крепились из последних сил, хотя сон наваливался ледяной глыбой. Каждый знал: заснешь - не проснешься.

Вконец промерзшими, но живыми мы все-таки добрались до Красной Речки. Дом, в который нас пустили переночевать, люди вообще-то обходили стороной: тут жил безумец. Но у нас выбора не было.

Оттаивали мы в густых испарениях варившейся в печи картошки. Хозяйка готовила корм для свиней. Домашние чай уже отпили, нам предложили воду. Спасибо, попить оно неплохо, но мы уже не первый день голодаем, - сказала по-латышски Милда.

Отряхнулись мы, сняли и расстелили на полу одежду. И тут только ощутили, что ни руки, ни ноги нас толком не слушаются. Носы чуть ли не отморожены. Начали оттираться снегом. Хозяйка принесла воды, Милда снова заметила по-латышски, что водой делу не поможешь, пару бы горячих картофелин! По-русски повторить это она бы не решилась - вдруг не понравится хозяйке, попросит на выход! В избе, по крайней мере, тепло.

Руки помаленьку отошли и сами. Распухли, цвет красный с синевой, но видно, что живые. А вот ноги, белые и одеревеневшие, пришлось приводить в порядок долго. Хозяйский сын в длинных широких шароварах подавал воды то одной, то другой: женщины теряли сознание.

И я решилась. Сказала по-русски:

- Вода не поможет. Нельзя ли совсем, совсем немного картошечки? Второй день во рту ни крошки. Оттого и обмороки.

- Да ты что! Сами забыли, когда ели досыта!

- Да я ничего... Я только спросила...

Реплика хозяйки не оставляла никакой надежды на еду. Ни одна из нас даже мысленно не осудила хозяйку. Несчастная женщина, которой нужно в одиночку тянуть на себе дом, в лихие времена кормить ребенка и сумасшедшего мужа.

С превеликим трудом мы вернули все члены тела к жизни, а головы к ясности и без сил откинулись на наше бедное тряпье. И тут же возник и стал дразнить невыносимый соблазн: выхватить

из чугуна картофелину с пылу с жару, такую сказочно горячую, что еле можно удержать в пальцах, разломить ее, чтобы разваристая мякоть согрела и взгляд тоже, откусить кусочек и медленно, медленно высосать, пока она не растворится в слюне. Хотя бы каждой из нас одну-единственную! Свиньи даже не заметят, что четырех картофелин не хватает. А для нас - для нас это было бы сладчайшее рождественское угощение!

Никто из вас, читатели, меня, скорей всего, не поймет. Но хозяева тех домов, где мы останавливались, понимали. В присутствии чужаков каждый кусочек еды всегда оставался в поле зрения домашних. Даже в хлеву у кормушки кто-нибудь приглядывал, чтобы свинья получила свое целиком и полностью. Бывали, бывали случаи, когда голодные ночлежники, отогнав бедное животное, управлялись с содержанием кормушки сами. Тут нужен глаз да глаз!

Погонщикам на базе выдавали паек, немного хлеба - но настолько немного, что на обратный путь никогда не хватало. А если задерживались на лишний день в Ачинске, приходилось голодать, как и в этот раз.

Тут же, с нами рядом, на полу спал слабоумный муж хозяйки. Безумец. Но не настолько безумный, чтобы не мог жить дома. Он по временам вскрикивал, сучил ногами, и хотя хозяйка успокаивала, мол, он не опасный, было жутковато.

Хозяйка окинула пристальным взглядом нашу одежку, лица с сизыми, распухшими от мороза носами, покачала головой. Она знала, сюда заявляются на постой те, кого в другие дома не берут. Она ни о чем не спрашивала, хотя видела нас впервые. Подошла к мужу, потянула за плечи, потом за ноги, опять за плечи, снова за ноги. Оттащила подальше от нас, от вшей, от возможной заразы.

Рождественский вечер.

Спали мы тихо. Только живот урчал непрерывно: есть, есть!

В тепле натопленной избы поверх голодных мук грезился милый дом, праздничный вечер на родине. Там, под далекой заснеженной крышей мама хлопчет, печет хлеб. Воспоминания, тоска по дому, тепло сморили измученное тело. Для сна тысячи километров и дней - не помеха. «Бери эту краюшку. И еще горбушечку, бери, попробуй!» Матушка протягивает хлеб, теплый,

только из печи, Алнис с отцом уже сидят за столом и едят. Все едят. И солнце бьет в крайнее окно. И пахнет, пахнет хлебом.

«Бери и ешь», - все угощает меня мама. Но я только складываю угощение в наволочку. Сколько бы ни давала мама, я складываю, прячу. В ту самую наволочку, в которой таскала с поля картошку.

«Пряничек возьми! Мятный пряничек!» Мама сует мне в руку что-то завершенно вкусное, сейчас откушу, сейчас...

- Ты что, спишь? - тормошит меня Вилма. - Держи... этот кусочек специально приберегала до Рождества. Вместо пряничка...

Кончился сон, вступила в права горькая реальность. Ни мамочки, ни родного дома, ни хлебного каравая, только что вынутого из печи. Отошедшее от мороза тело ломило. Время от времени вскрикивал безумец рядом с нами и сучил ногами по полу.

Но в горсти у меня был кусочек хлеба. Крошечный, смерзшийся, он воплощал в себе всю сладость жизни.

Привезли калмыков

Вскоре после Нового года, в самые морозы в Тюхтет доставили сотни новых ссыльных. То были калмыки из приволжских степей. Из своей автономии они, так же как перед этим немцы, были высланы все поголовно. Об их терзаниях писать не решусь. Не достанет сил пережить заново с каждым народом его муку.

И на базу прибыло несколько подвод с калмыками, их приставили работать со скотом. Степной народ, занятие это им не в новинку. Жить их поместили в две пустовавшие избышки; они сами залатали смесью глины с навозом полуразрушенную плиту.

Калмыки твердо придерживались своих национальных обычаев: сидели на земле или, вернее, на полу, ели сидя на полу, чай пили с солью, перцем и маслом, естественные надобности отправляли без стеснения на глазах у людей, в том числе и на Дворе базы, где придется. Мужчины могли похвастать длинными, жидковатыми татарскими усами и курительными трубками

с крышечками на цепочке. Женщины до старости ходили с выпущенными косами; девушки в них вплетали связки ключиков, звеневших при ходьбе. Старые женщины носили круглые вышитые шапочки.

Мы с калмыками хорошо ладили, ведь все были жертвами одной и той же власти. Но нравы и обычаи и мы сохраняли свои.

127+5 + 3

Зима была ужасной, самой трагической за все годы нашей ссылки. Люди ходили серые от недоедания и холода, лица, как маски. Ни одной улыбки ни солнцу, ни друг другу. Жизнь в людях теплилась благодаря той самой жалкой пайке хлеба, картофельным очисткам, мезге - отходы производства нам продавал иногда расположенный невдалеке крахмальный цех. Солому и всякую труху тщательно разбирали, все мало-мальски съедобное шло в ход. Не было соли. Лишь позднее Элза Берзиня поступила в Тюхтете на кожевенный склад; там сырые кожи перед сдачей пересыпали грубой солью. Перед тем, как увезти очередную партию сырья, соль стряхивали наземь, затем собирали и снова пускали в ход. Подметая пол, а иногда и как-то иначе Элза собирала и припрятывала кулек соли и передавала нам на базу. Очистив серую массу от крови и шерсти, подсушив, мы получали соль, готовую к употреблению.

Пуд (16 кг] ржаной муки стоил 2400 рублей, когда и если какой-нибудь колхозник привозил ее. А зарплата наша была от 100 до 200 рублей. И из них еще вычитали за облигации - подписка на очередной заем была для всех добровольно-обязательной - и за животных, потерянных во время пурги. Хлебная норма была 400 граммов на рабочего и 150 на ребенка или старика-иждивенца. Хлеб притом тяжелый, сырой. Люди пухли от голода, попадали в больницу. Но и там получали те же 400 граммов по карточке, взятой из дома.

До сих пор не понимаю, как в нас, обглоданных вшами ходячих скелетах, теплилась жизнь, откуда брались силы что-то делать. Голод в такой мере был привилегией ссыльных, но вши ползали и по черному френчу управляющего, и по черным локонам его супруги. Вшами кишели больничные одеяла.

Нас по-прежнему посылали на гонку правда, теперь нам полагалась дополнительная подвода, и погонщица, выбившаяся из сил, могла передохнуть на телеге рядом с тушами телят, павших в пути. Когда гнали скот в Ачинск, было и одно преимущество: мы могли позволить себе чай с молоком или даже ржаную похлебку на молоке, придававшую сил.

Ближе к весне все мысли были заняты посевной картошкой. В поселках поблизости картофеля уже не оставалось. Однажды наша Кукайните выпросила на базе лошадь и поехала за 50 километров в Изотово. Там ей посчастливилось - вернулась с мешками картошки, притом заплатила за нее наличными, денег у нее было побольше, чем у большинства, и держались они лучше.

- Соколиха, я и тебе привезла один пуд! Еле сторговала за 135 рублей. За деньги никто продавать не хочет. Обмен выгодней. Бери, бери! Когда за бычков расплатишься, тогда и отдашь. (Из моей зарплаты все еще вычитали за потерянных во время гонки животных.)

- Ну, мам, теперь и мы со своей картошкой! - радовался Алнис, не спуская глаз с мешочка и даже поглаживая сквозь грубую ткань округлости клубней.

Под полом у нас с осени была вырыта ямка для хранения добытой в поле картошки. Теперь мы по счету каждую картофелину отдельно переложили в тайник.

127.

127 картофелин - примерно то же, что 127 золотых латов.

Сказочное богатство.

Десять картофелин я тут же обрезала снизу и сварила, наполнив водой большую кастрюлю. Похлебкой с картофельным духом нужно было умиловить голодный желудок. Остальные картофелины обрежем при посадке. Тогда понадобится больше сил.

Такие схроны под полом были у всех латышек, и все точно так же складывали по счету драгоценные картофелины, бережно и с любовью. И потом каждый клубень многожды проверялся, переворачивался. Обласканный ладонью и взглядом.

У нас в тайничке было 127 вновь привезенных картофелин, заработанные Алнисом пять верхушек, и еще три целых картофелины, которые мне в одной деревне удалось, дрожа от страха, выхватить из чугуна, приготовленного к варке; картошка предназначалась пороссятам. Весной одна русская дала еще несколько горстей мелкой, как горох, семенной картошки. Всего этого, по нашим расчетам, должно было хватить на 15 соток.

И другие латышские семьи поступали точно так же; при всем голоде умудрились не тронуть ни одного клубня. Люди терпели, глотали слюнки, наведывались в тайник, чтобы снова и снова осмотреть свои запасы, но ни своей, ни тем более чужой картофелины не касались.

Еще из копилки воспоминаний Милды

Когда в животе пусто, в голове лишь одна мысль: есть хочется! - все остальное отходит на второй план. Но когда работа становилась уж вовсе непосильной, тогда и еда не шла на ум. Больно даже в воспоминаниях возвращаться к пережитому, к той скотской жизни, холодной и голодной, тянувшейся так мучительно медленно.

Что такое гонка, уже не раз говорилось, а ведь это было наше главное занятие. Летом на солнцепеке, в грозу и ливень. Беготня по обочинам дорог и кюветам, напролом через кусты и по кочкам, чтобы совладать с большим стадом. Мокрая одежда сохнет прямо на теле. И осенние дождливые ночи, проведенные у костра, где дремлют свободные от дежурства погонщики. И ночные заморозки, когда, проснувшись, обнаруживаешь, что от костра остались лишь угли и дрова кончились. После таких ночей человек засыпает, следуя за стадом, на ходу.

Одна из осенних темных ночей. Дождик моросит. Стадо согнано на поляну. Я и напарница дежури́м. Присели на поваленное дерево. Мы промокли до нитки, но усталость все равно сморила - глаза закрываются сами собой. Очнувшись, обнаруживаю, что последняя корова покидает поляну. Срочно будим остальных, гонимся за сбежавшей скотиной, находим наших подопечных на колхозном поле в полутора километрах от места ночевки. Несколько бычков уже захвачены местными на месте преступления, и нам грозит тюрьма. Старшая гонки идет вызволять «арестованных», мы должны их сдать в Ачинске! Акт был составлен, но до суда, к счастью, дело не дошло.

Зимой мы сильно обморозили ноги, снизу доверху. Последствия обнаружились летом. На ногах появились струпья и гнойные нарывы, плохо заживавшие. Однажды по этой причине меня освободили от гонки в Красноярск (300 километров). Начальство громко бранилось, но ничего не могло поделать.

Начиная с 1943 года я единственная на базе отвечала за «посевную кампанию». В одиночку засеять нужно было около 50 гектаров - зерновыми, льном, клевером, коноплей. Весной было все-таки полегче, а вот осенний сев озимых давался много трудней. Лен рос отменно, весь никогда даже не успевали убрать. Тетушка Сика тогда выходила на поле сама, собирала недобранное, чтобы использовать потом на лапти.

Часто приходилось работать ночью, при луне. Далеко за полночь, бывало, сгребали сено, отвозили рожь на ток, а утром все равно требовалось быть в конторе на разнарядке. Молотьба тоже часто затягивалась. Молотили с помощью «барабана», который тащила по кругу лошадь. Внутрь барабана понемногу совали колосья, на выходе получали зерно вместе с соломой. Три пары женщин сгребали и отбрасывали солому в сторону, зерно с мякиной оставалось понизу. Время от времени его сгребали в сторону, в кучу. Веяли с помощью ручной машины. Днем для этого людей не хватало, поэтому отвеивали ночью. Крутить веялку - тяжелый труд. Резчик меняется с тем, кто грузит зерно. Третий человек собирает очищенное зерно в мешки или в кучу. По окончании работы на току остается сторож.

Однажды нас троих - двух работников-мужчин и меня - отправили за обрезками досок на лесопильню, бывшую в 16 километрах от нас. Потом эти доски нужно было отвезти в Тюхтет, это еще пять километров, так что обратная дорога - в общей сложности 21 километр. С повозкой, запряженной шестью быками, мы выехали в 5 утра. Поднялась пурга, быков нужно было вести в поводу, иначе те отказывались двинуться с места. Над глазами у них наросты льда с кулак величиной, и бедняги ничего перед собой не видят.

Прошли таким образом около трех километров, шагая впереди упряжки. Занимался рассвет, быки остановились, ни тпру, ни ну. Что делать? Возвращаться нельзя. С грехом пополам дотащились все-таки до деревни Аскарówki. Рассвело. Зашли в контору погреться. Там удивились: кто же выгоняет в такую метель людей, да хотя бы и скотину? У кого власть, отвечает, тот и выгоняет.

Посидели, расспросили насчет дороги. Едем дальше. Вот и еще одна деревенька. И большая конюшня у дороги. Наши быки сами свернули туда. Мы подивились, как можно держать лошадей в таком сарае: потолка нет, берестяная крыша сплошь в дырах. Везде снег.

Вбегают какой-то бригадир, машет руками, гонит: чужой скотине тут не место, еще занесете какую заразу!

Ташим своих быков силой из конюшни, просим показать дорогу. Нам указывают путь через поле с довольно ровным снежным покровом. Но у ворот такой огромный сугроб, что быки проваливаются в него и сами выбраться не могут. Ветер, снег, мороз. Один из мужиков бормочет в отчаянии: «Вот и смерть, видать!» Вытаптываем снег, поднимаем сваленные набок сани. Животные, выбравшись из сугроба, тут же метнулись опять в конюшню. Наш спутник Борис идет в контору, молит выписать сена быкам, ведь ясно, что сегодня мы уже никуда не успеем. Выписали.

Возле сарая - будка сторожа. Зашли туда. Не топлено, темно. С одного края лавка, похожая на банный полук. И печка-буржуйка. Пришел сторож, низенький человек, затопил. Мы улеглись на полук, все еще дрожа от холода. Снаружи воеет метель. Думаем, с

чего начнем утро. Сторож принес за пазухой несколько картофелин, испек, дал и нам по одной. Вскипятил воду.

Наутро погода мирная. Лесопилку мы нашли не без труда в глубине неряшливо выработанного леса. Наконец-то с грузом едем домой. Сани все время заносит вбок, приходится идти рядом, то и дело заталкивая их в наезженную колею.

В Аскарровке уже темно. Быки устали. Продвинемся чуток и встаем. Впереди долгий подъем, но быки ложатся на землю, упорно не желая тащить сани в гору. После полуночи кое-как довели до базы. Но доски-то требовалось отвезти в Тюхтет! Об этом нам на повышенных тонах напоминает завбазой. На следующее утро груз доставлен.

Оказывается, доски были нужны для забора - огородить на время ремонта водонапорную башню. Наше начальство не упускало случая заработать на стороне, используя полудармовую рабочую силу - ссыльных. Где нужно что-то подвезти за хорошие деньги - пожалуйста! Нужны кирпичи на строительстве клуба? Подвезем! И ссыльные женщины едут на кирпичный завод, грузят, выгружают, и все это помимо и сверх основной работы. Кому-то из начальства привезти дров? Нет проблем! И нас посылают в тайгу, где эти дрова еще надо заготовить, а уж потом отвезти.

Выходных в результате почти не бывает. При этом заработная плата - 100 рублей, из которых 20 вычитут за облигации.

Тейка с консервной банкой в ручонке подбегает к раздаче казенного супа. Наливают немного и ей, хотя я уже получила свою порцию.

Не знаю, откуда в нас брались силы все еще жить и работать.

Хлеб везут!

Около полудня глаза всех ребятишек устремлены на дорогу: в это время тетя Праулине привозит для всей базы хлеб из Тюхтета.

- Илзе, что бы ты делала, если б тебе одной дали целую буханку?

- Я бы ее всю съела.

- А я бы съел целый мешок! - говорит Андريس.

- Вот если бы я был хлебовозом... Я бы мог нюхать хлеб сколько хочешь! - раз мечтался Алнис.

- Ну уж нет, - сказал, как отрезал, Атис. - Стоит чуть-чуть не так взвесить, одному, другому, и ты остался без хлеба.

Атис знает, о чем говорит. Это его мама возит хлеб, и Атис видел, как трудно ей с точностью до грамма взвесить порцию каждого. Недовесить никак нельзя, столько глаз следят за каждым ее движением. А перевесишь - отдавай свой паек.

Разговоры в этом роде не смолкают до того момента, пока из-за рощицы не показывается вол Колобок, а за ним и таратайка тети Праулине. И тогда над базой раздается звонкое, многоголосое:

- Хлеб везут! Хлеб едет!

Все игры и дела враз оставлены. Одни бегут к таратайке. Другие от радости кружатся на одной ножке. Третьи спешат к матерям, спросить, можно ли им получить пайку.

Тетя Праулине, самый важный на этот момент человек, подъезжает к амбару и выгружает полтора мешка хлеба. Это и есть дневная норма для всей базы.

Взвешивают хлеб в дверях амбара. Каждое движение делящей сопровождают напряженные взгляды детей и взрослых. Вот Праулине берет хлебный кирпичик, отрезает и взвешивает для каждой семьи - теперь уже 300 граммов на работающих, 150 на иждивенцев.

«Когда весы пустые, чаша, на которой будет хлеб, вроде немного выше... Или это только кажется? Смотри, чтобы не осталась какая крошка на весах!» - думают малые с замиранием сердца.

У Праулине свои заботы: в магазине отвешивают так скупно, хватило бы всем, да и себя, и своих бы не обделить!

И стар и мал радовались, если точный вес сразу не получался, и к своему куску сверху прибавлялся хотя бы крохотный довесочек. Негласный закон позволял получателю этот как бы дополнительный кусочек съесть тут же, на месте. И он был таким вкусным, что таял во рту. Остальной хлеб нужно было отнести в барак, спрятать в изголовье постели, чтобы не видеть, не пускать слюнки, не соблазняться.

На пороге голодной смерти

Весной все посадили картошку, но сами были на грани полного истощения. Желтые лица, вспухшие от голода животы. Голод заставляет организм пожирать самого себя - сердце, мозг, нервы. Люди болели, стали беспокойными, злыми, дергаными.

Из детей слабее всех был Атис. Из взрослых - Праулине и Кукайните.

Алнис пожелтел лицом, ослабел, его мучили беспрестанные нарывы, но на ногах он держался. Злокачественные перемены происходили со мной. Зелень, которая заменяла нам еду, действовала как отрава. Все мое тело распухло. Такой меня привезли в больницу. Руки и ноги мне отказали, заплывшие глаза почти не видели.

В палате лежала пластом; слышала, как соседи говорят боязливым шепотом: «Эта уже не жилец!»

Мне и самой казалось, что жизнь в который раз висит на волоске и конец всем моим мученьям близок. Но после двух лет отчаянной борьбы взять и умереть от голода казалось так унижительно; ну и главное, судьба сына заставляла меня вздрагивать от боли.

В больнице голод не лечили. И лекарства от голода в этой больнице не было, если не считать хлебной пайки, выдаваемой по карточке, которую пришлось взять из дома. Умиравших от голода в больницу брали умирать.

Но мне снова посчастливилось. Одна медсестра, новенькая, из ссыльных немцев, которую я никогда прежде не видела и теперь с заплаканными глазами видеть не могла, начала меня тайком подкармливать. Ее мать работала на свиноферме, и колхозные хавроньи вряд ли замечали, что их рацион уменьшается иногда на полкрынки. Луиза изредка тоже приносила «пороссячий корм»: тетя Дзирнекле, растившая свиней на нашей базе, отрывала какую-то малость от них для меня при случае. Элза Берзиня однажды принесла настоящий бутерброд с маслом, его подарила ей одна русская на день рождения. Столь щедрого подношения я принять никак не могла, но Элза чуть не силой заставила меня откусить от этой вкусноты пару раз. Может быть, как раз от этих

двух кусочков, от людской доброты я с того момента начала выздоравливать, опухоль стала спадать.

Я не умерла. Через пару недель начала видеть, ходить и протягивать истончившуюся руку своим спасителям. Перечислить их всех я вряд ли сумею. В таких крайних ситуациях перед тобой уже не латыш, немец, русский, калмык, а человек, спасающий от гибели человека. Как брата, как сестру, как такого же, как он, представителя рода человеческого.

15 июля меня выписали из больницы, и я пешком шла домой. Солнце припекало вовсю, голова кружилась. Но я была счастлива. Счастлива, что жива, что вижу солнце и синеву небес, зелень трав и деревьев, что вот-вот опять буду дома.

У наших картофельных грядок навстречу мне выбежал Алнис с белой эмалированной миской, в которой были небольшие, но наши картофелины - их мы сварим на ужин.

Наш огород был обработан, прополот, каждый куст картошки окучен. Пока я лежала в больнице, женщины заботились об участке. Я была растрогана до слез. Сколько же добра и красоты в людях, а особенно в своих! Отплатить за такое участие невозможно, да никто и не просит платы. Но память о таком жива в душе и полвека спустя.

Алнис вздохнул рассказывая: теперь голодать не придется. Уже можно есть кедровые орешки. Он и Атис ходят в тайгу шишковать. Как раз теперь, когда орехи еще не спели, кедровую шишку можно варить или жарить целиком и есть как хлеб, притом еда это сытная.

Голода больше не было. Понемногу подкапывали уже и картошку. Крапиву есть перестали: организм ее больше не переносил, отвергал, как отраву.

Золотая сосна

После больницы мне дали несколько дней отдохнуть. И я с детьми ходила по ягоды, чаще всего на Долгое поле, где было больше всего земляники. Однажды дети, как обычно, собирали

ягоду, не поднимая глаз. Но грянул дождь, и только тогда они увидели в конце поля огромную сосну, побежали прятаться.

То была сосна-великанша с золотистой корой, и причудливо изогнутые ветви на солнце тоже отсвечивали золотом. «Золотая сосна», - так я ее про себя называла. Но никто больше, кажется, не замечал ее красоты. На Долгое поле ходили по ягоды, придя, трудились, глядя неотрывно вниз, голову поднять было некогда. И я тут не была исключением.

Только после чудесного спасения от верной смерти выдались эти несколько деньков, возможность посидеть под золотой сосной, собрать туесок земляники для Алниса, который теперь в свой черед слег с фурункулами и температурой. Сосна своим смолистым духом придавала мне сил и не скупясь предлагала зеленые шишечки - гостинец для наших ребятишек.

Хороша она была, золотая сосна, и никогда я не уходила от нее без гостинца в руках или в сердце. Правда, побывать там выходило нечасто. Я и сейчас с прежней радостью вспоминаю ее мощный, в чешуйках темного золота стройный ствол и ближнюю ветвь, похожую на поднятую в приветствии дружескую руку. Привет тебе здесь, в моей памяти, золотая сосна!

На разных работах

Грязь

Голод как будто остался в прошлом. Картошка у всех удалась. Не надо было больше крадучись пробираться ночами на казенное поле, картошка своя, ешь - не хочу. Впрочем, и хотелось, и ели вволю.

Осень, как всегда в этих краях, дождливая. База утопала в грязи, которую месили к тому же тысячи копыт. Двор выглядел так, точно здесь произошло извержение вулкана и лава еще не успела остыть. «Грязь до самого порога. Грязь повсюду в быту. Надо было приложить немало усилий, чтобы грязь не прилипла к твоей душе, не примешалась к простым человеческим радостям, не замарала веру в будущее», - писала Милда.

Меня назначили свинаркой. Работа не для белоручек. Несу ведра в свинарник, грязь так и норовит содрать с тебя лапти. Грязными были и кормушки, и сами свиньи - в грязи по брюхо. За время кормежки прожорливые хавроньи умудрялись так забрызгать меня, что лишь глаза да челка выглядывали из-под грязи.

- Соколиха, тебя к телефону. Старый Черт звонит из Тюхтета! - однажды под вечер крикнула мне Праулине, прибежавшая из конторы. - Беги, живо!

- Ну да, на лаптях полпуда грязи, побежишь тут. Да и вообще, пошел он...

- Да он орет, что ты нужна срочно!

- А ты не слушай! Пускай на своих чертей орет! - советую я, но все же ковыляю в контору. Там за мной остается серый грязевой след.

- Слушаю вас! - спокойно говорю в трубку.

- Где ты валандалась? - кричит в ответ Старый.

- Свиней кормила.

- Ты что, не знаешь - когда зовут, все бросай и беги.
- А хотя бы и знала. По такой грязище да с грязью на лаптях не больно-то побегаешь.
- Ладно, короче. Завтра поедешь со мной в Усть-Чульск, скот принимать.
- Мне ехать не в чем. Не одета, не обута. Не поеду.
- Будут тебе обувки и все такое. Собирайся! - и клик! Бросил трубку.

Старый Черт со своими подданными не церемонился. Одно из двух: или ругался, или командовал. После того, как обнаружилась моя «грамотность», он, правда, иногда даже обращался ко мне на «вы», называл по имени-отчеству но чаще «тыкал» по-прежнему, «по-коммунистически».

- Тетя Праулине, как быть? Это ж 150 километров, и все по тайге! Да я и Старого Черта боюсь.

С моих лаптей уже натекло озерцо бурой грязи. Но и моя собеседница, счетовод, тоже оставляет за собой темный след. И она ходит в контору в таких же лаптях. Только разве увязать по колено в грязи ей не случалось.

- Езжай! Не съест он тебя, а в дороге, может, и помягчает. Опять же, если что, он за тебя отвечает.

- Его ответственность за нас такая же, как моя за свиней. Кто подох, сдаем на мясо.

- Ну-ну не так страшно. Не бойся, может, еще и полегче будет, чем здесь, в грязюке.

Утром Старый Черт прислал мне новую, винного цвета фуфайку и поношенные длинные сапоги, похоже что свои. И лошадь, чтобы меня доставить в Тюхтет.

- Будь здоров, мой мальчик. На этот раз не боюсь тебя оставить: по крайней мере картошки можешь съесть столько, сколько не поленишься сварить. А вот что меня ждет в этой поездке, никто не предскажет.

Приемщица скота

В Усть-Чульске мне пришлось прожить целый месяц. Я принимала от колхоза и колхозников сдаваемых животных, выписывала квитанции, когда набиралась порядочная партия, отправляла ее на базу, ела за одним столом со Старым Чертом и была сыта, как никогда. Хорошо жилось.

Старый Черт все время был там же и совершенно изменился по отношению ко мне, сделался внимательным и вполне человеческим. Главное - не бранился, делился съестным, не командовал, как на базе. С самого начала, уже по дороге в Чульск, он старался быть любезным, даже интеллигентным.

В это время на базу были согнаны тысячи животных. Намного больше, чем их могли прокормить. Каждое утро из грязи выволакивали погибших животных; избышка была заполнена необработанными тушами до потолка. Зная об этом, я, грешным делом, радовалась, что нахожусь не там.

Милда об этом писала: «Осенью 1943 года было правительственное распоряжение колхозникам сдать весь лишний скот, - существовал лимит, сколько разрешено было держать при доме. И тут хлынул к нам целый поток: колхозники везли на базу хилых, слабых телят, коров и бычков, сдано было около 3000 овец и коз. Конец октября - начало ноября были не особенно холодными, но снежными. Овец и свиней держали под открытым небом. Крупный рогатый скот - в загонах, больших и малых. Животные по брюхо увязали в тяжелой, глинистой грязи. Жались друг к другу ища тепла и защиты от ветра. Молодняк безжалостно затапывали. Меня тогда тоже назначали в ночное дежурство, но что мы могли сделать в тех обстоятельствах! Керосина для ламп не хватало, обходили загон с лучиной. Разредить стадо не удавалось, животные, наоборот, сбивались в кучу, и горе было слабым и оказавшимся под копытами! По утрам объезжали загон верхом, выволакивали из грязи затоптанных или замерзших насмерть телят, овец, коз. Сами брели по колено в грязи, забрызганные этой грязью с ног до головы.

Овец было столько, что между двумя животными некуда было

поставить ногу; ночью понять, кто из этих тысяч держится, а кто уже не подает признаков жизни, было невозможно. Утро вечера мудреней, знали мы, и при свете дня живые овцы и козы выходили наружу а павшие оставались там, где были. Мы собирали их и складывали в черной избе, где сами обретались в первую зиму. Позднее туши оттаивали, их обдирали и мясо сдавали на Ачинский мясокомбинат.

Скот часто перегоняли в Ачинск. Я, как ночной сторож, оставалась дома. Погонщиков, бывало, вербовали и в колхозе, но те ни за что не отвечали и однажды во время гонки потеряли около 30 овец. Был потом суд, но что возьмешь с бедняков!

У меня тоже однажды пропала овца, притом на ровном месте! Ее забили до смерти кнутами на нашем же поле колхозные пахари. Я вместо пропавшей купила козу за 4000 рублей. Намного позже виновные рассказали, что забитую овцу накрыли дерном и вернулись за ней потом ночью.

Бедны были не только работники базы, но и она сама. Хозяйство убогое. Постромки, шлеи из скрученной пакли. Приходилось, бывало, сняв с головы платок, подвязывать им гуж к оглобле. Не хватало лопат, топоров, вил. И навоз, подсохший или подмерзший, мы бросали на телегу или в сани голыми руками. Долгое время навоз сбрасывали в канаву, и только позднее после наших уговоров стали вывозить на поля.

Однажды в Ачинске, сдав скот, мы с калмычкой Марией Нидлиджеевой не успели уехать с остальными погонщиками, идти пешком 100 километров не хотелось, и мы решили ехать поездом до Боготола. На вокзале в Ачинске выяснилось, что билетов нет. Что делать? Пошли на перрон - может быть, удастся как-нибудь. попасть в вагон. Но одеты мы ужасающе, на ногах огромные лапти из крученой пакли. Подошли милиционеры, завели нас в свою комнату, допытывают, кто такие, откуда, - Думали, что мы беглые. В конце концов отпустили, но при этом сообщили в Тюхтет: так и так, задержаны ссыльные. Нам разрешалось передвигаться лишь в радиусе пяти километров от Тюхтета; в гонке мы участвовали с ведома комендатуры и под ответственность нашего начальства. Попасть на поезд нам так и

не удалось, и нужно было добираться пешком за 100 километров. Понтонный мост через Чулым снят. У берегов уже крепкий лед, но посреди реки шуга, куски льда. Мария отказывается рисковать. Но и деваться нам в нашей одежонке некуда. Под конец нашли все-таки переброшенные через полынью бревна, перебрались. Мне после того милицейского допроса было почти все равно - переберемся или утонем.

Я писала во многие инстанции, спрашивала о судьбе моего мужа Вилиса Сика. Ответа не было. Но 14 июня 1945 года меня вызвали в комендатуру и сообщили, что муж был осужден на 10 лет спецлагерей, позднее замененных высшей мерой наказания через расстрел. Приговор приведен в исполнение 20 июня 1942 года. Единственный человек, вернувшийся из тех лагерей, Вилис Звиедрс, о пережитом предпочитал молчать».

Это был рассказ Милды Сики.

Черный Минька

Сама я вернулась из Усть-Чульска живой и отдохнувшей.

Когда дорожная пыль была смыта, чужая живность из одежды выворота, а картофельное пюре с благодарностью съедено, Астрида возложила мне на колени черного кота с круглыми желтыми глазами. Это теперь наш Минька. Пришел неизвестно откуда и прижился. Глаза Миньки желтизной напоминали березовую крону осенью. Лапы у него были мягкие, черные.

«Кошка в дом - счастье в дом», - сказала старшая Сика.

Минька стал общим баловнем. В нашей комнате он мог делать что угодно и спать где угодно. По вечерам каждому хотелось заполучить Миньку, чтобы заснуть под его мурлыканье. Но именно в это время у него находились дела поважней. Во-первых, военный совет с окрестными котами. Затем - охота. За рощицей было по вечерам место сбора всех пяти котов, проживавших на территории базы. Они выстраивались гуськом и отбывали куда-то в сторону Аскарówki. Где была конечная цель их походов и

каковы их ночные занятия, оставалось для нас тайной. Минька возвращался к утру довольный и громко мурлыкал. Если же охота была неудачной, он срывал дурное настроение на нас и колотил хвостом об пол.

Поздней осенью, когда в избушке скапливалось все больше мяса, коты уже не отправлялись на поиски удачи. Не помогали ни угрозы кладовщика, ни розги: коты еженощно объедались всем подряд: свининой, зараженной трихиниллезом, телятником, утонувшим в грязи, надорвавшейся на работе клячей, крольчатиной или жилистым петухом, поименованными, правда, в отчетах совсем иначе.

Минька был новым членом нашей общей семьи, а вот своей посуды у него еще не было. Я подсказала Алнису и Атису как можно сделать деревянную кормушку им обоим идея понравилась. Мальчики так долго строга́ли осиновое полено, пока не получилась небольшая, но гладкая и по-своему красивая кормушка. Минька имел теперь личную миску и приступал к трапезе вместе со всеми.

Тоска и надежды

Мальчикам опостылело плести «косички» для лаптей, заготавливать дрова, чистить картошку. Да и я уже устала об этом писать. Ребята наострились теперь изготавливать деревянные блюда, корытца - кормушки для свиней, для кошек. За это их награждали то стаканом муки, то ломтем хлеба или даже парой рублей.

У детей не было ни книг, ни школьных уроков, поэтому вечерами я пыталась хоть как-то возместить недостающее рассказами, сказками.

- Тетя Мелания, ну, пожалуйста, одну-единственную сказку!

- Милые мои, я столько сказок не знаю, чтобы хватило на каждый вечер.

«Все равно про что, знай рассказывай!» - шепчет мне на ухо Алнис.

- Про семь козлят! - просит Астрида.

Рассказываю, как умею. Но язык заплетается - за спиной длинный рабочий день, а потом домашние дела, непременная штопка прохудившейся одежды. От нашего платья, правду говоря, осталась только ветошь, заплатам уже не на чем держаться.

От голода нас спасла собственная картошка, которой теперь было вволю. А вот одежда изнашивалась, и новую негде было купить.

Новости широкого мира привозила нам из Тюхтетта Праулине вместе с хлебом. То были вести с фронта, а также услышанное от латышек, живущих в районном центре. Газет мы в глаза не видели и даже забыли, как они выглядят.

Новости были об испытаниях тюхтетских латышей, очередных несчастьях, смертях по всему району. Но главное - слухи о вот-вот предстоящем освобождении. Мы все еще страдали хронической наивностью - верили в скорое «возвращение домой», и почти каждый день кто-нибудь объявлял: слышано из верного источника, латышек собираются вернуть на родину. Каждый день мы убеждались, что дали себя обмануть, и назавтра рады были обманываться снова, верить новым «надежным» слухам.

Тоска по свободе и несбыточные надежды с первых же дней ссылки обернулись для нас горечью бесчисленных разочарований. Иллюзии подтачивали здравый рассудок, сталкивали нас в ложное русло. Грань между возможным и невозможным стиралась в затуманенном сознании.

Если бы мы поняли, что 20 лет ссылки, срок, под которым мы подписывались в Ачинском лагере, реальность, что сказанное нам в Тюхтетской комендатуре год спустя: вы сосланы навечно - нужно принимать всерьез, мы хотя бы посадили картошку в первый же год. Только «собираясь на родину» изо дня в день, мы оставили себя и детей без пропитания почти на три года.

А с другой-то стороны - может быть, как раз надежда на возвращение нас и спасла от худшего? Может быть, полная безнадежность в условиях каторги убила бы нас еще вернее, чем голод?

Ночные дежурства

Только я вернулась из Усть-Чульска и огромные стада скота были отосланы в Ачинск, как Старый Черт назначил меня сторожить по ночам картофельное поле, то самое, с которого мы тащили картофелины, панически боясь быть застигнутыми. Теперь никто из латышек сюда не навевывался, у всех была своя картошка. Но мне надо было сторожить всю ночь: опасались, что воры появятся из Тюхтета. В середине ночи на меня напал такой страх, что иной раз хотелось - пусть бы заявили те воры, было бы с кем словом перемолвиться. Но за всю осень никто на эту самую картошку не покусился.

Вначале с наступлением темноты я укладывалась там, где ботва погуще и повыше, и дремала до утра. Было боязно, холодно, опасалась я и того, что нагрянет с проверкой сам Старый Черт и увидит, что сторожика спит на посту. К концу, однако, я пообвыкла. Тихие, хотя и прохладные ночи выглядели дружелюбнее. Положу голову на холмик окученного куста и слушаю, как там в глубине созревают клубни. В теплые ночи засыпала. Так днем мы подкапывали понемногу свою картошку, а по ночам я стерегла казенную.

Когда картошка была убрана, меня перевели на ток за лесом. Опять сторожем. Нужно было отгонять трещоткой птиц и других двуногих от намолоченного хлеба, от зерна, очищенного, но не вывезенного до ночи. На току надо было появиться, пока работники, занятые на молотье, еще не ушли.

Еще пахло зерном, ветер ворошил собранную в кучи мякину. Уходили рабочие, и я зарывалась в вымолотки, еще хранившие солнечное тепло, и вслушивалась во все то, что прятала в своих глубинах наступавшая ночь. Холод меня не доставал. Рассердясь, он уходил к болотам, покрывал топи первым ледком, плел тонкие нити инея. Таежное болото было поблизости, я слышала, как холод там хозяйничает.

У каждой ночи был свой нор, свой настрой. Нужно было только слушать, если не спишь. Я там никогда не скучала. И тоскливо не было.

Возле моих вымолотков тихонько возились мыши-полевки. Бесстрашно заявлялись бурундуки, делавшие запасы на зиму. В лунном свете они по двое, по трое выходили из тайги и - напрямик ко мне и кучам половы. Мгновенно отделяли овес от плевел, от мякины, набивали защечные мешки и степенно удалялись к себе. Бурундук - мужичок запасливый, его кладовая осенью быстро наполняется кедровыми орешками, горохом, зерном.

Покуда закончили молотьбу и веяние всего зерна, пришла зима. Но мне все еще не было холодно. В мякинных кучах еще оставалось немало солнца. Я зарывалась внутрь, как в берлогу, слушала, как вращается земля, узнавала время по тому, как ковш Большой Медведицы указывал на Полярную звезду. После полуночи я позволяла себе заснуть: в это время и начальство, и воры отдыхают.

И все-таки однажды завбазой застукал меня спящей. Отругал. И даже подал на меня в суд. Но мне удалось доказать, что я не спала, что в полутьме начальник не мог видеть, открыты мои глаза или закрыты.

- Почему же вы тогда зарылись в кучу мякины? - спросил судья.

- Чтобы не замерзнуть. Мне, ночному сторожу, глядя на зиму не дали ни тулупа, ни валенок.

- А почему, когда завбазой приблизился к току, вы его не окликнули?

- Так я же его знаю, поэтому предупреждать не было нужды. Когда он со мной заговорил, я ответила.

Меня оправдали!

Потом оказалось, одна латышка слышала, как Старый Черт приказал завбазой Баранову меня проверить, но забыла меня предупредить. И это меня расстроило больше, чем сама проверка.

Теперь Старый Черт меня повысил в должности: назначил ночным сторожем всей базы «Заготскот». Работа была нервная и ответственная, но на это место метил один рабочий, слабый и болезненный.

Тюхтетская база «Заготскот» располагалась на высоком речном берегу над вечнозеленой тайгой, в которую каждый вечер опускалось солнце. Ночи здесь были совсем другими, чем раньше на току. Здесь они дышали неведомой опасностью и тревогой.

Охраняла здания базы от пожара, инвентарь от воров, а скот от волков и прочих напастей. Ночью с переносным фонарем я обходила одну за другой фермы, не пропуская ни одной головы: все ли бычки, коровы, овцы, козы, свиньи целы, все ли доживут до утра? Павшую животину следовало забить, чтобы вытекло хотя бы немного крови.

Я была уже привычна к грязи, холоду, вшам, к ругани, но вот к голоду и к окровавленному ножу не умела привыкнуть. Сидела ночью возле умирающей овцы, вдувала ей теплое дыхание в ноздри, чтобы та дотянула до утра, когда Баранов позовет калмыка-забойщика. Если продлить жизнь овцы не удавалось, я должна была сделать то, к чему физически не была способна. Бывало, что у меня все же не хватало духу взяться за нож, я бежала будить калмыка, а тот не соглашался вставать посреди ночи иначе, как за 10 рублей. Когда же приходилось действовать самой, я дожидалась, пока животное не испустит дух, на еще живое создание поднять нож попросту не могла, особенно если это была корова или лошадь.

Когда обходилось без происшествий, я надаивала бутылку-другую молока, необходимого приболевшим детям как лекарство.

У начальства интересы государства были лишь на языке, а интересы работников вообще никого не волновали. Сколько животных уходило «налево»! Сколько телят обменяли на дойных коров для того же начальства! Сколько зерна перекочевало после обмолота в клетки тех же начальников! Поэтому Праулине стала счетоводом, Кукайните - заведующей зернохранилищем, я - ночным сторожем. Эти люди знали, что ссыльные латышки смолчат. Воспитанная с детства честность в нас возмущалась, но не в наших силах было залатать все дыры, через которые утекало добро чужой земли. Бесправие затыкало нам рты даже в тех редких случаях, когда доходило до суда над расхитителями: мы опасались мести всесильных хозяев.

Зато выслеживать рабочих, особенно ссыльных - это наши начальнички делали так же рьяно, как воровали. Старый Черт летом самолично следил за старой калмычкой, которая посмела на пастбище надоить бутылку молока для тяжело больного внука. Наконец, ему повезло; понадобился свидетель. Старый набрел на

меня и велел пойти, отобрать бутылку с молоком у преступницы. Сам шел следом, чтобы своими глазами видеть, что будет. Что ж, бутылку я отняла, но старушке шепнула на ухо: не бойся, на суде я буду за тебя! Итак, я отдала бутылку Старому, тот вылил молоко на землю, а пол-литровую бутылку взял с собой как вещественное доказательство для суда. И суд состоялся. Меня вызвали как свидетеля. И я сказала, что у подсудимой на руках - больной внук, а ей не дают даже лошадь, чтобы отвезти ребенка к врачу. Малыш дома один, без присмотра, мать на работе, бабушка пасет коров. Единственное лекарство - тот глоток молока, который бабка изредка приносит внуку... Калмычку оправдали, даже попеняли Старому Черту за то, что так невнимателен к нуждам рабочих.

Вышли мы из здания суда, и я дождалась от Старого комплимента:

- Сволочь! Пришиб бы тебя на месте!

Масштабные кражи «больших людей» не хочу здесь и вспоминать. Крали, бывало, и мы, но не затем, чтобы разбогатеть или чтобы пьянствовать напропалую. Крали, чтобы выжить.

Картошку копать на их поле больше не приходилось. Но многие слабели на глазах, особенно дети. И теперь по ночам я пускала латышек в загоны - подоить коров. От нескольких коров по чуть-чуть. Сама же, как и положено сторожу стояла на страже: сторожила воров. Чтобы их не застали врасплох.

Пестрый народ нашей базы

Больше всего на базе было калмыков. Уровень развития довольно примитивный. Услужливые по отношению к начальству они не очень-то ладили друг с другом. Одевались необычно, к некоторым элементарным нормам быта только подступались, но страдали от холодного климата и часто погибали в суровых обстоятельствах ссылки. Степные жители, скотоводы, они только в этом качестве использовались и на нашей базе. С латышами отношения были ровные, добрые - носители одной и той же боли, одной судьбы между собой не ссорились.

Русские рабочие, бывшие тут в меньшинстве, поначалу отнеслись к ссылке враждебно. Однако работать бок о бок с латышами русским понравилось. Все сделанное латышкой, как правило, вписывалось в табель русского, и наоборот. Со временем местные русские к нам совершенно переменились.

Литовки... то были «русские литовки», сосланные из центральных областей России на несколько лет раньше нас. Их точно так же отделили от отцов и мужей, и так же они ничего не знали об их судьбе. Честные, немногословные, они выполняли всякое дело медленно и основательно. Наши отношения с ними были теплыми, почти родственными.

Немцы. Они на базе не жили, приходили на работу из Тюхтета. Несчастные, подавленные, они, тем не менее, и в условиях несвободы сохраняли практичность. Одна из ссыльных немок, Эрика Андреевна Вальтер заслужила наше особое уважение, работая в Тюхтетской больнице хирургом. Умная, готовая помочь каждому, кто в ее помощи нуждался. (Много позже она получила звание заслуженного врача). Настоящий врач, она отличалась и смелостью - в спешных случаях могла выехать в дальнюю деревню и на месте решиться на сложную операцию. Эрику ценили все, начиная с самых простых людей и кончая районными «шишками».

Полячка на базе была только одна, Вера, тоже из сосланных намного раньше. К сожалению, она сделалась глазами и ушами

начальства, ябедничала и предавала в открытую. Ее все боялись. Видимо, началось это уже в детстве: оставшись сиротой в чужой стране, она по-своему боролась за выживание. Умом простить ее мы не могли, сердцем... Сердце могло пожалеть и такую.

Всего на базе было 30-40 работников. Каждый день тут спорили, выкладывали, что на сердце, бранились, жаловались, выясняли отношения, льстили, вздыхали: в тяжелых жизненных и рабочих обстоятельствах неизбежны были схождения и расхождения, трения и шероховатости. Голоса, женские и мужские, звучали то на высоких, то на пониженных тонах, причем на пяти языках одновременно - прямо-таки Вавилонская башня местных масштабов.

О нас самих

И латышкам не всегда хватало настоящего чувства общности. Всех неприятно поразил случай в первую же весну нашей несвободы. Завбазой дал задание двум из нас пасти 200 телят. По нормативам положены были на такое стадо четыре пастуха, и первые две латышки выполнять приказание наотрез отказались, вторые так же, а вот следующая как ни в чем не бывало согласилась. Первые четверо были наказаны, пятая поставлена остальным в пример и пережила, так сказать, короткую минуту славы. Отказавшиеся не думали, что они не в силах пасти 200 смирных животных. У нас был уговор: бороться за соблюдение законной нормы - 50 голов на человека. Хоть как-то противостоять деспотизму начальства. Был и еще один мотив: если бы удалось настоять на своем, еще две из нас перевели бы дух: пасти подрастающих телят было нетрудное, щадящее занятие.

Баранов на этот раз победил, строптивцев послал на суд к Старому Черту, сговорчивую похлопал по плечу: «Молодец!» Наша «сознательная» товарка надолго оказалась в кольце молчаливого осуждения. Со временем ее простили. Легко судить другого, но ведь каждая могла в чем-нибудь да оступиться.

Вера была чересчур говорлива, - столько всего скопилось на сердце, - но речи ее были без подвоха, без зла. Весь смысл ее жизни сосредоточился на дочерях. В этом, впрочем, мы все были похожи.

Тетя Праулине - сдержанный и несокрушимый характер. Внимательная в отношениях с местными, по возможности правдивая со своими. Детей растила в строгости. Переживала все, может быть, даже слишком глубоко. Мы жили в одной комнате с нею и умели поладить, хотя наши взгляды не во всем совпадали.

Вилма, одинокая и погруженная в себя, была остра на язычок, нетерпима ко всякой бестолочи, но стоило остаться с нею наедине, и обнаруживалось тонко чувствующее, интеллигентное существо. Вилма не старалась скрыть от начальства свое отношение к нему и к «гуманности» советской власти. Иной раз за нее становилось боязно. За нее и, понятное дело, за всех нас. Когда ей намекали, что надо бы сдерживаться, она отвечала: «После того, как они убили мужа и моего Русиньша, мне терять нечего. Пусть расстреливают хоть сейчас!»

Айвиексте - нежная, хрупкая душа, с ужасом заглядывавшая то и дело за край пропасти. Любила детей, любила всех и каждого, у кого находила хоть немного тепла в глазах. И ее, единственную на базе, любили все до единого дети.

Милда была из тех людей, что умеют обновляться, находить себя снова и снова. В самых тяжелых обстоятельствах она сохраняла в себе ощущение красоты. То запоем сквозь слезы - «Снова леточко пришло...», то дочке Тейке украсит блузку полевыми цветами, то удивит метким и чистым словом. Она и размышляла, думала больше, чем то было привычно в наших обстоятельствах.

Мои характеристики наверняка слишком субъективны, поэтому остановлюсь. За кадром остались многие латыши, женщины и дети, у каждого из которых были свои светлые и не столь светлые стороны, у каждого своя судьба, своя сердечная струна. Свое излучение, какого у других не найдешь. Чтобы нарисовать портреты всех моих товарищей по несчастью и скудным радостям, понадобился бы труд, куда более серьезный, чем эти поверхностные описания. Тогда нужно было бы показать, как сама история вмешивалась не только в людские судьбы, но и в сердцевину личности, когда нередко исковеркан бывал ход

мыслей, истерзан и засорен характер. Тогда мне нужно было бы найти меру и обозначение для душевной боли, мечтаний и порывов, для тех сил, которые нас убивали или которые позволили вынести невыносимое и выжить.

В целом же латышки всегда готовы были прийти на помощь друг другу, что нередко вызывало в окружающих искреннее недоумение. Однако в суровых и непредсказуемых обстоятельствах бывало всякое.

Я всегда оказывалась более берущей, чем дающей. У меня было меньше скарба, меньше здоровья, меньше сил и, наверное, меньше самоотверженности, чем у многих других. И - чужие прегрешения я видела лучше, чем свои.

Ныне трудно заново проделать душой тот путь, что был накатан и разбит тяжелой колымагой каторги. Непролазным репейником, острыми шипами оцетинилось в памяти пространство между «тогда» и «сегодня».

Суровые реалии первых лет ссылки прошиты насквозь анекдотическими положениями. Больше всего недоразумений случилось от незнания языка. Луиза однажды в Тюхтете принесла в ремонтную мастерскую свои часы; нужно было заменить какой-то винтик. Спеша на работу, задыхаясь от спешки, она выпалила в лицо часовщику: «У вас будет винтовка?» - чем смирного человека не на шутку перепугала.

Весной 1944 года на базе в Тюхтете появилась латышка с детьми. И она, и дети в лохмотьях, давно не евшие. Мы их, конечно же, накормили, но вот лишней одежды и у нас не было. У матери, бедняжки, оставалась лишь одна возможность - красть. И вот через несколько дней у нее появилась своя картошка, появились мешки, из которых вполне можно было скроить одежду.

- Где ты это все раздобыла? Весна, картошки в поле еще нет и в помине...

- Вечером пойдемте со мной - покажу.

Никакой нужды куда-то идти у нас не было: картошка своя, хотя лишней, чтобы накормить еще одну семью, ни у кого не было. А откуда что бралось у новенькой, мы узнали позднее.

Мешки она, оказывается, таскала из теплиц тюхтетских обывателей, что мы единодушно осудили, однако подсказать, где

еще взять хоть какую-то одежонку для ее детей, тоже не умели. Картошку тоже добывала из частных погребов, если те не были заперты. Мы, старые обитатели базы, никогда ничего не брали у людей, и это же пытались внушить новенькой. Но опять же, где ей взять картофель на семена, не говоря уже о питании для пятерых? Ответа у нас не было.

Однажды она пришла домой только к утру.

- Где ты пропадала?

- Ой, вышло нехорошо...

- Поймали?

- Почти что.

- Что, как? Рассказывай!

- В яму картофельную мне удалось забраться - влезла, значит, и ну хватать. Но тут пес залаял, как оглашенный. Слышу, из дому кто-то вышел по нужде, сделал свое и, видно, решил посмотреть, все ли в порядке. Увидел, дверца ямы приоткрыта, закрыл и припер шестом или чем там. Дело дрянь! Возилась всю ночь, а пес лает, заливается. Выбралась только под утро. Зато картошечки набрала - было что тащить.

Мы крали только у государства, которое обокрало и унизило нас. А наша новая товарка брала, не разбирая, - государство или кто-то из его рабов. Сил размышлять о морали у нее тоже не доставало, ей надо было умудриться сохранить жизнь своих четверых детей. Ночью она преодолевала пять километров до Тюхтета, находила нужный погреб, высмотренный днем, забиралась в него, набирала, поминутно в страхе озираясь, мешочек картошки и пускалась в обратный путь на базу, еще пять километров. Днем на пастбище, приглядывая за овцами, она пошила всем детям одежду из мешковины. Как мать, она героиня, но имя ее я здесь не назову. Дети выросли, один из них, слышно, стал ученым. Неизвестно, как бы они отнеслись к способу их спасения.

Той же весной из больницы на базу вернулась Звиедрите с двумя детьми: руки уже не выдерживали ту бесконечную стирку. Славная она была женщина, сильный характер, выдержавший то, что многим было бы не под силу.

Таковыми были эти и многие другие работницы-латышки, от которых я по вечерам принимала по счету овец, свиней, коров и

бычков, лошадей, помещения и заодно некоторые неофициальные поручения, например, нацедить кружку молока, нащипать овечьей шерсти ребенку на варежки (шерсть у овец отделялась легко и без всякой для них боли), отнести охапку сена чьей-то козе, разрешить одной из матерей самой надоить бутылочку молока или пересечь территорию базы там, где это запрещалось. Зимой латышки приходили ко мне в контору, где всегда топилась плита, неся чугуны или кастрюли с картошкой, свеклой, капустой, чтобы сварить еду на весь следующий день. Это было для них большим облегчением, а мне ничего не стоило.

Местных рабочих удивляла наша взаимовыручка; правда, смотрели они на чужаков поначалу косо, с недобрый прищуром. Обтрепанные, нищие, мы казались им, наверное, жалкими побирuşками. В это время мы притворялись неграмотными. Каково же было удивление этой публики, когда открылось, что любая из нас может справиться в конторе с обязанностями счетовода или учетчика!

Вечерами на базе

Летом я, ночной сторож, приступала к службе на закате, в тот час, когда над тайгой внизу открывались картины такой красоты, какую можно увидеть только в Сибири.

Этого момента ждали на пастбищах - можно было гнать стадо домой.

Его ждали рабочие: можно было пошабашить.

И дети: вот-вот придут мамы, сядем ужинать.

В ворота среднего загона впускаю по одной и пересчитываю овец. Здесь было легче их уберечь от волков. В нижний загон за конефермой запускала коров и телят. Конюх потом сам готовил (вернее, сама: Звиедрите) лошадей и быков в ночное. Самая большая ферма была занята принятыми в последний день животными.

Пока я пересчитывала одну партию четвероногих, следующая ждала своей очереди в отдалении. Совпадет число животных с

записанным в книге, пастух может быть свободным. Если хотя бы одной головы не доставало, пастух отправлялся на поиски.

Рано или поздно галопом прискачут пахотные лошади с хомутами на шее, их «начальство» - Улимджа и Витька. Пахари приходят позже, чтобы расхмутать лошадей и завести в конюшню.

Последней всегда появляется Милда, в поводу - ленивая «ездовая» корова Райба (латышское слово, русский аналог был бы «Пеструха», но прижилась как раз латышская кличка); на двухколесной «волокуше» она везет, как обычно, ветки, бурелом - топливо для дома, собранное рабочими по пути.

Когда все лошади и упряжные быки оказываются на месте, Звиедрите гонит их на водопой к реке, а потом пастись на таежных опушках в ночное. Спутывает всем ноги, разводит большой костер от комаров и укладывается спать.

Доярки пристраиваются к коровам; молоко сдают кладовщице Кукайните. Потом появятся одна-другая латышка, калмычка с припрятанными под юбками бутылочками - подоить буренок еще раз.

У пруда на холме пылали девять костров. Там вернувшиеся с работы латышки варили картошку, клецки, калмыки - свой соленый чай. Кипела вода в горшках, поставленных на кирпичи, дым выжимал слезы из глаз. Под ногами у взрослых путались детишки, тут же тыкался в руку теленок, отпрыск Райбы, сновали поросята.

Закопченные глиняные горшки или кастрюли несли в дом. Кому повезло добыть немного молока, ели забеленную похлебку, остальные - кто как.

С последними «сверхштатными доярками» завершались все дневные дела. В загонах, тяжело вздыхая, укладывалась на ночь скотина. Угасали костры, закрывались двери барака. Я садилась перед конторой и прислушивалась - нет ли поблизости волка, в таких случаях испуганные животные поднимают тревогу.

Бывали и совсем иные вечера - с дождем, ветром, бывали шумные, когда кто-нибудь скандалил или дети озорничали не в меру. Или, например, субботним вечером на базе появлялась никому не известная персона: это партийный деятель местного значения приехал выбрать себе корову на обмен. Коров в то время

было так много, что понадобились дополнительные доярки из латышек. Под юбкой у каждой резинкой была прикреплена бутылка. Когда дойка закончилась, я подошла к загону, спрашиваю Милду Сику:

- Ну как? Себе капельку нацедить вышло?

- Ой, что ты! Эта образаина все время стоит над душой.

- погоди, я сейчас его отвлеку. Познакомлю с какой-нибудь русской, а ты уж тогда не теряйся.

Сказано - сделано. Подхожу к партийному товарищу, старательно подбирая русские слова, приглашаю посмотреть «хорошую корову», которую в это время доила Короткова.

Но товарищ из района оборачивается ко мне и на чистейшем латышском заявляет:

- Не беспокойтесь! Я уж сам решу, возле какой коровы мне постоять.

Мы с Милдой так и обомлели. Ведь он, чего доброго, и про «образину» слышал! Что теперь с нами будет? Но, как ни странно, все обошлось. Партиец, из российских латышей, ни словом не обмолвился о происшедшем. Даже Старому Черту ничего не сказал. Кто знает - может быть, в нем пробудились беспартийные, чисто человеческие чувства, может быть, латышская речь побудила вспомнить, что и его, и наши корни - в одной и той же далекой земле?

После этого мы и по-латышски говорили с оглядкой.

Был и такой случай: Алнис с Зиедонисом Сейсумсом ушли на дальнюю речку рыбачить. С пойманной рыбой они направились в деревню Черемшанку, надеясь обменять свой улов на хлеб или муку. Вернулись они ближе к полночи, и вечер показался вдвойне темным, полным опасений и тревог. Только когда увидела мальчишек живыми и здоровыми, успокоилась и, обойдя загоны, над которыми клубился пар от дыхания множества живых созданий, наконец, смогла подремать по соседству с овечками. Летом животные были крепче, и можно было не опасаться, что кто-то из них не доживет до утра.

Все это, разумеется, мелочи. Но из них, из этих мелочей и складывалась жизнь ссыльных в военные и послевоенные годы,

жизнь и быт нашей интернациональной общины. И они иной раз расскажут о людях и их судьбе больше, чем теоретические рассуждения и обобщения.

Мир наших детей

Тайга и поле, лес и луга в окрестностях базы переходили друг в друга. Березы протягивали ветви над солнечной поляной, разнотравье покосов забиралось глубоко в таежную чащу. Бригады лесорубов начинали всегда с таких именно мест, здесь обернуться было легче, чем в лесной глухомани. Где зимой побывали лесозаготовители, там оставались пни и высокие груды брошенных ветвей. Ветви и сучья потом собирала отдельная бригада. Работа эта поручалась детям и старикам; занятие не было тяжелым и порой даже доставляло удовольствие. На ветвях трудились старшие дети латышек, их бабушки, а также калмычки послабее. Нашу комнату там представляли Алнис и Астрида. Я приносила им в тайгу обед - похлебку из бараньей головизны. Весной головы павших за зиму животных со скидкой продавали рабочим. Их набиралось немало, а хранить в теплое время было негде. Так что выходило каждый день чуть ли не по целой голове на брата. Получался весенний пир, долгожданный: в обычное время мясо купить было невозможно; это уж потом мы сами стали покупать и выкармливать кто ягненка, кто поросенка.

На месте вырубок мне всегда становилось не по себе. Будто на кладбище, где похоронены мощь и красота леса. Да, именно кладбище напоминали длинные, унылые пустоты, по краям которых свалены отрубленные ветви. Бессчетные пни - ни тебе прежней стати дерева, ни силы. Картина разоренья для меня заслоняла весну.

Дети семенили, таща за собой бахромчатые ветви, считали собранные кучи, поглядывали на солнце - уже хотелось домой.

Астрида искала красоту и в природе, и в людях. За всем разореньем она хотела видеть и видела весну. Она откидывалась

отдохнуть на пахучие березовые ветви и тихо радовалась жизни. Астрида была солнечное дитя.

После сбора ветвей и сучьев закладывали силосную яму. Алнис и Астрида и в этом участвовали. Атис не переносил жары, прямого солнца, его тут работать не заставляли.

В глубокую силосную яму сваливали один воз за другим, и там на дне Алнис верхом на лошади работал, точно мельничный жернов. Солнце пекло, вянувшие травы источали пряный запах, от духоты кружилась голова. Уши в солнечных лучах пламенели, знойным гудением и укусами сопровождал все это рой оводов.

У Алниса на ноге был нарыв, большой и болезненный. Пот заливал глаза, но головокружение не доходило до обморока, на коне он мог усидеть, а потому от работы его не освобождали. Астрида трудилась наверху, сгребая траву.

В пору сенокоса мальчиков снаряжали на перевозку сена. Вот где можно было наездиться вволю, напиться, наругаться с непослушной лошастью - так же, как это делали взрослые возчики. Полным набором хлестких словечек ребята уже овладели... В свободную минуту можно было в ближних кустах наесться от пуза малины, черной и красной смородины.

Опять же работа не была трудной, но за долгий день дети уставали отирать пот, отбиваться от оводов и кричать на лошадей. Верхом мальчишки скакали с такой скоростью, что матерям жутко было на них смотреть.

Вечерняя прохлада прогоняла усталость, и, смотришь, ребятня во дворе возле трех берез уже играет в лапту.

Астрида, голоногая, в чистой блузке, с белым бантом в золотистых волосах. Алнис умыт и причесан, в светлых холщовых коротких штанах.

Янис в том, в чем был на работе.

Атис в игре участвует редко, но зато он страстный болельщик.

Андрис, Инта, Илзе еще маленькие и довольствуются пока ролью зрителей.

Среди играющих и русские девочки - Лида и Нюра Поповы, Зоя Бушуева и Ася Короткова, и юные калмычки - Бадма, Гонга и Бося. Из литовцев - Ваня и Нелька.

Все это происходит у меня на глазах. До самой темноты слышатся возгласы радости и разочарования, споры, победные крики, пока я не напомним со всей строгостью, что завтра снова рабочий день и пора на боковую.

Дети жили на базе в общем дружно.

После сенокоса Алнис послали на пашню с длинным трехметровым бичом. Этой плетью нужно было не бить лошадь, а подгонять резкими, как выстрелы, щелчками. Занятие требовало некоторого умения, да и силы. Алнис научился «выстреливать» бичом, но нередко длинная плеть захлестывала ногу то лошади, то самого двенадцатилетнего пахаря. Работа была для него слишком тяжела, плуг сбивал мальчика вбок, завершить борозду как следует тоже не удавалось. Алнис помучился еще какое-то время, поупрямился, но в конце концов ему пришлось сменить занятие.

Астрида была красивая златоволосая девочка, сердечная, отзывчивая. Ей нравилось наводить чистоту, придавая хоть какой-то блеск нашему бедному жилищу. Она была любознательна, тянулась к учению, но убогая жизнь не могла не порождать в душе и обиду, и злость. Досаду нельзя было сорвать на недостижимом товарище Сталине, так же недосягаема была и вся тамошняя камарилья. Нужен был объект поближе, кто-то, кто тебя видит, слышит, с кем, в конце концов, можно поцапаться. Ближе всего оказывались Алнис и Атис. Им доставались заслуженные и незаслуженные выговоры за немытые ноги, за неприбранную комнату, за нехорошие слова и многое, многое другое. Астрида сердилась, а я жалела ее. Она стояла перед воротами юности, весны жизни. Но что за весна без радости, без веры во что-то лучшее?

Мир велик и прекрасен, только вот нашим детям в нем не было места. Выброшенные на обочину, они жили в скудости, привкус неволи оставался во всем, и по первым и пятнадцатым числам каждого месяца матери в комендатуре подписывались и в том, что их дети не сбежали из ИТЛ («исправительно-трудового лагеря»), как значилось на печати Тюхтетской комендатуры.

Наконец-то школа

Осенью 1944 года Луиза собирала Андриса в школу. У нее был припасен отрез ткани, из которого сшили костюм. Сыну теперь было в чем пойти в школу.

Школа находилась в Тяхтете, на расстоянии около шести километров, других учащихся с нашей базы там не было, если не считать уже больших сестер Поповых.

Алнис три зимы прожил безвыходно дома. В первую зиму он еще не знал языка, во вторую не было ни одежды, ни еды, ни здоровья. Он переболел корью, мучили мальчика и нарывы. В третью зиму не хватало лишь одежды. И вот теперь, на четвертом году у него были потрепанные штаны, он владел той разновидностью русского языка, что бытовала на базе, и, кроме того, втянулся в чтение - а книги тут имелись только на русском.

- Подруга, пустила бы ты и своего в школу, Андрису было б веселей, - сказала как-то Луиза. - Одного мне боязно как-то отпускать по утрам.

- В таких штанах не пустишь, обувь тоже нечего. Ну ладно, брюки я бы могла сшить из маминого большого платка, ну знаешь, того, в полоску, но тогда самой будет нечего надеть на голову.

- Ну так шей давай. Я тебе платок одолжу, пока не купишь новый.

Мне и самой давно хотелось, чтобы Алнис пошел в школу а потому предложение Луизы я приняла с благодарностью. Спешно принялась за шитье: из маминой шали вышли полосатые брючки, блузу, как лоскутное одеяло, составила из обрывков своего прежнего гардероба. Из овечьей шерсти, начесанной во время ночных дежурств, связала теплые носки. Из белой рогожки изготовила школьную сумку с двумя отделениями: одно для книг, второе для хлеба и вареной репы или брюквы на обед. Луиза вышила красной ниткой монограмму: «А. В.» Вместо пальто зимой я давала ему свою ватную фуфайку. Мне она нужна была только ночью, Алнису - только днем.

Оставалась проблема обуви. Осенью можно было ходить босиком, - так и ходил. А потом нам помогла Элза Берзиня. Она

за своим палисадником в Тюхтете нашла выброшенные кем-то ботинки, вернее, их нижнюю часть, и принесла мне на базу. У меня же оставался верх от давнишних лыжных ботинок. И тамошний умелый сапожник соединил все это в пару обуви, пригодную для ношения. К первому снегу Алнис был теперь и обут. В школу он собирался, сияя от радости.

Праулине тоже подготовила к школе своего Атиса, так что теперь с нашей базы в Тюхтет по утрам отправлялись три школьника. Астрида вынуждена была остаться дома - одежду для нее раздобыть не удалось.

Позднее я на толкучке купила Алнису серую блузу, и он уже не выглядел пестрым, как библейский Иосиф.

Всех троих школьников по утрам провожала я, поскольку единственная была днем не на работе.

Атис и Андрис пошли в первый класс, Алниса я рискнула записать во второй. Он все-таки успел закончить первый класс в Латвии. Учительница проверила, как он может читать, писать, считать. Алнис мог - всего понемножку.

- Возьмем во второй, - решила учительница Мария Корягина. - Если не справится, переведем в первый.

Алнис был счастлив. И знал, что в первый не переведут. Только бы с русским языком совладать.

Осень 1944 года была для нас, латышей, удачной. Урожай картофеля - лучше некуда. Я днем копала картошку, а под вечер, вернувшись из школы, Алнис отвозил по мешку домой и сваливал в погреб. Глубокий, своими руками вырытый погреб был заполнен доверху. И овощей собрали немало, заквасили бочку капусты. С ночного дежурства я приносила свой литр молока.

Алнис заметно поправился. Укрепилось и самосознание мальчика; он умел теперь наблюдать происходящее, делать выводы, думать о будущем, в том числе и чисто практически: что нужно поправить, что будем сажать на следующий год, что купить, как встретим папу... Взрослые заботы, взрослая жизнь начинались для него прежде времени. Детство как таковое остановилось для него на восьмом году жизни на родине. В Сибирь оно, детство, за ним не последовало.

Мальчики каждое утро шли в школу за шесть километров, те же километры после занятий преодолевали опять. И по черным, раскисшим от дождя грязям, и по глубоким мягким снегам. И в мороз, и в осеннюю слякоть. Из-за плохой погоды ребята не пропустили в школе ни одного дня. Осенью босые ноги краснели наперегонки с листвою осин. Зимой все были обуты.

Учились все трое хорошо. Только к весне Атис стал все чаще болеть.

Открылась горькая реальность

Письма с родины

Наша Праулине в Тюхтете имела доступ к газетам и даже иногда привозила вчерашнюю газету на базу. Прочитанному там мы и верили, и не верили, но в любом случае читали сообщения с фронта с острым интересом. Впервые немцев остановили под Москвой. Потом был Сталинград. Америка, Англия открыли второй фронт, и борьба с фашизмом сразу обрела новый размах. Бои переместились на Украину... Фронт вплотную подошел к Латвии... Освободили Цесис, Иерики... В газете «Красноярский рабочий» подробно описывали ход событий, там появлялись одно за другим названия латвийских городов и поселков. Значит, правда? И безоглядная, детская радость охватила всех: по крайней мере, нас от родины теперь не отделяла граница!

Если Иерики отвоеваны, значит и наш дом, Сермули, уже по эту сторону. И я немедленно написала на старой, от русских полученной открытке родным, где мы находимся. Все наши поторопились сообщить о себе родным и теперь с замиранием сердца ждали ответа.

Первой письмо с родины получила Милда.

- Письмо из Латвии! - звенящим, вроде бы и не своим голосом еще издали возвестила Праулине, подъезжая с хлебовозкой.

Всколыхнулась вся база, кажется, дрогнули и земля под ногами, и небо над головой.

Прошли три года испытаний и мук, три года жизни, за которые утеряно так много, а что обретено?

Второе письмо получили мы с сыном - в коричневом конверте, от мамочки. Держала я его, вертела в трясущихся пальцах и медлила открыть. Что там, дома? Ими ведь тоже пережиты три года страшной войны.

О, радость. В Сермули все живы, здоровы. Немцы только пчельник разорили. Элла вышла замуж, только что родила дочку. Арнольд, правда, еще не дома. Вернерс в Чехословакии.

Все разговоры латышей теперь сходились на одном: как там, у нас, кто выжил, кого уже нету. Каждое письмо прочитывали вслух. Все вместе. Мы и тосковали по родине все вместе.

Началась регулярная переписка. Вести из дома были обрывочные, местами непонятные, с явными умолчаниями, местами зачеркнутые цензурой. И цензурная печать на каждом письме.

Некоторые из местных русских пытались нас убедить: родина советского гражданина - вся необъятная страна, не все ли равно, в каком ее краю жить? Зачем рваться куда-то? Но какие же мы были советские граждане - беспаспортные, несвободные, отрезанные от родни, лишенные каких-либо прав кроме права на рабский труд? Нет, эти места, куда мы переселены насильно, язык не повернется назвать родиной. Надежда вернуться домой никогда в нас не угасала, а теперь вспыхнула с новой силой. Свобода, казалось, поджидала нас уже где-то рядом, сразу за Волчьей падью; вот-вот откроется путь к возвращению!

В следующее письмо мама вложила фотографию - снималась для советского паспорта. По лицу можно увидеть все, что ею пережито. Никакие слова не сказали бы больше. Перемучилась, перестрадала за нас всех. Матери не может быть хорошо, когда ее детям худо.

Написал нам Арнольд - он вернулся домой из немецкой трудовой армии. Спрашивал, можно ли посылать деньги. Можно. А вот посылки нельзя. Посылки разрешены только красноармейцам, отправляющим «трофеи» из отвоеванных мест. Война еще не окончена, союзники воюют в Германии.

Начав работать, Арнольд присылает нам 800 рублей, потом еще 500. Смилтене тоже получает денежные переводы: 300 рублей, 300, еще 300.

Суммы впечатляющие, но на все эти деньги мы смогли приобрести только льняную ткань на рубашки (200 рублей метр], школьную куртку Алнису за 700 рублей, пимы для него и еще купить пуд муки. Все вместе обошлось в 2200 рублей.

После Нового года Арнольд перестал писать, переводы тоже прекратились. Мама писала все реже и все туманнее. Можно было понять, что с Арнольдом случилась беда и что писать об этом нельзя.

Борьба с волками и стихией

Январь - месяц волчьих свадеб. В эту пору от них нет спасенья ни скоту, ни людям. На базе все разговоры сводятся опять же к волкам, и люди, кажется, боятся даже своего страха. Ночами волки доходят до самого центра поселка, и почти каждую ночь - потери: недосчитываются овцы, козы, теленка. У нашей работницы Окуновой волк тоже покусал телка. Ходят слухи, что на Боготольской трассе волки напали на человека, на пути к Аскарровке найдена будто бы одна человеческая нога в валенке, в другом месте будто бы и вовсе ничего не осталось от волчьей жертвы. Насколько можно верить этим рассказам, никто не знает. Сомнений не было лишь в том, что на фермах следы волчьих нападений налицо.

Вокруг базы по утрам можно видеть свежие волчьи следы. Я по ночам боялась волков хотя бы потому, что все окна на фермах были без стекол и даже без рам. Волку хватило бы одного прыжка.

В Волчьей пади, через которую пролегал путь в Тюхтет, по утрам, когда дети отправлялись в школу, в темноте светились зеленым волчьи глаза, то ли истинные, то ли воображаемые. Мальчики вглядывались в темноту до слез, чтобы по крайней мере не пропустить момент, когда серые нападут. Убежать от волка невозможно, но прогнать его отчаянными криками удастся. Дети в Волчьей пади пели и орали во все горло, отгоняя и волков, и свои страхи. И остались живы.

Возвращаясь уже при свете дня, школьники изучали волчьи следы. Они то километрами тянулись вдоль дороги, то пересекали ее замысловатыми кривулями. Свежие, четкие ночные следы. Ребятам требовалось немало смелости, страхов в связи с волками они пережили немало, но ни одного прямого нападения на детей, к счастью, не было.

Февраль - месяц буранов и морозов. Снежные бури бесновались с такой силой, что строения базы, кажется, едва могли устоять на земле. Крыши, которые полегче, сносило. Однажды ночью в конеферме обвалилась половина крыши, но обошлось без жертв -

лошади успели отбежать в другую половину здания. В другой раз сдвинуло набекрень крышу Черного дома и снесло трубу.

Страшно было в такую непогоду в моей «конторе» - сторожке с тонкими стенами, которые скрипели и стонали под ветром. Топить плиту в такую ночь было нельзя: ветер разнес бы искры по всей территории, и далеко ли в таком случае до пожара. Да и сидеть на месте мне не полагалось: нужно было ходить по территории и строениям; животные в страхе сбивались в кучу, сминая и затаптывая слабый молодняк. Я должна была наводить порядок, погибших под копытами забивать по правилам. Передвигаться приходилось в темноте, ветер задувал переносной фонарь. Не всегда мне удавалось удержаться на ногах и найти в коловерти снега нужную дверь.

Утром, едва сдав животных сменщикам, нужно было отправлять Алнису в школу, отдавать еще теплую фуфайку.

Не хотелось отпускать детей при такой погоде, когда бушевала метель и снежный вихрь не давал вздохнуть. Вьюга свистела и стонала, видимость нулевая. И все-таки дети шли в школу, не хотели пропускать уроки, да ведь и снежный шторм часто разыгрывался надолго. Закрывали, завязывали ребятам лицо - и лоб, и подбородок, сумку с книгами привязывали к спине, чтобы не сорвало ветром, и отпускали с тяжелым сердцем - в снежную муть, холод, метель, зная, что за белой пеленой стелются по сугробам серые тени хищников.

Школу в такие дни невозможно было натопить: здание, построенное «по-ударному», к праздничной дате, не держало тепла, школьники сидели за партами в верхней одежде и рукавицах.

Выдержали. И волки не съели, и буря не унесла, и мороз с ними не сладил. Оба латыша получили в награду за успехи в учебе книги с благодарственной надписью учителя.

И все же трудная и небезопасная дорога до школы заставляла меня задумываться - нельзя ли перебраться в Тюхтет? Звиедрите размышляла о том же. И однажды, получив из дома небольшие переводы, мы купили от одного калмыка старую, но еще пригодную для житья землянку за 400 рублей. Купили, врезали в дверь новый замок, заперли новое жилище и счастливые вернулись на

базу, с тем чтобы как можно скорее перебраться на новое место со всем скарбом. Работать мы собирались, по крайней мере в первое время, все там же.

И вот в ближайшее воскресенье мы отправились к новому дому, прибраться там и подготовиться к переселению. Пришли, смотрим - нет землянки. Наш новый дом, имевший на улице свой зарегистрированный номер, с новым замком и с дверью, в которую тот был врезан, исчез, на его месте только яма и разбросанные по сторонам пласты дерна. Сами мы, может быть, так бы и не разгадали эту загадку, но все объяснили соседи. Доски, дверь и прочее украли те же самые калмыки, которые нам землянку и продали. Они уже успели выкопать яму в другом месте, и там заканчивали новую землянку из старых материалов. Что нам было делать, судиться? Столько сил у нас не было.

1945 год, 7 октября. Алнису 13

Выходной. Солнечный, но холодный день. Мы оба пошли на рынок - за подарком. Купила Алнису черные сатиновые брюки. Тонкие, но под низ можно было надеть зимою старые, штопаные-перештопаные.

Еще купила буханку хлеба и единственную книгу, которая там продавалась, - «Архитектура Рима». На торжество собрались дети нашей базы, каждый получил угощение - ломтик хлеба и стакан чая с молоком, правда, без сахара.

Мы все по-прежнему жили в одной комнате с семьей Праулине, вместе горевали и радовались, когда для радости был хоть малейший повод.

Через много, много лет мне попал в руки номер «Цини», главной партийной газеты советской Латвии за эту же дату, 7 октября 1945 года. Я выписала заголовки статей и заметок, вот они.

Забота профсоюзов о детях

Районы выполнили план поставок хлеба государству

Люди советской эпохи: социалистическое соревнование
Верные партийные установки помогли волости выполнить
государственные поставки
Ровно год назад, 7 октября, освобожден от немецко-фашистских
захватчиков Кегумс
На вольных берегах - вольное дыхание (автор поэт Судрабкалнс)
В фонд победы! Равняться на лучших!
Благодарность Красной Армии
Машины Адажской волости с флажками везут урожай в закрома
родины
Десять военных преступников доставлены в Будапешт В Театре
Драмы - «Инженер Сергеев»
О дне рождения Алниса, сосланного в сибирскую тайгу ни слова.
Так же, как о судьбе его отца в советском лагере смерти.

Эпидемия тифа

Для наших школьников начинался второй учебный год. К ним присоединилась теперь Инта Брока. Все четверо более или менее одеты, не голодны. Ссылные научились так ловко выдаивать «казенных» коров, даже днем, незаметно от пастуха заманив на минуту буренку в кусты, что теперь хотя бы молока всем хватало. Начальство о происходящем догадывалось, но поймать сверхштатных доярок не умело, а с некоторых пор и не стремилось. Детям, однако, мы строго-настрого запрещали брать чужое, чтобы подобное в дальнейшей жизни не вошло в привычку. Атис и Алнис на скотный двор ходили только чтобы подоить овец, это разрешалось, поскольку плановых заданий на овечье молоко не существовало. Мальчики ловили овцу, Атис спешил оседлать ее спиной к голове, коленками и одной рукой удерживал блеющую овечку, другой задирает ей хвост. Алнис подставлял под вымя глиняную миску и приступал к дойке. Если овца взбрыкивала и опрокидывала посуду, все приходилось начинать сначала. Надоенное мальчишками молоко было зеленоватым и сильно

«пахучим», но жирность делала его хорошей основой для супа. Цвет и запах здоровью не вредили, и аллергии на «такие вещи» ни у кого из нас не наблюдалось.

Мы с Алнисом, таким образом, жили вполне терпимо. Но длилось это недолго.

В начале декабря слегла наша Праулине: сердце. Меня с должности ночного сторожа перевели в контору на ее место, счетоводом и приемщицей скота. Я этих перемен вовсе не хотела, но кто же считался с нашими желаниями. Куда скажут, туда и пойдешь. Немножко подучили калькулировать корма и прочее, и садишь в конторское кресло.

Как раз в это время к нам поступало необычайно много скота. Работали с раннего утра до поздней ночи. Даже во сне перед глазами качалась стрелка весов. Алнис без меня собирался и уходил в школу, сам прибирался по дому, сам варил еду. За сверхурочные часы никто ничего не платил, но не могла же я уйти, когда на морозе мерзла длинная очередь людей с приведенными животными. Мерзла и я сама, на сквозняке взвешивая сдаваемый скот. Очень было холодно. Но всегда я старалась принять всех до последнего, как бы ни было поздно.

В некоторых колхозах свирепствовал тиф. Ни я, никто другой на базе об этом не знали. Времени спокойно поговорить с кем-нибудь из колхозников не было. И медицинский карантин нигде не был объявлен.

В середине января я слегла с высокой температурой и головной болью. Ужасающей головной болью. Три дня металась в постели, ночами рядом посапывал Алнис - отдельного спального места у него не было, да и негде ему было быть. Старый Черт, придя в барак, принялся ругаться: я, мол, только притворяюсь, это вредительство, если сейчас же не отправлюсь в контору, пойду под суд, скот некому принимать! Но я даже ответить не могла. Кончилось тем, что на мое место поставили Милду Сику а меня отвезли в больницу. Оказалось - тиф.

Болела я долго и тяжело, но сердце выдержало. Я выздоровела. Каким-то особенным ягодным отваром отпаивала меня сестричка, не помню даже, какая. И когда я в полубреду вылила отвар на пол, она спросила в изумлении, почему я так делаю. «Слишком

сладко. Не могу пить», - отвечала я. И она безропотно принесла отвар «покислей». Эрика Андреевна тоже была ко мне очень внимательна.

Алнис дома хозяйствовал один. По дороге в школу делал крюк, подходил к больничному окну, дыханием протаивал кружок на заиндевелом стекле, убеждался: его мама еще жива. Посетителей ко мне не пускали, да я и не узнавала никого. 12 дней пролежала, почти не приходя в сознание. Когда отпустили домой, не могла устоять на ногах, плохо видела и почти потеряла слух.

У нас на базе тифом заболели старшая Сика и калмык Саранов, он умер.

После долгого отпуска по болезни я опять приступила к обязанностям ночного сторожа - была слишком слаба, чтобы работать на приемке скота. Да и сторожить теперь было нелегко, я почти ничего не слышала. Но это осталось моей тайной; я всячески избегала встреч с начальством. Если бы открылась правда, мне в сторожах было бы не удержаться - послали бы на лесоповал.

Весной Алнис закончил третий класс и получил похвальную грамоту.

На родине и не только

Большая охота

1945 год.

В Латвии в очередной раз сменились: язык, государственный флаг, названия улиц, национальная принадлежность большинства жертв. Годы оккупации научили народ многому, людям пришлось узнать и испытать, волей-неволей, больше, чем за 20 коротких лет свободы.

Англия и США, союзники Советского Союза, хотя и недолгие, после войны пытались заговорить о судьбе стран Балтии, но Сталин на страницах «Правды» ответил, что «проблема Прибалтики есть внутреннее дело Советского Союза» и «нужные решения будут приняты без рекомендаций других государств». (Ну да, разумеется, в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа!)

Как немцы в оккупированных ими странах евреев, так советские власти на всей территории Балтии начали хватать, арестовывать и уничтожать латвийских, литовских и эстонских айзсаргов. Под видом «айзсаргов - пособников фашистов» удобней всего было репрессировать еще уцелевших мужчин, ведь в наших странах чуть ли не каждый взрослый представитель мужского пола был в айзсаргах.

Страшные «рекорды» по уничтожению неугодных им людей были на совести гитлеровцев. Карательная машина Советов делала то же самое медленней и обдуманней. На месте убивали гораздо реже. Нет, сначала в концлагерях выжимали из людей все соки, затем заключенные умирали якобы от сердечной недостаточности, воспаления легких и прочих «мирных» болезней.

Осенью 1944 года, при отступлении немцев, Арнольду посчастливилось сбежать из «трудовой роты»; месяц он скрывался в лесах, наконец, вернулся домой, начал работать стрелочником на станции Амата. Жить можно было... но всего лишь пару месяцев.

В феврале 1945 года во всех республиках Балтии началась охота на бывших айзсаргов. Хватали всех, кто хоть когда-нибудь побывал в этой роли, всех, кого не успели арестовать и выслать в 1941 году. Некоторым, немногим, удалось скрыться: в лесах они построили землянки, бункеры, там и жили. (О дальнейшем знаю лишь по чужим рассказам, которые и передаю).

Большой бункер был в Вилкашских болотах; женщины носили туда еду. Через некоторое время чекистам удалось выследить незадачливого связного, убежище было раскрыто. Причем вел истребителей человек из местных, которого все знали.

На болото нагрянули войска с пулеметами и гранатами, и началась бойня. Прятавшиеся были безоружны. В бункере жили не национальные партизаны, а беглецы, имевшие несчастье побывать в айзсаргах; предметом охоты, как уже сказано, были они все без исключения. «Победители» и предатель нагроутили трупами три подводы, обвязали штабеля тел веревками, чтобы не потерять дорогой, и повезли в Сермукши. Люди видели эти возы, видели мертвую руку, волочащуюся по снегу... В Сермукшах десятков мертвецов повесили на деревьях - для устрашения. Женщина, оказавшаяся среди убитых, претерпела и после смерти циничное надругательство. Мимо повешенных пролежала дорога в школу, кто-то пожаловался «наверх», что детям приходится видеть такие ужасы, и на третий день трупы были увезены в неизвестном направлении. У женщины, погибшей тогда, был грудной ребенок: его отцу она относилась еду. Сын и сегодня не знает, где его мать «похоронена».

Мартыныш Вилкашс успел убежать из бункера, но пойман и расстрелян позже. Его увезли в те же Сермукши, повесили на обочине шоссе и пять дней опять же не давали снять и похоронить тело. Там же и тогда же, подвешенные к ветвям придорожных дубов, раскачивались трупы еще двух юношей. Страшно было передвигаться по тем дорогам. «Выглядело так, будто людоеды развесили и вялят себе мясо про запас». Прохожих не стало. Лишь безутешные матери искали и среди жертв своих пропавших сыновей. Так рассказывали мне люди. Только вот без их разрешения я не вправе называть имена погибших. Боюсь, что не всегда нахожу те настоящие, единственные слова, но есть события, которые в слова

вообще не укладываются. Имена карателей мне неизвестны, а предатель, дававший наводку убийцам, теперь уже сам мертв.

Арнольд тоже ушел в лес, но бункеров избегал. Его обязательно арестовали бы как айзсарга, но была за ним и другая вина: он был молодым мужчиной, молодым латышом. Не надо было быть преступником, чтобы стать объектом преследования. Репрессии обрушивались независимо от правоты или вины отдельного человека, Сталин, его партия и карательные органы террором стремились выжечь в народах самую способность к сопротивлению.

Арнольд скрывался то в лесу, то в заброшенных сараях, то, вскарабкавшись на дерево, осматривал окрестность. Не раз «истребители», как называли чекистов-карателей, прочесывали лес в опасной близости от него, так что он слышал их голоса, лай служебных собак-ищеек.

Высокая ель, не раз служившая ему убежищем и наблюдательным пунктом, стояла на отшибе, в окружении частого кустарника возле Ревельского пастбища, рядом текла речка Недиена. Солдаты сюда не заходили, это уже не был лес. Они снова и снова обыскивали лесные массивы. Как-то раз Арнольд, после того, как людские голоса и собачий лай затихли в отдалении, задремал на верхушке ели. И это зимой! Но и мороз и ветер были тогда милосерднее многих людей.

Вечером раскричались галки: человек занял их законное место! Настала ночь. Тьма, бездонная, беспамятная, окружала беглеца. Непроглядная, как его будущее. Холодная. «Когда-нибудь это кончится. Растает снег, взойдет и пригреет солнышко, молодые розоватые шишки усеют эту ель. И откроется дорога домой...» В полузабытьи лишь эти мечты согревали человека.

И опять слышны голоса гонителей, снова ожесточенный собачий лай. Каратели проходят в каких-нибудь 50 шагах от ели, вынюхивая следы. «Здесь он где-то, в лесу. Куда ему деться!» - слышно, говорят на том же языке, что и он.

Арнольд затаился. Только бы не выдать себя. Не застонать от боли. Не вздохнуть слишком глубоко. Не шелохнуться. Не дать собакам почуять добычу!

То была не охота на зверя. И псы, и люди были натасканы на других людей.

Толпа проследовала по заросшей кустарником старой дороге на Ревели. Собака не учуяла Арнольда. Ей «не пришло в голову» искать чужака на деревьях, как белку. Эти охотники искали лесной бункер или шалаш из хвой, дорогу, ведущую к лесу от ближних домов, таких, как наши Сермули.

Когда не слышно стало преследователей и поднялась метель, Арнольд добрал до дома, дал о себе знать условным стуком в окно и спрятался за сараем.

В такие ночи мама не ложилась спать, хотя свет не зажигала. Все было наготове; горячее блюдо с плиты - в ведро, мгновенно собралась и через минуту шла - «задать корму свиньям». И - через метель в условленное место. В сарае, в хлеву прятаться опасно. Дом был в осаде. Арнольд рисковал появиться только во время снегопада, метели, иначе его выдали бы следы. Мать ждала его, увидев снег за окном. Подогревала еду снова и снова.

Мама прислушивалась ко всему, что говорят люди. Что где происходит, где посты, где ищут беглецов. Выложив свои новости, она спешила обратно. Приходилось быть начеку. По всей волости было объявлено, что разыскивается айзсарг Слейис и каждый обязан, увидев, задержать его и доставить куда следует живым или мертвым.

Мама забыла, что такое мирный сон. Вечный страх, вечные опасения за сына, который должен скрываться, скитаться в лесах подобно дикому зверю. Все окрестные сеновалы, амбары, сараи многократно обысканы. Дом стал для него местом запретным. Чтобы схватить одного-единственного ни в чем не повинного человека, целые группы следователей месяц за месяцем проводили в «командировках».

Когда Арнольд от переохлаждения всерьез заболел, оба с мамой напеременку выкопали на заднем дворе яму, тайник. Там было немного теплее, чем снаружи, но сидеть в тесноте и вечной темноте оказалось испытанием едва ли не худшим. И опять же собака-ищейка могла привести к укрытию.

Три месяца такой жизни совершенно вымотали и Арнольда, и маму. До предела измученные, они уже не могли сладить с нервами. В середине мая Арнольд выбрался из ямы, зашел погреться в дом и уснул в кресле. Таким его и взяли, заковали в наручники

и увезли. Мать осталась одна, наедине с мучительными мыслями. Не надо было поддаваться слабости. Нельзя было Арнольду выходить из укрытия.

Жизнь Арнольда теперь висела на волоске. Допросы сопровождалась бесчеловечными пытками. Арнольду сломали челюсть клещами, били по пяткам сыромятными ремнями, сдирая кожу до мяса. Заключенного голым помещали в жестяную камеру, где невыносимая жара сменялась стужей. Никто из выживших не желал позднее говорить об испытанном ими в чекистских застенках. Арнольда говорить заставили через годы только мои неотступные просьбы.

Мучили его целый год. Передачи не принимали. Почему? За якобы допущенные им нарушения. Многие, многие, не выдержав мучений, признавали все, в чем их обвиняли. Арнольд выдержал.

Обычный приговор пережившим «следствие» - 15 лет исправительно-трудовых лагерей, то есть жесточайшей каторги. 15 или 25 лет, что, впрочем, было почти одно и то же: эти годы практически не оставляли шансов уцелеть.

Арнольд был счастлив, услышав в суде о своих 15 годах. Хуже, чем было в последний год, не будет.

Из Риги его и других замученных и ошельмованных отправили эшелонам на Север. В дорогу выдали пересоленную сельдь, а вот воду отпускали редко и строго по норме. Жевать Арнольд со своей сломанной челюстью не мог, еду высасывал, держа во рту. Пытки инквизиции продолжались, по-видимому, продуманные до мелочей. Из какого ада вынырнули эти чудовища? Хищные звери в сравнении с ними выглядели куда человечней.

Население эшелона в Архангельском порту погрузили на суда. Путь их лежал теперь через Белое море и Северный Ледовитый океан - на Восток.

- Были посажены в дощатые клетки, как тигры. Только сквозь Щели могли видеть полосы воды и неба. Шли мимо большого острова, где высились голые скалы и лишь кое-где виднелись дымы (должно быть, то была Новая Земля, где держали осужденных на пожизненное заключение). Мимо проплывали ледяные глыбы. Было холодно, трудно во всех отношениях.

Из океана вошли в широкое устье Енисея. Мимо Усть-Порта.

Место назначения - Дудинка, потом поездом до Норильска. Там в царстве пурги, полярной ночи и стужи обретался целый куст концлагерей, где было уготовано место и Арнольду. В бараке ему указали два квадратных метра на общих нарах и дали валенки намного меньше нужного размера. Он кое-как натянул их на ноги, но в следующие два дня ступни были так искорежены, что хромота осталась на всю жизнь. На работу погнали сразу же, хотя из-за выломанной челюсти он не мог даже есть.

Так или иначе все бывшие айзсарги, то есть участники народного ополчения, были распределены по объектам Гулага, разбросанным по всей Сибири: то была немалая подневольная армия, и впроголодь эти люди строили «могущество» страны Советов. Дармовая рабочая сила в шахтах, на строительстве железных дорог и лесоповале надрывалась и гибла, гарантируя тем самым спокойствие и послушание на «зачищенных» землях Балтии.

Ах, мое старое, наивное сердце!

Мы уже знали, что моего второго брата Вернерса немцы принудили влиться в поток беженцев. Его вместе с семьей и тысячами других латышских семей довезли до Праги; оттуда ехали еще около 20 километров. Управление по делам беженцев предоставило жилье со всей необходимой мебелью.

- Наш дом стоял на берегу реки, - рассказывал потом Вернерс. - В первые же дни осмотрели окрестность. Не могли налюбоваться плавными изгибами реки, каких не видели в наших краях.

За рекой начинались горы. И опять же террасами спускаются сады, на каждой ступени дома. Был там поселок - прямо-таки сказочный городок с разноцветными домами. Летом все утопает в цветах. Красота неопишуемая.

Весной мы заметили, что каждое утро мимо нас с плугом в запряжке проезжает хорошо одетый человек - брюки наглажены, чистейшая сорочка, туфли, шляпа. Думали, богатый хозяин

отправляется в поле, чтобы дать указания работникам. Но почему же каждое утро? Однажды нарочно пошел за ним следом. Смотрю - никаких работников. Сам пашет. Оказалось, простой батрак. Спрашиваю: как вы не боитесь одежду испачкать? В такой разве в конторе работать. А он: «У меня худшей одежды нет». «А туфли? На пашне их нельзя не измызгать!» «Вечером вымою. А утром надену другие. У нас хватает и одежды, и обуви».

У сельскохозяйственных рабочих разделение труда, как в заводском цеху. Пахарь вечером сдает лошадей конюху - и свободен. Земля принадлежит крупным собственникам, но труд рабочих в поле и на ферме нормирован, хорошо оплачивается. И хозяева, и рабочие живут достойно. В сравнении с Чехословакией Латвия была бедновата, за 20 лет не успела оправиться от военных бедствий и стать такой же зажиточной, как старые европейские страны.

У Вернерса тогда брюки были без стрелок и с заплатами. Он застыдился, пожелал - «Бог в помощь!» и поспешил домой. И старые заплатанные штаны с тех пор носил только дома.

- Чехословакия - славная страна, люди сердечные, внимательные. Такое привычно в богатых странах. В бедности человек черствеет.

Вернерс вскоре заболел желтухой и не мог работать. Работала только жена, но и на одну ее зарплату оба неплохо жили. Болезнь Вернерса обернулась везением: немцы не призвали его ни в армию, ни на трудовой фронт. Чехословакия еще была под немцами. , Латышские беженцы прожили там около года. Красная Армия все это время наступала и в конце концов оказалась рядом. Была еще возможность бежать к американцам, многие так и сделали. Но Вернерс остался. Он ни в чем не провинился против русских, с немцами не сотрудничал. Ему так не хотелось оказаться еще дальше от родины; к тому же он ничего не знал о происходящем в Латвии.

Русские вошли в Прагу. По отношению к беженцам из стран Балтии они были вежливы и предупредительны. Подогнали эшелоны и призвали беглецов вернуться на родину.

Такие же призывы звучали ежедневно по радио вместе с обещаниями вернуть землю и гарантировать все права и свободы.

Родные тоже по радио звали своих домой, рассказывая о новой хорошей жизни и сопровождая эти рассказы щемяще близкими народными песнями. Как им не поверить! Латыши и поверили. Они представить себе не могли, что ободряющие тексты заставляют читать по бумажке, что людей принудили лгать самыми жестокими угрозами. То были проверенные пропагандистские приемы, и они в очередной раз срабатывали.

Любовь к родине пересилила сомнения, и Вернерс с семьей отправился в путь. В поезде пришлось терпеть тесноту и неудобства, но никто не жаловался: радость-то какая, вернемся домой!

- В Литве у Паланги нас поразила вид множества поездов, отделенных колючей проволокой. Наш эшелон тоже вошел в огороженную колючкой площадку. И только тогда мы поняли, какая «родина» нас ожидает.

Сидевший напротив меня седовласый профессор отчаянно бил себя по голове и почти кричал: «Мудрец, столько лет учивший других, как же ты дал заманить себя в эту западню! Нет, не ты, голова. Это ты, сердце, всему виной. Ах, мое старое, наивное сердце! Слово «родина» одурманило, и сердце завело в ловушку. Я не вслушался в голос жены, в то, как он дрожал, произнося слова, прозвучавшие по радио. Старая, дурная голова! Это будет последняя диссертация в твоей жизни, но ты ее не защитишь!».

Из эшелона извлекли всех мужчин и немедленно посадили в тюрьму. Женщинам было позволено продолжать путь.

Вернерса определили в подмосковный лагерь, дальнейший его адрес: «Московская область, город Красногорск, рабочий батальон». На конверте первого письма, полученного оттуда мамой, стоял штемпель: «Проверено цензурой».

Вернерс писал: «Я в 25 км от Москвы, в 1 км от ж/д станции. В помещении нас около 100 человек. Но есть где спать. Насчет питания - ну, так. Псылки не разрешены, так что не хлопчите. Надо работать. Ничего не знаю ни о своей семье, ни обо всех вас».

Сестра Элла это письмо переслала мне в Сибирь, и я сразу же послала Вернерсу 50 рублей. На почте в Тюхтете, посмотрев на адрес, сказали - нет никакой гарантии, что перевод дойдет. Деньги через некоторое время вернулись.

Через год Вернерса перевели в лагерь под Тулой, где было полегче, а в июле 1946 года освободили. Спасла его та самая желтуха, благодаря ей он не служил в немецкой армии и не работал на немцев. Вернерс вернулся домой.

Маме приходилось трудно. Не было даже хлеба. Вернерс, как только вернулся, стал возить в Ригу молоко, а из Риги буханку-другую хлеба. До Аматы бидоны с молоком он вез на велосипеде, дальше поездом.

В Сермули из Огре переехала его жена Алма, и жизнь как будто вошла в нормальное русло. Вернерс подготовил землю под озимые, поступил на работу машинистом молотилки. Вскоре организовал струнный оркестр с участием рожечников, сам расписывал для него ноты. Вернерсу посчастливилось.

Погубленные народные силы

И к нам в Сибирь начали приходить письма лагерников. С Севера, Востока, Юга, из средней полосы России. Везде лагеря. По всей необъятной советской земле.

Еще 17 июня 1940 года в Латвии начались массовые аресты. Все тюрьмы вскоре были переполнены. К осени были устроены 20 новых, больших тюрем. Мастерские Центральной тюрьмы были переделаны в камеры, в которых заключенные могли поместиться только стоя. Солдаты, государственные деятели, рабочие, крестьяне, даже школьники старших классов заполнили их. Не было такой ночи, когда никого не арестовывали. Чека трудилась на полных оборотах.

В апреле 1941 года в рижских тюрьмах насчитывалось уже 980 убитых. 25 апреля 900 заключенных вывезли в Россию. Перед погрузкой в вагоны всем им приказано было встать на колени, так легче было считать их. Вывезли заключенных в 40 вагонах. 70 человек высажены где-то на Урале; эшелон не успел стронуться с места, как послышались пулеметные очереди. Охранники пояснили: расстреливают тех, кто пытался бежать.

Эти 900 человек в Риге были осуждены по 58-й статье, за контрреволюцию и «измену родине». Многие пункты статьи предусматривали смертную казнь. Формулировки этой статьи были настолько расплывчаты, что фактически их можно было отнести к любому. И мы были сосланы на основании 58-й статьи, вот только «свой» пункт я запомнила. В советских лагерях были расстреляны и замучены до смерти миллионы, а виноватых по сегодня не найти.

Я приведу здесь выдержки из писем, полученных нами в Тюхтете, а также из рассказов, услышанных много позднее на родине. Это не прямые свидетельства, но у меня нет никаких сомнений в их правдивости.

Чужая армия вторглась в наши земли, поработав и уничтожив граждан вчера еще независимого мирного государства точно в припадке безумия. И никто из соседей не возмутился, не вступился за жертв нападения, ничего не сделал, чтобы прекратить эту оргию уничтожения. Что это было - неведение? Страх? Мне этого, видно, никогда не понять. Чека свирепствовала не только на оккупированных, но и на своих собственных землях, и там вакханалия арестов, ссылок, убийств началась много раньше.

Мне рассказывали: школьника лет 12 из Алуksне пытали за то, что за подкладкой пиджака он прятал флажок независимой Латвии. Пытали, чтобы сказал, где взял флажок, кто подучил его носить с собой. Мальчик никого не выдал, вытерпел все.

Вокруг лагерей возводили в несколько рядов ограды из колючей проволоки, через которую пропускали ток высокого напряжения. Через равные промежутки устанавливали сторожевые башни с прожекторами, пулеметами. Стража с овчарками. Бегство казалось невозможным. И однако единицам удавалось бежать через подкоп. Они и становились свидетелями, ибо мертвые уже ничего не расскажут.

В лагере на каждый номер (имен у заключенных не было, только номера) полагалось спальное место площадью 0,8 квадратных метра, причем там нельзя было даже сидеть: голова упиралась в верхние нары. Здесь были представлены все профессии и возрасты, множество наций. Работали бесплатно.

Падая от истощения. Умирали в бараке, на работе, по пути на работу или с нее.

На Новой Земле в бараках вместо пола было море грязи. Посреди помещения разводили костер, над которым лагерники сушили мокрую одежду и обувь. Накрывались тем же тряпьем, в которое днем были одеты. Подъем в полшестого утра. Короткий перерыв на обед. Заканчивали поздно вечером. Пайку получал тот, кто выполнил норму. «Лентяи» и больные умирали от голода. Хоронили тут же, за оградой, могильщики работали денно и нощно.

В лагере имелся «красный уголок»; по выходным здесь пытались перевоспитать эков и выбить из их упрямых голов «националистические бредни». Мне рассказывали о висевшем в красном уголке плакате: «Вдохновленный товарищем Сталиным, через два года локомотив «Красная стрела» по рельсам, проложенным под океаном, доставит богатства Новой Земли на материк». Может, и проложили бы ту железную дорогу, если бы тысячи лагерников не перемерли от непосильного труда и голода; новых рабов в нужном количестве, очевидно, не сумели набрать.

Уголовники жили в своем бараке, никак не отделенном от остальных. Они играли в карты, на кону - хлебная пайка следующего дня или же проигравший должен был кого-нибудь изнасиловать или убить. Нередко от них доставалось и конвоирам.

Миллионы людей работали на шахтах и рудниках, где о безопасности труда никто и не заикался: смертность там была ужасающей.

На Урале каждый вечер при возвращении с лесных делян не досчитывались нескольких человек, для которых этот рабочий день становился последним. Мертвецов оставляли под выкорчеванным пнем, под грудой сучьев - у живых не было сил выкопать могилу. Если кто-то и пытался похоронить товарища честь по чести, он, бывало, не выдерживал дополнительной нагрузки и сам оставался там же. Умерших на строительстве железных дорог на Воркуту или Совгавань закапывали в возводимую железнодорожную насыпь.

В свое время записать слышанное я не решалась из осторож-

ности, особенно избегая, по понятным причинам, указывать источники своих сведений. Так что договоримся: неточности или повторение где-то однажды вычитанного - на моей совести.

Печорлаг (концлагерь у города Печора) называли сплошным кладбищем. Бараки длиной 50, шириной 15 метров. Вместо пола хвойный лапник. Работа - прокладка железной дороги. Рабочий день - 18 часов. Людей косил кровавый понос. Хоронили прямо на рабочем месте. Одежду, еще как-то пригодную для носки, с мертвецов снимали и тут же надевали на себя еще живые. Когда к этим местам приблизились немцы, часть заключенных эвакуировали, другую просто расстреляли.

Если у лагерника кончался срок заключения, ему тут же приписывали новое преступление и продлевали срок. Из-за чудовищной смертности дармовую рабочую силу пополняли, находя все новых и новых «преступников». Когда был исчерпан потенциал тех, кого взяли в 1940-41 годах, принялись отлавливать бывших айзсаргов. Так были арестованы самые сильные, дееспособные мужчины; стандартные приговоры им - 10-15-25 лет лагерей строгого режима.

Жизнь в лагерях, разбросанных по всему Советскому Союзу, была запредельно тяжелой. Невозможно представить себе те мучения, которые доставляли одни люди другим по велению партии. Вспомнит ли человечество кровавые злодеяния палачей, так же, как помнит и не прощает черные преступления фашистов? Не ради мести, а чтобы положить злодеяния коммунистов и фашистов на одну чашу весов, а все их политические посулы и теории на другую.

В лагерях необозримого Гулага выжаты, выжжены, уничтожены лучшие силы народа. Угар от тех людоедских костров до сих пор отравляет умы и души.

Норильский адрес Арнольда мне сообщила мама. У него изуродованы ноги, цинга, положение, казалось бы, безнадежное. Но нашелся в бараке немец, хирург по профессии. Понадобилась не одна операция. Добровольный врач заботился о пациенте и дальше, даже делился своей пайкой, когда Арнольд не мог работать. И спас моего брата от верной смерти.

Начавшаяся переписка приносила одну за другой трагические вести. Не буду называть имена жертв, близким они известны. Скажу лишь, что большая часть мужчин, вывезенных в 1941 году, погибла в первую же зиму от холода, голода и каторжного труда. Из тех, кого знаем мы, живыми вернулись только Вилис Звиедрис и Велде. Остальные для своих жен и детей просияли недолгим светом, погасшим тогда же навеки.



Обратно на родину

Потрясающая весть

Шестое по счету сибирское лето прошло бы так же, как миновали пять предыдущих, если бы не потрясающая весть: латышских осиротевших детей пошлют обратно на родину. С какой жадностью мы слышали и повторяли эту новость, притом тут же распространяя ее почему-то и на себя, невозможно описать. Лед тронулся, вот что мы чувствовали и во что верили. Лед тронулся, перемены близки!

Летом 1946 года действительно было получено распоряжение отправить на родину круглых сирот-латышей, то есть детей, у которых не осталось ни отца, ни матери.

И вскоре из Тюхтетского детдома выехали восемь латышей, матери которых умерли уже в Сибири. Уехали на родину. Потеряв перед этим родителей, детство. Поначалу в Латвии они попали тоже в детдом.

Без отца к тому времени остался чуть ли не каждый ребенок, высланный в 1941 году. В дороге и потом в Сибири холод, голод, болезни, тяжкий труд отнимали у матерей - их детей, у детей - родительниц.

В августе 1946 года разнеслась весть: в Красноярск прибыла комиссия из Латвии, рассматривающая дела латышей-сирот. И туда направляют множество детей, каждые три-четыре дня набирается целый вагон! Все кандидаты на возвращение в Латвию живут в какой-то школе.

Мы тоже начали осаждать коменданта: многие матери больны, малыши практически без присмотра, как если бы они были круглыми сиротами. Но безрезультатно. У кого мать еще жива, тот, согласно закону, не сирота. К тому же многие дети заняты на различных работах, и они, строго говоря, уже не совсем дети.

Одной латышке в Тюхтет близкие написали с родины, что своими глазами видели, читали в «Правительственном вестнике»

постановление: вернуть в Латвию всех высланных в 1941 году женщин и детей. Но странным образом номер газеты с этим текстом исчез отовсюду; видно, власти отыграли назад. От документа остался лишь пункт о круглых сиротах.

Что делать? - недоумевали мы. Ждать, когда нас всех позовут вернуться домой, наверно, наивно. Бежать? Мигом окажешься в тюрьме.

Праулине сумела дозвониться до гостиницы «Интурист» в Красноярске и получить сведения из первых рук - от главы той самой комиссии, ее фамилия была Лусе. Та благожелательно объяснила: в Латвию могут вернуться все дети, желающие возвращения. Пусть они только приезжают из районов в краевой центр. «Всех детей доставим на родину, пока еще тепло. Матерей мы пока что взять с собой не можем, но скоро и им разрешат вернуться».

Вот это да! Нашим детям путь домой открыт! Теперь только нужно думать, как выбраться из Тюхтета.

Отныне каждая мать ломала себе голову - каким способом не только отослать детей, но и самой как-нибудь, хотя бы и нелегально пробраться в Латвию вместе с ними. И выезжали - одно-два семейства вместе, если удавалось вырваться с работы. Тоска по родине пересиливала боязнь наказания.

Первые эшелоны с детьми на вокзале в Риге были встречены торжественно, с оркестром и речами. Было обещано, что как только все дети из Сибири вернутся, вслед за ними возвратятся на родину их матери.

Из Тюхтета тогда приехали, собственно, сбежали четыре семьи. Рискнули - матери не захотели расстаться со своими детьми. Ясно, что им предстояло прятаться, как беглым преступницам, Тюхтетская комендатура этого так не оставит.

И не оставила. Их искали. Усиленно искали. Но ни одна из беглянок не показалась в своих краях. Жили где-то в Курземе, «залегли на дно». В Тюхтете комендант нас расспрашивал о них, допрашивал с пристрастием, грозил самыми страшными карами, если еще кто-нибудь вздумает бежать. У всех у нас отобрали незадолго до того выданные временные удостоверения личности.

Разговор в бане

В ту историческую субботу подошла моя очередь топить баню нашей базы, стоявшую на краю тайги. Я кидала в печь попеременно сухие и сырые поленья и смотрела, как пламя, отпрянув, снова накидывалось на свежую пищу. Низенькая дверь бани была открыта; дым валил наружу клубами и рассеивался тут же в молодом ельнике.

Душа была не на месте. Что делать? Отпустить Алниса или продолжать нести общий наш крест здесь, в Сибири?

В баню пришел и сам Алнис, бледный и точно так же растерянный. Уселся возле полка прямо на землю, - внизу было меньше дыму, - как Будда скрестил под собой ноги и спрашивал в который раз и меня, и себя: что делать?

То был вопрос, в который мы упирались снова и снова, как в глухую стену. За стеной - родина, дом, свобода, но все это шатко, обманчиво, как мираж. Здесь - ослабевшая мать, несвобода и еще более шаткое, непонятное будущее.

- А если мы потом никогда не увидимся? - прошептал Алнис. Он был уже большой, разумный мальчик, почти 14-летний, и рассуждал порою как взрослый.

- Давай надеяться на лучшее.

- Но если все-таки?

- Вот из-за этого «все-таки» мы с тобой и сидим-рядим, и никто нам не скажет с точностью, как оно будет. Если хотим что-то делать, то это последний шанс. Уедут все дети, и путь закроется. Мой тебе совет - все же собраться с духом и ехать в надежде на лучшее. Здесь тоже может быть по-всякому. Мое здоровье не из лучших.

- Ладно, мам. Я еду.

- Значит, решено! Больше к этому не возвращаемся. Готовимся в дорогу, и назад не смотрим.

Я почти не сомневалась: Алнису там будет лучше. К нему вернутся свобода и юность, ко мне - душевный покой. Здесь годы проходят, словно и не прожитые. У сына здесь нет даже настоящего. На родине у него будет будущее, и этому будущему нужно пойти навстречу.

И все же. Кто ему заменит меня? Кто и что ребенку может заменить мать? Никто. Ничто. Ни родина. Ни бабушка. (Впрочем, в этом пункте не обошлось без сомнений).

Было так тяжело думать о расставании. Даже веря, что это шаг к лучшей жизни. Без слез, глотаемых тайком и молча, не обошлось.

Накануне

Каждой из латышек, живущих и работающих на базе, было кого отпускать на родину, с кем прощаться (бездетных женщин, как я говорила, задолго до того отделили и перевели еще дальше на восток и на север). Даже матери малышей принимали решение «в пользу маленьких»: будущее детей было для них важнее, чем свое. И лучшее будущее для нас заключалось в слове «родина», независимо от того, в каком положении она сама находилась.

Итак, от нас уезжали семеро детей. Кукайните о своем сыне не заговаривала: ему исполнилось 16, и он числился в штате базы рабочим.

Накануне отъезда детей неописуемое волнение охватило всех нас. В средней комнате стирали, гладили, штопали, укладывали вещи в сумки и чемоданы, беззвучно плакали. За несколько дней до этого Праулине с семьей перебралась в Тюхтет, пришлось и нам переселиться - в среднюю комнату, где нам достались нары в самом центре, у всех на виду, так что плакать мне было нельзя. Я сидела и штопала серую школьную куртку Алниса, служившую ему уже два года, так что и штопать ее пришлось далеко не впервые. Потом взялась за кальсоны (которые перед этим исполняли роль «парадных» брюк); там штопки и заплатки копились уж и не помню с каких времен. Затем штопке подверглись две пары носков, черные и белые, служившие нам обоим. Обувь на осень у Алниса не было никакой; были валенки, которые для осенней грязи не годились. Купить башмаки в дорогу тоже никак не удавалось. Ну, хотя бы в носки сунуть ноги утром, все теплее! Только брюки были новые, недавно купленные: ни единой заплатки.

Школьная сумка с несколькими учебниками, буханка хлеба, 30 рублей, запрятанных в потайной кармашек, пришитый к рубашке ближе к телу, - и Алнис был готов к отъезду

Под вечер на базу из Тюхтета примчалась запыхавшаяся женщина; со слезами на глазах поведала: все бы отдала, лишь бы отправить своих двоих детей в Латвию, но им надеть совсем нечего. Мы не железные - каждая была готова оторвать от себя последнее. Отдала нижние штаны Алниса: холодно будет, но сын как-нибудь обойдется одними. Брока дала платица дочерей, все в разноцветных заплатках, как старомодные настенные коврики из лоскутов. Поделились, чем только могли, и остальные. Со слезами благодарности утешенная мать собрала, бережно увязала пожертвованное и удалилась.

Позднее вечером нам с Верой понадобилось пойти в Тюхтет, выяснить подробности предстоящей поездки: комендант по-прежнему грозил тюрьмой всем, кто осмелится отпустить своих детей, больших или малых. В районном центре ничего нового и тем более утешительного не узнали. На обратном пути решили заглянуть к той землячке, что прибегала за помощью, - посмотреть, как она справилась, не нужно ли еще чем-нибудь подсобить. Вошли в ее землянку - и в первый момент остолбенели. Через всю комнату была протянута веревка, и на ней - аккуратно развешанная детская одежда, новенькая, видимо, недавно полученная посылкой, здесь такой не водилось. То, что женщины нашей базы вручили ей накануне, мы не увидели, и у меня язык не повернулся бы просить назад те штаны, которые так пригодились бы сыну.

Случившееся не укладывалось ни в какие рамки, мне трудно объяснить его и теперь. Скорее всего, у человека зашел ум за разум; может быть, мать была уже в таком душевном раздрае, что следовало бы не осуждать ее, а пожалеть? Встречались ведь тогда у замученных и растерянных людей формы безумия куда более тяжелые.

Старый Черт к тому времени районной базой «Заготскот» уже не руководил. Он уехал на Украину и, как мы слышали, в следующий голодный год отошел в мир иной. Новый управляющий, Шумилов, был любитель выпить, не отказывался от подношений

и, если подмазать, без разговоров выдавал справку на детей - что они круглые сироты и база «Загоскот» в них не нуждается. Вообще-то выдавать такие справки мог лишь комендант; липовый документ мог пригодиться не дальше Красноярска, к тому же в самом Тюхтете он не имел силы. Но любая официальная бумага лучше, чем ничего. Шумилов даже согласился отпустить человека, чтобы тот сопровождал детей в Красноярск. То была работница базы, перешедшая в главную контору в Тюхтет, и она как бы отправлялась в командировку по делам учреждения. Справка была одна на всех детей.

Вечером конторщица, о которой идет речь, работавшая в Тюхтете, но жившая все еще на базе, пришла к нам, чтобы сообщить: у нее и в самом деле служебные дела в Красноярске и детей она взять с собой не может.

- Но ведь вас ради детей и посылали в город! - не стерпела Звиедрите. - Шумилов при всех это обещал - вот и тетя Праулине подтвердит, она там тоже была!

Но ничто не помогло - ни уговоры, ни доводы, ни наше отчаяние. Мы были в растерянности. Дети собраны в дорогу. Обещана машина до Боготола. И вдруг все рушится! В тот вечер мы решили: утро вечера мудренее, может быть, тут недоразумение; мы даже не стали до времени беспокоить ребят.

Вилис Звиедрис принес хворосту, растопил плиту, Инта подметала комнату, Илзе попросила Алниса помочь заплести косицы. Хорошо, что детям было чем заняться. Они взвинчены, полны ожиданий и сомнений. Как бы ни были тяжелы прошедшие шесть лет, оставлять все знакомое ради неизвестности тоже нелегко. Они и к оставляемым местам и людям, да и друг к другу испытывали нежность, хотя прежде нередко цапались. А когда удастся свидеться с мамой?

Кажется, никто из нас в ту ночь глаз не сомкнул. И у каждого были для этого свои причины.

Утро перед отъездом

5 сентября, четверг.

У Алниса в это утро сел голос. Слова скупые, отрывистые. И сам он какой-то потерянный.

Утро холодное. Кое-где выступил иней. Скоро в путь, а сын успел надеть лишь носки. В последний момент калмык Бембет за 30 рублей уступает свои старые чирки - кожаные тапки.

На самом дне ящика, привезенного из Латвии, у меня хранилась горсточка крупы, взятой там же, дома, шесть лет назад. Даже в самое голодное время я к ней не притронулась: так было задумано, что сварим мы эту крупу только перед тем, как поехать домой. Никогда и в голову не приходило, что этот день для сына и для меня может наступить не в одно и то же время. Но что ж, и это было лишним поводом сварить так долго, свято хранимую горстку «настоящей, домашней» каши с молоком.

Каша кашей, но каждый из уезжающих детей получил еще и кружку праздничного киселя. Последовало краткое «спасибо» и долгое, долгое молчание.

К дверям подкатила подвода. Из бараков вышли дети - чистые, в аккуратно заштопанном платье, с сумками или рюкзаками. Матери шли следом, украдкой смахивая с щек слезы. Но один из мальчиков, собиравшихся в дорогу, не вышел. Значит, остается. Сложности начались...

Все уже поняли, что поездка в том виде, как была задумана и обещана, не состоится. Но и отменить разом все, к чему так долго готовились, обмануть ожидания детей, уже видевших себя в Латвии, мы не могли. Это все равно, что остановить движущийся на полном ходу скорый поезд. Для маленьких сердец такое стало бы катастрофой. Едем!

Малышей и багаж погрузили на телегу, дети постарше до Тюхтета дойдут пешком.

Отправились рано утром. Едущие сидели молча, молча шли рядом с повозкой остальные. Матери вполголоса давали уезжающим последние наставления.

В Тяхтете остановились у моста. Мы с Милдой и Алнисом поднялись к конторе. Узнаем все от самого Шумилова. Но не успели мы дойти до конторы, как повстречали ту самую женщину, которая должна была сопровождать детей до краевого центра.

- Доброе утро! Мы не опоздали?

- Не знаю.

- Что, машины еще нет?

- Не знаю.

- Тогда хоть скажи, дети сегодня смогут уехать?

- Я не знаю.

- Кто же знает? Ты обещала Шумилу, - взорвалась Милда. - Иначе сговорили бы другую сопровождающую!

Нет ответа.

- А ты-то сама едешь? -

Еду.

Поди пойми ее. Эта женщина, обладавшая многими добрыми свойствами, иногда оказывалась совершенно непредсказуемой. Так бывало и с другими. За шесть долгих лет мы столько всего пережили: болезни, смерть близких, голод, непосильный труд, нищету, неудивительно, что на короткое или долгое время на кого-то «накатывало»; логика в таких случаях оказывалась бессильна. Подобный приступ случился и с этой женщиной, но мы сами были настолько наэлектризованы, что спокойно разобраться во всем не могли.

Отведя Милду в сторону, я сказала:

- Что она, раньше не могла предупредить?

- Теперь уж поздно об этом. Что делать-то будем?

- Вон тетя Праулине идет. Может, она что знает? - вмешался Алнис.

- Говори быстро, что там случилось у вас в конторе? - в один голос спрашиваем мы.

- Я с утра была у коменданта, - отвечала она. - Он опять грозился наказать всех, кто отошлет детей. Я своих послала в тайгу, по дрова.

- А что Шумилов?

- А что ему? Денежку прибрал, дальше разбирайтесь сами!

- А эта... Она детей не повезет?

- Да она еще вчера заявила, что не может взять на себя такую ответственность. Вдруг поймают!

- А ты сама? Что комендант никого не хочет отпускать и грозит, мы все знали, с этим считались. И Шумилов знал, когда деньги брал, когда справку подписывал, машину обещал. И ты все знала! - от возмущения у меня потемнело в глазах. - Зачем же было бежать в комендатуру? Благословенья ждала на дорожку?

Видимо, в этот раз на всех «накатило». Ясно было лишь одно: с детьми ехать в Красноярск некому, машины обещанной тоже нет.

- А ты бы поехала с детьми? - спросила Милда.

- Конечно. Но только с командировочной.

- Пусть Праулине выправит в конторе удостоверение.

- Шумилов уже одну командировку выписал, вторую не согласится, - возразила Праулине. - Без командировочной меня и в поезд не пустят. У меня ж никакого другого документа нет.

- Ну что. Надо возвращаться на базу. Другого выхода не вижу, - сказала Милда.

- Алнис, а ты решишься один ехать? До Боготола я тебя провожу. Хоть пешком! - выпалила я. (Такое можно было выговорить только сгоряча. У Алниса тоже ведь не было никакого документа - кто он такой, почему и куда направляется, неизвестно!]

- Могу ехать, - откликнулся Алнис.

- Тогда нечего ждать!

- Была бы машина, я кого-нибудь из малышни мог бы взять с собой, - добавил Алнис.

- Жаль, что мои в лесу. Я бы их доверила Алнису — сказала Праулине.

Алнис попрощался с Милдой и тетей Праулине, и мы сквозь хвойный лес пропустили вниз. Дорога разъезженная, грязная, в колдобинах вода. Через большие лужи мы перекидывали подручные ветки, доски, ямы поменьше перепрыгивали. Только бы скорей из Тюхтета.

Милда вспоминает

В 1946 году разнесся слух, что Красный Крест собирает детей, чтобы возвратить в Латвию. Таких детей, родители которых умерли и которых кто-нибудь хочет взять на воспитание. На нашей базе начались приготовления к отъезду.

Видя и слыша все происходящее, моя Тейка тоже засобиравлась, хотя я вовсе и не думала ее отсылать. В то утро, когда лошадь фырчала у двери барака, она побросала какие-то вещички в мешок, пальтишко накинула - и отправилась в Латвию. Забралась на подводу, и оттуда ее не достать. Уехала. Рассудительная Сика-старшая сказала: такой маленькой девочке нужно быть с матерью. И я, словно опомнившись, бросилась вслед уехавшим. Бежала, сколько было сил, до самого Тюхтета и там возле моста их догнала. Покуда дети с Верой и Звиедрите ждали у моста, я с Меланией и Алнисом пошла наверх, чтобы в конторе выяснить, что и как. Но там ничего путного не вышло. Уехал только Алнис Ванагс, а мы все вернулись домой.

На другой день кое-что прояснилось, женщина, обещавшая сопровождать детей, наконец согласилась это сделать, но Тейку я никуда не пустила.

Насчет поезда, в котором дети уезжали, сведения были такие: есть в дороге было почти нечего, а вшей было так много, что приходилось чуть ли не горстями сгребать из-под одежды.

После войны нам выдали что-то вроде паспортов - маленькие черные удостоверения, дававшие право проживать где угодно в пределах Красноярского края. Но уехать из Тюхтета никому не удалось, нас попросту не отпускали с работы. Да и некуда было ехать. Кому-то, правда, удавалось за большую взятку добыть справку, что такая-то не состоит на учете в органах НКВД, и тайком уехать на родину. Когда об этом узнали в комендатуре, поднялся шум. От многих людей теперь требовали доклады обо всем, что происходит на каждом рабочем месте. Заставили это делать и меня, не слушая никаких возражений. И тут как раз сбежала в Латвию конторская уборщица Марта. Начались допросы. Трое мужчин добивались от меня ответа: почему вовремя не донесла?

Я оправдывалась: Марта работала в конторе, а я на базе, как я могу видеть, что происходит за шесть километров от меня? Чем только меня не пугали - зашлем туда, где только белые медведи, где трава не растет, и тому подобное. И улещивали: если буду сообщать все, что требуется, получу новую одежду... Но взять с меня было нечего, и все ограничилось запугиванием.

Матушка Дзирнекле, которой было за 70, уехала в Елгаву к дочери, бывшей замужем за доктором Приедниексом. Но власти об этом как-то пронюхали, «преступницу» выслали далеко на Север, где она вскоре умерла. Целая армия молодых здоровых людей занималась не нормальным полезным трудом, а охотой за пожилыми ослушниками, чтобы их затем отослали в безлюдные суровые местности, где их ожидала верная смерть. Лишь немногим удавалось скрыться от своры преследователей.

Нас заново заставили подписаться на «добровольную» и притом пожизненную ссылку - о первоначальных 20 годах речи уже не было.

Во время гонок, по пути в Ачинск нам порой встречались подводы с женщинами и детьми, которых увозили куда-то... И нам не раз грозили, что разлучат с детьми, что зашлют «куда Макар телят не гонял». И возвращаясь из Ачинска, мы думали с замиранием сердца - на месте ли наши?

Бегство

С Алнисом уже в Тюхтете мы решили: я провожаю его до Боготола, а дальше, в Красноярск он поедет один. И немедля отправились.

Внизу, у моста остановились - перевести дыхание и подождать попутной машины: они тут иногда придерживали, если были без груза. Прислонились к перилам, надеясь, что со спины нас не узнает какой-нибудь случайный проезжий (те, кого нам следовало опасаться, пешком не передвигались), и тихонько рассуждали - что будем делать, если за нами погонятся и схватят.

- Эй, Алнис, это ты? - вдруг раздалось снизу, из-под моста.

Мы разом вздрогнули от испуга и тут же увидели Яниса Кукайтиса с дорожным мешком в руках.

- Куда это ты? - спросил Алнис в изумлении.
- Туда же, куда и ты. Домой.
- Так ты же в штате... Кто тебя с работы отпустит?
- А тебя что ли отпустили, черт возьми?
- Э, друзья, тут оставаться не стоит. Выбираемся из Тюхтета!

И мы ринулись - по длинной Октябрьской улице, так быстро, насколько позволяли мои «танки», тяжеленные башмаки. Замедлили шаг лишь когда последние тюхтетские халупы остались за спиной. Пошли даже и вовсе медленно, дожидаясь попутки. Машины по тракту проходили редко, но мы надеялись на лучшее.

И напрасно. С полдороги опять ускорили шаги. Но вечер подошел еще быстрее. Небо к нам благоволило. Узкий серп луны давал все-таки света достаточно, чтобы видеть дорогу, не вступить в грязь или в лужу. Спасибо!

От кювета несло ледяным холодом, но нам-то было жарко: теперь мы спешили изо всех сил.

Наконец, Катиюл. Пройдены 32 километра. Переночевали у славных стариков, у которых мы останавливались во время гонки. Мальчики устроились на лежанке русской печи, я улеглась рядом на полу. Утром смотрю - у мальчишек ноги от самых колен свисают за край лежанки. Как они сами-то не свалились!

Начинало светать, когда мы, покончив с завтраком - целой крынкой парного молока и щедрыми ломтями хлеба - и уплатив за все про все 30 рублей, продолжили путь.

За Катиюлом тракт расширился, лесу стало меньше, но мы уже не так боялись погони. Не бросались, завидев любого проезжего, в кусты. Ближе к Боготолу леса вообще уже не было: его вырубил местные жители на дрова. Здесь на необозримом пространстве Щетинился только мелкий кустарник.

Утро было холодное. За синими Чулымскими горами, за Боготолом вставало солнце. На фоне ясных небес мирно дымили трубы домов. Для верности мы свернули с тракта километра за два до города и подошли к нему напрямик, по тропинкам, проложенным через кустарник.

На вокзале увидели только что подошедший поезд.

- Куда это? - спрашиваю у дежурного по станции.

- Во Владивосток. Скорый.

- А когда будет красноярский?

- Около двух.

Значит, в запасе у нас немало времени. Пошли на Боготольский базар, купили соленых огурцов и тут же съели. Остальное время провели на станции, правда, не без опасений - а вдруг нагрянут с проверкой документов? Тогда и мне могут пришить дело, как беглянке.

И вот он, поезд на Красноярск.

- Билеты есть? - спрашиваю в кассе.

- Есть.

Купили билеты, вышли на перрон. Состав длинный, большинство вагонов - товарные, но и там полно людей.

И вот беда - никто не хотел впускать мальчишек в потрепанной, заштопанной одежке. Прошли весь поезд, от головы до хвоста, и везде мои парни слышали одно и то же: «Куда, бездельники? Местов нету!» На их билетах не указаны ни номер вагона, ни место. Мой голос и вид также особого доверия не внушали. В конце концов ребята втиснулись в тамбур какого-то запечатанного вагона. Главное - забраться внутрь. За семь часов дороги как-нибудь не замерзнут.

Я вернулась на станцию, спросить насчет багажа, посланного на мое имя чуть не полгода назад из Латвии. Если бы получить его, открыть - стоянка поезда целых полчаса, я бы успела что-нибудь передать Алнису. Но багаж все еще не пришел. Позднее выяснилось, что багажный вагон на станции Тайга был разграблен.

Я вернулась на перрон, прошла вдоль поезда - моих мальчиков уже нигде не видно! Ни в том тамбуре, ни на буферах, соединяющих вагоны, ни на крыше. Ни под вагонами. Так что же, их поймали? Меня охватило отчаяние. Где теперь их искать?!

Присела на какие-то ржавые железяки в голове состава, жду, сама не зная чего, зубы выбивают дробь от страха. Порывалась спросить железнодорожника, осматривавшего вагоны, не видел ли он двух мальчишек? Но не решилась, да и что он, занятый своим

делом, мог видеть? Я настолько растерялась, что перепутала части света. Думала, передо мной начало поезда, а это был, наоборот, последний вагон. И вдруг я вижу: из отверстия внизу вагонной двери, точно из собачьей будки, вылезает мой Алнис. А за ним и Янис, оба подходят ко мне.

- Все уладилось! - рассказывают наперебой. - Проводник за стакан орехов пустил нас в свое купе. Там тепло.

Забыла сказать, что на Боготольском рынке купила мальчикам несколько стаканов кедровых орешков, погрызть в дороге.

Лязгнули вагоны. Резкий свисток. Прощальный поцелуй. Поезд тронулся. Ребята на ходу вскочили на подножку последнего вагона и застыли.

Мелькнули хвостовые огни. Вслед за поездом точно в семимильных сапогах-скороходах устремились мои думы, мои горячие пожелания. Счастливого пути, мальчики мои, счастливой встречи с родиной!

Сама я помчалась - вон из Боготола. На тропинке, пронизавшей мелкий кустарник, где мы утром все трое спешили к поезду, на меня вдруг навалилась такая тяжесть, такая тоска, точно после свершенного преступления.

А может, я и впрямь преступница, раз самовольно сорвала сына с места, послала в неизвестность? Да нет же, нет! Там для него вспыхнет свет в конце беспросветного туннеля. Там откроются Алнису двери в настоящую жизнь!

Да, но кто ж переймет материнскую заботу? Моя мама слишком вымотана цепью бед. Кто введет человека в жизнь? Научит любить людей и деревья? Кто почувет, что у мальчика возникла где-то в душе или в теле незримая боль? С кем он поделится неизбывной детской радостью?

Кажется, я только теперь опомнилась. Я виновата. Я провинилась перед своим подрастающим сыном. Перед старенькой мамой. Совесть ввинчивалась все глубже и глубже, высвечивая все в новом, резком, беспощадном свете. Но где же ты раньше была, ты, безжалостная судья?

То и дело оборачиваясь, я долго-долго всматривалась в синеющую даль, словно надеясь разглядеть давно затерявшийся в пространстве поезд.

На обратном пути у Верх-Четска мне навстречу проехала машина с детьми, правда, не всеми детьми, которых обещали отправить еще вчера. Малышей там не было. Дети махали мне руками.

Тейка, дочка Милды, и дети Звиедрите уехали на родину лишь спустя 10 лет, все это время продолжая думать и мечтать о ней.

...Домой я пришла в полночь. Прodelала в тот день пешком 58 километров в «танках» - тяжелых солдатских сапогах, которые мне когда-то удалось купить на базаре. Потом, правда, не в силах выйти на работу, три дня лежала пластом.

Письма с дороги

Что чувствовали ребятишки, которым пришлось тогда от Тютетского моста вернуться на базу? Они плакали всю дорогу. И их матери - тоже.

Но когда я вернулась из Боготола, все успели успокоиться, дети заснуть. Вскоре оказалось, что оставшиеся на базе дети и их матери гораздо счастливее меня. Они были вместе, им ничто не угрожало. А мое беспокойство только росло.

Наутро я написала маме.

«В прошлую зиму ты была совсем одна, а теперь у тебя сразу двое. Вернерс тоже ведь только что вернулся? Теперь ты, мамочка, можешь, наконец, отдохнуть. Сидеть, вязать носки, об остальном пусть позаботятся дети. И пускай Алнис, когда найдет время, расскажет тебе о дальних землях и о жизни, которую в письмах не опишешь.

Теперь у нас опять аврал: со всех сторон прибывает скот. Некогда ни обед сварить, ни выспаться. Живу на одном хлебе, которого сейчас хватает. Получила и заработанное Алнисом. Вот только ноги я умучила, болят, точно кости сперва поломала, а потом их сложили неправильно».

С нетерпением ждала и дождалась - Алнис написал еще из Красноярска.

«Красноярск, 9 сентября 46 г.

Здравствуй, мамочка!

Я в Красноярске в доме глухонемых. Расскажу по порядку. Доехали в тот же день в 7 вечера. На вокзале купили 2 пирожка и кружку пива. К той Лусе идти так поздно не хотелось, спали на улице - с вокзала нас погнали. Было очень уж холодно, поэтому почти всю ночь я ходил туда-сюда. Ну, настало утро, пошли мы искать проспект Сталина. Нужный дом нашли быстро, но там сказали, что все еще спят. Тогда двинулись на базар, там поели и медленно вернулись туда же. В 23 номере нас записали и прислали сюда. До города 9 километров. Есть дают три раза, но совсем мало, без своей добавки выдержать было бы трудно.

Детей разместили в разных местах, но они так и так прибегают сюда. Что матерей повезут обратно, здесь пока не слышно. Наш эшелон будет в понедельник или во вторник. В остальном все идет нормально. Наилучший привет тебе и всем друзьям и подругам на базе. Ты мне сюда не пиши. Алнис».

Выдержка из следующего письма: «Наш вагон последний. В нем около 120 детей. На каждой полке - по 3-4. Я лежу на самой верхней, на голых досках, но кажется, что мягко. Только очень уж качает.

Снаружи каждое утро иней. На Урале видели заход солнца. Видели крутые скалы...»

Следующее письмо Алниса:

«Мы в Москве. Сегодня приходили две тетки, какие-то представители, записывали, кому чего не хватает. Мне пообещали блузу и обувь. Мои чирки треснули еще до Красноярска, теперь стою в мешковине. Денег не осталось, на те последние 30 рублей купил хлеба. Сегодня Саулескалнс пошел все улаживать - получить продукты и одежду. Саулескалнс был тоже в лагерях, отсидел 3 года и едет с женой и детьми домой. Он наш сопровождающий. С едой неважно, дают 300 грамм хлеба в день и ничего больше. Это потому, что только сегодня выдадут продукты. Когда повезут домой, точно не знаем. До того нужно все уладить и получить положенное. Мамочка, все время думаю, как будет со школой. Опоздаю на целый месяц. Один парень вышел на станции купить

чего-нибудь и отстал от поезда. А еще одна девчонка побросала купленные две бутылки молока, тапки и успела в последнюю секунду.

Мы тут сидим возле вагонов. Москву видеть не получилось, нас, таких, кто плохо одет, не пускают. И радости тоже нет. Все мысли о еде. Тут одно время не было даже хлеба, делили по 200 грамм, и так три дня подряд. Пришлось вспомнить, что такое голод. В Сибири хоть крапива была, а здесь ничего.

Но родина уже близко. До Латвии осталось 30 часов. Как хочется поскорее! Напишу письмо, чтобы там ждали...»

Дети Праулине и Броцены вроде бы успели на тот же эшелон, в котором был Алнис. В Риге, по крайней мере, все они встретились.

Сопровождающий, о котором писал Алнис, был коллега мужа по газете «Брива Земе». Когда его сослали вместе с семьей, точно не знаю, но, как видно, им посчастливилось вернуться всем вместе.

Много лет спустя Улдис Германис писал в одном из эмигрантских изданий: «Предприимчивый Саулескалнс (Зонберг) решил поучаствовать в конкурсе на лучшую пьесу для пионеров, причем представил свою наспех переделанную вещичку, написанную раньше для скаутов. И победил! Когда кто-то из завистников его выдал, автору на какое-то время пришлось уйти в тень. Но с драматургией в советской стране было туговато, и мало-помалу тучи над головой нашего, так сказать, драматурга рассеивались. И Саулескалнс вскоре продолжил свой бизнес. Занять осуждающую позицию, порицать ближнего не великое искусство. В конце концов человеку надо жить. Даже и в самые мрачные времена».

Письмо с родины.

«Рига 21 сентября 46 года

Вчера прибыли в Ригу. Из Москвы выехали 19-го вечером, в Риге были уже в 7 утра. С вокзала нас автобусом привезли в баню, там помылись и приехали в этот детский дом. Здесь кормят хорошо, утром дают кофе и три куска хлеба, два с маслом, а на третий сверху положено яйцо. В обед - вкусный суп, каша и хлеб. Вечером - две тарелки манной каши и хлеб. Карантина не будет. Сегодня медицинский осмотр и возьмут кровь на анализ. Сегодня и завтра оповестят родных, чтобы забирали, и в понедельник распускают по домам.

Мне дали гимнастерку, рубашку и кальсоны. Ботинки мне оказались малы, и других, кажется, не дадут. Я их никак натянуть не могу. Гимнастерка теплая, плотная. Еще мне дали легкий сюртучок.

Постель соломенная, но с простыней, с подушкой, двумя одеялами и покрывалом. У каждого свое полотенце.

Сплю вместе с Буцей (прозвище Атиса Праулинса, - М. В.). В спальне 30 человек, все парни. Мы довольны...

Адрес: улица Кулдигас, 45».

Письмо свернуто треугольником и отослано без марки.

Следующее он послал через день, 23 сентября.

«Мамочка, я у тети Лидии. Сажу за письменным столом у открытого окна, выходящего на улицу Дзирнаву. Внизу проезжают машины, извозчики. Много прохожих. Голуби сидят на подоконнике.

Расскажу, как попал сюда. Вчера было воскресенье, и директор детдома сказал за завтраком: мол, сегодня могу отпустить вас в гости к родственникам. Я стал думать - к кому пойти, все далеко. И придумал пойти к тете Лидии. Пошел к директору отпрашиваться. Он записал адрес, ладно, говорит, иди. Я сел на трамвай, доехал до улицы Тербатас. Сошел на остановке и - к большим воротам. Поднялся по лестнице, вижу, на двери написано: «Платупе». Позвонил, хотя боялся, что тетя еще спит. Внутри спрашивают: «Кто там?» Назвался. Тетя Лидия открыла дверь и очень удивилась при виде меня. Ввела меня в комнату, расспросила обо всем. Покормила сосисками и поджаренной ячневой кашей. Потом пришел дядя Екабс, поговорили, он спрашивает, не хотел бы я пару дней пожить у них. У меня на ногах были чужие галоши, я их занял. Дядя Екабс дал мне совсем новые «танки», блестящие, из настоящей кожи и как раз по ноге. В них ходить очень легко. Он сказал - будет в чем в школу шагать.

Примерно в час дня поехали в детдом за разрешением, чтобы я мог пожить у них, пока за мной приедут. Тетя Лидия вместе с мужем пошли к директору и долго там были. Когда вышли, сказали, что директор разрешил мне пожить у них. И нужно, чтобы бабушка приехала за мной с бумагой, заверенной в исполкоме и с печатью, и чтобы там было написано, что она берет меня на воспитание.

А если придет кто другой, тогда нужна доверенность с печатью, что бабушка доверяет тому человеку меня привезти. Здесь как в сказке. Книг полные полки, еда такая вкусная. Вечером были блины с сахаром и со сладким чаем. Утром кофе с бутербродом и сахару сколько влезет. И притом - иди куда хочешь, хоть по городу гулять, хоть в зоопарк.

Здание радиофона сгорело, одни стены остались. У церкви святого Петра сгорела башня. Оба моста взорваны, только всякие обломки вдоль Даугавы. На их месте построили новые. При немцах в соседний дом попала бомба, вокруг выгорело. Больше писать пока нечего. Передай привет Лиде и Зое. Как там Котофей поживает?

Алнис».

Поясняю.

Лидия Платупе - моя двоюродная сестра, присяжный адвокат. Екабс Платупе, ее муж - экономист.

В 1938 году они жили у нас, в нашей квартире, поэтому Алнис хорошо помнил адрес.

Директор детского дома на улице Кулдигас, А. Кисис был моим учителем, когда преподавал в средней школе в Цесисе.

Новые, блестящие «танки» были обыкновенные, нормальные мужские полуботинки, о самом существовании которых мой сын успел напрочь забыть.

Цена свободы

Алнис вернулся на родину после более чем пятилетнего пребывания в сибирском «исправительно-трудовом лагере» (во всяком случае, напоминая, именно так значилось на печати нашей комендатуры). Можно сказать, совершил побег. Настоящую свободу, вроде бы «искупив свою вину», ребенок мог получить, лишь потеряв отца и мать. Отпускались из мест отдаленных «на законных основаниях» только «круглые сироты, не достигшие 16-летнего возраста». Цена непомерная.

Лишь благодаря тому, что комиссию по реэвакуации детей возглавляла женщина с материнским сердцем, в списки были внесены все дети, так или иначе добравшиеся до Красноярска и тамошней гостиницы «Интурист». Лусе в документах прибывших вписывала в соответствующей графе слово «сирота». Как круглых сирот их помещали в Латвии в детские дома, в качестве детдомовцев отдавали на воспитание родственникам, если таковые находились и соглашались взять ребенка.

Алнис тоже получил на руки бумагу, удостоверявшую, что обоих его родителей нет в живых, что он круглый сирота. С доверенностью от бабушки в Ригу забрать его приехала жена Вернерса Алма.

Нужно еще рассказать, как в Красноярске закончилась «незаконная» деятельность той самой комиссии.

Примерно через месяц после отъезда Алниса надзорные учреждения открыли, что присланная из Латвии комиссия действовала неправильно и у некоторых детей, отосланных в Ригу, еще живы матери. (Живы, да, но сколько из них были больны и немощны!) О последствиях, к сожалению, не могу сообщить, не имея достоверных сведений.

На долгие годы остались в Тюхтете те ребяташки, которые по разным причинам не успели в последние эшелоны.

К счастью, тех, кто уехать успел, разыскивать не стали, и они выросли как воспитанники детских домов, отданные в семьи на воспитание.

Алнис теперь жил в доме своего начального детства, в Сермули, официально - под опекой жены Вернерса Алмы.

Сермули

Письмо Алниса

«Сермули, 29 сентября 1946 года.

Мамочка, я уже обошел все места. Бросилось в глаза, что у старого клена осталась всего одна ветка, и та не очень-то. Мои вербы, те, что я посадил вдоль дороги, теперь уже большие. Пригорок зарос, но красив. Акации тоже вымахали будь здоров.

В школу иду в понедельник. Тетя Лидия была очень заботлива и добра, дала мне с собой большую тетрадь с алфавитом. В ней 120 страниц. Дала еще 20 перьев, ручек, карандашей и 30 конвертов. И еще десять больших листов бумаги.

Бабушка держится, копает картошку и пасет коров.

Пианино стоит на том же месте, большой шкаф тоже. На одной из наших кроватей спит бабушка. У меня своя постель с матрацем, двумя простынями, двумя одеялами. Кот Пичурагс каждое утро приходит ко мне поспать. Едим пшеничную кашу. Сами молотят (с лошадьё), сами мелют.

У меня тут одежды вдоволь, кое-что от отца осталось.

Воздушный мост у Горки разрушен. Вместо него теперь хлипкие мосточки. Нет там уже ни цветочных клумб, ни самих цветов, ничего такого. Остались только камни, которые папа сложил, и скамейка у папоротников. А вот березы и немецкие ели стоят, и ветки красиво выделяются на фоне неба.

Бабушка только что вернулась оттуда же и сказала, что деревья так мрачно шумят, когда этому месту кого-то не хватает. Мне там тоже одному как-то не по себе.

Сердечный привет! Алнис».

Вернется ли когда-нибудь в Сермули песня нашего «заречного парка», Горки вместе с многоголосым птичьим хором? Вернется ли домой тот, кто это место украшал и холил?..

Крестины Валды

На 15 сентября были назначены крестины дочки Эллы - Валды. Девочке было два года, и у нее уже были два имени. Валда - так ее все и звали, и это был выбор матери. Расма - под этим именем (выбор отца) она будет крещена и записана в ЗАГСе.

Дочь росла без отца, который подлежал «исправлению» в лагерях где-то за Уралом.

О дате крестин была извещена и я, и в то самое утро писала домашним:

«У нас уже почти светло, у вас еще темная ночь. Думаю про Валдочку, ведь сегодня ее крестины. Хоть бы на миг побыть с вами в старой церкви в Арайши, взглянуть на вас всех. Хоть бы на миг вырваться из ревущего стада, умыться, переодеться в чистое и посидеть среди вас.

В комнате нас осталось три семьи. Звиедрите сегодня увезли на операцию - грыжа. Мне пока придется опекать ее детей, им не повезло - не успели уехать на родину с остальными. Маленькие они, но славные, старательные.

Вчера получила зарплату за июль - 3 рубля 38 копеек - и заработанные Алнисом 119 рублей, их отошлю ему.

Вчера в Ачинск погнали 900 голов скота. Какое-то время здесь, на базе, будет спокойней».

Школа в поселке Доле

7 октября Алнису исполнилось 14. В обычных условиях это продолжение детства, но у моего сына за спиной к этому времени была уже длинная и трудная биография. Я в Тюхтете, мама вместе с именинником скромно отпраздновали это событие и - здравствуй, пятнадцатый год!

Алнис начал ходить в школу в Доле. Об этом - в его письме от 8 октября:

«Начал с 4-го класса. Учиться было легко, даже слишком. Тогда учителя сказали: попробуем пятый класс, может, справишься. Ну я и перешел. Но начались трудности с латышским, а с немецким языком и вовсе никак, я ж ничего не знаю. Но постараюсь, все-таки на целый год продвижение. Мне очень нравится учиться на латышском. Тут все говорят по-латышски. И школа поближе, чем было в Сибири. Хватает бумаги, у каждого свои учебники...»

В 1941 году, когда нас с сыном выслали в Сибирь, тогдашние школьники и учителя посадили перед зданием школы дуб, который считался дубом Алниса. Саженец не сразу прижился, и в школе решили: если он выправится, тогда Алнис вернется в школу, нет - значит, не суждено...

Дубок рос, Алнис вернулся. Но говорить обо всем этом в школе можно было только шепотом.

Алнис писал мне: «Мой дуб растет на славу. Вытянулся на 4 метра, тонкий, высокий». Рядом было и еще одно деревце, молодая липа, посвященная девочке, тоже ссыльной.

Через годы мне еще удалось увидеть оба этих дерева; потом, при постройке нового корпуса школы, их спилили.

Письмо Алниса от 1 января 1947 года:

«На Рождество дома нарядили елку. Были песни, были подарки. Я сейчас первый ученик в классе, у меня ни одной тройки. С латышским, правда, не все еще в порядке.

В свободное время читаю. Книг здесь много.

Только очень не хватает тех, кто разбросан по свету. Нас всего трое - и каждый в своем краю земли. Тяжело об этом думать...»

Тюхтет - Сермули

И снова «отъездная лихорадка» постигла Тюхтет. Особенно матери, отославшие детей на родину, всеми правдами и неправдами старались раздобыть документ, который позволил бы легально отправиться в Латвию. И не без успеха. Чем надежнее была справка,

тем больше за нее надо было заплатить. Документы, доставшиеся дорогой ценой,годились не только в дороге. Несколько латышек уже на месте на их основании получили паспорта! Это все понимали и родные на родине. Мои в том числе - и я получила от них перевод на 600 рублей. Был слух, что за 800 рублей одна из ссыльных как раз и получила справку, что она снята с учета как спецпоселенка, то есть свободна и может ехать на родину.

Для начала хватало и справки о том, что человек освобожден от должности на том предприятии или в том учреждении, где он до этого работал. Но некоторых ловили и возвращали с дороги и с таким документом. Мои 600 рублей остались неиспользованными. Надзор за ссыльными усилился. Латышек даже перестали использовать при перегоне скота - не разрешала комендатура, опасаясь, что мы сбежим из Ачинска. Гонку мы не любили, так что этому запрету скорее радовались.

Весной следующего года меня назначили уборщицей в контору в Тюхтете на место сбежавшей Марты. Там мне было хорошо. Работа легкая, нужно убрать всего лишь две комнаты, ответственности никакой. Жила я там же при конторе. Наконец-то можно было забыть о грязище, да и отвечать за сохранность и здоровье сотен животных теперь не приходилось. Казалось бы, и желать не приходится лучшего. Единственно болела душа оттого, что надо без толку тратить время жизни здесь, когда за тысячи километров мой сын нуждался в материнском совете, материнской заботе, в тепле, которого растущему человеку не может дать никто другой. Правда, теперь у меня было достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в пихтовый бор, посмотреть, в какую сторону течет река. И подумать, и удивиться впервые - сколько сил, о которых мы и сами не подозревали, открыла в нас Сибирь, взять хоть гонки: 110 километров до Ачинска со стадами туда, 110 километров домой в огромных лаптях, утопая в грязи, впроголодь, без нижнего белья на морозе. Откуда брались силы в слабых женщинах? Помогали нам небеса, в которые уже никто из нас не верил, или что-то, что было еще выше?

Весной 1947 года картофель стоил 100 рублей пуд, пшеничная мука - 600 рублей, молоко - 10 рублей литр.

26 апреля. «Готовимся к праздникам. В Тюхтет уже доставлены 2000 литров водки».

Алнис писал из дому 21 апреля 1947 года:

«Часто опаздываю в школу не успеваю справиться с домашними делами. Работы в поле так много, что учиться не успеваю. Нароботаешься так, что валишься и спишь».

Элла: «...Алнис учится и пашет».

Алнис, позднее: «Год закончил нормально, хотя пропустил 186 учебных часов».

Алнис, 11 июля: «У нас дома такой распорядок. В воскресенье стараемся ничего не делать. Вечерами в субботу мы с другом Валдисом Гаварсом куда-нибудь выбираемся, надо же посмотреть на прекрасную родину. Были в Смитене и в Плани. Это для меня самая большая радость».

Год свободы

Вернерс был освобожден из Тульского лагеря в июле 1946 года. Домой он пришел еще до приезда Алниса. Его сразу же включили в волостной актив, и следующей весной на домашние дела у него уже не хватало времени. Алнису приходилось и после школы, а иногда и во время занятий выходить в поле - пахать, сеять: земля не умеет ждать. Но и в школе он закончил год хорошо.

Моя мама убирала дом, чистила хлев, готовила, стирала, пасла коров. Алма, жена Вернерса, шила.

Осенью Вернерс работал машинистом на молотилке. Зарабатывал прилично. Кроме того, организовал при клубе оркестр и занимался им с огромным увлечением. Свобода, дом, работа, музыка - все его мечты стали реальностью. Он был счастлив.

Но в стране Советов счастливый человек приветствовался лишь на плакатах. В качестве «активиста» Вернерс должен был тратить массу времени, нервов, то и дело приходилось поступать так, как требовалось, а не так, как хотелось. Он нередко чувствовал себя пешкой в чужой и притом не интересной игре.

Сохранилась записка. «Вам, как активисту Ренценского поселкового совета, надлежит явиться 17 апреля 1947 г. в 14.00 на крестьянское собрание. Секретарь: (А. Элиасс)».

На молотилке Вернерс работал хорошо, зарабатывал тоже неплохо. Взваленные на него общественные нагрузки нес безропотно. От политики держался как можно дальше. Не осуждал, не нахваливал. Старался быть безупречным советским гражданином.

5 июля 1947 года появилась на свет дочка Вернерса и Алмы, Айя.

Вернерс опять арестован

Год свободы пробежал незаметно, хорошо начинался и следующий. Но только начинался.

Однажды моя мама с ужасом увидела, что к дому подъезжает подвода с чекистами и с ними Вернерс. Сына арестовали прямо у молотилки и в порядке исключения привезли домой - помыться и переодеться, видимо, чтобы он не запачкал рабочей одеждой телегу «органов».

Вернерс успокаивал маму: это всего лишь недоразумение, за мной ни малейшего греха, вот увидишь, скоро я буду дома. Уговаривал - и сам наивно верил, что все обойдется.

Он еще не понял, что в Советском Союзе не следует слишком старательно трудиться, нельзя быть чересчур честным и пользоваться уважением, бросающимся в глаза. Все это слишком напоминало старую добрую Латвию, а следовательно, с этим полагалось бороться. Индивидуальное счастье никак не входило в число признаваемых государством ценностей. Латышу также мешала его несомненная латышскость. Все это Вернерс не успел усвоить, хотя его и старательно исправляли уже в исправительно-трудовых лагерях. Слишком работающих, слишком достойных людей в сталинском СССР нужно было убирать, и руками партии и чекистских органов их убивали.

В сердце моей мамы - новая рана: сына увезли. В тюрьму, в ссылку отправлялись ее дети и внуки один за другим. Их, любовно возвращенных, воспитанных в духе чести, арестовывали, ссылали, мучили, как последних преступников, как воров и убийц!

Мир перевернулся. За то, что считалось похвальным и добрым, теперь судят. Что признавалось злом, окружают почетом. Отлынивай от дела, пей, ругайся матом, предавай близких, и ты будешь угоден этой стране, новому обществу и власть имущим. Воруй, лги напропалую, лицемерь, работай локтями, бей своих, чтоб чужие боялись, и преуспеешь. Уму непостижимо!

Моя старенькая мама и хотела бы обратить свою боль в карающий гнев, но это было не в ее природе. Оставалась боль, раздирающая душу. Лекшелис убит, намучились в Сибири Мелания и Алнис, в лагере смерти еще жив Арнольд, но на сколько его хватит? И вот Вернерс уж во второй раз уходит тем же гибельным путем, оставляя жену и новорожденную дочку.

Выяснилось, что Вернерс заключен в Рижскую центральную тюрьму. Ему разрешены передачи.

Просьба его жены Алмы.

«Убедительно прошу принять передачу для арестованного Вернерса Яновича Шлейя, род. 5 ноября 1917 г. Продукты

1. Сухари
2. Черный хлеб - 2500 г.
3. Белый хлеб - 1 кг.
4. Картофель - 3 кг.
5. Масло - 700 г.
6. Морковь - 8 шт.
7. Чеснок
8. Сироп - 1 банка
9. Табак - 200 г.
10. Мука - 1500 г.
11. Крупа перловая - 1600 г.
12. Яйца
13. Бумага для писем с конвертами, карандаш, зубная щетка
14. Нитки для штопки одежды, ткань на заплаты

Алма часами стояла у тюрьмы в очередях; передачи иногда принимали, иногда нет. Свидание не разрешили ни разу.

Через несколько месяцев состоялся суд. Вернерса приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Куда его отправят, в приговоре сказано не было.

Я в Сибири получила от него открытку: он в Красноярске, в пересыльном пункте. Просьба его была - по возможности срочно прислать что-нибудь съестное. Я сразу же написала Айвиесте, находившейся как раз в районе Красноярска, умоляла разыскать лагерь и принести брату хотя бы хлеба. Айвиесте отозвалась: она купила хлеба и сахара и отправилась искать Вернерса в огромный пересыльный лагерь. Там какой-то добрый человек объяснил ей: такие лагеря тянутся вниз по берегу Енисея на 80 километров. Там невозможно никого найти, к тому же передач вообще не принимают. Так и пришлось ей возвращаться ни с чем.

Через месяц Вернерс написал уже домой (разрешалось лишь одно письмо в месяц): он в Норильске, там же, где и Арнольд, но встретиться нет надежды, территория лагерей бесконечна. Работа в рудниках. Страшная. Но может быть, его возьмут играть в клубный оркестр, и тогда не исключено некоторое послабление.

И школьник, и пахарь

После того, как арестовали и приговорили Вернерса, Алнис остался в доме единственным мужчиной. И школьник, и пахарь в одном лице.

Письмо сына от 14 сентября 1947 года:

«Вернерс арестован. Без всякого повода, и мы надеемся, что его освободят. Занятия в школе уже начались. Учебная программа большая, а мне еще дома нужно докосить хлеб, привезти домой. Дрова надо пилить. Для озимых землю подготовить, засеять. Одну работу сделаешь, десять других на очереди. Картошку копать, овощи. Вот-вот молотьба, а сельских работников у нас всего два: я и тетя Алма. Когда все переделаем, буду тебе писать чаще.

Мамочка, очень чувствую твое отсутствие. Хотя и заботятся обо мне, и хотят всего наилучшего, а все же не всегда находим общий язык. Остается помалкивать и ждать, когда родители вернуться...».

Алнису и впрямь приходилось нелегко. После школы пахать, ехать в поле за зерном, таскать в погреб мешки с картофелем, уже в сумерках заниматься дровами. И работы неупорот, и огорчений хватало. Бабушка в доме уже не была хозяйкой.

Алнис сам мне никогда не жаловался, если даже нагрузки оказывались сверх сил. Он с детства был воспитан так, чтобы не ныть ни при каких обстоятельствах. Помочь ему физически я не смогла бы, даже если бы оказалась рядом. Не в наших привычках было стонать и плакать о невозможном, но сердце у меня болело, как если бы я совершила преступление.

Кто, кроме матери, может в полную меру ощутить и понять, насколько хрупок подрастающий человек, насколько внимательным нужно быть по отношению к нему и в словах, и в поступках. Да и не было у окружающих времени заняться судьбой не своего ребенка и уделить ему хотя бы долю тепла. Каждый был занят своими хлопотами, трудами, опасениями, днем выполнял указания и нормы, вечером страшился даже собственной тени - кто знал, что принесет следующий час?

Лучшие годы жизни подростку-сыну отравлял непосильный труд, омрачала горькая судьба самых близких людей. В некую черную дыру провалилось все, что было светлого и обнадеживающего в его жизни. Он и по документам, и на самом деле был теперь круглым сиротой, и это выжгло в нем, в его душе незаживающую травму на всю оставшуюся жизнь.

Алнису 15 лет

7 октября 1947 года Алнису исполнилось 15. Как была отмечена эта дата, что он сам пережил при этом, мне неизвестно. Но мне удалось опять-таки достать газету «Циня», вышедшую в этот день. Вот о чем там писали:

«Советский народ готовится встретить 30-ю годовщину Великого Октября

Стахановская вахта в честь 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции

Награждены 5 промышленных предприятий продовольственного сектора. Первой премии удостоен Рижский ликеро-водочный завод. Вторая премия присуждена Рижскому пивзаводу, третья - шоколадной фабрике «Лайма».

Международное положение. Главная цель демократического лагеря - сокрушить империализм и ликвидировать фашистских недобитков. Главная опасность для рабочего класса в настоящий момент - недооценить свои силы и переоценить силы империалистического лагеря.

Латвия - советская республика. В этом ее сила. Латвийский народ с гордостью сознает: он равный среди равных, свободный среди свободных и счастливый среди счастливых. Советское социалистическое государство - для народа.

Вышел из печати 5-й том Собрания сочинений И. В. Сталина.

Радиопрограмма: Передовая статья газеты «Циня», патриотические песни, передовая статья газеты «Советская Латвия», фортепьянная музыка советских композиторов...

Температура воздуха - плюс 12-14 градусов».

Весной 1948 года Алнис в Доле окончил 6-й класс. Начались сельскохозяйственные заботы и работы в Сермули.

Тюхтетские события

Последний из рассказов Милды

Тетрадь воспоминаний и заметок Милды пополняет и обогащает мое повествование, потому что с ней вместе мы брели по краю тех пропастей. И лишь где-то на половине пути каждая из нас пошла в свою сторону, и с тех пор встречались мы лишь на рынке да в комендатуре. Итак, еще раз - слово Милде.

«Тейка росла. Ходила, переступая кривыми ножками. В 1948 году поступила в начальную школу Пищепрома, та была сравнительно недалеко от нас. Учиться ей было трудно - ведь все по-русски. Но учительница Юлия была очень хорошая. После четвертого класса дочке нужно было перейти в среднюю школу, а та находилась в Тюхтете. Шесть километров туда, шесть обратно - это ей было не под силу. Договорились, что она и Аля Звиедрите будут жить в большой землянке тети Пенце. Там уже квартировал Модрис Екабсонс, его мать незадолго до того умерла от истощения. Зимой дочка по воскресеньям приходила домой, а после обеда отправлялась обратно, волоча за собой санки с продуктами на неделю. В землянке было тесновато, зато тепло.

Тейка училась уже, кажется, в шестом классе, дело шло к весне. Однажды утром тетя Пенце не проснулась. Модрис пытался ее разбудить, но безуспешно. Хозяйка ночью умерла, тихо, так что никто ничего не заметил. Хорошо, что Модрис был рядом, иначе девочки перепугались бы окончательно. Тетя Пенце умерла от перенапряжения - работала, как вол, копила деньги, чтобы уехать на родину.

В мае 1955 года я купила хибарку в Тюхтете, на Лесной улице, 5, за 1600 рублей; деньги взяла взаймы. Чтобы иметь право жить в Тюхтете, я вышла замуж за Бориса. Муж привел в порядок жилье, вскопал огород.

Меня хотели было взять в налоговое управление, однажды в конце года я помогала им с отчетом. Но комендант прознал о моем настоящем муже, Вилисе, и все сорвалось: жене «бандита» такая должность не полагалась. Тогда вместе с Анной Юрьяне мы нанялись строить новый клуб. Замешивали цемент, заливали в формы, тащили доски, разводили известку. Потом открылась еще одна вакансия. Рядом со стройкой была столовая, а рядом - небольшой киоск, где торговали хлебом и бочковым пивом. Продавщица, гречанка, уволилась, и место предложили мне. Зарплата здесь была 400-450 рублей в месяц, намного больше обычной. Только с клиентами были проблемы, пиво мужики норовили выпить в долг, а заплатить «забывали». Чтобы не вышло недостачи, приходилось разбавлять пиво водой. В столовой работал замечательный кондитер, немец Шмит, благодаря ему у меня был хороший оборот.

Тогда же я послала в Ригу заявление с просьбой меня освободить. Сталин к тому времени был не только мертв, но и разоблачен. Однако из Министерства внутренних дел Латвии за подписью Вилиса Лациса пришел ответ: моя ссылка оправдана, поскольку я жена члена Крестьянского союза и айзсарга. Дело казалось безнадежным.

Но сестры писали мне, что отец хлопочет обо мне, и вот однажды утром к киоску подошел комендант, бывший тоже моим покупателем, и сообщил, что я свободна, могу жить в любом месте Советского Союза за исключением Латвии. Спасибо и за это! Я тут же стала собираться в дорогу. Продала все лишнее, дом тоже - за 2000 рублей. Кое-что оставила Борису, на родину его звать я не собиралась, он это знал с самого начала.

, В Латвию выехали вместе с латышкой по фамилии Гранте и ее сыном. Борис проводил до Боготола.

Билеты до Москвы купили, но без указания места. Расположились со своими узлами в коридоре, где уже было немало народу. В Риге Гранте исчезла не попрощавшись.

В Бабите встретилась со своими. Отец сказал, что если бы встретил меня на улице, не узнал бы.

Нужно было думать о прописке. В Риге выстояла длиннейшую очередь, чтобы услышать: мне в Латвии жить запрещается. Но я не думала сдаваться, и после долгих мучений меня все-таки прописали.

В 1956 году из Воркуты возвратился и мой брат Арвид. Тейка поступила в вечернюю школу.

Приключения Илги

Удалось вернуться в Латвию Илге Хагемане, и ее мать обещала дочери как можно скорее «догнать» ее: «Вот только раздобуду справку, что уволена с работы...».

Время шло. Илга надумала сама поехать к матери и привезти ее на родину. Ей даже повезло достать бесплатный проездной билет, и вот она опять в Сибири. По пути из Боготола она встретила знакомого, Агафоновича, и тот предупредил: комендатура разослала по всей Латвии списки «беглых» - и детей, достигших совершеннолетия (как сама Илга), и матерей, с требованием разыскать их и выслать обратно. Если теперь Илга попадется на глаза кому не надо - может застрять здесь на годы!

Девушка все-таки продолжила путь, на который твердо решилась. Надеясь, что может ведь и удача однажды им улыбнуться.

До Тюхтета Илга добралась в сумерках, вышла из машины у моста. Огляделась, подумала и решила на ночь остановиться у М., которая работала в больнице, совсем недалеко. В комнату М. на первом этаже можно было попасть через окно, не заходя на больничный двор.

М. оказалась дома. Покормила, выпросила, предложила отдохнуть с дороги - самой ей нужно на полчаса зайти в больницу. «А ты поспи, никуда не отлучайся». Илга послушалась.

Через некоторое время - громкий стук в дверь. Милиция. Проверка документов. Разумеется, девушку арестовали.

Бухгалтерша больницы нечаянно слышала телефонный разговор... Но об этом, может быть, когда-нибудь расскажет

сама Илга. Это долгий и невеселый рассказ. Скажу только, что ей удалось бежать и снова добраться до Латвии. В те дни мы, латышки, болели всей душой, переживали за нее, особенно после того, как была найдена ее записка «Бегу. Осталось только в реку с головой...»

Айвиексте написала из Красноярска: она и еще 11 латышек последним кораблем выбрались с Крайнего Севера. Всем желающим на судне не хватало места, оставаться же там еще на одну зиму не желал никто. На пристани нежнейшие создания обращались в настоящих фурий - только бы пробиться на палубу. Люди падали с трапа в воду, готовы были рисковать жизнью; были и такие, что сталкивали других. Но для Айвиексте все кончилось благополучно.

Некоторые из ее спутниц прямым путем из Красноярска отправились в Латвию. Айвиексте засомневалась. Писала: не знаю, что делать. Документы не позволяют проживать нигде дальше Красноярского края. Так она и не уехала в тот раз, работала в колхозе на Енисее вплоть до окончательного освобождения.

Почему я не уехала

После отъезда Алниса я оставалась на базе недолго. Управляющий Шумилов по кличке «Большой» разрешил мне перейти в Тюхтетскую контору уборщицей с окладом 220 рублей, который, однако, вскоре сократили до 110 рублей; на эту сумму можно было купить 700 граммов масла.

Колхозники начали привозить на рынок хлебные буханки по 25 рублей. Мука стоила 350 рублей пуд, картофель - 50, масло - 140 рублей килограмм.

Осень 1947 года была очень дождливой. В элеваторе горело зерно. Его нужно было сначала перелопатить, перевероршить, а уж потом сушить. Колхозники все еще трудились в поле, поэтому на элеватор посылали всех тюхтетских служащих. И меня тоже. Хотя врачам известно было состояние моего здоровья, в это время им запретили кому-либо давать больничные листы.

Я проработала на элеваторе один день, и то не полностью: оттуда меня увезли в больницу. Эрика Андреевна взяла меня под свою опеку, а латыши баловали, принося съестное. Больничная уборщица Валя Зариня жила тут же, при больнице, и держала козу. После каждой дойки я получала кружку козьего молока. В случае болезни помощь, внимание товарищей по несчастью были поистине трогательными; врачи признавали, что латышки больше делают для выздоровления своих, чем искусство медиков и лекарства. Я пролежала три недели и вернулась на работу. Борьба за урожай к тому времени завершилась.

Я подымалась в пять утра, растапливала плиту в конторе, подметала в комнатах, наводила порядок на столах, подметала переднюю и двор вплоть до ворот, приносила дрова для второй топки и готовила себе завтрак на той же конторской плите. В полдевятого заносила горящие угли в свою комнату, убирала ее и завтракала. Днем надо было отнести письма на почту, если они были, если нет - занималась своими делами. Хождений было не слишком много. После обеда пилила, колола дрова на следующий день. Вечером включала бесплатный, казенный свет и топила печку у себя в комнате. Время от времени выезжала с бочкой за водой или шла в ближний бор за лапником и ветками для метел. Для комнат годились только пихтовые веники без ручки. Чтобы счищать снег с валенок, использовались березовые веники, тоже без ручки. А подметать двор приходилось метлой из жестких прутьев с длинной рукояткой, такой же, как у нас. Метлы и веники самой нужно было заготовить и принести. Все вместе не было трудно, однако надоело до чертиков. Я мечтала о бегстве, но боялась увязнуть еще глубже.

Прошел слух, что предстоит денежная реформа, и менять на новые деньги будут до 1000 рублей. Люди бросились скупать муку и прочее. Я сидела на своей тысяче, присланной из Латвии на дорогу домой, и не знала, что же мне делать. Что-либо покупать на эти деньги было нельзя, других средств на возвращение, я знала, взять негде.

В конце ноября однажды поднялась такая буря, что разметала мою будку, пристроенную к конторе. После этого я спала в самом

учреждении на канцелярском столе. Еще меня угораздило сжечь фуфайку.

Работа была непыльная, спокойная, хуже было ночами, когда в контору заваливался Большой со своей шайкой пьяниц. Прибегали их жены с палками, доставалось и загулявшим мужьям, и чернильницам. Ругали и меня - зачем, мол, пускаешь? Но что я могла сделать? Сообщил я в милицию об этих скандалах, мне бы не поздоровилось от Шумилова, по натуре был он человек жестокий. Наверное, тогда только таких и отбирали в начальство. Притом он ведь был член партии, а я всего лишь каторжница. Мне полагалось терпеть многое сверх самой каторги. Быть терпеливой с этой бандой пьяниц принуждали и другие обстоятельства.

Во-первых - мое здоровье стремительно ухудшалось, тяжелый труд мне был окончательно не под силу. Все трудней было управляться с пилой, топором, и если нам привозили бревна или чурки потолще, приходилось просить бухгалтера, чтобы поколот дрова. Для него это была приятная разминка, а я тем временем вместо него корпела над бухгалтерскими книгами. Если бы я пожаловалась кому-то на управляющего, он немедленно сослал бы меня снова на тяжелые работы в поле или на скотном дворе, а это означало бы конец.

Во-вторых, может быть, столетия - достаточный срок давности, чтобы я могла признаться в преступлении, совершенном тогда. Только здесь, в конторе, я могла сделать то, что открывало в какой-то степени дорогу домой для нескольких латышек и для меня самой.

Незадолго до отъезда детей-сирот нам выдали удостоверения, позволяющие передвигаться в ближней округе. Вне Тюхтетского района требовалось уже дополнительное разрешение из комендатуры или с места работы. С таким «паспортом» плюс разрешение можно было пытаться уехать в Латвию. Но как раз эти-то разрешения получить легальным путем было невозможно. Не для того нас пригнали, чтобы через каких-то шесть лет вернуть на родину. Наш труд нужен был здесь.

Вроде бы двум латышкам удалось такие разрешения все же купить - за тысячу рублей каждое. Они тут же отбыли, в

Латвии получили прописку устроились на работу. Служащая, обеспечившая их справками, от греха подальше отбыла куда-то на Восток. Больше в Тюхтете никому подобной удачи не было. Люди боялись, что ссылка окажется пожизненной. И даже говорить на эту тему с кем-то казалось рискованным.

Вдруг узнаем, что в Красноярске один латыш предлагает оформить нужный документ за 3000. Три латышки, получившие щедрые переводы из дома, скинулись, и одна из них уехала в краевой центр улаживать это дело. С «благодетелем» встретилась по уговору в столовой; «земляк» взял деньги и вышел, пообещав вернуться через полчаса с разрешениями. Но не вернулся - ни через полчаса, ни в тот день, ни назавтра. Позднее разнесся слух, что «торговца свободой» арестовали, но его жертвам от этого легче не стало. Милиция предлагала объявиться тем, кого мошенник обманул, но пострадавшие побоялись, что их самих упрячут за решетку.

И тогда я решила использовать свое, так сказать, служебное положение для облегчения нашей участи. Кабинет Большого на ночь предоставлялся в мое распоряжение для уборки. В те ночи, когда Шумилов выезжал на места, я начала понемногу расшатывать средний ящик его стола. Слегка поддев к тому же ящик снизу ножом, удалось в конце концов открыть его без ключа, не повредив при этом замок. В темном кабинете вспыхивали только мои страхи, и внутри меня стоял такой гул, что можно было оглохнуть. Наверняка я бы не услышала, если бы кто-нибудь в это время вошел к кабинет. Сейчас и сама не пойму, откуда взялись во мне тогдашняя смелость и крепость рук.

В среднем ящике стола хранились круглая печать и треугольный штампель районной базы «Заготскот». Выхватив их, я побежала в свою будку и проставила печать и штампель на заготовленных заранее чистых листах. Сердце у меня буквально останавливалось от волнения. Точно в трансе, мчалась я обратно в кабинет. Закрывать ящик так, чтобы никто ничего не заметил, было еще труднее, чем открыть. Положила печати на место, с величайшим трудом закрыла его. Возблагодарила Господа за то, что не лишил при всем моем ужасе ни рук, ни разума, и спрятала листы с печатями у себя под половицами. Не могу понять, как

воры способны многократно совершать свои профессиональные подвиги. У меня после этого единственного раза началась стенокардия, преследующая посегодня, так что свое преступление я при всем желании не смогла бы забыть. Первый приступ в ту самую ночь едва не стал смертельным.

И вскоре я стала заполнять справки, не своим почерком, по возможности каллиграфически, как на уроках чистописания. Долго тренировалась, стараясь точь-в-точь повторить подписи управляющего и главного бухгалтера - «Шумилов» и «Кадымов». В конце концов наострилась делать это так, что оба вряд ли и сами отличили бы поддельные подписи от своих. В справке я указывала, что NN шесть лет трудилась на базе «Заготскот», ее отличали добросовестность и политическая сознательность, с работы освобождена по собственному желанию и ей разрешен выезд в Латвийскую ССР. Подобную бумагу без ведома комендатуры не вправе было выдать ни одно учреждение. Уволить могли при желании, но не выдавая на руки никаких документов.

Самодельную справку я вручала каждой латышке отдельно, уверяя при этом, что она одна-единственная получает такую. Все мои разрешения, естественно, происходили из одного источника - базы «Заготскот», но это как бы не имело значения, поскольку предъявлять их предстояло в разных местах разным людям. Имело значение и могло окончиться самым плачевным образом, если бы такая справка попала в руки Большого, о чем я боялась и подумать. Конечно же, за судьбоносную бумагу я не получала ни копейки: денег, которые возместили бы все, что я тогда испытала, не хватило бы на всей планете; к тому же у меня сумма, необходимая на дорогу, уже имелась. Документ я выдавала женщинам, которых дома ждали дети и на молчание которых я более или менее могла положиться.

С моими разрешениями отбыли на родину и получили на их основании паспорта несколько человек, так что эти улики моего преступления могут где-нибудь до сих пор храниться. Но пусть Шумилов еще докажет, что подпись на справке не его собственная! Разве только отпечатки моих пальцев там остались, но вряд ли они сохраняются так долго. Правда, есть и мое признание - сама ведь проговорила только что, здесь, на этой странице!

Не повезло единственно Анне Гредзене: ее поймали в Боготоле; должно быть, кто-то донес, что ссыльная пытается бежать. Завидев преследователей, она просто проглотила, почти не жуя, изготовленную мной справку. В кутузке, ясное дело, ее обыскали, но ничего не нашли. Освободил ее дружески расположенный к латышам Агафонович. Узнав о ее беде, он тут же позвонил в Боготольскую милицию и попросил освободить латышку Гредзену которую он послал сдать засоленные потроха; таковые действительно в это время были привезены в Боготол для сдачи. Агафонович в Тюхтете заведовал отделом снабжения. Анна к его отделу не имела никакого отношения, но у главного снабженца были имя и связи.

После этого провала я уничтожила оставшиеся листы с печатями, оставила только два для себя - уже решив, что на свой страх и риск отправлюсь в путь. Правда, с работы я не могла просто так взять да уйти. Нужно было подготовить себе заместительницу, легально уволиться. Как уже сказано, к тому времени уволить нас местные начальники имели право только без выдачи каких-либо документов. Шумилов, однако, не был готов отпустить меня бесплатно. Пришлось откупиться 500 рублями: Большому требовались деньги на водку. После этого на дорогу хватало буквально в обрез. Работница на мое место тут же нашлась. Мне оставалось продать свою картошку и купить платок потеплее.

Как раз в это время была объявлена денежная реформа. Люди спешили купить все равно что, лишь бы скромные сбережения не пропали. Но я-то не могла участвовать в покупательской лихорадке, мне не на что было бы ехать! Выручил тот же Агафонович: обменял мою тысячу на новые деньги, взяв себе небольшие комиссионные.

Наконец, все было готово, и сама я свободна. В комнатухе при конторе уже поселилась моя преемница. Весь мой багаж составлял самолично пошитый рюкзак и несколько купюр, подшитых к блузке поближе к телу.

Но за день до предполагаемого отъезда я получила письмо Эллы: нельзя ехать ни в коем случае. На дорогах идет строжайшая проверка; никаких документов, кроме паспорта, контроль не

признает. И в Латвии теперь прописывают только с готовым паспортом, беспаспортным прямой путь в тюрьму.

Я опоздала самую малость - и оказалась на улице в полном смысле этого слова.

У греков в землянке

Итак, упустив недавнюю реальную возможность уехать, я очутилась перед лицом жестокой действительности: ни работы, ни жилья, ни бедных пожитков, которые раздала перед отъездом. С горьким сожалением и тревогой за сына, за родных, за далекую родину, где снова, видно, закручивают гайки.

Была зима. Я начала обходить одну за другой землянки ссыльных, ища приюта. Но везде хватало жильцов и без меня. И только в районе, где жили греки, мне повезло. Знакомая семья учителя Финдулиде готовилась отбыть на родину. Тоже рискуя. Может быть, купили подлинные документы (о таких вещах не принято распространяться), во всяком случае, они были уверены, что скоро окажутся у себя дома. Мой рассказ их не испугал. До отъезда осталась неделя, только вот землянку надо продать.

- Так продайте мне! - чуть не вскрикнула я. - Мне как раз негде жить!

- Берите на здоровье! 400 рублей - и землянка ваша.

- Но мне нельзя оставаться в конторе, там уже другая живет. Я не могу ждать неделю.

- А зачем ждать? Перебирайтесь хоть сейчас! Пока что поживем все вместе, землянка большая, места хватит.

Ударили по рукам. В тот же день перенесла к ним свой рюкзак и уплатила деньги. Сам хозяин был по профессии, как уже сказано, учитель, но к тому времени работал на обжиге кирпичей. Мне указали уютные нары, уже приготовленные для вновь прибывшей, и все опять, казалось, уладилось.

Прослышав о моем «счастье в несчастье», ко мне в компанию тут же попросились тетя Праулине и Луиза: они жили в избе, где под одной крышей с людьми обитали теленок и свинья с

поросятами. Это их ограбил мошенник в Красноярске, и они тоже остались на бобах, с одними только дорожными сумками.

- По крайней мере не будем путаться у поросят под ногами, а поросята - под ногами у нас, - сказала Праулине.

Я обрадовалась. Места хватит, и что мне одной делать в такой просторной землянке. Луиза тут же заплатила за себя и Гунтиса 200 рублей, Праулине еще 100 (ее дети успели уехать с эшеленом).

И они тут же принесли свои вещи; кое-как разместились все наверху, где было что-то вроде антресолей. Вечером, когда собиралось все население «теремка», становилось так тесно, что приходилось каждой оставаться на своих нарах, спускаясь поочередно к плите, чтобы что-нибудь сварить или подогреть (в чугунной плите была лишь одна «конфорка»). В греческой семье росли два малыша. Воздуха было мало, но тепла, влаги и запаха сохнувших пеленок - предостаточно.

Так мы живем одну неделю, вторую. Я не удержалась и спросила греков, как обстоит дело с их отъездом.

- Так же, как и с вашим, - отрезал не без раздражения глава семейства. - И нам все пути перекрыли.

- А... а как же с землянкой? - спрашиваю в растерянности.

- Мы с детьми никуда не уйдем. Мы останемся у себя в доме, - вступила в разговор жена. Ясно, куда же им идти из землянки, которую они сами выкопали, сами построили. Уходить надо нам.

- Тогда я бы попросила деньги назад.

- А есть свидетели того, что вы их давали? Если есть - подавайте на нас в суд! - сказала хозяйка. (Учитель сошелся с этой женщиной, как мы слышали, уже здесь, в Тюхтете).

Чего-чего, а такого поворота событий я не ожидала. Я заплатила им, когда никого другого рядом не было. Нужно было проглотить и эту пилюлю. Я им сказала:

- Если вы рассчитываете, что от этих денег вам будет какая-нибудь польза, то ошибаетесь. Мы в суд не пойдем. Ваша собственная совесть вам судья. Да и все вокруг в курсе - латыши, немцы, греки, все знают, сколько я вам заплатила.

То был четвертый по счету дом, украденный у меня, если не считать Сермули: Луки, дачный домик в Риге, дом на улице Раудас, землянка калмыков и теперь эта.

Когда мы уходили, греки вернули нам деньги. Латыши, работавшие вместе с учителем на кирпичном производстве, и другие рабочие вступились за нас, и это подействовало лучше любого судебного приговора. Учитель сказал, что у жены из-за неудачи с отъездом, как говорится, крыша поехала, вот и вышел грех. Но ведь он сам при всем присутствовал. Не хочется судить других, однако и понять нелегко. Куда же нам деться?

Некуда деваться - пошли к Большому, проситься обратно. Пусть дает работу и какое-никакое жилье.

Шумилов обрадовался и согласился без промедления. Только мне пришлось занять освободившееся место бухгалтера-оператора. Скрепя сердце шла я на эту должность, хорошо зная, что это за ад. Тут нужно было регулярно списывать пропитых начальником овец, коров и телят. Их выходило так много, что найти какие-то лазейки для списания было все трудней. Бухгалтеры здесь то и дело менялись, хотя зарплата была солидной. Никто не хотел отвечать за чужие грехи.

Мне выбирать не приходилось. Соглашусь - Большой давал комнату всем нам троим, даже четверым, и это теперь было главным. Работу еще, пожалуй, и можно было отыскать, но жилья в Тюхтете не хватало. Ссылные ютились в землянках.

Работала, изо дня в день опасаясь ревизии и тюрьмы. Шумилов спускал сверху невыполнимые задания. Через три месяца я не выдержала. Продолжать было невозможно, надо увольняться и искать заново, где приткнуться.

Пошла снова по землянкам, и опять мне повезло.

Защита от ветра

Одна русская продавала свой дом, № 28 по улице Подгорной. Правду говоря, не столько дом, сколько сарай или хлев. В одном углу - коза, в другом - кровать с ямой нужника под ней. Днем женщина оставляла здесь запертыми своих детишек. В третьем углу стол, в четвертом - калмыцкая плита.

Местные латышки меня отговаривали от покупки: вонь от хлева никогда не выветрится. Но я так устала мотаться по чужим углам, что никакая вонь уже не пугала.

26 апреля 1948 года в своем будущем жилище в присутствии Луизы и Аустры Карклини я писала договор купли-продажи. И в этот самый миг начался дождь. Настоящей крыши в землянке не было. Кров - скрепленные глиной рейки - тут же дал сильную течь. Вода попала на бумагу, чернила расплылись.

- Соколиха, ты в своем уме? Как ты здесь жить будешь? - сказала Луиза по-латышски.

- Что говоришь? - забеспокоилась женщина.

- Говорю, что тут сухого места не найдешь, - сердито сказала Луиза. - И как можно за это брать такие деньги!

- Как нет сухого места? А это что? Совсем не каплет, - ответила собственница продаваемого жилья, указывая на угол, где безмятежно жевала траву коза. Совсем сухим угол не был, но редкие капли, падавшие на голову козе, животное ничуть не смущали.

- Что уж, Луиза, - сказала я. - От ветра защита будет, и за то спасибо.

Я знала твердо одно: на работе я больше не останусь. Не могу и не хочу. А уйти со службы значило потерять право на жилье. И эта землянка со всеми ее ароматами и дождевыми потеками - единственное в Тюхтете жилье, которое продается.

- Пусть покупает, - поддержала меня Аустра. - Когда меня с работы выставят, будет поначалу где переждать.

Так как первый вариант договора промок, я в козьем углу написала новый. Поссовет утвердил покупку, и я наконец-то стала Тюхтетской домовладелицей.

В конторе я тут же подала заявление об увольнении как инвалид 2-й группы и следующие две недели готовила опять же свою преемницу по имени Мария. Ей сказочно повезло: Большого за все его художества уволили. На его место назначили вроде бы нормального, честного человека, при котором она могла работать со спокойной душой. Если бы я потерпела еще немного или если бы шевельнулось во мне предчувствие, что Большого погонят с

его высокого трона, я бы охотно работала здесь сама. Но теперь дело сделано.

Прежняя хозяйка освободила землянку вовремя и к тому же продала мне свою кровать. Я переступила порог обретенного мною замка в конце апреля.

Никогда не забуду те счастливые полчаса, когда я впервые уселась на высокий порог своего дома и оглядывала окрестности - высокую гору с одной стороны и заросли боярышника с другой. Смотрела поверх навозной кучи, громоздившейся прямо у дверей.

Теперь у меня будет место, где спокойно провести ночь, спокойно отдать должное жареной картошке или куску хлеба, где я не обременю никого другого, если болезнь окончательно свалит с ног.

Это в человеческой природе - желать и добиваться того, чтобы у него было именно такое место, о котором он мог бы сказать с уверенностью: мое. И вот я этого добила. У меня был свой дом.

Может быть, не полчаса, а час или все два протекли тогда незаметно. Мне не нужно было никуда спешить, я не мерзла, хотя земля еще по-настоящему не оттаяла.

Никто на свете, должно быть, не сказал бы, глядя на сгорбленную серую женщину, сидящую на пороге вросшей в землю хибарки, что она счастлива. У счастья бывают, как видно, самые неожиданные лица.

Мой № 28 на той стороне Подгорной улицы, что ближе к реке, был последний. Сторона дома, обращенная к горе, почти по самую крышу погружена в землю. «Фасад», обращенный к улице, почти весь выглядывал наружу. Стены из тонкого осинника здесь все-таки возвышались над землей. Так что землянка, но не совсем. Построил это сооружение некий калмык, потом продал его русской, у которой был муж в тюрьме и двое малышей на руках. Когда муж освободился, она на радостях накормила его до отвала купленным у соседей свежее испеченным, еще горячим хлебом. Человек в муках умер. Такая вот судьба у прежней хозяйки моего жилища.

Итак, дом был полуземлянкой без крыши, без деревянного пола. Дверь сколочена из трех досок, утеплена полуистлевшей

соломой. Когда я ее сорвала, через щели увидела улицу. Печная труба оканчивалась дыркой в потолке. Оба окошка избы были слепы, как бельма: вместо стекол тряпки.

Но это был дом с четырьмя стенами, потолком из осиновых кольев, замазанных глиной, дом со своим номером, калмыцкой плитой и большой ямой в углу, в которую сливались отходы жизнедеятельности козы и детей. И с наружной стороны годами собирались всякого рода нечистоты.

Вокруг и вверх по склону дымили землянки калмыков и цыган. Немного дальше обреталась и землянка Москвички, приютившей когда-то сбежавшую от любвеобильного колхозного председателя Звиедрите с ее тремя детьми. На тех 15 сотках земли, которые мне достались со временем, виднелись ошметки еще трех покинутых землянок.

Если бы эту хижину мне указали для жилья за семь лет до того, сразу после нашего прибытия в Тюхтет, едва ли меня хватило бы на то, чтобы усесться на пороге и мирно созерцать окружающий развал и разор, частью которого теперь была и я сама.

Вот что значит привычка. Поменялся даже смысл многих понятий, и счастьем я искренне называла то, чему раньше нашлось бы совсем, совсем другое название.

Такое чувство охватывает, должно быть, моряка, после долгого, полного опасностей плавания вдруг ощутившего под ногами твердую землю. Немного кружится голова, покалывает в сердце, но уже есть на чем стоять, и почва незыблема.

Вычистить яму помогла Аустра. Я лопатой загружала ведро, она уносила в гущу боярышника. Я терпела, Аустру сотрясали не раз приступы рвоты.

- Не знаю, как ты здесь будешь жить, - сердилась она. - Здесь воняет как в нужнике!

- Можешь предложить что-нибудь получше? Сама знаешь, мне больше некуда податься.

- Продай!

- А дальше что? Ответить ей было нечего.

- И потом - кто еще это купит? Яму надо вычистить так и так. Если не можешь, иди домой. Я потихоньку справлюсь.

- Справится она! - Аустра тыльной стороной ладони вытерла нос и протянула мне пустое ведро.

Молча продолжили, молча закончили. Аустра ушла. Я подмела то, что здесь служило полом, постлала пахучие пихтовые ветви. Вонь, несмотря на это, была ужасающая. Спать тут все же не было никакой возможности.

- Здорово! - в дверях показалась соседка Валя.

Я ответила на приветствие и предложила сесть на ступеньку у дверей, больше в избе сидеть было не на чем. Смерив взглядом ступеньку, она осталась стоять под косяком. Сложила руки за спиной и осматривала мое прибежище. Я пыталась выяснить, зачем пришла соседка, но она отвечала односложно: «Так».

Смеркалось. В запечье пиликал сверчок. Гостя добрых 20 минут простояла в молчании и тут заговорила:

- Сверчок в доме - это к счастью! Да и веселей с ним.

- Не знаю. Я обошлась бы и без такого веселья...

И тут Валя приступила к своей просьбе. Нет ли у меня щепотки соли?

Я знала, для чего в таких случаях просят соль. Для колдовства. Вместе с солью из «нового» дома по поверью можно унести к себе все будущее благо, и опустелое жилье ждут голод и холод. Я о примете знала и, улыбнувшись понимающе, соли дала. Валя удивилась, попрощалась (спасибо в таких случаях вроде бы говорить нельзя) и ушла, донельзя довольная. От русской она в подобных обстоятельствах соли не дождалась бы ни в коем случае.

Пришел и Валерка, козий пастух. Поздоровался и тоже встал надолго. Таков был здешний обычай. Ни один из местных, войдя в чужой дом, сходу не скажет, зачем пришел, и никогда не исполнит просьбу только что вошедшего. Таковы были правила хорошего тона. Как бы сибиряк ни спешил, требовалось полчаса постоять или посидеть, а потом уж заговорить о деле, ради которого пришел. Сибирячки нередко заходили к соседям и просто так, без всякой надобности - от скуки или из любопытства.

Всех, за исключением родителей, здесь называли на «ты». Если не бранились, говорили негромко. Русская женщина редко поднимает голос до той громкости, которая для речи латышки обыкновенна. Зато если уж ссорятся, голоса никто не жалеет.

Валерка тоже попросил соли. И ему я дала, но сказала, что Валя уже получила стакан, так что он не первый. Валерка заметно приуныл: колдовская сила предполагалась лишь у первой порции.

Парень ушел. Печь я истопила, и сверчки верещали теперь целым хором. Я была в пустой хижине уже не так одинока; дружный треск сверчков создавал иллюзию домашнего уюта. Я сидела на краешке кровати и дирижировала незримым хором.

И тут начала замечать, что сверчки и я - далеко не единственные обитатели землянки. По остаткам оконных стекол и вверх, и вниз двигался рыжеватый поток: тараканы. Шуршание вскоре раздавалось отовсюду. Я зажгла лучину и при ее колеблющемся свете с ужасом увидела, что в щелях закопченных стен копошатся клопы. Эта добавка к нестерпимой вони меня доконала: спать в избе не было никакой возможности. Закуталась в одеяло и уселась на ступеньках перед щелястой дверью. Так и провела первую ночь в своем доме.

На другой день замазала щели глиной с дустом, обработала все керосином. В стене, смотрящей на гору, проделала дыру, чтобы сквозняком побыстрее прогнать зловоние.

Была надежда наконец отдохнуть на вторую ночь. Но тут на мою беду начался ливень. Холодные капли падали одна за другой на одеяло, на лицо. Я встала, оделась, перетаскала все свои пожитки в сухой угол. Мало было того, что лилось с потолка. Мутные ручьи, стекавшие по склону горы, скоро нашли дыру, проделанную мной в стене накануне. Быстро заполнилась до краев выгребная яма, лужа растекалась по полу. Через дверь вода не могла уйти, так как хижина была на полтора метра врыта в землю. Я стояла по колено в вонючей жиже, по которой змеились белые и синие отсветы молний. Страшила стихия, но вскоре мне стало не до страха: вода все поднималась. Надо было срочно что-то делать. Выбежала наружу, схватила оставленную Аустрой лопату и принялась лихорадочно копать отводную канаву; бросив лопату, пыталась заткнуть дыру в задней стене. Дождь колотил по спине, молнии слепили глаза, но я ожесточенно копала и копала, пока ручей, недовольно урча, не нашел обходной путь. Следующей задачей было вычерпать, ведро за ведром, зловонную жижу. Сколько было

этих ведер, я не считала. Не посмотрела и на часы, поэтому не могу сказать, как далеко за полночь закончила свою отчаянную борьбу со стихией.

Дождь прекратился. Я закрыла дверь, растопила плиту, выжала в ведро мокрую одежду и сохла нагишом. Ничего сухого, переодеться, у меня не оставалось.

С утренней свежестью сквозь дверные щели пробились и первые солнечные лучи. Сидя на ступеньках перед дверью, я уснула.

Днем пришла Аустра, увидела пол в грязевых разводах, мокрое тряпье.

- Так я и думала! С ума сойти! Разве тут можно жить?
- Как-нибудь проживу.
- Продай, продай эту нору, пока не поздно!
- Сказано не продам, и точка.

Я вынесла просушить мокрые тряпки, вновь открыла проделанную мною в стене дыру, чтобы протянуло сквозняком, разровняла грязь на земляном полу, чтобы застыла поглаже.

- Вот крышу все-таки надо бы, - сказала я горестно глядящей на все это Аустре. - Не знаешь кого-нибудь?

- Есть тут один. Пошли к нему.

Пошли. Да, мужик согласен. У него как раз заготовлена дранка.

Ну что ж, выбирать не приходилось. Кровля, накрытая дранкой, была, скажем прямо, так себе, но дождь не пропускала.

У одного калмыка, жившего на горном склоне, землянка развалилась, и он ее покинул, продав мне за 20 рублей то, что там оставалось. Я использовала кирпичи его плиты, чтобы переложить заново свою печь. Это сделала я сама и вывела наружу печную трубу. В качестве связующего раствора использовала глину, смешанную с навозом, этому я научилась у калмыков; кирпичи связывались намертво, правда, несколько дней от плиты воняло - до тех пор, пока раствор не затвердевал окончательно.

Весной я вскопала небольшой огород, посадила картошку. Летом построила небольшой хлев, купила козу. Заменяла дверь на новую, убрала кучи мусора и нечистот вокруг дома, настелила пол из двух широченных досок, вокруг дома с огородом соорудила

из жердей ограду. Во всем этом мне помогали латышки - Луиза, обе Аустры, Анна Юрьяне, Гредзените, другие тоже. Мое жилище начало нравиться, притом не только мне. По выходным здесь не было недостатка в гостях. Больше всех радовалась та самая Аустра, которая так убеждала меня продать «эту халупу». Она же была и самой лучшей моей помощницей. Деньги у меня держались, поскольку я начала шить и вязать. Заработать этим ремеслом можно было больше, чем на казенной службе, и надрываться не приходилось. В тунеядстве меня как будто не могли обвинить - как-никак, инвалид 2-й группы.

Лето выдалось удачным, только уже в начале августа у меня померзла картошка. Но нам с козой на зиму картошки хватило.

Отношения с соседями

Русские соседи вначале держались настороженно. И для этого, честно говоря, были основания. В Тюхтете ссыльные матери, в том числе и латышки, готовы были на все, чтобы только спасти больных и голодных детей. По ночам, несмотря на высокие заборы, со двора пропадали крынки и чугушки, белье, с огорода - огурцы, лук, капуста, картошка, хозяева могли недосчитаться и курицы.

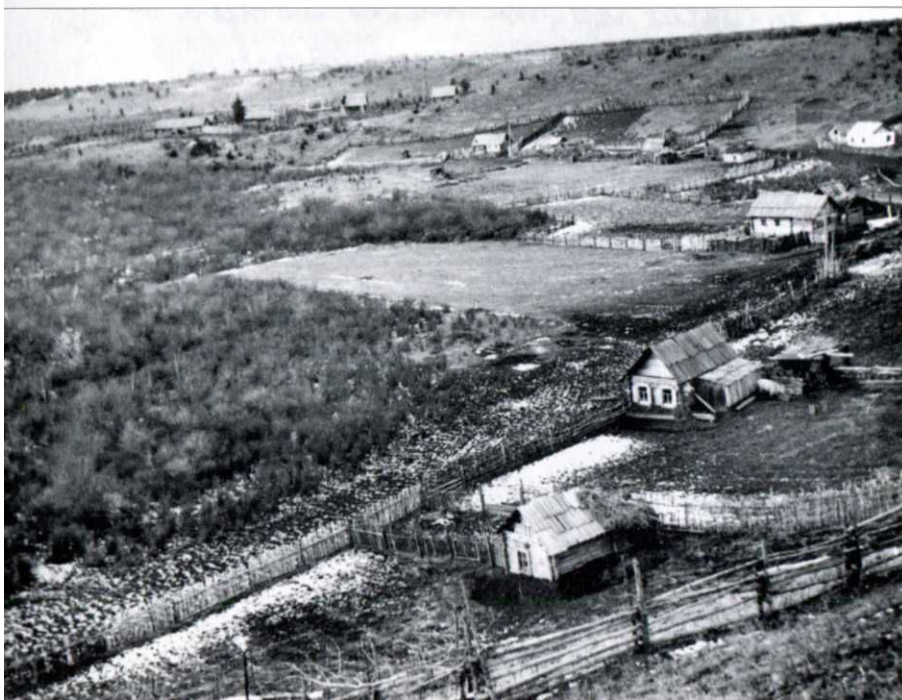
Мы, работавшие на базе, никогда не крали у частных лиц, да и латышки, жившие в районном центре, не все подряд решались на такое - только те, что уж совсем не видели другого выхода.

Моя совесть по отношению к тюхтетским жителям была чиста - но ведь я была тоже ссыльная, тоже латышка. Доказывать свою невиновность я не хотела. Мне было одинаково жаль и воров, и обворованных. Жесточайшие преступления власти заставляли ссыльных отнимать необходимое и последнее у ни в чем не повинных местных жителей, на которых мы свалились, как снег на голову. Мы становились очередным бедствием для таких же, как мы, тружеников, потому что плоды нашего труда, наша настоящая жизнь вместе с родиной были отняты чужой, грубой силой.

Все так, но часто я шла по улице Подгорной с опущенной головой, ощущая на себе осуждающие взгляды соседей.



Интерьер Малой гостиницы



Подгорная улица с домом № 28 - моей будкой



Милд



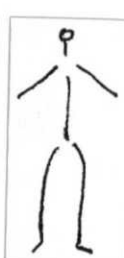
Луиза



Вилма



Я



Безумец

1
 Мила маммит!
 Москва, 16. ^{септември}
 Есам Москва. Сочлен ат-
 нāса дивас sievietes, kautkadās pārslā-
 ves un pierakstīja kuram ka trūkst. Man
 došot blāxī un apaus. Man ēpki lēdz
 Краснояарскai norlisa un tagad stāvu
 meisā. Nādas man vairs nav, jo pe-
 dejos 30 rubļus izpirku maizē. Sочlien
 Sauleskalns aizgāja visu kārtot: sa-
 ņemt produktus un drēbēs. Sauleskalns
 ar ir bijis lēģeros un samus 3 gadus
 izcietis un brauc ar sievu un bēr-
 niem uz māju. Viņš ir mūsu pava-
 donis. Ar ēsam iet pašvaki jo pašlai-
 dod ap 300 grami dienā un vairāk
 neka. Tas tapēc ka sочlien tikai da-
 būsim produktus. Isti nezinaam kad
 brauksim uz mājam. Tas būs tad
 kad vis būs nokārtots un dabūts.
 Маммит, visu laiku nezinu un do-
 māju tikai par skolu, jo ir bailes ka
 tiks u lēdz. Būs nokāvēts vesels
 mēnesis. Viens puika reiz izgāja
 no vilciēna iepirkties un palika.

Письмо Алниса из Москвы по пути на родину



КОЗАХ

И в сибирские
морозы
Не у всех страдают
козы!

Анна Яновна всерьёз
берётся "бескозных"
коз

И с одеждою мешок
тащит в козий хлевушок.

"Галля, Галюшка, голуба!
Вот тебе соболья шуба,
Знай: для козьего хребта
то не шуба, а мечта!"



Посвящается неравнодушной
Меланье Ивановне и
ее героям-друзьям.

И МОРОЗАХ

Козью шейку спрячем в миг
в обезьяний воротник.

А головку милой Гали
спрячем в очень тёплой
шали.

Вот сапожки
вам на ножки.

Для хвостатой жирной
гузки

Есть пуховые рейтузки.

Ну, тепло теперь тебе?"
Отвечает Галля: Бе-е-е!

А. Л.

1 декабря 1952 г.

Посвящение Меланье Ивановне и ее друзьям



Алнис во время службы в армии



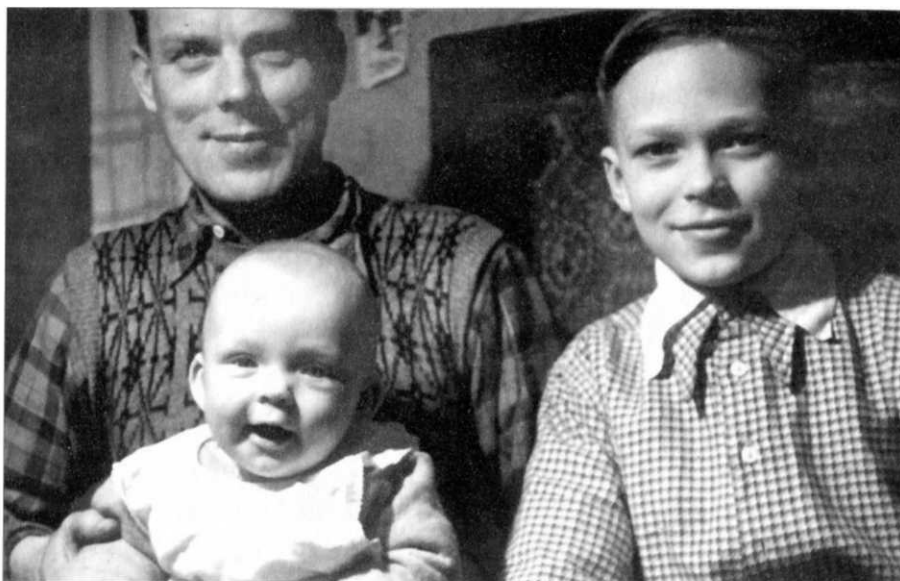
Я в кофте, которую только что
связала для мамы.
Весна 1953 года



Главная улица Тюхтета в сухую
погоду осенью, тоже сухой



Флора и Владимир



Валтерс Блумберг с дочкой Луцией, Илмарс Блумберг, будущий художник



Новый дом по улице Кирова, 97. Наши - первые два окна



Вернерс со своим лагерным оркестром



Оркестранты-лагерники



Вернерс 29 декабря 1954 года



С Алнисом и Вернерсом



Участники моего 50-летнего юбилея

О моем доме и о Тюхтете

Я жила очень одиноко. Ходила только в тайгу за хворостом и черемшой, в магазин за провизией и в больницу, когда сама не могла справиться с недомоганием. По выходным приходили погостить и помочь по хозяйству латышки. А вечерами поблизости стали гужеваться мужчины, - город был невелик, и боюсь, что обо мне, как женщине одинокой, могли ходить всякие слухи. Кавалеры то вежливо просились в дом, то громко ругались, колотили в дверь и в окна, к тому времени застекленные. Были это, правильное сказать, оконца, такие маленькие, что пролезть в них, если даже выбить стекло, взрослому мужику было невозможно. К счастью, новая дверь была так крепка и засов так надежен, что взломать их никому не удалось. Продолжалось это не слишком долго. Убедившись, что эта дверь для них не откроется, незванные женихи отступились.

Летом, когда внутри и снаружи была наведена вся возможная чистота, я полюбила свой приют еще больше.

Гора - высокий берег древней, когда-то протекавшей здесь реки, тянувшийся и вдоль нашей базы, - летом менялась волшебным образом. Да и ранней весной, когда на улицах там и сям еще дотаивали почерневшие сугробы, мое взгорье уже улыбалось солнцу голубизной первых цветочков - ветрениц. Потом их сменяли желтые колокольцы диких тюльпанов, им вслед появлялись белые анемоны - таким тесным множеством, что ты не знала, куда поставить ногу, чтобы не помять бархатистые чашечки. И тут уж недалеко было до земляники и всех последующих радостей.

Через улицу, ближе к реке были особенно густые заросли боярышника. Там вечно паслись свиньи, куры с цыплятами, и человеческие детеныши тоже. Богатые соцветия боярышника издают запах аммиака, который привлекает мух, но не нравится пчелам. Ягоды крупнее, чем у рябины, алые, мучнистые.

Забегая вперед, должна сказать, что зимой мою полуземлянку так заметало снегом, что мальчишки на лыжах спускались с горы прямо поверх нее. Моя будка служила им трамплином. К сожа-

лению, при этом они повредили печную трубу, да и целостности крыши создавали прямую угрозу. Пришлось огородить крышу по всей длине шестами, и только тогда лыжники нашли другой спуск. Дверь тоже иногда заносило снегом доверху, так что Аустра приходила меня откапывать.

На кривой Подгорной улице жили финны, литовцы, евреи, эстонцы, немцы и я - единственная латышка. Были, как уже сказано, среди соседей и русские - поначалу враждебные, позднее дружелюбные.

Тюхтет я знала уже достаточно хорошо, но теперь он стал казаться мне по-своему родным - никогда прежде этого не было. Раньше он был всего лишь местом сибирской ссылки, краем бесчисленных природных богатств и безмерных человеческих мук. Теперь я почувствовала впервые, что это немножко и мой город.

Здесь вечнозеленый бор увенчал собою холмистую гряду - древний обрывистый берег, а на месте теперешних улиц когда-то плескались воды доисторических рек и озер. Нам рассказывали, что первое жилье здесь построил татарин Тюхтет в середине XIX века, возникшая затем деревня разрослась, и в 1924 году село, уже многонаселенное, стало районным центром. А с конца тридцатых годов многострадального XX века сюда свозили спецпоселенцев - ссыльных, представителей многих народов.

Коренные обитатели села, старые сибиряки - бывшие хуторяне. Это были в основном русские, но и не только: в 1907-1908 гг., когда в Сибири наделяли землей всех желающих, сюда прибывали крестьяне из Латгалии. К моменту нашего появления здесь жили только женщины-латгалки с детьми. Их мужья, так же, как и наши, и мужчины-поляки, немцы и другие, были в 1937 году и позднее арестованы, после чего исчезли бесследно. Вбитые в землю, как сваи, они пропали, были погублены, изъяты из жизни так, точно никогда не существовали. На моей улице жили вдовы литовцев, финнов, поляков, убитых бесчеловечной машиной.

Моя лачуга и вся Подгорная улица были сравнительно новыми. На холме там и сям виднелись невыкорчеванные пни, а на них нередко - и любознательные бурундуки. В 1941 году, когда целыми эшелонами привозили в район латышей, немцев, греков, финнов, здесь, на берегу древних вод, еще красовались пихтовые

леса. Тут же, на склоне «моей» горы за семь лет до этого выгоняли живичный скипидар из лапника молодой пихты; здесь работало и немало латышек.

Затем пригнали большую партию калмыков. Жить им было негде, и они зарывались, как кроты, в землю. Происходило это так: выроют яму, сделают поверх ее настил из веток и дерна, залиют еще все это жидкой глиной. Дверь добудут где-нибудь, в выступающей наружу части землянки проделают оконца - и жилье готово. Оставалось только устроить плиту и утрамбовать земляной пол, который потом еженедельно полагалось поливать навозной жижей. В итоге не было пыли, пол оставался ровным и гладким, да и запах вполне можно было терпеть. Латышки переняли у калмыков способ печной кладки, где цементом служил кизяк - смесь глины с навозом. Земельные участки не нужно было испрашивать - следовало лишь зарегистрировать готовое жилье и получить официальный адрес: улица, номер дома.

В 1945 году из войсковых частей вернулись выжившие в войну мужчины-немцы (они использовались в армии как рабочая сила) и стали строить бревенчатые дома. На месте недавнего леса вырастали так называемые калмыцкие улицы, колонии немцев и греков.

Латышки улучшали, как могли, старые или брошенные калмыками землянки, иной раз устраивали новые. Наши мужчины погибали в концлагерях, а руки сыновей были еще слишком слабыми, чтобы срубить настоящий дом.

За моей землянкой улица кончалась, начинался лес. У меня не было даже часов. Время определяла по солнцу или же спрашивала у редких прохожих. Пошитые мною вещи, мое вязанье пользовались спросом, работы всегда хватало.

К собственному дому и ощущению обретенного очага я постепенно привыкла. Теперь для счастья мне не хватало одного: чтобы было о ком заботиться. Все, что когда-то было задумано и начато, потеряло смысл. Там, где я была необходима, во мне уже не нуждались. Я боялась, как сломанная ива в стихотворении Фрициса Барды, «забыть, что она без вершины, без веток, без шума листвы».

Вот-вот не будет ни страданий, ни...

Однажды в жаркий июньский день ко мне в окошко постучалась соседская Ира, почтовая служащая, и позвала на речку купаться. Мне как раз прислали из Латвии купальник, и я с радостью согласилась. В Сибири я до того не купалась ни разу. В Тюхтетке каждое лето кто-то тонул, как в нашей Гауе. Ира сказала, что плавать не умеет, так просто побродит по воде. Сумею ли я плавать, я не знала.

Вначале мы и бродили по колено в воде у самого берега. Потом я поплыла. Было необыкновенно приятно, и я смело направилась к большому омуту. Захотелось проверить, насколько здесь глубоко. Попробовала встать на дно. Ушла с головой под воду. Дна не было. Метнулась вверх, хватанула ртом воздух. И в этот самый миг Ира всем телом взгромоздилась мне на плечи. Перед глазами замелькали ослепительные красные и желтые круги. Поняла, что Ира меня утопит. Вырвалась, но она опять навалилась сверху с диким криком. Страхнув скользкую ношу снова, я рванулась вверх. Воздуху! И только тут я поняла, что мы с ней оказались в водовороте, в том самом месте, где многие тонули, где гибли и опытные пловцы. Как дорога в это мгновение показалась мне жизнь! Вот-вот все кончится. Не будет ни страданий, ни желаний, погаснут мечты, не будет мамы у моего сына. И сознание отключилось.

Нас обеих спас конюх районного банка, проходивший мимо и сообразивший, что люди тонут. Иру он вытащил первой, и она сразу очухалась. Меня же, беспмятную, принадлежавшую банку лошадь привезла прямоком в больницу. По дороге я очнулась, однако потом две недели пролежала в палате: нервный срыв. Да, чуть не забыла: добрый человек вытащил меня за косы, которые в воде встали торчком. Если бы не это - вряд ли он решился бы лезть в кипящий водоворот, нрав которого всем был известен. Спасибо! Я потом отнесла ему в подарок мужскую сорочку, купив ее у одной латышки.

Спектакль под открытым небом

Время не стояло на месте, и советская власть не дремала - ее активность достигла еще невиданных высот.

В Тюхтет пришла инструкция из Москвы или же из краевого центра, Красноярска; она предписывала провести целый ряд арестов. Уголовной ответственности подлежали тунеядцы, лодыри, богатые собственники домов, а также все, чья лояльность советскому строю была под вопросом. Своими глазами этот документ не видел ни один смертный, но слухи были упорными, и дальнейшие события подтвердили их правоту.

Местные руководители, разумеется, постарались выполнить указания на все сто процентов и более. Из окрестных колхозов поступали сведения почти невероятные. По воскресеньям там собирали все взрослое поголовье села и после немедленного выявления злостных прогульщиков и лентяев брали их под арест и увозили. В каждый колхоз, рассказывали нам, направлялась особая комиссия, и каждый председатель должен был выдать для задержания определенное число вредителей и тунеядцев. Председатель колхоза «Чульская гарь» отказался кого-либо назвать. Он утверждал, что все члены артели отличаются трудолюбием и сознательностью. Тогда арестовали его самого. Жуткие вести черной тучей висели над нами весь июль.

Тюхтетцы жили в страхе. Больше всех волновались ссыльные. И я тоже - я ведь нигде не работала, имела «собственность». В районном центре на улице и в очереди у магазина люди только об этом и говорили, - правда, шепотом, - жалели колхозников, тревожились за свою судьбу.

В конце июля настал черед Тюхтета.

Волнение, близкое к панике, чувствовалось уже в субботу. На улицах показались чужие, не местные милиционеры. От заготовительной конторы до старого кладбища обширную площадь огородили колючей проволокой, расставили скамейки из нестроганных досок, впереди устроили возвышение. Как на праздник. Но люди знали, что праздником здесь и не пахнет. Все взрослые жители села получили повестки: завтра надлежит

прийти на новую площадь. Явка обязательна. Повестку жильцам каждого дома, каждой землянки и лачуги вручал милиционер, в получении ее надлежало расписаться. Слухи в этот момент носились самые фантастические, но до высот подлинной реальности не поднялся никто.

В воскресенье на площадь был лишь один проход, по бокам которого за столиками сидели регистраторы: направо - тот, что записывал работающих, налево - всех остальных.

Деревья старого кладбища сплошь украсили белыми дощечками, на них - бодрящие лозунги: «Лентяев - вон из нашего города!», «Дадим бой вредителям!», «Долой спекулянтов», «Кто не работает, тот не ест!», «Все на борьбу с тунеядцами!». Художественная продукция на дощечках тематически была не слишком разнообразна, но донельзя впечатляющая.

Окруженная колючкой площадь с утра заполнилась народом. Люди сидели, стояли, но как-то бездвижно; никаких разговоров - молчание, как на похоронах. Боязливо поглядывали на незнакомых милиционеров, пеших и конных, гарцевавших вокруг и в свою очередь поглядывавших на толпу сверху вниз.

День был длинный, и на всем его протяжении солнце пекло немилосердно. Ветерок лишь изредка пробегал по вершинам старых поседелых сосен, словно бы пробуждая их от долгих безрадостных дум. Площадь онемела, тысячи людей, казалось, обратились в камень.

Наконец, появились герои дня - откормленные, накачанные служебной злобой люди, уселись за длинным, накрытым красной тканью столом: президиум. Первый секретарь райкома партии Толстихин взошел на трибуну также обтянутую красным кумачом, начал речь, потрясая в воздухе кулаками и форсируя голос. За ним выступал начальник милиции, еще какой-то чужак в военной форме. Уродливый, одноглазый.

Вступительные речи иссякли в полдень. Начали громко вызывать к возвышению неработающих, слишком мало работающих, плохо работающих. Ленивых инвалидов войны, старух-спекулянтов, бесполезных пенсионеров, занятых только рыбалкой, домовладельцев, ссыльных немцев и работников, которых по тем или иным причинам невзлюбило начальство. По одному.

Инвалид Трифон, имевший множество боевых наград, как поговаривали, посмел не принести милицейскому начальнику долю от недавнего удачного улова. Заготовителю кож рабочему Шестову принадлежал слишком опрятный дом на берегу реки; не пристало обыкновенному работяге жить как барину, к тому же домик присмотрел себе милицейский инспектор. Вслух назывались, впрочем, совсем другие провинности. К примеру, Шестов слишком мало думал о том, чтобы приносить своим трудом пользу обществу, зато не жалел сил для личного, почти кулацкого хозяйства. Молодая учительница-немка Александра не пошла навстречу здоровым мужским притязаниям директора школы, ввиду чего была освобождена от работы и теперь прохлаждалась в больнице, прикрываясь якобы гриппом. За нею тут же были посланы два милиционера, передавшие врачу приказ - выписать негодницу из больницы; под конвоем симулянтка была приведена на лобное место. Мать Александры, увидев, что ее дочку с высокой температурой вытащили с больничной койки и привели на суд, издала горловой, звериный крик. Этот леденящий кровь возглас впервые прорезал тишину и поразил собравшихся, как гром с ясного неба. И тут заговорила мать троих детей Валуева; ей, как вдове высокопоставленного военачальника, была предоставлена комната в здании райкома партии. Громко, на всю площадь, она возмутилась нравами партийных деятелей районного масштаба, их поведением, «неприемлемым в таком доме!» В возмущении она, правду сказать, не выбирала выражений, принародно выкладывала наболевшее.

Но представление после непродолжительного замешательства продолжалось как ни в чем не бывало.

, Намеченные жертвы по списку вызывались, как ученики к школьной доске, их обливали дегтем черной ругани и ставили на голосование вопрос о тюремной каре. В толпе шныряли лица без примет, брали на заметку тех, кто не спешил поднять руку «за»; так человек мог попасть в черный список по ходу дела, «в рабочем порядке», и его тут же вытаскивали на расправу. Народ все понял и голосовал теперь каждый раз единогласно. Осужденного брали под белы ручки и уводили во временную тюрьму; ею служила контора Госснаба.

Вызывали, обзывали, голосовали, аплодировали, уводили. Так весь долгий июльский день. Без различия пола, возраста, национальности, вероисповедания и состояния здоровья. Родителей брали на глазах у детей, совершеннолетних детей - на глазах у родителей. «Советский гуманизм», «свобода, справедливость, народное счастье», как они это понимали. В Тюхтете навидались всякого, но такое происходило впервые.

Слова, я замечая, неспособны передать весь абсурд и запредельный ужас происходившего. И придумать такое вряд ли смог бы автор с самым богатым и мрачным воображением.

Люди сидели и стояли, стараясь лишний раз не пошевелиться. Я так же неподвижно ждала, когда настанет мой черед. Соседка Ира (комсомолка, с которой на пару мы тонули) успела мне сказать, что я тоже в черном списке - как уклоняющаяся от общественно-полезного труда. Донес на меня сосед, секретарь комсомольской организации. Его жена хотела, чтобы я, нигде не работающая, прополола ее грядки, а я имела неосторожность отказаться. Как было не отомстить за мою строптивость.

Но прежде, чем меня вызвали, наступил вечер.

Высокий суд вывалил тонны обвинений, выпил десяток графинов кипяченой воды и был явно на пределе сил. После очередного вызова Толстихин у всех на глазах провел в списке под фамилией несчастного жирную черту и пообещал продолжить в следующее воскресенье. Начальник милиции призвал присутствующих так же неукоснительно явиться и в следующий раз на площадь. Последовали бурные аплодисменты, и открылись тесные ворота, ведущие наружу. Толпа потекла на выход.

Задержанных в сопровождении пешей и конной милиции из временной тюрьмы гнали в ту, настоящую. Люди на улицах, точно расколдованные, уже не молчали. Вслух проклинали начальство, грозились написать товарищу Сталину, рассказать, за что люди пострадали на самом деле. Здесь, на улице, можно было узнать все обо всех. Близкие арестованных обещали, что так этого не оставят. Кое-кого тут же, на улице, не замедлили схватить, но заткнуть рот всему городу явно не получалось.

Через несколько дней уже тихо, без лишнего шума, увезли ближайшую родню «лодырей и вредителей». Валить лес на

Дальнем Востоке. Их дома и пожитки поступили в распоряжение поссовета и вскоре обрели новых, предприимчивых хозяев, приближенных к власти.

Но самые громкие протесты каким-то образом все же добрались до Москвы. Оттуда поступил приказ первым делом отменить все публичные представления, подобные нашему воскресному. (Правда, об этом жители Тюхтета узнали далеко не сразу). Во-вторых, освободили и вернули в город орденоносца Трифона, вдову Валуеву. Несколько позже был освобожден и Шестов, но он возвращаться в «этот Содом» наотрез отказался.

После показательного судилища старики и больные поволоклись в колхозы и учреждения проситься на работу. И я, напуганная не меньше других, была в числе соискателей, согласная лучше умереть на колхозном поле, чем пережить еще одну депортацию. Но вакантных мест в районе не было.

До конторы я не дошла. Меня перехватила по пути Югерте. Привычно, без особого интереса спросила:

- Ты куда?
- В колхозную контору. Наниматься.
- С ума сошла! Тебе тяжелую работу совсем нельзя!
- А вчерашним доходягам - можно? Та немка, Александра, с температурой под сорок, - ей можно? Я ведь тоже в тех списках, в следующее воскресенье потащат в тюрьму. Поступлю на работу - авось отстанут.

Югерите наморщила лоб, лихорадочно ища выход. Пальцы нервно теребили уголок платка.

- Пошли со мной. Попробую обработать председателя Сельпо. Он сейчас мягкий, как воск. У него жена рожает (Милда была акушеркой в местной больнице). Там не без сложностей. Я как раз иду к нему.

Зашли в председательский кабинет. Югерите заговорила сходу обо мне.

- Легкую работу? - начальник встал и начал сосредоточенно вышагивать по комнате. Ему не терпелось выпроводить меня и узнать, что с женой, что с ребенком.

- Ночным сторожем пойдешь?
- Конечно!

Была вызвана секретарша, и через пять минут старый сторож был уволен, а я назначена на его место с окладом 50 рублей в месяц. На вахту надо было заступать в тот же вечер.

Все произошло так неожиданно. И так нечестно. У меня не было времени даже сообразить, что и как. Я лишь радовалась, как тонуший, ухватившийся за соломинку. Угрызения совести, появившиеся следом, терзали меня недолго. Прежний сторож, здоровенный мужик, оказывается, за место не держался: у него была другая, основная работа, сюда он, по его же словам, приходил только отсыпаться.

Моя новая работа - база Сельпо с конюшнями и амбаром - была совсем рядом с домом, только подняться выше в гору. Там же работала и жила Аустра. Обязанности оказались несложными и вполне посильными. А главное - я уже не была тунеядцем и вредителем!

На случай, если меня все же не успеют или не захотят вычеркнуть из черного списка, собрала вещи, приготовила к продаже дом. Если новая ссылка, у меня его купят латыши, желающих много. Страшилась я только жуткого судилища и неба в клеточку. Но в следующий выходной процесс не возобновился, и тюхтетцы вздохнули с облегчением. А у меня теперь к тому же была работа, хотя и считай что бесплатная.

Итак, месячная зарплата - 50 рублей. До прожиточного минимума нужно добавлять; обычно и добавляли - кражей казенного имущества, все равно какого; это было молчаливо принято и никем не осуждалось. Заведующий сельповской базой получал оклад в восемь раз больше моего и при этом не стеснялся воровал все подряд: сено для своей коровы, овес, дрова, керосин, зерно. Крал конюх, крала Аустра, брал все, что попадалось под руку, каждый работник базы. Крала у родного советского государства и я, брала при первой возможности все, что могло пригодиться. Дом рядом. Ночью за семь минут я могла дойти до своей полуземлянки, отпереть ее, положить свой трофей, запереть дверь и вернуться на сторожевую службу. Тропа была свободна, лишь много позднее между моим домом и базой построил себе дом ссыльный финн.

Свой поход я совершала обычно ночью, около половины третьего - в это время люди спят всего крепче. Со временем я принесла с базы: дрова, доски на вторые нары, гвозди, дно от бочки, служившее мне потом вместо стола, осколки стекла для окон, сено для козы, колья на ограду. Теперь у меня, кажется, было все необходимое. Все, кроме здоровья, которое при переносе тяжестей отнюдь не улучшалось. Болезнь прогрессировала, нужно было вырезать опухоли, в нашей больнице за это не брались. Дали направление в Красноярск, но туда меня не отпускала комендатура. Вскоре я уже почти не могла ходить. Работу пришлось опять оставить. Теперь я исхитрялась работать лежа - вязала платки, шарфы и кофты. На еду хватало. Налог с меня брали, но небольшой.

Тяжело жилось всем, в особенности ссыльным. Все еще не хватало хлеба, хоть какой-нибудь приправы к супу, керосина, одежды. У многих не было своей крыши над головой. Как-то в воскресенье по соседству с моей лачугой появилась женщина с целым выводком детей. На ровном месте она отмерила несколько шагов в длину, несколько в ширину и начала копать яму под землянку. Затем каждый вечер она приносила на плечах бревна для балок и свай. Через неделю крыша была уже застелена толстым дерном, спустя еще несколько дней сложена печка с плитой, и вот уже дымок вьется из трубы и перед дверью вросшего в землю жилища возятся ребятишки. Вот это мать, думала я об этой ссыльной женщине, мать с большой буквы!

Холм, на склоне которого притулилась моя лачуга, довольно быстро заселялся, место было солнечное. Иногда наскоро сооруженные землянки обрушивались, хозяева, почесав в затылке, искали другое место.

Сколько человеческих сил и страданий впитали эти крыши из дерна! Сколько тоски - по родине, по далеким родным.

Люди жили, кто лучше, кто хуже, работали, опять же по-разному, но показательные судилища, подобные тому, воскресному, больше не повторялись.

Я сделалась спокойнее, продолжала вязать лежа, зарабатывая этим на жизнь; здоровье понемногу тоже выправилось.

На родине

Гонения на «кулаков»

Страданий с лихвой хватало и на родине. Конца и края им не предвиделось, бездна была, сколько в нее ни заглядывай, без дна.

В 1948 году лето в Латвии было беспокойное; низко нависали над живущими черные тучи, грозы и ураганы бушевали и в небе, и на земле.

В республике приступили к коллективизации сельского хозяйства. Вступали в колхоз «добровольно» - так же как выбирали одного кандидата из одного, так же добровольно, как отдавали зарплату за облигации очередного государственного займа. Вначале желающих вступить в артель не было, позднее - не каждого туда принимали. Искусственно создан был класс «кулаков». Колхозам они были не нужны. Нужны были только обработанные ими поля, возведенные их руками строения, нажитое их потом добро, выращенный ими скот.

17 июня 1948 года в Цесисской газете появилась статья «Разоблачи кулаков». В ней, в частности, говорилось: «Кулакам не место в артельном сообществе. Разоблачены кулаки Виетальской волости. Колхозники изгнали из своих рядов кулаков. Руководство волости правильно поступило, описав их имущество. Заслуживает одобрения и непримиримая борьба с кулаками в коллективном хозяйстве «Мадонский пахарь». Столь же бдительными следует быть и другим кооперативным хозяйствам, волостным партийным и советским организациям. Не дадим кулакам затесаться в наши ряды!»

О том, что он причислен к разряду кулаков, человек узнавал, получив отказ на заявление о приеме в колхоз и извещение, что ему надлежит уплатить налог в размере 30 000 - 40 000 рублей. Алнис писал мне: «Наши очень тревожатся - их не принимают в колхоз из-за того, что родня в ссылке. Боятся, как бы и их самих не сослали, это очень даже возможно. Если такое случится, ты уж постарайся разыскать их...»

В Сермули решили, что жене Вернерса Алме нужно срочно поступить на колхозные бухгалтерские курсы. За малышкой Айей присмотрит бабушка, и, глядишь, они уберегутся от репрессий.

Так и сделали. Алма поступила на курсы, закончила их и была принята на работу в только что организованный колхоз имени Дзержинского. Но ей нужно было оформить официальный развод с Вернерсом, отбывавшим 10-летний срок в одном из лагерей Норильска. Ей было сказано, что отказаться надо и от фамилии «врага народа» и устроиться жить отдельно от его матери. Сермули бросали черную тень на каждого, кто переступал порог «вражеского» дома.

И Алма переехала в Путны, где была центральная усадьба колхоза и контора.

Вскоре после этого наш дом покинет и Алнис. Моя мама останется там одна с собакой Беком и котом по кличке Батрак плюс обитатели хлева. Будет жить в постоянном напряжении, не зная, что принесет следующий час, следующая ночь. Страх поселился в каждом доме, где хозяева не были приняты в колхоз. О некоторых вещах говорить теперь никто не осмеливался. Переходили на язык жестов.

Алниса мобилизовали

«15 августа 1948 года

Мамочка, привет!

Сегодня воскресенье, последнее в Сермули. Кто знает, может, никогда уже мне здесь не жить, разве что приеду в выходной. Меня мобилизовали - в ремесленное училище. В Цесисе. Учиться или на слесаря, или на электромеханика. Посылают в ремесленные училища большинство таких, как я, взятых на воспитание. Общежитие, форма, питание - бесплатно. Учиться два года. Там же окончу седьмой класс. Учеба будет и летом тоже. Я не жалуюсь, все-таки буду с профессией. Дальше - в техникум, а там еще 5 лет - и готовый инженер, но до этого, конечно, далеко. Здесь организуют колхозы, невелика радость туда попасть, так что лучше уж так.

В Цесисе надо быть уже завтра. Отсюда мобилизуют еще двоих. Сегодня у меня мысли как-то путаются, не могу толком писать. Про это дело напишу, когда все более менее уладится.

Рожь мы убрали. У нас тут недавно была буря, дождь, град, в поле все разметало. Так что остальной хлеб придется убирать вручную.

В Риге купил фотоаппарат за 100 рублей. Учиться будет в самый раз. Наш аппарат хранился у Алмы, но маленький Янцис однажды нашел его и разбил на куски. Ему уже 8 лет, странно, что до сих пор такой дурной. Мне так жалко тот аппарат, прямо не знаю, что делать. Сейчас такой стоит тысячи две рублей. Только они не хотят, чтобы об этом знали...»

Письмо моей мамы, тогда же:

«Пишу в воскресенье утром. Милая доченька, ты там одна на чужбине, и я теперь буду опять одна. Внука забирают. Не дали окончить в Доле 7 класс. Посылают его в Цесис. Ему, может, и будет лучше, научится ремеслу, и государство платит за все. Но я остаюсь в бесконечной пустоте. Если бы меня приняли в колхоз, было бы легче, но принимают не всех.

Рожь убрали, ячмень уже готов, а жнецов нету.

Больше писать не могу, голова не работает как следует. Шлю мою фотокарточку, погляди...»

Эти два письма были для меня ударом. Особенно то, что Алнису даже не дали окончить школу, он был в последнем, 7-м классе.

Детдомовец, сирота. Значит, можно определять в ремесленное училище, не спрашивая, нравится ему или нет будущая профессия. С такими государство не церемонилось. Ими можно было затыкать прорехи, посылать в приказном порядке туда, где был недобор учащихся. «Молодым везде у нас дорога!» - звучало то и дело по радио. На деле оказывалось - кому везде, а кому и нет.

Не скажу, чтобы мне так уж не нравились обе названные Алнисом профессии. Возмущало то, что выхватывают подростка из привычной жизни, из школы и шлют в принудительном порядке, не спросив о его желании, точно солдата в военное время. Я не сомневалась, что мой сын справится и здесь. Но вряд ли перед ним открывались те двери, которые выбрал бы без постороннего

давления он сам. Мне казалось, у Алниса есть склонность к гуманитарным дисциплинам. Утешало только обещание, что на новом месте ему дадут закончить 7-й класс. (Но не тут-то было. Когда он выйдет из стен ремесленного, общего семилетнего образования у него так и не будет. Как почти всегда, нам солгали). Письмо Алниса от 5 сентября.

«Учусь на электротехника. Работа и почище, и мне больше нравится. Дело неплохое. Я уже со всем смирился, хотя здесь военная дисциплина и порядок. Но я так скучал по дому, что вчера пешком пришел из Цесиса в 12 часов ночи, вымок под дождем, замерз...»

У какой матери сердце не сожмется при чтении таких строк. Хорошо еще, что было к кому идти пешком, была бабушка, был старый добрый дом, где согреться.

9 октября 1948 года Алнис пишет:

«Времени очень мало. Учеба забирает много, всякие кружки, самодеятельность. Политзанятия, с этим тут строго. Если производственный план не выполнишь, считается вредительством. Мне пока что везло, но жизнь такая ненадежная, в любой день может случиться что угодно. А ты все-таки за меня не переживай».

Как не переживать? Сомневалась я в выборе, сделанном по приказу. Сам он писал: «Мне нравится что-то такое, в чем духовное и практическое вместе. Если вы вернетесь домой, я буду учиться дальше».

Пожалуй, Алнис еще не мог бы сказать, в чем его призвание. Редкий в его тогдашние годы успевает решить, что его привлекает больше всего. Самые счастливые дети - те, что живут под родительским кровом, видят перед собой пример состоявшихся отца и матери и могут продолжить их дело. Этим счастливицам не надо мучительно искать свой путь, вот он - только шагай!

И все-таки Алнис уже принимал ту реальность, в которой оказался.

4 декабря он писал мне:

«План выполнил на 130 проц. на четверку. В этом месяце заканчиваем слесарные работы. По программе теперь будем жестянщиками. Будем изготавливать ведра, бидоны и все такое.

Мы электрики, но заодно полагается освоить навыки слесаря, жестянщика, каменщика, столяра, землекопа. У нас очень хороший мастер, фамилия Канепс».

Отступление. Через 15 лет после того, как Алнис окончил ремесленное училище в Цесисе, мастер Канепс разыскал его в Риге. В семейной гостевой книге он записал тогда: «Тепло и радостно становится на сердце, если знаешь, что твой труд принес плоды. Вот почему я так рад видеть, насколько вырос Алнис. Признаюсь: из всех тех, кому я преподавал основы мастерства, помнятся лучше всего парни, для которых труд был сердечной потребностью. 10 февраля 1963 года. А. Канепс».

Письмо Алниса, 9 февраля 1949 г.

«План выполнил на 164 проц. Отметки - от 4 до 5. В этом месяце сижу за столом отличников, нас кормят лучше. Довольно трудно держаться на таком уровне, приходится тянуться всегда и во всем. Книги, бывшие моими первыми друзьями, теперь заброшены. В последнее время не был и дома, ведь бабушки там уже нет. Не болею, у меня как никак сибирская закалка. Увлёкся спортом...»

Настал черед моей мамы

Редко-редко навещали дом Сермули гости. Боялись. Алнис по выходным приезжал из Цесиса, помогал по хозяйству. Элла прибегала тайком из Вилкашей, обычно перед рассветом, пока ребенок еще спал. И тогда они вместе с мамочкой самозабвенно собирали своим ссыльным и заключенным посылки, порой спасавшие их от верной смерти. Это были: муж Эллы Альфред, Арнольд, Вернерс и я. А еще нужно было что-нибудь припасти и для Алниса и дать ему с собой в Цесис.

Поздней осенью 1948 года Элла нечаянно услышала, что моей маме тоже грозит арест как «кулачке». Она, не помня себя, пробежала два километра, отделявших ее от нашего дома, чтобы предупредить об опасности. Обе задали животным сколько было возможно корма, собрали поесть в дорогу и уже ночью покинули

Сермули. Назавтра могло быть поздно. Шли не прямой дорогой, где можно было попасться «им» прямо в руки. Выбирали окольные пути и тропы, через Тирумкалны, рядом с Янькалнской дорогой, по Алайньским полянам до Темной низины. Так пришел черед моей мамы.

Элла провожала ее. Обе спешили так, точно в ночной тьме кто-то гнался за ними. Да ведь и гнались. Страх преследовал их, страх, пропитавший и отравивший насквозь воздух родины.

Мамой руководил инстинкт. Надо спастись. Спасать жизнь, которая так нужна ее страдальцам-детям. Все, кроме Эллы, были у нее отняты. Если бы не Элла, шансов выжить у мамы скорее всего не осталось бы.

С Эллой простились около полуночи. Дальше - по знакомым лесным тропинкам, по Темной низине она продвигалась почти на ощупь. Старое, израненное сердце точно подменили. Дыхание захватывало, и тогда нужно было остановиться, застыть ненадолго.

Куда теперь? Где найти прибежище? За что ей эти муки? За то, что трудилась в поте лица всю свою жизнь? Что вырастила честных и чистых сердцем детей? Никому не делала зла, не крикнула даже на собаку.

На старости лет бездомна. Отнят не только дом - отнят труд нескольких поколений. Словно камни в стенах родового гнезда были украдены, как чужой кошелек, а не принесены наверх своими руками, словно клеть с пшеницей и рожью была добыта разбоем, а не выстроена, не заполнена зерном, выращенным с прилежанием и любовью. Словно одежда, развешанная в шкафу или сложенная в сундуке, не соткана, не скроена, не пошита собственноручно.

Может быть, уже сейчас, думала моя мама, по ее следам гонятся с собаками. Нужно бы прибавить шагу! Но бежать она уже не могла. Все чаще приходилось останавливаться, прислоняться к надежному, доброму древесному стволу, точно он мог защитить от преследователей.

Мама вышла на дорогу, ведущую к Доле, потом свернула на шоссе Зиедини - Амата. Бегом перебралась через Аматский мост, перейдя через рельсы железной дороги, повернула налево и через Аматский бор направилась к родным по фамилии Пранка.

На рассвете мама пересекла еще одни железнодорожные пути. За ними на пригорке стояла казарма железнодорожников, где и жили Паулина, дочь ее сводной сестры, с братом Робертом. Довольно близкая родня, не раз гостившая в нашем доме, да и они всегда звали в гости и принимали с радостью.

С грохотом прошел поезд, прервав мысли беглянки. Как ее встретят на сей раз? Идти, не идти? А куда еще податься? Других родственников поблизости нет. Не в лесу же оставаться?

Паулина изумилась, увидев мою маму в такую рань, но, конечно, сразу поняла, в чем тут дело. Прогнать не прогнала, но свое неудовольствие не скрыла. Да и кому понравится - в такое время принимать таких гостей?

- Ну извини. Некуда было, - только и выдохнула мама.

- Пришла, так оставайся. Куда ты пойдешь, - отвечала Паулина.

- Что уж... как-нибудь...

- Только днем лучше бы не здесь, - сказал подошедший Роберт.

- Пережди где-нибудь поблизости.

Мамочка обременяла родню две ночи. Ощущая всем телом, как озабочены эти добрые люди. Весь день она скиталась по лесу, приходила в темноте, только переночевать: все-таки ночь в лесу при ее седирах была бы испытанием чрезмерным. Октябрьские ночи уже холодны.

Вторая ночь была бессонной, как и первая. И тут, еще задолго до утра, в дверь постучались, напугав всех до дрожи. Но за дверью была Элла. Примчалась проверить, что и как с мамочкой.

Элла рассказала, что в ту ночь за мамой приходили. На другой день увели весь скот, забрали инвентарь. Из самого дома взяли только мужскую одежду, что поновей. (Шубу моего мужа потом часто видели на улицах Цесиса). Дом стоит пустой, на замке. Собаку Элла увела к себе.

Решено было тут же, что маме надо ехать в Ригу к Буровым. Насчет других родственников уверенности нет, хотя в Первую мировую войну Сермули приютили, обогрели и накормили всех... Но не собирать же в Риге давние долги приедет мама. Постучится к Карлине Буровой, хотя как раз она-то меньше всех «должна» хутору Сермули. Если откажет, придется думать, куда дальше. Хоть на птичьих правах - лишь бы не в лагерь, не в тюрьму.

Карлина встретила мою маму ласково. Не испугалась.

- Пока сама буду на воле, ты можешь здесь спокойно жить, - сказала она решительно. - Твоей вины тут нет. Сегодня такая беда может стрястись с каждым.

Карлина сама хворала. Арнольд еще учился и по вечерам работал, оформлял магазинные витрины. Настоящий заработок был только у младшего сына, Альфреда, служившего в ресторане официантом.

Сермули пустовали, но весной в нашем большом сарае устроили колхозную ферму, а Эллу назначили туда скотницей. Она с дочкой перебралась жить в наш дом. С ней вернулся и пес Бек. Обживать Сермули нужно было почти что заново. Но Эллу приняли в колхоз, у нее теперь было свое место в новом обществе, законный заработок.

Четыре месяца спустя и моя мама рискнула вернуться домой: искать ее похоже перестали. Это был праздник для них обеих: наконец-то они в родном доме и могут жить вместе! Для мамы главным было, что она больше не одна. Сколько там ей осталось! Все у нее отнято, но может быть, девочкам повезет? Может, хотя бы их оставят в покое? События последних месяцев заставили ее окончательно поседеть; спина согнулась, сердце болело. Но она была дома, и не одна.

На попечении Эллы теперь было 10 коров. Мама помогала их доить. Коровы исправно давали молоко колхозу имени Дзержинского.

Серпом и молотом прошла по нашей земле советская власть. Что могла, скосила, остальное пришибла. Красивые крестьянские дома разорила. Люди частью арестованы, вывезены в концлагеря или в глухую тайгу, частью здесь, на месте согнаны в колхозы, в большинстве своем красные: «Красная заря», «Красный Октябрь», «Красное знамя», «Красный стрелок», «Красная звезда» и т.д. и т.п. Эти названия сами по себе напоминали о кровавых крестинах, в разное время связанных с каждым из них.

В наших местах название колхоза люди не могли даже толком запомнить: знали только, что назван он в честь какого-то важного революционера, портрет которого висит в конторе. Когда заместитель председателя колхоза Денисов не так чтобы

очень связно рассказывал о Держинском, сельчане едва заметно пожимали плечами. Совсем незаметно, так, чтобы и сосед не понял, - неизвестно было, кому можно доверять, кому нельзя. Колхозники не очень понимали, какая связь между их хозяйством и тем московским поляком, но спрашивать об этом вслух не без основания опасались.

В Сермули теперь содержались две группы коров, общим числом 22. Две доярки ухаживали за ними, кормили и поили, доили. Солому привозили за шесть километров, от Ратниковых полей, за сахарной свеклой (толщиной с морковку) ездили в Олниeki (два километра]. Картофель был тут же, по соседству, на Тирумкалнсе. Доярки лопатой снимали слой снега и ломом выковыривали из земли комья глины с вмерзшей в них картошкой. Светового дня едва хватало, чтобы разобраться с кормами. Картофель оттаивали, мыли, скармливали уже в темноте. Вечером уборка навоза, дойка. Моя мама обихаживала дом, присматривала за ребенком, холила свою корову и помогала Элле доить колхозных.

Зимними вечерами дом словно бы прятался в высокие снежные сугробы, укрываясь от мороза и ветра. Закатный свет лишь через верхнюю фрамугу окна проникал в комнату. Мапочка сидела, уставив неподвижный взгляд в окно, до наступления сумерек. Ужин готов, вот-вот придет Элла.

Над домом, над черными елями - низкое, беспмятное небо. Из ближнего Бизеньского леска доносятся еще удары топора: это Элла добывает хвойный лапник коровам на ужин.

Мама признавалась, что в сумерках в ней оживают все страхи. Полутьма полна движущимися тенями, метастазами зла. В это время не раз громкий, настойчивый стук в дверь заставлял сельчан всполошиться. В дом вламывались вооруженные люди, приказывали собраться в полчаса. Вот и сейчас в любую минуту может случиться что угодно.

Предчувствия маму не обманывали.

Но чтобы отвлечься от наших бед хотя бы на минуту, расскажу о других матерях.

Хватают уехавших матерей

В начале 1949 года в советской Латвии началась форменная охота за теми женщинами, которые успели уехать из Сибири вместе со своими детьми. В 1941 году они были арестованы и сосланы вместе с детьми из-за своих мужей, в 1947, когда стало известно, что мужья их погибли в лагерях, на основании как будто принятой властями, но официально не объявленной амнистии они вернулись на родину, получили паспорта, устроились на работу.

Но зимой 1948-49 гг. где-то наверху решили вновь собрать выпавшие из корзины яблоки. Аресты производились без лишнего шума, что теперь мало кого удивляло.

Ночью в двери несчастных снова стучал бронированный кулак, женщин и детей сажали в темный фургон и везли в тюрьму. Заслышав об этом, кто-то пытался бежать, прятать детей, но - «От советской власти никто не укроется!» - звучало в кабинетах с портретом генералиссимуса на стене, и укрыться было действительно почти невозможно. Некоторых держали целый год в рижской тюрьме, чтобы затем отправить под конвоем на место прежней ссылки. Другим давали три года лагерей, после чего им надлежало вернуться опять же туда, где они бедствовали с 1941 года. Третьи, самые старые, должны были отправиться в новые, еще более отдаленные районы Сибири на лесоповал. Работать они не были способны по состоянию возраста и здоровья, но мучиться могли не хуже молодых.

Однако все это бледнело перед надвигавшимися на Латвию событиями. Черные грозовые тучи снова заволокли ее небосклон.

25 марта 1949 года

Сотни тысяч жителей Латвии уже были уничтожены на войне, где нередко брат воевал против брата, замучены в рижских тюрьмах и северных концлагерях, на дорогах Сибири и в таежных дебрях. Большинство молодых мужчин еще в 1945 году арестованы как бывшие айзсарги, но многие из тех, кто когда-то возводил

крестьянские дома, корчевал пни и распахивал землю, еще оставались на родине. Следовало отлучить их от домов, пашен, от результатов многолетнего труда, от свободы, от родины, от жизни. Требовалось, по-видимому, освободить Латвию от латышей. То же самое происходило и в других прибалтийских республиках.

В Литве, Эстонии, Латвии 25 марта начались массовые депортации «кулаков» и других классово чуждых элементов. Аресты происходили ночью примерно в том же порядке, что и 14 июня 1941 года.

В списке подлежащих высылке были и моя мама, и Элла.

Вечером 24 марта мама была одна в доме. Эллу назначили в ночное дежурство в конторе.

Мама только что подоила корову. Держа в одной руке подойник, в другой - уголок фартука с куриными яйцами, она на ходу привычно посмотрела на дорогу, увидела цветущую вербу за ней. Весна, только солнца почти не видели.

Вечер был субботний. Мама процедила молоко, повесила цедилку на гвоздь снаружи, умылась. Повязала на голову белый платочек и позвала Расминю ужинать. Лампа под потолком светила тускло, изредка ярче вспыхивая на миг. Обычно перед выходным настроение было повеселее. Мамочка подумала: пойду наломаю вербы, вот и настроение поднимется.

Она вышла во двор, но до вербы дойти не пришлось. Она увидела, как на дорогу с акациями свернула подвода с двумя женщинами. Лошадь двигалась как-то замедленно, снег, до сих пор не сошедший, скрипел под полозьями саней. Мама остановилась в изумлении. Никаких гостей она не ждала, в Сермули никто посторонний не заявлялся в последние годы. Разве бригадир с помощниками. Мама, сколько ни вглядывалась, не признавала приезжих. Оказалось, обе из колхоза. Робко поздоровались. Спросили, нельзя ли лошадь завести в конюшню.

- Можно, почему нельзя. Только Эллы-то нету дома. Дежурит.

Солнце зашло. Вербы принести не удалось.

Женщины распрягли и завели в конюшню лошадь и появились на пороге.

- Поздние у нас гости! Раздевайтесь, садитесь. Соображу, чем угостить, - сказала мама, уже начиная хлопотать.

Те переглянулись, сняли и повесили пальто, сели.

- Мы, это... никакие не гости. Нас прислали. Нужно побыть при вас до утра.

- Что ж это - молочный контроль? Вроде только что был.

- Да нет, не молочный контроль. Тут дело другое.

Мама и сама уже поняла, что дело другое. Непонятно было только, почему женщины одни, без милиции пришли их арестовывать.

- Я тут одна с внучкой. Эллы нету дома.

- Это мы знаем. Ее возьмут по дороге из конторы.

Женщин прислали сторожить мою маму, чтобы не сбежала. Ночью должны были появиться люди из органов, забрать обитателей дома и отвезти к эшелону. Эллу назначили дежурить тоже не без умысла. Мама один раз сбежала, поэтому органы безопасности «предприняли более действенные меры».

- Значит, моя старая голова все еще помеха колхозу? Никто не ответил.

- Значит, Сермули наконец будут чистыми. Но кто сможет жить тут, где каждая тропка тонет в слезах?

Мама откинулась в кресле, закрыла глаза. Внучка забралась ей на колени и принялась рыдать, сама не зная о чем.

- Извините. Может, мы вам поможем собраться? Поищите мешки. Разрешают брать с собой до полутонны.

- Мне ничего не надо, - откликнулась мама равнодушно.

- Но ведь Элла, ребенок будут с вами. Как это можно - в такую даль и без вещей!

Мамочка ожила, разыскала мешки, все начали укладывать одежду, продукты. Что и в каком порядке класть в мешок? Что взять, что оставить?

После полуночи мама пошла в хлев и долго, долго прощалась со своими питомцами. Вернулась, чтобы продолжить сборы. Как жутко, когда заявляются вооруженные люди, выкрикивают команды, палец на курке пистолета, словно загоняют в клетку дикого зверя. Она пережила это трижды: когда брали моего Ванагса, когда уводили Вернерса, Арнольда. Как будет на этот раз? Что будет с собакой? Выдержит ли сердце? Успеем ли поговорить с Эллой?

Маме стало плохо.

- Может, вызвать доктора? - заикнулась одна из колхозниц.

- Нет. Они подумают, что нарочно.

Мама открыла глаза и сказала, чтобы не трудились. Умереть у себя дома было бы лучше всего.

Медленно светало. Маме стало лучше. Пришла Элла. Посмотрела на двух женщин, на мешки, стоящие посреди комнаты, вымученно улыбнулась. Обняла маму и шепнула на ухо: «За нами не придут. Только этим - ни слова!»

Элла узнала в конторе, что два человека рискнули за них поручиться: заместитель председателя колхоза Денисов и Нина Намавира, когда-то арендовавшая у них землю, а теперь вышедшая в начальство в Цесисе (а позже попавшая даже в Верховный Совет республики). Посреди ночи их имена были вычеркнуты из списка депортируемых. Так случалось. Хватало одного только доноса по малейшему поводу, чтобы человека арестовали. Гораздо реже, но бывало и так, что одно доброе слово могло спасти от ареста, тюрьмы или лагерей.

Охотники за людьми действовали только ночью. Так было и восемью годами раньше в ночь на 14 июня, так и теперь, в ночь на 25 марта. Правда, надсадный рев машин в этот раз не был слышен: из-за скверного состояния дорог арестантов везли на конных подводах.

В марте 1949 года вагоны с зарешеченными окнами стояли не в Цесисе, как перед войной, а на тихой станции Амата посреди леса. На запасных путях выстроились длинные цепи арестантских вагонов. Депортировали «кулаков» и «подкулачников», «вредителей», «лодырей», «антисоветские элементы». Высылали цвет народа, самых смелых, предприимчивых, тех, кто сделал Латвию в короткое время ухоженной, красивой и зажиточной и уже в силу этого - желанной, лакомой добычей.

На санях, телегах, машинах подвозили новые и новые семьи. Женщины несли грудных детей, тащили мешки и узлы, помогали добраться до вагона слабым и больным.

Сестру нашего отца, хозяйку дома Скабарджи, под руку вел чекист; ее мужа, слепого и очень больного, второй год не

поднимавшегося с постели, тащили, завернув в одеяло, трое милиционеров. Вредитель, он занимал своей никому не нужной персоной дом, который приглянулся одному из активных строителей нового мира. Этой паре сердобольные хвататели даже выделили чей-то мешок с одеждой и немного провизии, но и то, и другое уже не понадобилось: слепой хозяин Скабарджей умер уже в Сигулде, его вдова - не доезжая до Томска.

Хутор Скабарджи и небольшой дом, построенный и обжитый этими двумя людьми, находился в Нитаурской волости, в 13 километрах от нас. Полдома занимал сын, семью которого тоже выслали, во второй половине жили двое больных стариков, годами не выходившие из комнат. Тете помогали, доставляли съестные припасы Буровы, наша семья, другие родичи. Так они и жили до тех пор, пока... И ведь никто их не убивал, не расстреливал, «сами умерли».

Вместе с ними арестовали и Габликсов с хутора Пурнави. Об этом Вилма Габлике рассказывала так: «Дома нас было двое - я и сестра Паулина. Брат Роберт успел сбежать и где-то на время укрыться.

Мы, еще когда только вошли русские, на все хозяйственные строения навесили замки. Ключи от них всегда висели в кухне на досочке справа от входа. Но в то утро, когда синие вломились нас арестовывать, ни одного ключа там уже не было. Кто-то из соседей успел их прибрать, чтобы потом уже открывать клетки и хлев, как свои. И никто этих ловкачей не назовет ворами, никто в тюрьму не посадит. Еще и наградят за геройство, за выполнение плана. Да, а у нас в клетки, в погребе было много чего - и мука, и мясо. И когда нам сказали брать с собой, сколько можем унести, брать было негде, все заперто. Взяли только тряпки и столько съестного, сколько нашлось на кухне.

Дальше нас повели пешком в Скабарджи, там ждала подвода. Посадили у стенки. Мы уж думали, что расстреляют, но оказалось, им надо было разбудить и вывести-вынести хозяина с хозяйкой. Старика вынесли вместе с матрацем, он все просил, чтобы позволили дома умереть. Тетя могла еще двигаться сама. И повезли нас в Сигулду, к эшелону. Старый умер в самом начале

пути. Хозяйка Скабарджей - в пересыльном лагере в Томске. Тело мы завернули в одеяло и - в машину которая каждый день собирала трупы. Говорили, что их кидают в заброшенные шахты».

Яниса Палменса в ту мартовскую ночь заставили возить арестованных, а в это время увезли его жену с четырьмя малолетними детьми. Что она могла унести с собой, если один малыш был у нее на руках, а другой за вторую руку держался? Яниса, понятное дело, специально услали, забрали потом уже с дороги. Все это ловко организовал один из соседей, тогдашний начальник. По рассказу работницы Палменсов, ее хозяйка, Ксения, ничего почти не взяла с собой. Мешки приготовила, но нести не смогла, ко всему прочему, была как раз нездорова. Взяла только узел с одеждой, двоих ребятишек, а дети постарше несли узелки с провизией. Так и уехала, вся в слезах.

И как только подвода с несчастными скрылась в ложине, в только что оставленном ими доме начался пир, началась дележка имущества. На кухне жарилось мясо, звенели чарки, разыгрывались призы - одеяла и простыни, одежда, мука. Стол, шкаф и зеркало, а также все животные отошли колхозу; мебель увезли в контору. Подобное происходило и в других домах.

Депортации 1949 года проводились в таких широких масштабах, что казалось - вот-вот вывезут всю Латвию подчистую, оставив лишь скотину в хлевах, пустые дома и милицию на дорогах.

Но нет, Латвия пустой не осталась. Вместо увезенных в нее вливался поток чужаков, занимая оставленные дома, светлые квартиры с мебелью и всем добром, получая ухоженную землю с амбарами и клетями, занимая должности председателей и прочих начальников. Латвия стремительно теряла прежний облик, язык, традиции.

И все-таки депортация 1949 года была несколько человечнее, чем наша, восемью годами раньше. По крайней мере мужей, отцов не отделяли от жен и детей и разрешали взять с собой больше пожитков.

Рассказ Андриса

Андрис Эглитис, впервые вывезенный в ссылку пяти лет отроду, в 1941 году, спустя восемь лет снова оказался в вагоне с зарешеченными окнами. Передаю его рассказ:

«25 марта в нашей школе в Цесисе учеников забирали прямо с уроков. Занятия срывались, потому что в классе снова и снова появлялись милиционеры, вызывали кого-то и уводили с собой. В конце концов мы взбунтовались, заявили, что не будем учиться, пока в класс не вернут арестованных. Но кто же их вернет! Нас силой заставили досидеть до конца уроков.

У меня сердце прыгало от волнения. Неужели опять возьмут и меня? Успокаивал себя: дедушка с деревянной ногой, бабка дряхлая и больная, люди они или нет?

После уроков припустил бегом домой. На улицах и взрослые, и школьники бежали, как угорелые, кто куда. Везде полно милиции. Проезжают грузовики с арестованными. Я еще прибавил скорости - спешил на тот берег Гауи, до самого дома. Уже смеркалось. Смотрю - на веранде свет. Все понятно. Да, узлы посреди комнаты. Милиция, все домашние в сборе.

«Поедешь с ними или останешься?» - спросил милиционер. Я посмотрел на своих стариков, на собранные ими узлы. Еще запыхавшийся, выдохнул: поеду. Подвода уже была у крыльца. И что мне было тут делать одному?

В Цесисе возле отделения милиции нас пересадили в машину. Город затаился, темный, на улицах ни души. Нас повезли на станцию Амата.

Милиционеры спешили. Довезли нас до какого-то эшелона и впихнули в последний вагон. Остальные вагоны, надо думать, были уже полны. Да и этот был забит до отказа. Мы опустили узлы на пол, дед и бабушка тут же на них сели. А я приник к щели в дверях.

Тут же, возле вагона двое о чем-то шептались, один другому передал что-то. Лязгнул засов. Я отскочил от двери. Она отошла в сторону, и толстый мужик позвал из темноты: «Эй, Кристина, бери свой узел и давай сюда!»

В вагоне началась возня, Кристина пробиралась к выходу. «Давай быстрее! Тебе в другой вагон!» - торопил толстяк. «Откупились!» - прошептал кто-то.

Ни в какой другой вагон они не пошли - я видел, две смутные фигуры ушли в темноту. Мы заняли освободившееся место на полке.

Часа через два в вагон втолкнули еще двоих, мужа и жену.

«Марине!» - ахнули по соседству. И кто-то невидимый тихо добавил: «Тоже мне, «кулак». Ни работать, ни жить не умел. Тот толстый, видать, откупился, деньги у него есть. А вместо него прислали вот этих...»

В вагоне все было так же, как в 1941 году, когда меня выслали в первый раз. Людей полно, мешки, узлы, стоны. Только воздуха побольше, чем тогда в жару. И потом, я тогда еще мало что понимал, мне было пять лет.

В Томске эшелон въехал на огромную площадь. Там был временный лагерь - целый городок со сторожевыми башнями по углам, бараками и, конечно, забором. Там уже волновалось людское море.

Разместили нас по баракам, в крайней тесноте. Люди мёрли, как мухи, сходили с ума. Каждый день от нас уходила машина с мертвецами. К ноге каждого трупа прикрепляли белую бирку с именем.

Моя бабушка была очень больна. Ее отнесли в будку, где лежали умирающие. Мы пошли следом. Дедушка все время сидел при ней. Однажды появился врач, кинул взгляд на больных, безнадежно махнул рукой и больше туда не заглядывал. Но моя бабушка недели через три все-таки поправилась.

Нас повезли дальше. Вниз по течению Оби мы проплыли сотни километров. На месте назначения стояли полуразрушенные избы, в одной из которых нас поселили вместе с другими ссыльными. Однажды посреди дня сверху свалилась балка, пришибла насмерть девочку и поранила ее мать. Никого больше в избе в тот раз не было. Нас переселили в другую лачугу.

Через какое-то время мама добилась, чтобы нас перевели в Тюхтет. Там было много лучше. Правда, дедушка потом там и умер».

Рассказ Эмилии Юркине

В конце 1948 года мне оперировали раковую опухоль. Я выжила, но всю зиму не вставала с постели, работать не могла.

Настал 1949 год. В Смиттене полыхают кроваво-красные флаги, плакаты, в народе нестихающая тревога. Близится весна, пасхальные дни.

Мой брат Петерис каким-то образом узнал, что вот-вот начнутся депортации, как в 1941 году. Домашние спешно собрали теплую одежду, продукты, какие были под рукой, и - в лес. Только я осталась дома, во-первых, совсем больная, во-вторых, не хотелось оставлять дом совсем пустым.

Прошла одна ночь, вторая.

Вот и третья ночь на исходе. Слава Богу! Утренний свет в окнах, как спасение.

Мысли об одном: каково нашим там, в лесу, в такую холодину! И тут залаяли собаки. Послышался шум мотора: машина. Стучат. Это такой особенный стук, громкий, настойчивый, наглый.

Врываются люди в форме.

- Хозяин где?
- Уехал в Ригу.
- Одевайся. Собери себе что-нибудь в мешок, поедем.
- Куда я поеду такая?
- Какая есть, такая и поедешь.

Выволокли меня из постели. Что делать? - оделась, взяла деньги. Меня вытолкали из комнаты, заперли за мной дверь, ключ старший из них положил в карман. Меня посадили в кузов машины.

В хлеву остались некормленные животные, голодные собаки заперты в доме.

Наши из лесу наблюдали все происходящее, но вмешаться не могли.

В тот же день прибыла целая бригада, забрали все, живое и неживое, наши успели увидеть кое-что, а потом скрылись от греха подальше: еще пустят собак по следу, схватят.

Когда через несколько дней Петерис прокрался в дом, там все было пусто и тихо, как в древних руинах. Конюшня, хлев, амбар пустые. Комнаты пустые. Даже окна веранды и комнат вынуты вместе с рамами и увезены. Даже чугунные круги с плиты пропали. Только кошка мяукала где-то.

Так вот в чем дело. Не меня им было нужно, на что им больная и беспомощная женщина. Наше родовое гнездо, все, что собрано и выпестовано нашими руками, вот что им было нужно.

И такие же картины можно было видеть после 25 марта 1949 года в тысячах мест. Старых и малых, в том числе смертельно больных выгоняли, вырывали из постели, выносили и швыряли в машины, как деревянные чурки, чтобы тут же разграбить чужие дома. Законный, бесстыдный, поощряемый новой властью грабёж.

Что писали газеты 25 марта

Сталин - солнце наших дней. Ты наша жизнь, свобода и свет!

Люди труда называют именем Сталина города и селенья, улицы и учреждения культуры.

Голоса трудящихся всего мира сливаются в хоре, славящем великого вождя.

За счастье и свободу народов! Янис Судрабкалнс.

Великая дружба. Н. Лиесминьш.

И так далее, и тому подобное.

Алнис окончил ремесленное училище

«3 августа 1949 г., Сермули

Первый год в ремесленном я окончил отличником, все до одного экзамены сдал на 5. Сдал и нормы ГТО. Как лучший бегун участвовал в спартакиаде трудовых резервов в Риге, и наша команда заняла второе место.

На каникулы мне предлагали поехать в дом отдыха в Юрмале, но я отказался - поехал в Сермули, там работы хватает».

Ремесленное училище в Цесисе - одно из старейших в городе. Здание построено в 1778 году. Вначале это была так называемая Ректорская школа. С 1886 по 1918 год - окружная школа, а с 1922 учащиеся здесь осваивали ремесла. В этой Цесисской школе учились люди, известные всей Латвии: Э. Вейденбаумс, Э. Трейманис-Зваргулис, Апсишу Екабс, Янис Поруке. В городской школе начинали свой путь художник К. Миесниекс, ученый-химик П. Валденс. В ремесленном училище - художники Я. Розенбергс, А. Дронис, В. Валдманис, инженер А. Ванагс.

При Алнисе в училище царила строгая дисциплина, но по ночам парни выскальзывали в окно, чтобы отправиться на свидание или даже на танцы. Под одеялом оставляли грудку тряпок, имитирующую человеческую фигуру. Если обман обнаруживался, наказание не заставляло себя ждать. Виновным предлагалось проползти вокруг площади с памятником Победы. Здесь всегда было многолюдно, иной раз провинившемуся удавалось откатиться в сторону и затесаться в толпу. У Алниса тоже появилась подруга, святым и он не был и, попавшись, терпел наказание наравне с другими. Передвигаться ползком на глазах у посторонней публики было неприятно, но терпимо, однако если за чьими-то спинами вдруг мелькали пышные черные волосы той, что казалась ему единственной на свете, Алнис вопрошал Создателя, зачем ему не даны острые кротовые когти, он бы мгновенно зарылся в землю!

Настал 1950 год. Завершились теоретические занятия в классе. Оставалась практика - и училище считай что окончено. Впереди свобода и самостоятельность. Взрослым, настоящим мужчиной хотелось почувствовать себя уже сейчас, немедленно. Как-никак, ему 18! Был бы рядом отец... Были бы дом, семья... Ничего этого У Алниса не было. Не было, кажется, вообще ничего, кроме него самого.

Сосед справа уже давно курил. Сосед слева тоже затягивался. С папиросой, небрежно зажатой в двух пальцах, сразу взрослеешь. И девчонки это видят... Будь я рядом, уж как-нибудь уговорила

бы его, убедила: курение - дурацкая, нездоровая и некрасивая привычка, выдающая не силу, а слабость; напомнила бы, что его отец никогда не курил и хотя бы в память о нем стоит удержаться.

Летом 1950 года началась практика. Первый опыт Алниса - электрификация Веселавской школы.

«Вонзаешь кривые острые когти в дерево столба, смело взбираешься вверх. Столб - гладко обструганная сосна - слегка качается под ветром. Позванивает поясная цепь, прохожие задирают головы. Ты протягиваешь провод-струну, зная, что вот-вот по ней побежит сила, понятная только тебе, и, озаряя светом зимние ночи, будет радовать людей».

В Веселавской школе учились и недавние сибирячки - Инта и Илзе Брока, вернувшиеся в Латвию тем же эшелонам, что и Алнис. Там, в Тюхтете, все они были детьми, а теперь Алнис стоял на пороге взрослой жизни. Сестры Брока как раз окончили школу. Их встреча была для всех троих радостным сюрпризом. У них хватало общих воспоминаний - о тайге, обо всем пережитом на базе, о похлебке из крапивы.

Алнис нашел друга и покровителя в лице учительницы Спранце. Мой сын, выполнявший вполне взрослую работу, для нее оставался ребенком, обиженным судьбой. Она видела, как не хватает ему родительского тепла и заботы, и пыталась хоть как-то возместить недостающее. В доме учительницы юного электрика кормили, баловали.

Электрификация Веселавской школы была засчитана Алнису как дипломная работа. Благодаря ему вспыхнул свет и в Марсненском клубе.

Сын окончил ремесленное училище в 1950 году. Аттестат № 540. Профессия - электромонтер 5-й категории.

Учение длилось с 1 сентября 1948 по 31 июля 1950 года.

Оценки: производственное обучение, специальная технология, черчение, физика, математика, русский язык, политграмота, физкультура, электротехника, поведение - 5, латышский язык - 4, похвальная грамота.

Профессию он получил, а вот с общим образованием не получилось. Окончить 7-й класс Алнису так и не удалось. Может

быть, потому, что все его одноклассники успели это сделать раньше, и ради него одного или нескольких подростков открывать класс никто не собирався.

«Моему мальчику»

31 июля был выпускной вечер, а уже на следующий день его ждали в Риге на работе. В распоряжении мальчика оставалась одна ночь.

Алнис отправился домой, в Сермули. Нужно было взять с собой кое-что, необходимое в начале новой жизни: пару рубашек, немного денег, хлеб домашней выпечки. Попрощаться с бабушкой, сказать ей спасибо за все. Жизнь складывалась так, что многие годы бабушке приходилось замещать для Алниса родную мать.

Первым возвестил о приходе Алниса старый пес Бек. Узнал, конечно же узнал Алниса, бросился и облизал ему лицо. Моя мама открыла дверь, обрадовалась. Выспросила обо всем, а узнав, что наутро внуку нужно ехать в Ригу, бросилась готовить - и ужин, и съестное с собой.

Алнис прилег на кровать, но не спал. Листал толстую книгу, только что полученную из рук бабушки. Книга была прислана из Сибири - дар матери по случаю окончания училища и его совершеннолетия. Прочсть ее разом было невозможно, а вот перелистать...

«В этой книге 200 рассказов, 192 снимка и слова, рожденные моим сердцем. Начата 11 мая 1949 года, окончена 2 мая 1950 года».

'Крупными буквами: Моему мальчику Алнису Ванагсу Несколько вступительных слов.

«Давным-давно ты вскарабкался мне на колени, чтобы попросить:

- Мамочка, расскажи мне сказку!

- Сыночек, мне некогда. Надо бежать в редакцию. Как-нибудь в другой раз.

И не так давно, зимними вечерами, промерзнув до костей, ты забирался под одеяло и шептал мне на ухо:

- Мам, ну Расскажи что-нибудь. Поговорим немножко!

- Сынок, у меня нет сил ни думать, ни говорить. Как-нибудь в другой раз, ладно?

Я ничего не забыла, и сейчас ты держишь в руках книгу с моими рассказами обо всем на свете: о природе, о душе, о людских судьбах.

Я хочу, чтобы мой голос, мои рассказы донесли до тебя материнское благословение, поддержали тебя и помогли. Чтобы трудное стало легче, неразрешимое - разрешилось, а далекое приблизилось.

Твоя мама. Сибирь, Тюхтет, 1950 год».

А в заключение книги я рассказывала сыну о том, как она рождалась.

«Я начала о ней думать, когда осенью 1948 года угасли последние надежды на возвращение в Латвию. Писала в спешке, точно украдкой, и многое в ней наверняка не получилось.

29 июня 1949 года я чуть было не утонула, и в те мгновения, когда казалось, что жизнь кончается, думала - как жаль, что не успела выполнить задуманного, тогда и умирать было бы легче. Но мне суждено было все-таки выжить, и несмотря на нервное потрясение и приступы малярии, книгу я, как видишь, закончила.

Фотографии мне прислала Элла. Было много хлопот с бумагой. Наконец нашелся студент моих лет, у него оставалась пачка бумаги от дипломной работы. Переплетчика нашел Арвидс, ты его должен помнить. Он же разыскал мастера, который выполнил тиснение золотом (см. обложку!). Все вместе обошлось в 225 рублей.

У меня не было времени писать. Не было стола, на котором писать. Не было всего того, что у меня отнято, поэтому и книга вышла такой тяжелой и обрывочной. Но прими ее такой, какая есть!»

Из письма моей мамы:

«И опять я одна. Так тяжело на душе. Хоть бы Алнис был счастливым.

Мне сейчас трудно. Многих вырастила, поставила на ноги, а теперь, когда силы на исходе, некому будет и стакан воды подать. Последнего проводила в Ригу. Хотела бы проводить получше, да у самой денег нет. Хоть бы ему хватило до первой рабочей получки.

Мое единственное желание - чтобы довелось еще раз увидеть вас всех».

Страданиям нет конца

И в Тюхтет свозят кулаков и лагерников

Страданиям нет конца. Бездна как бездна - дна не предвидится.

И в Тюхтет начали прибывать высланные из Прибалтики «кулаки». Каждый день новые автоколонны. Нередко вся рыночная площадь в центре бывала заполнена людьми. Эти новые жертвы комендатура регистрировала и распределяла по окрестным колхозам. Скорбная процессия отправлялась в район, а наутро здесь уже были следующие.

Как только первая машина останавливалась, площадь оцепляла милиция. К прибывшим никого не пускали, переговариваться на расстоянии тоже запрещалось. И мы, и вновь прибывшие общались, поглядывая издали друг на друга. Главное каким-то образом узнавалось и с той, и с другой стороны.

Мы, те, кому не нужно было с утра на работу, следили за дорогой и, увидев, как первые машины взбираются в гору, спешили туда же в надежде встретить знакомых. Ходили вокруг, прислушивались, что, на каком языке говорят новые ссыльные. Латышской речи как будто не было слышно. Прибывали литовцы, эстонцы. Все было организовано так, чтобы люди одной национальности не оказались вместе в той или иной местности. Народы и нации тасовали, как игральные карты, и разбрасывали по всей территории Союза.

В каком-то смысле вновь прибывшим можно было позавидовать. Их ссылали целыми семьями, у них с собой были теплые вещи, провизия на первое время. Правда, горячей пищи и они не видали за долгую дорогу, поэтому мы старались передать им посудины с только что сваренным картофельным супом. Конвоиры не отказывались принять их по назначению и затем отдавали пустые крынки и чугушки обратно.

Вскоре стало известно, что большинство латышей селят теперь в Томской области. Там оказались родители Луизы, Андрис, дети нашей Праулине. И моя родственница Эмилия Смилтене, буквально сорванная с больничной койки. Ее семья успела скрыться. После чего их дом «Юркини» был дочи́ста разграблен.

В начале 1950 года в Тюхтет прибывали также осужденные, отбывшие свои 5, 7 и 9-летние сроки в «исправительно-трудовых» лагерях. Как они ждали освобождения, как считали месяцы и дни! Но у этого государства на все был свой счет. Отбывшим назначенное судом наказание давали теперь дополнительно 3, 5, 10 лет ссылки; некоторых административным порядком приговаривали к поселению в отдаленных районах Сибири пожизненно. Наш район с его местами нетронутой тайгой тоже подходил для этих целей.

Вчерашних заключенных привозили в самые трескучие январские морозы. Открытые грузовики с людьми день и ночь стояли на этот раз не на торговой площади, а возле милиции. В милиции лагерников регистрировали и так же, как семейных ссыльных, распределяли по району. Специалистов, которые могли пригодиться, а также больных пока что оставляли в Тюхтете.

Оказавшихся в незнакомом городке людей, переписав, просто выпускали на улицу. Дальше им предстояло самим заботиться о себе. Денег у них, разумеется, не было. Измученные, голодные, они скитались от дома к дому, выпрашивая стакан горячего чая, картофелину, разрешения погреться. Им не отказывали. Больше того. Лагерников-мужчин ждали и ласково встречали в избах, где была одна комната, одна хозяйка, одна кровать и несколько детишек. Тут гостю предлагали теплый угол и хлеб, ожидая взамен посильной помощи по хозяйству.

Тюхтет был заповедником одиноких женщин. Мужчин здесь можно было видеть лишь в милиции, в райкоме партии и в немногих руководящих креслах. Мужья русских женщин остались на полях сражений. Мужчины других представленных здесь наций, начиная с 1937 года, становились жертвами репрессий и в большинстве пропадали бесследно. Говорят, из немецких лагерей смерти изредка кому-то удавалось бежать, из советских концлагерей - почти никому, почти никогда.

Вдовы погибших солдат, вдовы замученных на каторжных работах Гулага, матери-одиночки выдерживали теперь на своих плечах все тяготы послевоенных тощих лет. Молодым о замужестве, о нормальной семье приходилось только мечтать. Нечаянные, короткие связи, нажитые так же случайно дети - на большее в Тюхтете трудно было рассчитывать. Вот почему изможденных лагерников встречали в здешних домах так приветливо.

Какими были они, тюхтетские дома?

В лучших из них в большой комнате, выходящей на улицу, было два или три окна. У соседней стены стояла большая кровать; постель, накрытая покрывалом, подушки и в ногах, и в изголовье. Так она выглядела днем. Многие спали на соломенном матраце без простыни или на полу, завернувшись в шубу. Спали и на полатах, на печной лежанке, - настоящая русская печь занимала немалую часть жилья. В красном углу - икона, украшенная вышитым полотенцем.

У русских комната отличалась неизменной чистотой. Стены белили заново каждые три месяца. Некрашенные доски пола также отскребались дочиста. А вот на дворе, наоборот, хватало грязи; он часто служил одновременно и загоном для скота. Выходя из чистых комнат, нужно было внимательно смотреть, куда ставить ногу: четвероногие обитатели двора любили стоять или лежать, а также облегаться перед дверью.

Сама хозяйка? Она умела неприметно расставить сети, в которые, хочешь не хочешь, попадался вчерашний узник лагерей, истосковавшийся по женской ласке.

Просились и ко мне погреться бывшие заключенные, в большинстве русские. И я не отказывалась угостить их только что сваренной картошкой, разрешала побыть в тепле. Один пожилой лагерник пристал, как говорится, с ножом к горлу: возьми да возьми его на постой. Обещал, что в обиде не буду - жена вот-вот придет кучу вещей... И удивился, даже разозлился не на шутку, увидев, что я ни в какую не соглашаюсь на предложенное мне счастье.

Нашлись среди лагерников и латыши и латышки, некоторые совсем больные: Адольф Фришманис, Янис Озолиньш, Янис

Пуриныш тут же попали в больницу. В Тюхтете оставили также Берзиню из Банужи и Алму, откуда-то из Курземе.

В 1945 году в Банужи мужу Берзини удалось бежать, за что Анне дали 5 лет лагерей. Эта часть мучений была у нее за спиной, и теперь уже седовласой «преступнице» предстояло не знаю сколько лет «исправляться» в Тюхтете. Поставили ее на учет в комендатуре и - ступай себе, гражданка, на студеные улицы. Однако Анне Берзине повезло: ее взял к себе домработницей председатель поссовета, многодетный владелец коровы и выводка свиней. Работы оказалось невпроворот, но все легче, чем в лагере, и еды хватало.

Алме тоже нашлось место домашней прислуги, ее взяла к себе женщина, зубной врач. Хорошее это было место. Алма быстро поправилась, обрела былую жизнерадостность. В каморке рядом с ней поселился Роберт Розенбергс, провизор из Лиепай, тоже прошедший через лагерь. Здесь он устроился конюхом и ждал, когда освободится обещанное ему место в аптеке (оно, увы, не освободится никогда). Алма, естественно, хотела хоть сколько-нибудь облегчить участь соседа-латыша, несколько раз покормила Роберта, что-то, может быть, и взяла с кухонной полки своей хозяйки. Это не осталось незамеченным: Алма была тут же изгнана с позором «за воровство», Роберт уволен - «за то, что не отказался от ворованного». Оба были высланы за 120 километров от райцентра, в Усть-Чульск, и на месте новой ссылки поженились.

В тот же Чульск из тюхтетской ссылки сослали и Роланда, работавшего в МТС сварщиком; в клубе танцы проходили под его аккордеон. Роланд был видный собою, славный парень, и в него влюбилась недавно поступившая на работу в больницу врач Таисия. Но она, доктор, русская, комсомолка, не имела права любить ссыльного «нацмена». Свободные по названию люди были тоже настолько несвободны, что партийные органы за них решали, кого им можно и кого нельзя любить. Отец Таисии был каторжник еще царских времен. После отбытия наказания он не мог вспомнить, откуда он, как его зовут. Записали его под фамилией Непомнящий. Так что Роланд и Таисия оказались кровно связаны с двумя каторгами, название одной из которых писалось черными буквами, а второй - красными.

Таисию предупредил парторг: встречаться с этим ссылкой ей не позволят! Таисия в ответ заявила, что в таком случае выйдет из комсомола. Чтобы покончить с неприятной проблемой, Роланда без объяснения причин уволили с работы и выслали в Чульск. Таисия уехала с ним вместе, но была возвращена с милицией. После чего ей подыскивали другого, солидного мужа, кажется, тоже врача.

Теперь о тех троих латышах, что сразу по приезде попали в больницу. Адольф Фришманис еще в лагере в Молотове заболел туберкулезом. Будучи фельдшером, он сам более или менее успешно справлялся со своей опасной хворью. По дороге в Сибирь ссылкой время от времени отправляли в баню, откуда вспотевших и еще не остывших гнали на мороз. В другой раз в пересыльном пункте им так же после помывки пришлось четыре часа простоять на сквозняке, пока в конторе оформляли их дела. Мокрые волосы покрылись ледяной коркой, казалось, что рубахи примерзли к телу. Заболели после этого все - кто тяжело, кто полегче. Всех скопом снова погрузили в вагоны...

В Тюхтетской больнице среди врачей и пациентов были как вольные, так и спецпоселенцы. Латышам, у которых здесь не было близких, мы приносили еду, козье молоко. Одни вставали на ноги, жизнь других здесь обрывалась.

Фришманис пролежал на больничной койке пять месяцев, после чего его выписали. Куда идти? Жить было негде, работать он не мог по состоянию здоровья: открытая форма туберкулеза. Дни его были сочтены. Таких «доходяг» ни в одной избе не хотели, у латышек к тому же своих домов не было.

Тогда было решено, что принять Фришманиса нужно мне: какое ни на есть, а свое жилье, со своим номером на Подгорной улице. «Ему, видишь, некуда деваться. Деньгами и хлебом мы вам поможем, пока жена ему что-нибудь пришлет».

Ясно, я не могла отказать.

Лето было в разгаре, и я устроилась под самой дверью, а больному предоставила остальную комнатушку с кроватью. Была она для него слишком коротка, а землянка к тому же и чересчур низка. Чтобы пройти в дверь, Адольфу нужно было согнуться чуть ли не вдвое.

Вещи Адольфа из больницы принесла Гредзените в сопровождении сестры и сама застелила ему постель.

Адольф вошел, разогнулся, поздоровался и в изнеможении уселся на край кровати, на красное клетчатое одеяло, привезенное им самим из Курземе. Темные глаза глубоко запали, на лице - неизгладимый след пережитого. На лбу выступили капли пота. Скрещенные на коленях руки непроизвольно вздрагивают. Мы переглянулись. Без слов все трое пришли к мысли о неизбежном.

На какое-то время жизнь наладилась. Я устроилась на работу. Адольфу жена слала деньги и продукты. У меня была коза, ее молока хватало обоим. Уходя на работу, я оставляла Адольфу котелок с супом. Растопить печь и подогреть еду он мог. Только на это его сил и хватало.

Правду говоря, я очень боялась заразиться, но выхода не было. Пока человек мог ходить, в больницу его не брали.

Я старалась сделать так, чтобы Адольф хоть в какой-то мере почувствовал, что он дома. Кто знает, может, и где-то там, далеко, найдется добрая душа и так же поможет моему мужу. Как бы я была благодарна!

И однажды я услышала от своего постояльца: после долгих лет мучений он чувствует себя опять человеком и счастлив. Я в тот раз сварила горох со шпекком, только что полученным с посылкой и пожаренным, совсем наше, домашнее блюдо. Теперь он часто рассказывал мне о доме, о семье, о детях.

Землянка, перед входом в которую уже рано вечером собиралась густая мгла, больному была противопоказана. Дверь я держала открытой днем и ночью, и все же Адольф жаловался, что ему не хватает воздуха. Большею частью он лежал на спине, глядя на неровные балки потолка. На щеках его был нездоровый румянец, темно-карие глаза металлически блестели. Левая костлявая рука постоянно лежала на груди. Правая постукивала время от времени по пальцам левой, при этом слышались отрывистые сухие звуки. Он был все-таки медик и, кажется, пытался поставить себе профессиональный диагноз.

- Знаете - неплохо звучит! - говорил он мне. - Только вот слева... как-то глуховато. Это от плеврита.

Я согласно кивала головой, хотя от врачей знала, насколько разрушены его легкие. В больнице мне объясняли, сколь опасна мокрота туберкулезного больного, давали средства дезинфекции - руки мыть.

Адольф, конечно, знал о своей болезни, но вот о степени ее тяжести - едва ли. Я жила в постоянном страхе заражения, но горячо надеялась, что Адольф этого не замечает.

Арнольд на пороге смерти?

Лишь с большим опозданием я получила от Арнольда весть о том, что он приговорен к 15 годам, находится в одном из Норильских лагерей и что ему разрешено одно письмо в год. В письме была просьба о посылке.

Я насушила нарезанной картошки, прожарила муку, смешанную с сахаром, связала рукавицы; приготовила березовый туес с соленой черемшой, купила луку, чесноку, латышки мне дали козьего жира. Отправила посылку - и опять ждала месяц за месяцем, не зная даже, получил он ее или нет, да и жив ли мой брат.

Письмо пришло почти через год - летом 1950-го. Очень коротко: посылку получил. Сейчас в стационаре. Если можно, пришли немного табаку.

Я спросила Адольфа: что такое стационар? Он на миг словно ушел от меня - погрузился в воспоминания. Потом очнулся, сказал:

- В стационар помещают только тех, у кого уже высосали все силы, до последней капли. Особенно ни на что не надейтесь.

Значит, Арнольд на пороге смерти?

Я пошла, на все заработанные деньги накупила сала, чесноку, муки.

- Брат просил еще табаку, - говорю Адольфу. - Но я не хочу ему вредить. Вместо этого лучше pošлю чего-нибудь вкусного.

- Что вы! Шлите табаку, сколько можете. В лагере за него можно получить больше, чем за деньги!

Я послушалась. Вернулась на рынок, купила большой кисет табаку. От Марты Варны получила вдобавок мешочек сушеной свеклы. Собрала посылку, отослала, но та, проболтавшись месяц бог знает где, через месяц вернулась. Мне нужно было заново обшить ящик, заново написать адрес. Но на почте посылки на Север уже не принимали. Поздно. С 15 сентября закрывалась навигация по Енисею. Послать ящик теперь можно разве по авиа.

- А сколько это стоит?

- 17 рублей за килограмм.

Таких денег у меня не было - истратила последние на табак. Но ведь посылку нельзя не отправить, может быть, она спасет брату жизнь! Решила продать свои новые валенки. Дали мне за них 150 рублей, и я снова понесла восьмикилограммовую посылку на почту. Отправляла, надеясь всей душой, что она застанет брата живым и поможет жить дальше.

Много позднее узнала: мои надежды сбылись. Арнольд писал, что как раз чеснок и козий жир его спасли.

Рассказы в Малой гостинице

Наш район состоял из глухой тайги и разбросанных по ней кое-где колхозов. До самой дальней границы района было около 200 километров. Самые отдаленные колхозы были там, где когда-то первые ссыльные корчевали лес, поднимали целину. Свободных людей там было немного, почти все они так или иначе «руководили» ссыльными, в том числе латышами.

В случае серьезного заболевания колхозникам разрешалось поехать на обследование в Тюхтет, в больницу. На ночлег дальние латыши останавливались, бывало, в «Малой гостинице», как называли с некоторых пор мою полуземлянку. Вечерами варили картошку с тминной солью, запивали ее калмыцким чаем из полевой мяты с солью и молоком. Некоторые привозили из тайги мед, которым я отпаивала потом Адольфа. Спали гости на полу, расстелив свои фуфайки, а летом - на травяной крыше.

Узнав, что прибыл дальний гость из своих, латышки поспешали ко мне со своим подношением - бутылкой козьего молока, щедрым ломтем хлеба, огурчиком. Моя будка оживала. У латышей манера говорить громко, почти криком, словно бы вокруг все полуглухие. В нашей природе - стремление перекричать другого. Не особенно приятно признаваться в наших общих недостатках, но и не замечать их было бы малодушием.

С каждым новым «постояльцем гостиницы» добавлялся к слышанному и новый рассказ. Приезжие отбывали свои сроки в самых разных краях Союза, рассказы их в чем-то совпадали, но во многом и разнились один от другого. Выкладывалось не все, жизнь научила каждого, что на всякий случай нужно держать язык за зубами.

Алма:

«Кем я была раньше? Рабочей. Как многие в лагерях. Был у меня жених, было и приданое собрано. Но один тип все время вступал между нами. Иди, мол, за меня. Сам-то известный пьяница и лодырь. Незадолго до моего ареста зашел, требуя окончательного ответа. Я сказала «нет». Вот его донос меня и погубил. Ему я обязана поломанной жизнью и вечным проклятием.

Год просидела в Рижской тюрьме. Правильней сказать - проработала, теперь в тюрьме сидят не так, как в былые времена, когда в камере успевали прочитывать и даже написать целые книги. В теперешней камере и сесть не на что. И народу столько, что днем мы стояли вплотную, а ночью на полу устраивались, скорчившись, чтоб занять как можно меньше места. Днем всех гнали на работу. Я летом работала в поле, зимой - на овощных базах.

Из Риги меня выслали в Архангельскую область в лагерь. Нас, женщин, заставляли красить корпуса кораблей. Стоит такая машина, высотой в несколько этажей. Вокруг - шаткие леса. Взбираешься по хлипким перекидкам, в руках бадья с краской. Чтоб достать до верхней кромки, приходилось вставать на цыпочки. А под тобой внизу морская бездна. Голова кружится. Поначалу многие отказывались лезть наверх, просились на любую другую работу. Но кто бы их стал слушать. Делай, что сказано! За малейшее непослушание грозил расстрел. Голова кружилась

не только от высоты, но и от недоедания. И не одна из женщин сорвалась с тех подмостков... Главное было вниз не смотреть».

Анна Берзиня - уже на восьмом десятке. И она год пробыла в Рижской тюрьме, после чего ее ждал лагерь в Пермском крае, тогда еще носившем имя Молотова. Лагеря там протянулись на 100 километров, и вдоль них поля, где выращивали помидоры. Когда Анна прибыла в лагерь, урожай уже собрали. Ей пришлось срезать и грузить на машины помидорную ботву. Кусты целиком, со всеми полусгнившими листьями и с песком отвозили на лагерную кухню, а там, даже не промыв, как есть, вилами швыряли в огромные котлы и варили «суп». Был он, конечно, несъедобным, но люди ели.

Зимой трудились на лесоповале. Каждой группе заключенных указывали участок, где валить лес, и границу, через которую нельзя переступать под страхом смерти. Одна эстонка потянулась как-то за приглянувшейся ей лесной веткой с весенними набухшими почками, забыв о запрете. И тут же прозвучал выстрел - жизнью было заплачено за непростительную забывчивость.

Я жадно слушала эти рассказы, сопоставляя со слышанным раньше, ужасаясь, гадая: что из всего этого пришлось или еще придется пережить моему мужу, что выпало на его долю? Многие мужчины прибыли в Тюхтет из уральских лагерей, где работали на лесозаготовках. С гор на канатах тащили древесные стволы вниз. Полуголодные, слабые. Каждый день кто-то получал увечья и травмы, каждый день люди погибали. Вечером раненых или погибших оставшимся нужно было на руках нести в лагерь. Если согнувшиеся под скорбной ношей сами спотыкались и падали, следовали побои и угрозы расстрелять. Смерть была будничной, повседневной, она могла наступить на работе, на обратном пути, ночью на жестких нарах барака. Умершим завидовали. На их место прибывали новые заключенные.

В Воркуте лагерники строили железную дорогу через тайгу. Работа была каторжной в любое время года, умерших закапывали тут же, в свежую насыпь.

Лейманис работал на калийных шахтах Соликамска; в узких штольнях слепые лошади тянули вагонетки. Калийные шахты среди лагерников считались верной дорогой на тот свет.

Янис из Риги:

«Сначала в школе взяли моего сына, ему было 16. Он не вернулся домой после уроков, и все. Через два дня меня уведомили, что он в доме на улице Реймерса и можно ему что-нибудь передать. Там подвалы пыток - что в таком месте делать мальчишке! Но там нашли что делать. Пытали, потом отправили в лагерь. Позднее мы узнали, что была такая практика: ловили школьников, выпытывали от них сведения о родителях, об учителях, о сверстниках. Мой сын никого не выдал, а потому и попал в лагерь. Только жене удалось сбежать».

Жена офицера Пуриныша прожила в «Малой гостинице» несколько недель - лечилась в больнице. Ее рассказ:

«Мы только что поженились, и тут моего мужа вызывают в Литене. Я хотела ехать с ним, он не пустил: времена опасные. Я все-таки проводила его до Гулбене. Договорились, что там буду ждать у родни его возвращения. Но не дождалась. Прошел слух, что офицеров, вызванных в Литене, расстреляли из пулеметов. Я не могла этому поверить. Поехала туда сама. А там меня с переводчиком допросили и - в тюрьму. Узнать ничего не узнала, только сама попалась им в когти.

Эшелонам нас доставили в Караганду. От станции целые сутки везли в грузовике, и всю дорогу мы видели по сторонам колючую проволоку и сторожевые вышки. Ни одного прохожего - ничего кроме лагерей там не было, и потом говорили нам, что территория тамошних лагерей сравнима с территорией Франции. Там промучилась семь лет. И добавили ссылку там же, в Караганде.

Пасла овец в горах. После лагерей мне эта жизнь показалась раем. Но со временем поднадоело спать в нечистых пастушеских юртах, куда днем нередко забирались змеи. Однажды и я увидела змеюгу, свернувшуюся клубком поверх моего одеяла. Я проснулась от ощущения тяжести, змея была большая. Увидела - и боялась даже вздохнуть. На мое счастье, пришел чабан будить меня и выманил ее из юрты. В таких случаях силой ничего не сделаешь. Только отвлечь можно. Змеи любят музыку, чабан в дудочку подует, змея подымет голову, высунет длинный раздвоенный язычок, им и слушает. Ушей у них вроде бы нет».

Некоторые из моих гостей рассказывали о добыче торфа в Нарыме. Дни напролет - по колено в холодной воде, да еще полчища комаров, малярия... Были и люди, прошедшие Колыму, работавшие на золотых приисках.

Кто может измерить пропасть людских страданий? Сосчитать безвинные жертвы? Принесенные ради чего? Ради счастья грядущих поколений при обещанном коммунизме? Не верится. Любое будущее счастье утонет с головой в этой бездне людских мучений.

«Российская» латышка, сосланная в Усть-Чульск еще до войны:

«В 1937 году взяли всех наших мужей и старших сыновей. Куда их увезли, мы не осмеливались спросить. С того страшного года мы боялись даже друзей и знакомых, жили рядом, словно чужие».

В моей «гостинице» не было никаких тайных собраний, никакой специальной «антисоветчины». Просто с моим здоровьем я не могла никуда ходить и у меня была своя хибара, в то время как другие латышки снимали угол у местных жителей и остаться у них на ночь можно было только с разрешения хозяев. К тому же у меня квартировал Адольф, прикованный к постели; латыши приходили помочь и заодно поделиться новостями и всем пережитым.

Однако в комендатуру кто-то донес, что «у больной Ванакс латыши собираются слишком часто». Об этом меня предупредила Элза, гражданский муж которой был русский партиец, по возможности защищавший латышей.

- Ты бы побереглась, - однажды забежав ко мне, выпалила с порога Элза. - В комендатуре уже пронюхали.

- Что они пронюхали?

- Что твой дом называют гостиницей.

- Ты что, смеешься? Адольф у меня прописан. А когда из колхоза приезжают латыши, я же их не выгоню на улицу. Что тут такого запретного?

- Запретное не запретное, а сама знаешь...

- Ты это сама решила?

- Нет. Агафоныч велел тебе сказать.

- Передай ему спасибо за предупреждение. Но я все-таки у себя дома, кто мне может запретить принять приезжего земляка? А если что... Куда они меня, такую больную, денут?

Я и сама опасалась много чего, без всяких предупреждений, но «Малая гостиница» свое название и роль в жизни ссыльных латышей сохраняла.

Сколько всего было латышей в Тюхтетском районе, никому не приходило в голову сосчитать. Довольно много - сосланные в 1941 году, лагерники после отбытия срока, «русские латыши», жившие тут с 1937 года, и также добровольные переселенцы давних времен, их дети и внуки.

В Сибирь латыши переселялись начиная с отмены крепостного права, с 1860-х годов.

В 1926 году в Советском Союзе насчитывалось около 200 000 латышей. В Красноярском крае - 5967 человек.

А вот сколько нас было в СССР за пределами Латвии в 1950 году, должно быть, никогда не расскажет никакая статистика.

Так протекала жизнь

Восход солнца из моей будки не был виден. Его заслонял холм, на самом верху которого стоял дом немца. В грозу там, близко-близко, сверкали молнии. С горы вниз шла узкая пешеходная тропа. Зимой с горы съезжали, сидя на своих школьных сумках, дети. Проезжей дороги на нашей горке вообще не было. Тропа, круто взмывающая ввысь, обозначала окончание улицы.

В комнате утром стойко держалась полутьма. Когда солнце поднималось над холмом, становилось светло. Свет был ровный, белый.

Адольф забрал себе в голову, что ему непременно нужно видеть восход солнца. Это его ближайшая мечта. Мечта отдаленная - родина. Он взберется на гору, нарочно для того, чтобы увидеть рассвет. Это ему поможет.

С вечера он твердо решал, что увидит восход. А наутро как бы забывал о своем намерении. Я знала, что мечта останется мечтой. Бывало, Адольф даже поднимался, одевался в дорогу. Но стоило ему открыть дверь, вдохнуть утреннюю густую мглу, всегда клубившуюся вокруг землянки, как приступ неудержимого кашля заставлял его вернуться.

- Ничего, в другой раз... - успокаивал он сам себя. - Земля вертится быстро!

Однако день был испорчен, и больной не скрывал досады. - Слушай, чем тебе не хорош закат? - попробовала я как-то урезонить его. - Вечером и подниматься в гору не надо. А красота какая!

- Вечерняя красота отбирает силы, - отвечал Адольф. - Она годится только для молодых.

Не спорить же мне с болящим. Нервы у него и так были напряжены до предела. Вечером я, подоив козу, давала ему кружку молока и усаживалась у западной, обращенной к солнцу стены за свое вязание. Но если Адольфу хотелось поговорить, поделиться воспоминаниями, я оставалась в комнате.

Адольф, как все мы, в воображении часто переносился в дальние дали. Для того, чтобы мыслями вернуться в свой довоенный сад, ему не нужно было ни одеваться, ни преодолевать крутизну. Закрой глаза - и тысяч километров как не бывало.

Ссылные думали о родине непрестанно. И я то и дело возвращалась к памяти о весне в нашем доме Сермули, о тамошнем солнце, о белопенной речке Недиене с ее веселым весенним напором, о льняных тканях, расстеленных мамой в саду для отбеливания, о горящих на солнце тюльпанах, о народных танцах, которые разучивала молодежь в нашем дворе.

Днем у Адольфа было предостаточно тишины и покоя, может быть, их было даже многовато для одного. Но сибирские вечера его раздражали. Он сердился и на людей, и на животных. Тут он начинал обличать местные нравы. Почему пастухи пригоняют скот вовремя, а хозяйки своих блеющих и мычащих четвероногих еще не пускают во двор? И те дотемна пасутся тут же, на склоне холма, у зарослей боярышника возле реки. Лишь поздним вечером женщины выходили к берегу и начинали звать своих буренок домой. Мне это все казалось занятым спектаклем под открытым небом, я смотрела на происходящее и слушала с удовольствием.

- Маня, Маня! Дуня, Дуняша! Красуля! Беяна! Беянка! Телушка, Телушка! Душка, Душка! Катюша! Катю-юша! - Приставив ладонь к глазам, зовут, кличут своих питомцев, и те откликаются всяк по-своему и послушно направляются к знакомым воротам.

Адольф терпеть не мог всю эту церемонию. К вечеру ему вообще ничего из окружающего не нравилось, а «странное», как он говорил, обращение с животными почему-то возмущало. Он, похоже, не понимал, как много значила для обитателей избы корова или коза, все богатство своих хозяев. Правда, жалеть скотину, как это принято у нас, тюхтетские жители не привыкли. И все же каждая корова, коза отличала голос своей хозяйки и шла домой только по ее зову.

Латыши, так же, как местные русские, поначалу всю зиму держали коз в доме, и только уж потом научились копать для них особые землянки. И моя коза жила со мной вместе, в прихожей, до того, как у меня поселился Адольф. Правда, вечером я ее пастись дотемна не пускала.

Русские соседки утверждали, что животные становятся чем-то похожи на своих хозяев. Может быть, это совпадение, но по соседству было полно примеров, наглядно подтверждающих это наблюдение. Соседская коза Катя до странности напоминала свою хозяйку Нюру: круглые глаза, громкий голос и боязливость. Смотришь на ту или на другую - ну что ты скажешь, один покрой! Катя Линкевичей (почему-то окрестных коз почти поголовно называли Катями) совсем другая: грациозная, стройная, голосок деликатный. И глазки плутоватые, карие, точь-в-точь как у хозяйки, бывшей актрисы театра кукол Мирры. Коза тюхтетского прорицателя Валерки выглядела загадочной и не заслуживающей доверия. Сходство, если его упорно искать, всегда найдется.

Моя коза Майра однако не походила на меня или я на нее. Молоденькая, озорная, с длинными белыми ресницами. Я любила ее не больше, чем причитается домашним баловням, но Адольфу казалось, что тут сплошной перебор. Он всем своим видом выказывал, как ему не нравится это создание, хотя козье молоко поглощал охотно и признавал лучшим лекарством. И Майру гладил по шерстке, если был уверен, что его не видят.

Летом Адольф как-то даже собрался пойти на рыбалку, - из дому Женя, его жена, как раз прислала складную удочку. Я проводила его к реке.

Таежная река, вырвавшись из тесных зарослей ивняка, дала

себе волю, прихотливо изгибаясь и петляя; берега ближайшей излуки обросли землянками ссыльных с поросшими зеленью крышами. Песчаный берег захватили дети. Прямо по мелкой стремнине брела голоногая девочка - Инта Пумпуре. Она срывала желтые кувшинки и склоненные над водой ветви черемухи. В ее землянку дневной свет почти не проникал - а цветы без света не могут.

- День добрый, Инта! А где твоя мама?

- Ушла на кирпичный.

- В воскресенье?

- Ну да. Там сегодня обжиг.

- Доченька, это вот дядя Адольф. Если ему попадетсЯ большая рыба и нужно будет помочь, ты уж не подведи.

Инта улыбнулась и кивнула.

Адольф устроился на берегу, занялся удочкой. Я пообещала вернуться за ним и уловом часа через два. Однако не прошло и получаса, как рыбак заявился на пороге сам. Я встревожилась: что случилось? Может быть, ему стало плохо?

Адольф откликнулся не сразу: «Еще чего не хватало!» - и с этими словами вывалил передо мной добычу, завернутую в листья лопуха.

- Ну, вам и повезло!

- Это вам повезло! - сказал, как отрезал, Адольф. Я сняла с «улова» мокрые листья и чуть не выронила из рук...

котенка. На меня уставились круглые глазища - точно вестники царства теней.

- Инта вам дарит. Вытащила из реки. Испортила мне выходной! Он кипел негодованием.

- Если он вас так разозлил, не надо было нести домой!

- Ну да. Бедная тварь только что спаслась от одной смерти, толкнуть в другую? Бросить в тайге?

Я не могла не улыбнуться. Сердце у Адольфа доброе, только хворь нагнетает в него горечь и досаду на весь белый свет.

Найденыша, серого котенка, я назвала Миком. Теперь нас было трое. Мику для житья был определен ящик, застеленный тряпичей. Там ему надлежало сидеть и мяукать, спать и видеть свои

кошачьи, должно быть, по-своему сладкие сны. Стоило котенку пробежаться по землянке, как раздавался голос болящего: «Куда опять?!» Злость копилась годами, нужно было найти ей выход.

Настала осень. Адольф уже почти не покидал постели. Длинный, высоколобый человек с лихорадочным блеском в глазах был теперь похож на сваленного непогодой таежного великана. Предательский румянец на щеках, на лице печать обреченности. Задыхаясь, он снова и снова объяснял мне, что сделает, как только вернется домой. Если в это время котенок вспрыгивал мне на колени и я имела неосторожность погладить Мика, он темнел лицом:

- Такие ласки причитаются ребенку, а не коту!

- Что делать. Котенок мне теперь вместо ребенка. Такие, как мы с вами, детям вряд ли нужны. Сколько писем мы от них получили за последнее время?

- Ммм. Это да. Больной или старый уже никому не мил и не нужен. Дети родителей легко забывают.

- Пускай так. Но родительская любовь умрет только вместе с нами, скажете, не правда?

Латыши часто заходили проведать больного, старались принести что-нибудь вкусное, но больше ничем помочь ему не могли.

Осень съедала свет, в воздухе ощущалась предзимняя резкость. Ветер, откуда бы ни дул, дышал холодом. Нужно было утеплять дом, как это было здесь принято: заваливать стены землей по самые окна. Для меня это был нелегкий труд. И когда лопата шаркала об стену, чиркала, точно о гробовую крышку, на душе становилось совсем нехорошо. Мне казалось, человек за стеной чувствует то же самое - точно бы я его закапываю живьем.

Копала, опустившись на колени, почти ползком. Закончила уже в темноте. Почему-то Мик на этот раз меня не встречал. Адольф не промолвил ни слова, хотя лежал с открытыми глазами; есть не стал - только покачал головой. Так тяжело было смотреть на его мучения - но куда еще подевать глаза в такой тесноте?

Зима вошла быстрым шагом, по-хозяйски. Мою хижину занесло снегом по самую трубу. И мысли одолевали длинные, по-зимнему неуютные.

Адольф был совсем плох. Из Латвии прислали ему валенки - теплей будет добираться домой.

Когда я рано, до света собралась в магазин, где в очереди за хлебом предстояло выстоять часов шесть-семь, он сказал:

- Нынче звезды яркие, значит, подморозило. Берите мои валенки, а то можете и не выстоять.

Валенки были 45-го размера. Я в них шла, как на лыжах. Но зато тепло. Своих валенок у меня уже не было.

- Мелания, я не хочу в больницу. Там мне конец. Мне никаких лекарств не надо, самое лучшее - козье молоко. Прошу, очень прошу - потерпите еще. Мне теперь уже лучше.

Вряд ли он сам верил сказанному, но насчет больницы не ошибался. (Тут, правда, нужно сказать, что Тюхтетская больница выгодно отличалась от многих. Врачебный персонал был в основном из ссыльных, а ссылали, как известно, не худших людей).

Будь вокруг моей избы камни, и они бы, кажется, зарыдали. Но камней поблизости не было. Пришлось заплакать мне самой в козьей землянке. Нервы не выдержали.

Прогнать человека в таком состоянии я не могла, может быть, он доживал последние дни. Старалась помочь, чем могла, за вязанием выслушивала его рассказы о лагере, о большом саде в Земгале. Однажды, встретив врача Эрику Андреевну, я спросила - неужели интеллигентный, образованный человек, к тому же медик по специальности может не сознавать, насколько плохи его дела?

- Может, - отвечала она. - У таких больных меняется и сознание, оно заставляет не видеть очевидного, показывая все в розовом свете. И чувства их во многом обманывают. Например, они не ощущают холода и могут поэтому легко схватить простуду.

Наконец, Адольф все-таки сдался.

- Наверное, надо ехать в больницу. Температура подскочила.

Я выпросила в больнице лошадь и отвезла его. Был уже Декабрь. Стужа. Стоило шарфу съехать набок, как на щеке больного появлялось белое отвердевшее пятно. Приходилось останавливаться, оттирать, чтобы не было обморожения.

А вокруг, вопреки всем человеческим бедам, природа оставалась все такой же прекрасной. Ехать нужно было по берегу

реки, через сосновый бор. В больших полыньях вода переливалась, точно в зеленоватых кристаллах горного хрусталя. Вода была теплее воздуха, и проруби, в которых женщины полоскали белье, дымились. Низкое зимнее солнце высвечивало, точно прожектором, верхушки таежных елей. В бору ветер дружески взлохматил головы сосен; серебряная пыль сыпалась на дорогу. Природе не было дела до того, что гибнут ограбленные и униженные несправедливой силой люди, выброшенные из стремнины народной жизни так безжалостно, так несправедливо. Красивые речи и лозунги коммунистов никак не вязались с тем ужасом, в котором пребывали миллионы страдальцев. Власть предъявляла свои козыри: бесплатное образование, медицина, клубы, новые заводы. Но если на другую чашу весов положить мучения узников в тюрьмах и лагерях, рабский труд колхозников, голод, вечный страх, то - пусть бы лучше вернулись первобытные времена, когда человек человека мог и прикончить, но не мучая, не унижая.

Я оставила Адольфа в больнице, сдала лошадь в колхоз и побрела домой.

Два дня чистила, мыла, дезинфицировала комнату, стену за кроватью оклеила газетами. Для Мика настали времена небывалой свободы. Он убедился, что мое сердце, так же, как все мышцы округи, принадлежит безраздельно ему. Только кровать он все еще обходил стороной. Может быть, тень человеческого отчаяния, все еще прятаясь в изголовье постели, пугала?

Меня тоже заставлял оцепенеть один только взгляд на опустевшую кровать. Я не решалась спать в ней. Лучше у порога, как прежде. Но я часто ходила в больницу, и другие латышки навещали Адольфа.

В одно из воскресений декабря с утра кучка латышей отправлялась на кладбище. Умер Янис Озолиньш из Косы. В комендатуре настояли - латыши должны сами похоронить своего. Никто из нас прежде не был знаком с умершим, впервые увидели, узнав, что еще один латыш помещен в больницу. Скинулись на гроб (больница при погребении лица, не имевшего здесь родных и близких, обходилась без гроба). Могилу выдалбливали, работая

ломом, топором, долотом: смерзшаяся глина была тверда, как камень. За целый день, вплоть до сумерек удалось дойти до половины нужной глубины. Больничная лошадка с гробом в санях простояла на кладбище все это время. В конце концов, похоронили Яниса, когда крышка гроба была вровень с землей, забросав могилу мерзлыми комьями. Решили, что весной могилу углубим. Другого выхода не было. (Но весной никак не выходило собраться. Ограничились тем, что сверху насыпали холм повыше, чтобы свиньи не добрались].

В полной темноте после похорон прошли к моей хибаре. Продрогшие до костей, усталые, голодные. Я сварила целый чугунок картошки. Угощались клубнями в мундире, щедро посыпая тиминной солью, запивая чаем с молоком.

- Ну вот. И еще одного из своих проводили, - еле слышно промолвил старик Клявиньш, и пальцами больно сжал ребрышки Мика, вспрыгнувшего ему на колени в ожидании ласки.

Вздохнул Валдис Блумбергс:

- Так и уходим один за другим, торопимся, нимало не думая о тех, кому придется вырубать могилу в скале. Хоть бы до весны повременили. - И он опустил тяжелую ладонь на моего Мику, буквально припечатав того к коленям Клявиньша.

В поисках уже не ласки, а спасения ни в чем не повинный котенок переметнулся к Аустре Клявине. Та, ни слова не говоря, провела рукой по ушам бедняги. У тех, кто провожал в последний путь Яниса Озолиньша, напрасно было искать теплоты и нежности. Но мягкая шерстка Мики, точно провод заземления, отводила в сторону людскую боль и усталость.

То была и боль за всех, кого разметало ледяным ветром по чужим бескрайним пространствам. То была боль за Латвию, ее завтрашний день. Среднее поколение вымирало в концлагерях. Юность высасывали сибирские дали, вспаивала ложью и умолчаниями Советская Латвия, молодые теряли родной язык и в других землях, за морями и океанами.

В больнице Адольф был последним из латышей - бывших лагерников, и теперь наше внимание и заботы были отданы ему. Правда, лежал там еще и один поляк, тоже чахоточный,

которого никто не навещал, и понятно, мы не могли пройти мимо безучастно. Он отвечал на каждое доброе слово, на скромное подношение беспомощной и сердечной улыбкой.

Перед Рождеством Адольф подслушал разговор двух медсестер; они говорили, что легкие его совершенно разрушены и источают уйму бацилл. Он был потрясен услышанным, и напрасно я пыталась его успокоить. Начиная с этого дня он с постели не поднимался и ни к кому из посетителей не выходил навстречу.

10 января на его имя пришла посылка из дому. Наутро я направилась в больницу, взять подписанную им доверенность на получение посылки.

- Мне сегодня гораздо лучше, - сказал больной, с трудом произнося каждый слог. - Ноги совсем легкие. Только в груди какая-то тяжесть. Если в посылке будут сушеные яблоки, сварите мне кисель, но не густой, ладно?

В посылке и впрямь были яблоки, сахар, колбаса, копченый гусь и деньгами 100 рублей. Я сварила кисель и под вечер принесла в палату.

- Сейчас ничего не хочется. Кисель выпью за ужином, - сказал Адольф.

- Мне написать, что посылка дошла?

- Я сам напишу. Только немного отдышусь...

Прощаясь, я дотронулась до его руки и вздрогнула. Рука была холодной, как снег.

Придя домой, я забралась под одеяло - отогреться. Мика свернулся клубком у меня в ногах и замурлыкал. Но не успел он допеть мне свою колыбельную песню, как пришла Югерите. Я сразу поняла.

- Что, уже?

- Да. Только ты ушла, он повернулся к стене - и всё. Но я за его одеждой. Надо, чтоб его одели сейчас, а то будет как с Озолиньшем, помнишь, одежду пришлось просто положить поверх тела.

Вещи Адольфа были уже собраны и упакованы. Югерите спешила, но в дверях еще раз обернулась:

- Тебе одной тут не страшно будет вечером?

- Думаю, нет. Да я и не одна, видишь - мурлыка...

Страшно мне не было, но сон не шел. Где мой муж? Где отец Алниса? Неужели никогда больше его шаги не прозвучат рядом с моими?

Скрипнула калитка. Кто-то тихо постучал в дверь.

Я вздрогнула. Латыши верили, что душа умершего человека в первую ночь отправляется к дому - попрощаться с местом, где жил. Я никогда не была суеверной, но тут испугалась.

Вдоль стены кто-то шагал - размашисто, тяжело. Адольф?

Стук в окошко. Как раз там, где он спал. Только не отзываться!

- Эй, ты что, уже спишь?

Призраки в одно мгновение покинули и комнату, и мою голову. Я зажгла свет и впустила Аустру.

- Чего это тебя принесло в такую пору?

- Ничего. Одной дома стало боязно.

- Ну, у меня сегодня причин бояться больше. Хорошо, что пришла.

- Адольф?

Я кивнула.

- А тут - слышала? - из Боготола в Тюхтет заявила какая-то банда. Ходят, грабят. Я хотела остаться у тебя на ночь.

- Оставайся. Кровать свободна. Мне тоже сегодня одной как-то не по себе.

Постелила Аустре. Начали раздеваться перед сном.

И снова стук в дверь. На этот раз громкий, кулаком.

- Не пускай! Вдруг бандиты? - прошептала мне на ухо Аустра и задула огонь.

Стук раздался с новой силой.

- Грабителям в землянке делать нечего, и что они здесь украдут? - сказала я, решительно отпирая зверь.

Вошла Элза Берзиня с незнакомой женщиной и молодым парнем.

- Соколиха, придется тебе принять гостей. Это Гутмане из Лиепаи, а это ее сын Олаф, его сослали сразу после лечения в санатории. Он и сейчас нездоров. Им негде остановиться. Адольф так быстро вряд ли вернется.

- Адольф больше никогда не вернется.

Отказать я не могла. Лиепайчане оставались у меня всю зиму. Я жалела Олафа - такой молодой и в чухотке. Отпаивала его козьим молоком. Отдала юноше валенки Адольфа. Сама перебралась на кровать, а им отдала широкую скамью.

Хоронить Адольфа Фришманиса пришли, кажется, все латыши. Выносили его из больницы. Гроб накрыли венками из пихтовых ветвей. Большие ворота больницы занесло снегом, ехали через меньшие, мимо того барака, где он недавно еще надеялся на выздоровление. У окна стояли больные, среди них и польский учитель, по лицу его катились слезы. Позже он объяснял: причиной слез была не столько смерть соседа по палате, сколько растроганность: латыши так дружно, так сердечно провожали своего! «Другие нации так не умеют!» - сказал он. И по крайней мере в тогдашнем Тухтете его слова надо было признать справедливыми.

Могилу два дня готовил, орудуя ломом в твердой промерзшей земле, рабочий с той базы, где трудилась Аустра, тоже ссыльный поляк, за это получивший пальто, рукавицы и сапоги Адольфа. Место было на самом краю кладбища у небольшой сосенки, которую, правда, уже через несколько дней срубили на дрова. Каждую зиму на кладбище вырубали не только деревья. Срезали и деревянные кресты, если они выглядывали из-под снега. Видно, кому-то лень было добраться до ближней тайги, охалка тощих дровишек была еще ближе.

Умершего проводили недолгими речами и песнями.

*Утром закатилось солнце.
Раньше срока песня спета.
Пройдены пути земные
До конца, до края света.
И лежать тебе отныне,
Сын латышский, на чужбине...*

Поминки устроили у меня. Набилось в мою хижину 28 человек! Разместились кто как умел: на кровати, на широкой «спальной» лавке, на ступеньках перед дверью, на полу. Дверь приоткрыта - иначе можно было задохнуться.

Молча ели тушеную капусту с гусятиной и колбасой, которую Женя прислала Адольфу из дома, никак не предполагая, что угощение пойдет на траурную тризну. Было и сладкое: яблочный кисель. Тарелок и вилок на всех не хватило, ели поочередно. Помянули покойного, похвалили его заботливую жену, вспомнили народные песни. Настало время расходиться - завтра был рабочий день. Остались только Луиза и Валдис.

О Валдисе Блумбергсе мы знали мало, попросили рассказать о себе. А что рассказывать? Живет одиноко. Одна радость - письма жены. Грета обещает весной приехать сама. «Мне повезло, - сказал Валдис. - Прошел через все лагеря и, как видите, жив, здоров. А мог бы сегодня быть на месте Адольфа...»

Весной мы сходили подальше в тайгу и принесли каждый по березке. Клявиныш обтесал деревца, и мы поставили ограду вокруг свежей могилы - главное, чтобы защищала от скота. Женя прислала два венка, деньги, попросив заснять могильный холм и послать ей фотографию, что и было нами сделано.

А учитель-поляк выкарабкался - ему стало лучше уже при нас, в Тухтете, а позднее у себя в Польше он и вовсе выздоровел.

Где мой муж?

В моей жизни осталось совсем немного струн, все еще звучащих и отзывавшихся на внешние импульсы. Силы подходили к концу. Я ничего не ждала от жизни и сама, похоже, никому ничего не могла дать. На поверхности меня держала только слабая надежда - увидеть еще раз родину, встретить сына и... и его отца.

А ведь было время, когда хватало работы, хватало радости, да и сама работа была для меня радостью тоже. Были воскресенья, долгие, светлые дни в плодоносном саду, в пахучем сосновом бору, на латгальских холмах. Равнинный пейзаж, как в Земгале, все-таки не для меня.

Были праздники, были наши авторские удачи, когда мы убеждались, что написанное нами задело читателей, были поездки к родным и друзьям.

Теперь у меня не было ни нормального рабочего дня, ни выходных, ни праздников; все дни на одно лицо, разве что одни длиннее, другие короче.

В 1945, 46-м, 47-м, 48-м, 49-м годах на все мои запросы из Москвы через Тюхтетскую комендатуру поступали стереотипные ответы: Ванагс отбывает наказание, 10 лет лишения свободы без права переписки. Но где именно он отбывает срок, этого мне никто не хотел сказать. Этого родным знать не полагалось. Ни жене, ни сыну. И вряд ли они сами знали всё об огромной массе обреченных на каторжный труд и на смерть.

Кажется, даже камни не остались бы равнодушными к миллионам голосов, взывающих, спрашивающих: где мой муж, где мой отец, в каком лагере, где мерзнет, где мокнет, где голодает или где покойтся, если отмучился. Но Москва молчала или же присылала на казенном бланке несколько строчек, в которых не было ни слова правды.

Усомниться в словах коменданта - ваш муж отбывает наказание - я себе не могла позволить. Жив - это слово было слишком дорого, чтобы в нем сомневаться. Я видела мужа во сне, я призывала его, и почти что не было такого дня, чтобы мой Лекшелис так или иначе не посещал мое убогое жилище.

Однажды мне повезло: удалось узнать адрес латыша по имени Граудс, отбывающего срок в лагере, он как будто мог что-то знать об Александре. Я долго бомбардировала его письмами, пока однажды не получила ответ. «Не мог написать Вам раньше, нам разрешены только два письма в год. Пишут близким, но так как у меня никого не осталось, сейчас вот пишу Вам. Я с Сашей был вместе в 1941 году осенью в Свердловских лагерях. Он был очень тихим, спокойным, замкнутым в себе, только со здоровьем у него было неважно. В декабре 1941 года от нас его увезли вместе с министром Аушкапсом, судьей Юстусом и генералом Эзериньшем. Куда их отправили, нам неизвестно».

Позднее Вилис Звиедрис рассказывал, что все названные предстали перед военным трибуналом в Свердловске, «после чего их следы потерялись».

14 июня 1951 года истекли те 10 лет, на которые муж был осужден. По-прежнему о нем ничего не было известно, так же,

как обо всех остальных. Но я ждала. Каждую субботу писала ему письмо. Вернется, найдет целых ворох писем, хватит читать надолго.

17 июня я села писать мужу 214-е по счету письмо. Была опять суббота. На склоне холма уже цвели анемоны. Я писала: когда тебя освободят, езжай прямо в Ригу, к сыну, ему отец сейчас нужнее даже, чем мне, любимый. Я буду счастлива, зная, что вы опять вместе. «Приходи, милый, - хоть больной, хоть искалеченный! Только возвращайся! Нам хватит твоего светлого разума, твоего сердца! Сегодня я как бы сняла с себя тяжеленные сапоги, в которых, разыскивая тебя, исходила всю Сибирь, от лагеря к лагерю. Теперь, через 10 лет, перехожу к ожиданию. Жду - это слово говорю громко, выкрикиваю, чтобы заглушить скрытый страх. Мы тебя ждем, слышишь?»

В августе 1951 года пришла в комендатуру очередная отписка, слово в слово повторявшая предыдущие. «Осужден... без права переписки...» Комендант протянул мне бумагу: «Распишитесь».

- Но как же так? В июне уже было 10 лет.
- Здесь вам не консультация! - услышала я вместо ответа.
- Скажите хотя бы, где он?

Комендант взглянул на меня насмешливо и громко произнес:

- Следующий!

Я вышла из здания комендатуры, и во мне было столько злости, что если бы превратить ее в горючее, я бы сама облетела весь огромный Гулаг и сама нашла бы то место, которое годами искала мысленно. Но злость все-таки неважный помощник, и вскоре энергии во мне совсем не осталось. Через сосновый бор я влеклась медленно, нехотя в свою лачугу. Сосны тревожно, грозно шумели. Я подошла к одной, прижалась лбом к гудящему стволу, попросила: перестаньте. Но сосны не собирались слушать меня. Их скорбная музыка только усилилась.

И опять каждую субботу я сидела за письмом, не зная даже приблизительно адреса, по которому его можно послать.

В одиночестве душа крепнет и не перестает искать. В одиночестве я все еще верила в чудо, но в сталинском «рае» чудеса давно были отменены.

Рабочее утро

Мое повествование разветвляется, ширится в ущерб желаемой стройности, но я не хотела бы сузить его и вместе с тем обкорнать общую картину.

«Рабочее утро» - очередной рассказ о моем сыне Алнисе, и начнется он с момента, когда 18-летний парень по направлению Цесисского ремесленного училища выезжает на работу в Ригу.

Он прибыл в столицу республики 1 августа 1950 года.

Рига была мало похожа на город, в котором он жил в раннем детстве. На месте многих домов зияли пустыри. Квартир стало меньше, а жильцов больше. Улицы стали шумней и многолюдней, и это были не совсем латышские улицы.

У моего Алниса в этой новой Риге не было ни дома, ни друзей. Он остановился в нашей прежней квартире у родни. Договорились, что будет платить за спальное место 75 рублей в месяц. В этом доме на улице Марияс, 10-6, кв. 18 он учился говорить и думать, здесь усваивал азы человеческого общения, отсюда выходил, осваивал науку правильно переходить улицу, отсюда бегал в редакцию в доме 48/50 по улице Блауманя, где работали тогда его родители.

Хозяева жилья, Лидия и Екабс Платупе пережили войну и все потрясения последних лет относительно благополучно. Лидия работала юрисконсульт, Екабс заведовал отделом статистики в Железнодорожном управлении. Оба считались сознательными советскими гражданами.

Первое рабочее место Алниса было на заводе «Дарба спарс», улица Слокас. Правда, поработать ему сначала не удалось ни одного дня или часа. Когда 1 августа он прибыл на место, его немедленно отправили в республиканский Комитет по делам физкультуры и спорта. Там, не слушая никаких возражений, выписали командировку в Харьков - на Всесоюзные соревнования по линии «трудовых резервов». На счету Алниса, занимавшегося легкой атлетикой, были неплохие результаты. Однако надежды спортивных чиновников не оправдались: по дороге Алнис заболел

гриппом. «В самый день соревнований я был совсем больной, с высокой температурой. Но в постели меня не оставили, приказали бежать во что бы то ни стало. В итоге я занял в беге на 400 метров только 8-е место, а в километровой дистанции оказался в хвосте. Победил я только свою болезнь. После соревнований температура упала».

Первое время в большом городе для Алниса оказалось нелегким. Денег на жизнь и еду не хватало. «Но больше всего я думал об окончании семилетки. Сделать это можно было только в вечерней школе, но в какой? Однажды вечером шагал по городу и решил: в каком школьном здании будут самые светлые окна, туда и поступлю. Так я пришел в свою Школу рабочей молодежи № 78».

14 ноября 1950 года Алнис получил трудовую книжку. В ней значилось: «Образование - начальное, профессия - электромонтер 5-й категории».

Об этом времени Алнис вспоминал: «Мое рабочее место на улице Слокас, а школа - на другом конце города. После работы за час нужно было пробежать пол-Риги, переодеться, поесть. Денег поначалу не было даже на трамвай. И на еду тоже. Я часто опаздывал на занятия. Не знал, как выдержу, но зато знал, что школу бросать не могу. И вот так - с работы в школу, потом до поздней ночи учеба, а в 8 утра надо быть снова на работе».

Закончив 7-й класс, сын осенью 1951 года поступил в Рижский промышленный техникум на отделение электротехники. Занятия там начинались раньше, из-за этого ему пришлось с большим трудом устроиться на другую работу.

Хроническое перенапряжение тех лет не могло не отразиться на дальнейшей жизни Алниса. За образование, знания, которые многим доставались даром, чуть ли не навязывались силой, он платил своей юностью. Мне потом казалось, что в какой-то момент мой мальчик надорвался и потерял ту эластичность натуры, которая помогает взрослому человеку справляться с препятствиями. Иной раз я казнила себя за то, что отправила его на родину. В Сибири у него была бы моя поддержка, и взросление прошло бы без этих жертв, нормальнее, человечней.

Малая гостиница

Мое одиннадцатое лето

С каждым годом усталость наваливалась все тяжелее. Росли опухоли. В Красноярск на лечение меня не пускали. Работать приходилось по-прежнему немало, это был вопрос выживания. Посадить, вырастить, убрать картошку, заготовить дрова на зиму, сено для козы. Вязать вещи на продажу - деньги требовались на хлеб, керосин, платить нужно было пастуху, платить государству - налог на «недвижимую собственность».

Траву я срезала в тайге ножом и несла домой - сушить. Там же ломала веники, там же собирала сушняк - большую часть дров приносила «на своем горбу». Мои походы в лес были трудными, но и радостными - сказочно красивы были сибирские цветы. Усыпанные их созвездьями кусты, поляны. «Китайское мыло» (красная живучка), тюльпаны, огромной высоты синие туфельки, саранки, анемоны, розовые пионы, желтые лилии, кукушкины слезы, душистый горошек и еще, и еще цветы, названия которых я просто не знаю.

Я приносила цветы на могилу Адольфа; правда, любую емкость для цветов, банку или даже черепок кто-то неизменно утаскивал.

Раз в неделю я выстаивала очередь за хлебом - с вечера предыдущего дня до полудня; получала один килограмм. Карточек уже не было, и хлеб доставался трудно.

Накануне Янова дня в тайге срубила березку, принесла домой и водрузила в изножье кровати. Нарвала также белых зонтиков, и показалось, что в доме запахло праздником Лиго, хотя эти травы были без запаха. Мама Луизы сверху, с горы принесла кружок Янова сыра - у них была корова. Ближе к ночи все мы сошлись у старого Клявиньша, ведь он Янис. Чуть ли не все тюхтетские латыши опять были вместе. Пели «Лиго, лиго!», вспомнили родину, всплакнули, повеселились, как умели. Полакомились сыром, который и сюда захватила с собой соседка. И разошлись, до следующей встречи в хлебной очереди.

Мне как-то не везло с козами. Новую козочку темной октябрьской ночью увели со двора. Старая коза зимой отморозила ногу так, что нижняя часть отпала до колена. Ее, хоть и хромую, купила у меня соседка-полячка. А я купила опять же новую - Майру (прежде, до меня бывшую Маней]. Для нее нужно было срочно устроить землянку, чтобы не замерзла, как ее предшественница. Коза не только поддерживала меня вкусным, жирным молоком, но и заставляла лишний раз улыбнуться. Когда пастух приводил стадо к вечеру, она, еще не привязанная, вдруг становилась на дыбы и, тряся бородкой, выставив острые рожки, грозилась забодать моего бедного Мику. Тот в испуге вспрыгивал на крышу, а я при виде рогатого страшилища смеялась, держась за бока. Смеяться, хотя бы изредка, непременно нужно каждому, чтобы печень окончательно не пропиталась жизненной горечью.

Коза в трудные времена незаменима. Кто-то заболел чахоткой - ищи козу и козье молоко. Не в силах прокормить корову - ищи козу. Настали голодные дни - без козы не обойтись. И наши предки еще при крепостном праве держали коз, бывало, что и по несколько. Коза довольствуется малым, ей достаточно веток, молодых кустов. Уже потом мне попадались объявления времен немецкой оккупации: «Меняю велосипед на козу», «Отдам пианино за козу». Коза заслужила гораздо большего внимания, чем ей принято уделять. И какая природная грация ей присуща, какая смелость! В естественной своей среде, в горах как бесстрашно она скачет со скалы на скалу, пролетает над пропастью! Здесь, в Сибири, козы резвились на травяных крышах лачуг и «бессовестно играли на нервах» своих хозяек. Козы были почти у всех латышей, у Луизы, как сказано, еще и корова.

В августе в Тюхтете утонул мой сосед, финн. В том самом омуте, в котором и я чуть не погибла и где после меня утонул еще один сибиряк.

Кизяком - смесью глины с лошадиным навозом - я заново обмазала свою плиту, теперь она должна была продержаться еще несколько лет. Поправила балки, замазала все прорехи в крыше и стенах, вырыла землянку для козы. После очередной тяжелой работы приходилось несколько дней отлеживаться. Тогда козой

занималась Аустра. А я вязала лежа. Я вообще занимаюсь вязанием только в лежачем положении.

В больнице мне сказали, что нельзя выполнять никакую тяжелую работу, но кто же ее сделает вместо меня! Конечно, латыши помогали мне во многом, но многие и сами выбивались из сил, и нельзя же требовать от людей невозможного. А заплатить постороннему человеку мне было нечем.

Я просила Эрику Андреевну прооперировать меня, но она, ссылаясь на недостаточный опыт, отказывалась, надеялась заполучить хирурга из Красноярска. Однако специально ради какой-то ссыльной из краевого центра никто бы не поехал. Равенство и братство, может быть, и ждут нас на небесах; на грешной земле с этим добром туговато.

Олаф

В тот самый морозный январский вечер, когда Адольф перестал нуждаться в моих и чьих-либо вообще заботах, в моей полуземлянке появился Олаф - молодой парень, одетый по-летнему, насквозь промерзший и замученный долгой дорогой. Его взяли на второй день после возвращения из Терветского туберкулезного санатория. За несколько лет до этого он вместе с родителями без разрешения вернулся в Латвию из мест спецпоселения на Крайнем Севере, где он так и так был обречен.

Из Тюхтетской комендатуры мать и сына Гутманисов выпустили поздним вечером 10 января. Это был день рождения Олафа Гутманиса - ему исполнилось 25. Отелей в Тюхтете не водилось. Мороз к ночи усилился. Где согреться, где приклонить голову, они не знали. К счастью, на улице услышала их латышскую речь Элза Берзиня. И тут же отвела в «Малую гостиницу». Адольф за час до этого умер в больнице. Олаф занял освободившееся место.

Козье молоко помогло юноше. В моей лачуге он пошел на поправку. Осенью его вместе с матерью отправили дальше - в один из Чувльских колхозов.

Олаф на родине не успел закончить школу - оставался последний класс. Осенью он снова поселился в «Малой гостинице». Решил учиться.

Зима была холодная. Низкий потолок халупы ощутимо нависал над головой. Растущему человеку редко удавалось наесться досыта. Олаф сочинял стихи и пел наизусть оперные арии. Одной из любимых была ария Демона из оперы Антона Рубинштейна. «Я тот, которому внимала ты в предрассветной тишине...» Когда ария звучала, раздувались занавески на окнах, редкие прохожие останавливались и слушали. Радио у меня не было, и я так радовалась этим утренним концертам.

Или он садился за свою «Северную поэму». То был гимн белым ночам, северному сиянию, неоглядной шири Енисея. И одновременно - реквием, плач по всем изгнанникам, ссыльным и заключенным латышам, затерянным в занесенных пургой просторах или в черной бездне енисейских вод.

Зиму пережили. Олаф окончил среднюю школу и вернулся к родителям в Чульск.

Тетя Праулине

Меня больничный конюх на лошади отвез в больницу. Хижина опустела, огород не вскопан. Козу и кота взяла к себе Берзиня.

Но дом пустовал недолго. В него перешла жить тетя Праулине в ожидании того, когда вторично сосланные дети вытребуют ее в Томскую область. Все лето она проживет у меня на Подгорной.

Я тоже пробыла в больнице недолго. Сбежала. Сбежала потому, что меня положили в палату вместе с умирающей раковой больной. Думали, должно быть, что и я не жилец. Я боялась больше всего пережить соседку, стонавшую без перерыва, увидеть смерть на расстоянии вытянутой руки.

Попросила Праулине принести из дома платье и после полуночи пустилась в бег. Эрике оставила записку: извинилась и написала, почему сбегаю. Но эта славная женщина на меня обиделась. Сказала мне потом, что можно было ведь поговорить

с ней, что-нибудь вместе придумали бы. Ну ясно, я поступила нетактично. Виновата. Однако ведь я бежала от смерти, может быть, и своей, и в таких случаях разве успеваешь думать - как бежать правильной?

Дверь моего дома была приотворена, меня ждала тетя Праулине. И мне показалось, что я вернулась с того света, что я здорова и счастлива. Насколько же все в этой жизни относительно!

Сон или реальность?

Миссия Греты

Валдис Блумергс только и говорил о том, как он ждет приезда жены Греты. Мы, латышки, не заметили, как сами тоже как бы присоединились к этому нетерпеливому ожиданию.

Когда она, наконец, приехала, меня больше всего поразило, что в эти окаянные времена могут сохраниться и выжить такая нежность, такая открытая улыбка, блузка такой белизны.

Греточка теперь нередко была и моей гостьей. Зайдет с цветком, с каким-нибудь печеньем, прочтет очередное письмо сестры Луции. Жена Валдиса не упускала случая доставить другому хотя бы крохотную, но радость. И, уходя, оставляла за собой ауру человеческой доброты.

Из скупых писем Алниса я начала понимать, что житье у благополучных родственников становится для него все более тяжелым. Об этом я как-то упомянула в разговоре с Гретой. Она, помолчав, сказала, что подумает, как помочь моему парню.

Разговор был летом 1951 года. Осенью Грета вернулась в Ригу. О том, как дальше развивались события, в подробностях она рассказала мне следующим летом, когда снова приехала к мужу в Тухтет, уже не одна, а с сыном Илмарсом. Той осенью Алнис получил открытку с таинственным приглашением: «Придите поговорить! Адрес: Улица Юрмалас, 1, кв. 26, М. Блумберга». Донельзя заинтригованный, Алнис, только что пришедший с работы, накинул на себя пальто своего соседа по комнате Иманта и отправился к указанному дому, находившемуся совсем недалеко, за углом. Позвонил в дверь и аж вспотел от волнения: кто ему откроет?

Открыла молодая женщина с ранней сединой в волосах, с открытой улыбкой, ласково пригласила войти.

- Вам, должно быть, мама писала обо мне?
- Нет. Правду говоря, я ничего не понимаю.

- Ну, тогда так. Прежде всего, садитесь! - и она указала на уютное кресло у книжного стеллажа. - Я знакомая вашей мамы, только что из Тюхтета. Зовите меня тетей Гретой. Меня просили о вас позаботиться...

Алнис не успел ответить: в комнату вошла хозяйка дома, сестра Греты - Луция. Дружески протянула руку и улыбнулась так ласково, что мой парень растаял. Лаской он не был избалован.

За обильным ужином сестры подробно расспросили Алниса о его обстоятельствах и пообещали хлопотать о том, чтобы его прописали у них в квартире как родственника - если удастся, будут ждать его.

Провожая парня, тетя Луция уже в прихожей сказала:

- Надеюсь, управдом согласится. Может быть, хотите посмотреть комнату?

Но Алнис, не расслышав вопрос, уже закрывал за собой дверь.

На следующий вечер он стоял на пороге в старом отцовском пальто, с пассатижами и прочим инструментом, с бухтой электрокабеля в руках; Имант нес следом сумку с бельем и чемодан, набитый книгами.

- Вы к нам уже насовсем? - удивилась Грета.

- Простите. Да!

- Но мы еще даже не говорили с управляющим. Не ждали так скоро.

- Ничего, оставайтесь, - выходя в коридор из комнаты, твердо сказала Луция. - Как-нибудь все уладим.

На шум вышел и отец сестер, и восьмилетний Илмарс, познакомились.

Алнису указали просторную комнату с диваном, на котором ему предстояло спать, с большой пальмой, квадратным столом и пианино. Свежие цветы стояли в вазе и дивно пахли.

Похоже на сон

Декабрь. Воскресенье. Позднее утро.

Почти бесшумно в комнату входит тетя Луция.

- Доброе утро. Как спалось? Не было холодно? Принести вам кофе?

Это было похоже на сон.

- Нет, спасибо. Я уже встаю.

- Куда вам спешить? Кофе я подогрею попозже. Отдыхайте!

Алнис уже несколько дней жил в доме, где правила любовь, где находили радость в том, чтобы поддержать другого - лучший вариант человеческих отношений. В самом чистом, беспримесном виде они выражаются в материнском чувстве. Да и то лишь по отношению к родному дитяти. Вне этого заветного круга лишь редкая мать остается матерью - с материнской чуткой, всепонимающей, любящей душой. Здесь такое чудо свершилось. После долгого полусиротства он оказался точно в родной семье, окруженный ненавязчивым вниманием, заботой.

Отчего в этом доме все так добры? Может быть, их миновали все испытания грозных, жестоких лет, не задели суровые ветры эпохи?

Свет и тепло исходили прежде всего от тети Луции, не покладая рук трудившейся ради ближних. Оберегавшей их. Забывавшей о себе.

Грета вышла замуж студенткой за Валтера Блумбергса, которого дома все звали Валдисом. Хотя оба устроились на работу, дом держался главным образом на Луции. Шла война, в Риге хозяйничали немцы. У молодой пары родился первенец, Илмарс. У Луции был друг, но она медлила соединить свою жизнь с избранником: сначала пусть окончат университет сестра с мужем, «без меня они не справятся».

С приближением фронта тысячи и тысячи мирных жителей, хорошо помнивших год сталинского террора, бежали в Германию. Избранник Луции торопил ее: он не согласен пережить еще раз тогдашние потрясения. На чужбине лучше не будет, но есть какая-то надежда сохранить жизнь и свободу. Луция осталась. Она не могла оставить сестру, которой все последние годы была вместо матери.

Когда Валдиса Блумбергса арестовали, Луция взяла на себя все заботы о сестре и маленьком Илмарсе. Кто измерит глубину ее

потерь, ее жертвы? Кто сочтет слезы Луции, которые она сумела преобразить в улыбку, обращенную к людям? Как оценить величие души, может быть, и не сознаваемое ее носителем?

Алнис стал для Луции тоже приемным сыном. И ее любовь высвободила в юноше глубинные силы добра.

Тетя Луция звала Алниса ласково Олешком. По утрам готовила специально для него завтрак, давала с собой на работу бутерброды трех видов. И все это легко, просто, точно бы испытывая удовольствие от своих хлопот. Если Олешек болел, заботы удваивались. Если в доме ночью становилось прохладно, тетя Луция бесшумно входила в комнату и, стараясь не разбудить парня, надевала ему на ноги теплые носки. Утром Алнис не мог взять в толк - как это он во сне вдруг обзавелся носками, которых раньше и в глаза не видел? Если за окном была непогода, стужа или метель, тетя Луция, провожая Олешка к дверям, повязывала ему шею своим кашемировым шарфом. Пустяк? Но один такой пустяк заставлял забыть долгие месяцы и годы вынужденного сиротства.

- Луция каждый апельсин делит надвое - половину получает Алнис, - рассказывала мне в очередной приезд Грета. - Такая она у нас. Ценит и любит каждого, кто в наш дом входит с открытым сердцем. Алнис сделался в доме своим. Всегда скажет, где был, куда идет. Слово дал - сдержит. В день полочки с нами советуется, что купить. И внимателен ко всем нам, заботлив. Особенно к Луции, он ее иногда понимает без слов. Когда она приболела, он с работы прибежал проведать, спросить, не нужно ли чего.

Мальчик, Илмарс, признал Алниса за старшего. Придут к Алнису гости - малыш побежит, приоденется и только тогда появляется в его комнате. Алнис бутылку молока носит в портфеле - и Илмарс так же.

В Алнисе окружающих привлекала сердечность. И друзья подбирались у него в чем-то похожие: открытые, искренние, самостоятельные в суждениях. Товарищи по работе тоже приняли его. У старого мастера он научился многому и главное - любое дело доводить до конца. Луция иногда приглашала к себе на обед мастера и товарищей Алниса по работе.

Школу Алнис исправно посещал, но дома почти не занимался. В учебники заглядывал только в обеденный перерыв или прямо в классе. Впрочем, садился за учебу, если срывалась очередная встреча, вечеринка с друзьями. Перед экзаменами тетя Луция робко напомнила ему, что стоило бы поднажать. «Ничего, успею», - отвечал он беззаботно. И, всем на удивление, успевал. Стоило ему один раз прочесть заданное, и он уже мог отвечать учителю. Экзамены тоже сдавал легко, но перед этим всегда сильно волновался.

А вот что маме нужно написать письмо и послать перевод, иногда приходилось напоминать, рассказывала мне Греточка, приезжая в очередной раз к мужу в Сибирь.

Из моих писем домашним

«22 февраля 1952 года.

Сегодня в моей избушке пахнет так вкусно! На плите скворчит скородора - жарятся драники. Рядом с плитой пристроился котик, глаза сожмурил, ноздри раздуваются, нюхает воздух. На крышке от бочки, которая нам служит обеденным столом, уже готовые куски обжаренного мяса и банка с сахаром. Когда Олаф вечером пришел из школы, это был сюрприз! (Вашу посылку получила только сегодня). И еще яблоки! Они немного подмерзли. Но вот я только что попробовала одно - до чего вкусно!

Принесла ящик, разбираю, развязываю каждый пакет и представляю себе, как ты, мамочка, вместе с Эллой все это собирали, увязывали, готовили в дальний путь. Разве голым спасибо за это можно отплатить?

Пришел Олаф, посмотрел на богатый стол и расплылся в улыбке. Заставил меня все рассказать о вас, и лишь после этого мы начали пировать. Надо сказать, мы не голодаем, картошки должно хватить. Только в его возрасте одной картошки маловато. Олаф сейчас здоров. Хоть бы весной хорошо окончил школу! Нельзя сказать, чтобы он так уж рвался учиться, но голова у парня есть. Лучше всего было бы, если б следующей осенью он поехал в Красноярск, ему стоит учиться дальше.

Кому понадобятся после него мое сердце, мои руки? Так хотелось бы, чтобы родному сыну. Ему сейчас, конечно, хорошо живется у Блумбергов... А у меня здоровье - совсем никудышное, и все хуже.

Спасибо за свечи, потом пригодятся. Керосин у нас в лавку завезли, так что свет есть. Мы с Олафом по вечерам читаем и пишем на пару. Просыпаюсь я в 6 утра, вяжу, не вставая с постели, и котик напевает мне тогда свои композиции.

Спасибо за газету, эту вашу «Циню» видела и читала впервые».

«28февр. 1952.

Сегодня голова какая-то пустая. Часов 16 подряд прилежно вязала, там все время нужно следить, чтобы выдержать узор. Вяжу кофту одной из наших, нитки из ее старого шелкового платка. Работа противная, и я с некоторой завистью думаю о лесорубах, у которых труд, конечно, тяжелей, но приятнее. Живот у меня битком набит. Олафу родители прислали посылку, и мы решили съесть мяса, сколько влезет. Сварила много, всё мы не осилили, глаза всегда прожорливей желудка. В избе прохладно, но затоплю позже, чтобы к утру комната не выстыла».

«2 марта.

Привет из холодных краев!

Утро. Сон нейдет, хотя подыматься еще рано. В мозгу крутится то одна мысль, то другая, и так и уходят, не додуманные до конца. Пробовала снова заснуть, но сон упрямится и не идет ко мне ни в какую. Поэтому зажгла лампу и пишу вам письмо.

Олаф на своей лавке спит, поджав колени к подбородку. У него в ногах Мика, вконец замерзший, он только что вернулся от хвостатых невест.

У меня нынешнее утро свободно, не надо идти за хлебом, а так как воскресенье, то и работать нельзя, это я взяла за правило.

Вчера встала около 2 часов ночи, оделась и потихоньку выскользнула из низеньких дверей. Надо было занять очередь за хлебом. На дворе темная ночь, калитку отыскала на ощупь, снегом занесло чуть не доверху. Всю зиму она приотворена, и мы протискиваемся в узкую оставленную щель. Улица тоже вся в сугробах, по ней редко кто ходит и еще реже проезжает зимой. Здешние обитатели в гору поднимаются по тропе, идущей круто вверх. По утрам первые прохожие протаптывают себе путь, вминая глубокие следы в нетронутый снег. Наверху - улица, ведущая к центру и к хлебной лавке.

Тюхтет еще спит, погруженный во тьму. Только слышно, как скрипнула то одна, то другая калитка: люди выходят, спешат занять ту же очередь.

Хотя и ночь, голова сама собой поворачивается в сторону родины, в вашу сторону, туда, где сейчас вчерашний вечер.

У магазина народу уже много. Хлеб купила около 11 утра, простояв почти 9 часов, но это все уже привычно. В валенках, доставшихся мне от Адольфа, ноги не мерзнут. После обеда их надевает Олаф и идет в школу».

«1 апреля.

Сегодня ветер принес первые дождевые тучи, и дождило весь день. Значит, весна на пороге. Небо стало синее, а вот земля еще по-зимнему белая. Мамочка, я вспоминаю, как ты всегда первой объявляла: «В воздухе пахнет весной», и мы все начинали ждать тепла.

Нам что-то не везет. У Олафа температура. Может, грипп, а может и... Я так напугана, что дрожу при малейшей угрозе. Скоро экзамены, их сдать необходимо, еще одну зиму мы не осилим».

«Пасха!

Как раз сегодня развернула вашу посылку: красивое, теплое одеяло, клетчатый головной платок и шерстяное платье. Мамочка, огромное тебе спасибо! Платье на мне сидит, как влитое, и так хорошо знать, что все соткано и сшито твоими руками. И Эллочке спасибо за все - за лакомства, за Цесисскую газету, в которой ее славят за высокие надои.

У меня тут проблема - нет врача, который взялся бы за операцию. Я во власти судьбы. Сейчас не встаю с постели. Аустра спускается со своей горы, помогает».

«22 мая.

Милдочка из Бауски тоже прислала все, чтобы одеться с ног до головы. Я и благодарна, и почти несчастна, - не отпускает и гнетет мысль, что эти одежды я не успею сносить. Я бы пожила еще - прежде всего ради любви, живущей во мне. Но судьбе все равно, если пришел твой черед - милости просим, и без возражений. Одно утешает: жизнь Алниса как будто вошла в мирную колею, и хочется верить, дальше будет только лучше».

«2 июля.

Положили меня в больницу в палату для умирающих, там одна несчастная больная раком кричала в голос днем и ночью. В таких условиях и умереть-то невозможно, а потому я сбежала и дотащилась до дома.

Олаф сдал последний экзамен и уехал в колхоз к родителям.

Вчера опросталась коза. Аустра принимала роды. Принесла двух козлят с серыми ножками. Сейчас оба в ящике блеют так, что вся улица звенит. Я перед больницей решила продать козу, просила, чтобы Аустра отвела в воскресенье на рынок. Но негодница как раз в субботу вечером домой не пришла. Только вечером в выходной Аустра нашла ее у пастуха с другой улицы. Так скотинка не дала себя продать. Не знаю теперь, что и делать с козым семейством. Сама-то я с ними не справлюсь.

На заборе напротив окна - целая стая воробьев. Все как один повернули головки и глядят прямо в окно, точно хотят непременно прочесть мои мысли...»

Элла

Сестру Эллу с помощью некоего доброжелателя приняли в колхоз и определили дояркой на ферму Скоро она выбилась в передовики, и колхоз решил, что наши Сермули - наилучшее место для артельных коров, тем более, хлев там большой. Элла и заведующая фермой, и доярка, и пастух, и счетовод в одном лице. Платили ей, правда, только как доярке. Остальные обязанности считались как бы «почетными», а потому бесплатными. Сама она писала ко мне в Сибирь: «Работаю много. Трудно бывает, но только так я могу помочь близким. За 1951 год колхоз наградил меня радиоприемником».

В первые месяцы 1952 года Элла опять перевыполнила план, о чем сообщила Цесисская газета: «Скотница-доярка колхоза имени Дзержинского Элла Зирака, заботливо ухаживая за вверенной ей группой коров, в январе-феврале 1952 года выполнила план надоев на 120 процентов». Разумеется в газете ни слова не было о том, какой ценой доставался этот самый план. Доярке самой нужно было привезти корма с заснеженных полей, ломом выковыривать вмерзшую в землю картошку, затем оттаивать и промывать ее у себя на кухне. Непосильной работой она испортила себе руки, а в итоге на склоне лет оказалась без пенсии.

Весной того же года все «почетные» нагрузки были сняты: где-то наверху спохватились, что все родные и близкие А. Зираки сосланы, как враждебный элемент. Дояркой ее тем не менее оставили, а почести ее интересовали меньше всего.

Мою маму в колхоз не приняли. Однако вменили в обязанность вырастить столько-то капустной рассады. Возраст и состояние здоровья не принимались в расчет (у мамы была гипертония и как следствие мозговые микрокровоизлияния).

Кроме всего прочего Элла должна была выполнить норму лесозаготовок, обязательную для каждого колхозника.

В лесу женщины были заняты на обрубании и складировании ветвей, на пилке дров; нужно было также в одиночку вывозить на лошади готовые бревна. Норма на человека - 40 кубометров леса.

Из тогдашней газеты: «Для наших сельских тружениц, как и для передовых работниц заводов и фабрик или женщин-трактористок на МТС, нет непреодолимых преград. Так, комсомолки колхоза имени Кирова Тамара Сизова и Аусма Зицане успешно участвовали в заготовках стройматериалов. Так же и Элма Витыня из колхоза «Аусма» вместо положенных 40 вывезла 50 кубометров леса. Эти немногие примеры показывают, как трудятся колхозницы, чтобы сделать нашу советскую Родину еще богаче и краше».

О русских, латышах и других на нашей улице

В Тюхтете было немало хороших русских людей, но общий язык мы с ними нашли далеко не сразу. Их жизнь нам казалась грубой, полудикой, лишенной ясно осознаваемой цели. В длинной очереди за хлебом мы видели только серые создания, мучимые бедностью, завистью, бесконечными заботами, враждой. Казалось, ни у кого не осталось убеждений. Если таковые и были, то давно проданы за корову и кусок хлеба.

Революция дала Тюхтету хорошую больницу, но и целую армию больных, измученных непосильным трудом. Революция подарила светлую школу, машины, сократившие расстояния в глухой бескрайней тайге, зато отняла у людей свободу передвижения, возможность выбраться из тайги, из колхоза. Революция принесла с собой электричество, но и при свете «лампочки Ильича» она в упор не видела человеческих страданий, вызванных ею. Революция взяла на вооружение террор, запугивание, ложь. Обратила жизнь миллионов в каторгу.

Я была бы несправедлива, если бы полностью отрицала достижения революции. Но вдвойне нечестно было бы пройти мимо всех унижений и бедствий, принесенных новым строем, мимо всех ее жертв. Счастье одних людей достигалось за счет страданий других, хотя в основу настоящей жизни надо было положить счастье всех людей и народов; прав тот строй, который не сделает ни одного человека и ни один народ несчастным.

Счастье, думали мы, подвалило, может быть, тем, кто воспользовался плодами чужого труда, кто влез, ничего не умея и не зная, в начальнические кресла. Они заняли место людей, безжалостно изгнанных из собственного дома, лишенных родины и всего, что составляло содержание их жизни.

Привезенные насильно в Тюхтет, мы косо смотрели на местных. Они русские, от них все беды, обрушившиеся на наш народ, на наших родных.

Такая же вражда, такое же недоверие смотрели и на нас отовсюду. Мы в глазах местных русских были кулаки, эксплуататоры, фашисты, убивавшие их мужей там, на фронте. От обоюдного недоверия и ненависти страдали больше всего мы. Местные жили у себя дома, они были все-таки свободны, у них была картошка. Мы были на чужбине, мы были арестанты, у нас не было ничего.

Долгие трудные годы понадобились, чтобы рассеять взаимные предубеждения. Мы шли за помощью к русским и находили ее. Русские приходили к нам за советом и сочувствием.

Моя соседка Нюра, крикливая и несчастная, потеряла мужа на войне. Теперь ее другом был ссыльный финн Яша. У Нюры четверо детей - двое от русского мужа, двое от Яши - и все, как сама она выражалась, неудачники. Томка, не окончив семь классов, в отсутствие матери собрала в узел свои и материны одежды, захватила деньги, бывшие в доме, и сбежала - счастья искать.

- Ну и пусть! - говорила, принеся мне воды, Нюра. - Хоть один пионер с шеи долой!

Но было заметно, что она тяжело переживает случившееся.

Нюрино сына Тольку выгнали из 5-го класса. Когда мать принялась отчитывать его, 13-летний сын выхватил нож, грозя прикончить ее вместе с «нагулянными щенками». Нюра с двумя малышами прибежала спастись ко мне.

- Разреши побыть у тебя, пока Яша придет. Я захватила картошечки, сварим...

Тольку увезли в колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Но парень оттуда сбежал, явился домой, и все началось сначала. Никто беглеца не искал.

Трехлетний Петька на улице ругал всех проходящих, швырялся в них комками глины (камней в Тюхтете не было). Терзал собаку и поросенка, мучил кошку, плевал матери в лицо и вдобавок курил! Если ему не давали папиросы, пускался в рев. Когда я дружески посоветовала Нюре все-таки не давать озорнику полной воли, она тяжело вздохнула и пожаловалась: так устала, что всё сделалось безразлично. «Вы хотя бы можете надеяться на что-то, вам есть что вспомнить. А у нас нет и не было ничего».

Яша вообще не вмешивался ни в домашнюю жизнь, ни в «воспитание». Смысл его жизни был отнят лагерями, ссылкой и семьей, которую он не выбирал (Нюра приняла в дом бывшего заключенного и, можно сказать, на себе поженила, как то делали многие). Сын Петька был опустошенному человеку не ближе, чем жена Нюра. Яша работал в сельпо, обрабатывал огород, но в остальном всеми силами отпихивался от дома. Здешняя атмосфера была тяжела для мягкого финна, его податливая душа в ней задышалась.

Нюра была моей ближайшей соседкой и главной и лучшей помощницей в те дни, когда я лежала без сил. Подоит и покормит козу, принесет воды, выстоит за меня хлебную очередь.

С другой стороны моей соседкой была русская Иванова с пятилетним внуком-рахитиком. Ее муж поляк был замучен еще в 1937 году. Дочь сразу после войны привезла ребенка и оставила матери, страдающей грыжей, сама же отправилась искать своего пропавшего жениха. В землянке Ивановых была только детская коляска, столик, дощатая лавка и дырявая жестяная печурка. Иногда зимой соседка не могла даже сходить за хворостом в тайгу, и тогда просилась ко мне переночевать. Да и летом она нередко появлялась у меня, особенно когда я не вставала с постели. Принесет то кружку черной смородины, то пучок черемши, затопит плиту.

Еще дальше на восточной стороне жили ссыльные Линке-вичи - он русский, она еврейка. Он - бывший редактор газеты, она - филолог, германист. Они стали мне почти родными. Забегали поболтать, помочь по дому, как-то Алексей пришел с только что законченной пьесой для кукольного театра, обсудить. Приходили то с супом, приготовленным Мирой, то с каким-нибудь печеньем из московской посылки. Алексей работал столяром, а по вечерам дома они устраивали кукольные представления для знакомых ссыльных.

Недалеко от меня жил еще один ссыльный финн с женой, русской учительницей. Но он уже из лагеря прибыл с явными признаками психического заболевания и в то лето утонул в реке Тюхтетке.

Еще дальше - ссыльная литовка с двумя дочерьми и сыном. Это были тихие и честные люди, тоже нередко навещавшие меня. Только вот сын во время нервного приступа напоролся на самодельный ножик...

Летом 1952 года моя дверь вообще не запиралась - входил кто хочет и когда хочет. О латышках нечего и говорить - ни одна не оставила меня в несчастье. Почти каждая как-нибудь да помогла бороться за жизнь.

В каждом человеке немало доброго, только в обыденных обстоятельствах мы этого не замечаем. Как-то ночью ветер повалил мой забор. Наутро сосед Яша пришел и поправил его, не дожидаясь никаких просьб. Именно в то лето я научилась видеть и ценить добро в людских душах, не разбирая, кто передо мной - латыш, грек, русский или калмык. Я бы могла написать целое сочинение о лучших свойствах представителей всех наций в окружавшем нас интернационале. Мы, невольники этой власти, понимали, что оказались незваными гостями, взваленными на шею исконных хозяев этих мест, и старались не вмешиваться лишний раз в их жизнь, не нарушать их обычаев. И они наконец поняли, что мы, брошенные сюда не по своей воле, не воры и не враги.

Сказанное не относится разве лишь к Большому дому на горе, к милиции и комендатуре; тамошние деятели были, может статься, вовсе и не русские уже, а некие синтезированные коммунистической идеологией роботы, действующие по введенной в них безжалостной программе.

И снова под сенью смерти

Конец лета

Мне становилось хуже. В бреду я видела близких, окружавших мою кровать. Слышала вздохи мамы, видела ее заплаканные глаза. Родина все еще занимала в моей душе больше места, чем те края, где я жила в реальности вот уже 11 лет.

Перед глазами опять всплывают строки из письма Эллы, которые я не могу забыть: «Сестренка, не бойся просить все, в чем нуждаешься. У нас все хорошо. Я очень выносливая. Могу работать и работать, сил хватает. Пиши только, чем могу тебе помочь».

До сих пор не пойму, как один человек может вынести и сделать все то, что вынесла и совершила Элла. Даже после того, как ревматизм, следствие всего пережитого, казалось бы, скрутил ее, она продолжала работать на молочной ферме, скрюченными руками доила коров, готовила корма. И по-прежнему помогала своим близким, прозябавшим в пяти разных местах заключения и ссылки.

В моей хижине все окружающее было исполнено дружелюбия, кроме мух - эти жужжали, пикировали на тебя весь день напролет. Боль не отпускала. Мне уже не хотелось, чтобы кто-то навещал меня, мучиться лучше без свидетелей. Да гостей и поубавилось: пора было убирать картошку, копать приходилось после работы.

Алнис писал довольно редко, но я, по крайней мере, знала, что у Луции и Греты ему хорошо. Может быть, мои скромные жертвы, принесенные ради Адольфа, а потом и Олафа, были зачтены и в умноженном виде обернулись добром для моего сына?

Болезнь сказывалась все заметнее. Даже кот Мика ощущал ее. Он не знал недостатка в еде и внимании, но в доме ему не нравилось. Он уже не мурлыкал, свернувшись клубком на моей постели, а часами сидел на широкой скамье и о чем-то думал, время от времени взмахивая тяжелым хвостом. О чем - я скоро узнала.

Мика исчез. Ушел и домой не вернулся. И никто из соседей больше его не встречал.

Мне стало еще горше. Одной было тоскливо и боязно. Люди почти не скрывали своего убеждения: уход этот не к добру. Я тоже знала приметку: если кошка покидает дом, кто-то должен умереть. В избе «кем-то» была я. Суеверной меня не назовешь, но тут трудно было не задуматься.

Мика исчез 1 сентября. 4 сентября мне исполнилось 47 лет. То была среда, темный, мрачный день. И в комнате сыро, холодно, пол не мыт. На меня навалилась усталость. Решила написать завещание.

«Дом переписать на имя Аустры Калныни, и пусть он по-прежнему будет «Малой гостиницей» для латышей, оставшихся без крова, чтобы было где согреться и переночевать. Козу отдать Берзине, одежду - семье Звиедрите. За могилой не ухаживать. Если я заслужила, чтобы вспомнили, вспоминайте меня живую».

Письма мужу, не отосланные за неимением адреса, сожгла самолично, чтобы не попали в чужие руки, о чем потом не раз пожалела.

Паломничество латышей

В середине сентября, в воскресенье утром пришла Луиза. Присела на край моей постели и спрашивает:

- Тебе стало хуже?
- Нет. Только сил не осталось.
- Но ты вся желтая. Как мои варежки. И сквозь кожу видать все ребра.
- Я знаю, мне немного осталось. Я готова. Завещание вон там, на полке. Откроете потом, после меня.
- Грех так говорить. Мы все что, зря к тебе бегали? Я сейчас же пойду к Эрике - пусть увозят в больницу.
- Эрика тебя не станет и слушать. Она на меня сердится за тогдашнее бегство.
- Человек при смерти - и врач не станет слушать? Ты, по-моему, уже не в себе.

- Эрика знает, в каком я состоянии. И повышать процент смертности в больнице совсем не в ее интересах.

- Рассказывай сказки! Постой, ты скажи - давно это у тебя? В прошлое воскресенье ты выглядела еще вполне...

- Ну да. На неделе как раз стало плохо.

Луиза исчезла со скоростью, ей вообще-то не свойственной, отворив и подперев шестом ворота.

Часа через два у ворот остановилась белая больничная лошадь. Эрика все же не попомнила зла. На козлах сидел больничный кучер, калмык. Белая лошадь, черный калмык - тюхтетская «Скорая помощь». Тут же оказались Луиза и встреченные ею по пути Линкевичи.

Женщины одели меня, мужчины помогли вынести из лачуги. Луиза заперла ворота. Мне казалось, что из дому меня выносят в последний путь, как за год до того Адольфа.

Мелькнули, отбегая назад, вдовьи грядки, козья будка, крутая гора. Сердце защемило. Вернулось удивление перед жизнью. Как все-таки красива земля, какая синева в небесах! Сколько доброго в людях!

Когда могила на расстоянии вытянутой руки, все воспринимаешь по-другому. Во всем обнаруживаешь красоту, не замеченную раньше. Почему мы так мало видим в повседневности? Где наши глаза? Где наше сердце?

- Могу вас обрадовать, Мелания Яновна, - может быть, слишком громко возвестила Эрика Андреевна.

- Обрадовать? В моем-то жалком состоянии?

- Вчера у нас появился новый врач, хирург, тоже ссыльный. Я с ним говорила - он, кажется, возьмется вас оперировать. Я вас сейчас познакомлю.

Новый хирург, Яков Ионович Киров был украинский еврей. Тоже много лет промучившийся в лагерях и после отбытия срока сосланный. Первое впечатление было неважное; особенного доверия новый врач, прямо скажем, не внушал. Но у меня не было выбора. Единственное, что могло спасти меня, - операция, и если Киров не побоится сделать ее, спасибо и за то.

- Возьметесь? - после процедур обследования спросила я его.

- Если вы доверитесь и если Эрика Андреевна согласится ассистировать. Но проблема в том, что вам нужно набраться сил. В теперешнем состоянии оперировать вас значило бы попросту прикончить.

Итак, меня поместили в палату и начали готовить к операции, то есть ждать, когда друзья и прочие посетители меня откормят до нужной кондиции.

Ясно, что тут же появились латышки, и все, что было лучшего у них дома и в полученных ими посылках с родины, появлялось в палате. А еще они по всему Тюхтету искали, где забивают овцу или свинью, покупали еще дымящуюся печень, потому что свежую печень мне рекомендовал врач. Тратили на меня последнюю копейку, последнюю морковку пускали на сок. Никто из них не думал, что получит что-либо взамен, вернее, все знали: с меня получить нечего.

Только тогда я стала по-настоящему понимать, насколько мало и поверхностно я знаю окружающих. Насколько ничтожны мелочи, застилавшие мне иной раз глаза, и насколько велики мои люди сами по себе. Дожить до завтра я не слишком надеялась, но уже тогда казалось обидным, если все усилия добрых людей не помогут.

И Эрика, и Киров, и Флора - главврач больницы - несли из дома всякие вкусности, проявляли небывалую заботу. Не из любви ко мне, но как бы немножко соревнуясь с моими латышками, а еще и в порядке эксперимента: попробуем, удастся ли эту, практически уже списанную жизнь все-таки отобрать у смерти?

Домашним я не писала о своем настоящем положении, скрывала. Если случится непоправимое, пусть узнают сразу. Палата была четырехместная. На трех койках лежали женщины перед операцией, после операции, выписывались, на их место поступали новые. Выздоровев, покидали палату и они. Только я оставалась в палате месяцами.

Дни тянулись медленно, даже и с книгой. Трудно было дожидаться вечера, ночью - дотянуть до утра. То казалось, что в комнате не хватает света, то холодом несло от окна; одеяло казалось то слишком тонким, то чересчур тяжелым и давящим.

Прямо за окном росла береза. Когда я появилась в больнице, она зеленела и свежо, вкусно пахла после дождя. Потом листья пожелтели и опали. Еще позднее ветви посеребрил иней, потом раздался посвист первой вьюги. Ветер чего-то добивался, вроде бы знал и выкликал мое имя, может, звал с собой?

Коза моя теперь жила у тетки Берзини в пристройке, дырявой, продуваемой всеми ветрами. Я предлагала Берзине перейти в мою полуземлянку, но та медлила. Думала, что я вот-вот умру, а покойников она боялась. Когда начались холода, Берзиня напаялила на козу старую шубейку, голову повязала платком, чтобы уши не отморозила, закутала шею. И козочка была спасена.

Линкевичи, увидав в таком наряде мою рогатую Гайдю (а по-русски - Галю), смеялись до слез. Алексей сочинил и принес в палату куплеты «О козах и морозах», посвященные «Мелании Яновне и ее друзьям», развеселив и меня, и моих соседок, и медперсонал. Там была описана весьма складно моя Гайда-Галя и ее одеяние, заканчивались вирши строчками: *Что, коза, тепло тебе? Отвечает Галя: - «Бе-е-е!»*

Однажды в начале декабря в палату, запыхавшись, не вошла - вбежала Берзиня и с порога объявила:

- Мика нашелся! Мика вернулся! Мелания, ты хоть понимаешь, какой это добрый знак?! Я подошла к твоей будке, а он как ни в чем не бывало сидит на крыше и мяукает во весь голос! Отнесла его к себе, немного успокоился. Но голодный, как волк! Теперь можешь не бояться операции - всё будет тип-топ!

И вся больница повторяла вслед за старой Берзиной: кот Мика вернулся, значит, есть надежда. Даже врачи использовали возвращение кота как довод, чтобы поднять мое настроение. И тюхтетские женщины, пришедшие к реке полоскать белье, делились с товарками свежей новостью: «К той больной латышке вернулся кот через три месяца. Скоро у нее операция. Но теперь она не боится». В очереди за хлебом: «Там будет видно, но хорошо, что кот нашелся. Животные чувствуют. Смертью запахло - ушел. Надеждой запахло - вернулся». Мне обо всем этом рассказывали посетители и уборщица, благодаря которой тоже не прерывалась моя связь с внешним миром.

То, что о моем положении, о моем пропавшем и чудесным образом нашедшемся Мике и предстоящей операции знал и говорил весь Тюхтет, не удивительно. Небольшой городок, точнее, село, затерянное в тайге. Люди интересовались каждой мелочью и знали все обо всех досконально. Любая новость облетала улицы за считанные часы. Женщины, стирая белье или стоя в очереди, пополняли запас своих знаний новейшими сведениями. Теперь весь Тюхтет с любопытством ждал, что будет дальше.

От бесчисленных уколов у меня на бедре образовалась глубокая флегмона, сильно мучившая меня; ее предстояло оперировать в первую очередь. Ослабела я так, что нельзя было обойтись без переливания крови. Кровь нужно было везти из Красноярска - 300 километров по декабрьской стуже. Латышек в краевой центр не пускали, да и денег на такое путешествие у них не было. Кровь для меня привозили тюхтетские бухгалтеры, ездившие в центр с отчетом. Собираясь в путь, они никогда не забывали позвонить в больницу и спросить - не нужна ли кровь той болящей. Ответ был всегда один: нужна.

Привозили кровь в стеклянных 300-граммовых ампулах. Прятали на груди, у голого тела, чтобы не замерзла. Везли поездом, потом на лошади или в грузовике последние 45 километров от Боготола. Мне помогали даже люди, никогда не видевшие меня в глаза, но прознавшие о моей болезни и безнадежном положении. Как хочется сказать слова благодарности, пожать руку всем, кому я обязана жизнью, теми десятилетиями, что миновали после тогдашних месяцев под сенью смерти. Я ничего не забыла. Примите мое спасибо.

У меня четвертая группа крови, при которой как будто годится кровь любой другой группы. Однако Киров все равно тщательно проверял, насколько моя и донорская кровь совместимы, не склеит ли сыворотка моей крови эритроциты привнесенной, не образуются ли при этом сгустки, хлопья (привожу, как помню, его объяснения). Кровь мне переливали несчетное количество раз. Наконец, консилиум из семи врачей постановил: лучшего состояния пациентки нельзя ожидать, время проводить операцию.

Моя судьба решалась 17 декабря. Палату освободили, я осталась в ней одна. В субботу и воскресенье меня, тепло одев, выпускали

во двор - подышать кислородом. Было ветрено, и мне, чтобы устоять, приходилось держаться за ствол березы. Над больничным двором летали красногрудые снегири, время от времени облеплявшие низкий куст боярышника, сразу расцветавший, точно заснеженная алая роза. Птицы прилетели в Тюхтет на зиму, должно быть, из еще более суровых северных мест. В воскресенье и понедельник посетителей ко мне уже не пускали. Два дня не показывались у меня и врачи. Лишь воскресным вечером зашли Яков Ионович и Флора. Доктор нагнулся над моей кроватью, взял обе мои руки в свои ладони и тихо произнес:

- Друг мой, я постараюсь сделать все, что в моих силах, а если понадобится, то и больше. Но и тебе, несмотря на всю слабость, нужно помочь нам. Поборемся вместе, хорошо?

Доктор почему-то с первой встречи обращался ко мне на «ты» и в этот раз был слишком патетичен.

А Флора, тоже ссыльная, стоявшая за спиной Кирова, сказала ему так, точно меня здесь не было:

- Не очень-то я верю вашим рукам, а силам пациентки тем более. И латышскому Диеву, богу на их языке, я тоже не верю. Но верю той любви, которая месяцами заставляет латышей совершать паломничество в больницу, к ней. Верю, что такая любовь способна вернуть к жизни.

Слово «паломничество» по отношению к латышам я услышала из уст Флоры впервые. И помнила, и повторяла про себя все время.

Глазами я поблагодарила Флору. Потом перевела взгляд на руки хирурга - довольно-таки округлые и спокойные. Уверенности они мне не прибавили, но ждать помощи приходилось теперь только от них.

Весь понедельник я провела в своей палате, точно в камере смертника. Уборщица возникала, как тень, и исчезала, как тень, не сказав ни слова. Есть мне не давали уже с воскресенья. В коридоре все время слышались чьи-то шаги.

Предвечерье. Смеркается. Береза за окном уже потемнела и через полузамерзшее окно заглядывает в мою палату, дивясь, наверное, почему три соседних кровати пусты. Может быть, люди тоже сбегают из обреченных домов, как некоторые коты?

Я в объяснения с березой не пускаюсь, я смотрю в черную бесконечность высоко над нею. Жизнь медленно, но ощутимо отступает, как берег моря от уходящего судна. Мысли только на мгновения возвращаются к сыну, к мужу, к своим. Потом - волна сожаления о потерянных годах, годах несвободы и жалкой борьбы за существование. А еще жаль, что березу за окном могу больше не увидеть.

Вспыхивают островки памяти. Мелкие, незначительные эпизоды. Вспыхивают и гаснут. Почему-то именно так душа прощается с жизнью. Последними будут смутный силуэт березы за стеклом и клочок жизни, оставшийся до утра. Но кажется, береза, единственный в этот миг живой друг, поделилась со мной спокойствием и отвагой - умением не дрогнуть, даже когда к ней приближается человек с мотопилой.

Я уснула мирно.

Вторник 17 декабря.

За ушедшей ночью выстроились гуськом ранние утренние часы. Никто не прикоснулся к дверям, никто не появился. Даже уборщица не пришла протереть мокрой тряпкой пол. В коридоре угадывалось движение, но и там, похоже, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Только пурга за окном пела в полный голос.

В десять часов дверь приоткрылась, в образовавшуюся щель выглянуло нарочито беззаботное лицо врача:

- Доброе утро! Как спали?
- Спасибо, доктор! Хорошо!
- Самочувствие?
- Хорошее.

За внешним спокойствием в голосе врача слышалась тревога. Не заходя в палату, он снова плотно прикрыл за собой дверь.

В одиннадцать в комнату вошла Флора, в руке шприц с морфием.

- Доброе утро!
- Доброе утро.

Ни слова больше. Сделав укол, повернулась, ушла. Даже приветливой улыбки не последовало. В 11.30 она снова вошла в палату.

-Уже?

-Да.

Сняла с крючка, протянула мне свежевыстиранный халат, заимствованный у Греты, извлекла из-под кровати тапки.

- Пошли.

В коридоре собрались все ходячие больные и выстроились на манер почетного караула. Стояли не шевелясь и смотрели на меня во все глаза. Ведут на операцию! В тревоге и ожидании они проведут теперь несколько часов. Небольшая больница сближает и врачей, и пациентов.

В помещении перед операционной Флора сняла с меня халат и аккуратно повесила на гвоздик. Сняла тапки, оставила у стены. Затем легонько взяла меня под локоток, точно невесту, и ввела в операционный зал.

На миг у меня подогнулись колени, и тогда я, как мне казалось, громко сказала:

- Всем доброе утро!

- И вам так же! - хором ответил ряд бесформенных, неподвижных фигур в белых масках. Врачи - пять, шесть или семь - стояли шеренгой поодаль от высокого операционного стола. Я видела всех сразу, но никого не узнавала. Лица закрыты по самые глаза. Руки в резиновых перчатках подняты ввысь, чтобы ни к чему не прикасались.

Сестра Клавдия приставила к столу ступеньки. Я взобралась и легко улеглась. Санитарка одела мне на ноги теплые оленьи унты мехом внутрь. Снова появилась Флора, на сей раз в белой маске. Виднелись только ее глубокие, полные заботы и сосредоточенности глаза. Последнее, что я видела, - глаза Флоры.

Кто-то твердо взял мои руки и завел за голову. Сам навалился сверху, как свинцовый груз. Кажется, мне положили на веки что-то влажное.

- Мелания, даю наркоз. Дышите спокойно! - прервал тишину голос анестезиолога Флоры Иосифовны.

К носу и рту прижали холодный, вонючий комок марли. Эфир. Такой густой, что показалось - сейчас задохнусь. Инстинктивно дернулись руки, ртом я хватала воздух. Но я знала, что так будет

в первый момент. Что потом станет легче. Флора меня к этому приготовила.

- Меланечка, считайте! - громко сказала она.
- Но чтобы считать, мне не хватало воздуха.
- Повторяйте за мной: один, два, три...
- Один, два, три... десять... девяносто...
- Громче! Девятнадцать!
- Девятьсот —

Я уже спала. Флора была на страже. Следила за тем, чтобы в глубоком сне искорка жизни теплилась, не угасала. Остальное - по рассказам Флоры и других. Луиза:

«Сразу после работы побежала в больницу. Было уже темно. В хирургии все окна светятся. Через щель в занавеске вижу, что твоя кровать пуста, только халат висит у стены. «Неужели все наши молитвы не помогли?» - думаю с ужасом. Врываюсь через все двери подряд.

- Где она? - спрашиваю с ходу у первого попавшегося в коридоре.

- Не волнуйтесь. Операция прошла успешно.
- А как же кровать пустая?
- Она в другой палате. Там теплее.
- Позовите, пожалуйста, доктора. Или Флору Иосифовну.
- Они все там, у больной. Она еще не очнулась.
- Я подожду. Скажите им, что я жду. Пусть выйдет кто-нибудь».

Берзиня:

«Я весь день не могла работать. Весь день вместе с Микой молили Бога за тебя». Грета:

«Я не позволяла себе думать о худшем. К вечеру напекла блинов и дала Валдису, чтобы отнес тому человеку, который будет ночью дежурить у твоей постели. Это, конечно, была Флора. Но она ничего не взяла: слишком устала, чтобы даже думать о еде».

Пациент больницы Иван Иванович:

«Мы всю дорогу сидели в коридоре. У каждой санитарки, вышедшей из операционной, спрашивали про вас. Лидия сказала

нам: «Вкалывают, как мясники. Клавдия всем вытирает пот. Не знаю, выдержит ли больная. Сердце отказывает». Потом слышались крики. Вы так кричали - как... как бешеный верблюд. Много раз. Я вообще никогда не слышал таких ужасных криков. Впечатление было, что режут без наркоза. Неужели так и было?»

Я: «Да что вы, был наркоз. И я ничего не чувствовала».

Киров:

«Вы героиня. У вас золотое сердце. Оно и спасло. Я за всю врачебную практику такого сердца не встречал». Флора:

- Операция длилась почти 5 часов. Если бы я все это время держала вас под глубоким наркозом, вы бы не проснулись. Сердце трижды полностью останавливалось. Надо было прекращать все другие действия, перерезать диафрагму и рукой массировать сердце. Только так удалось вернуть вас к жизни. Хорошо, что были три хирурга и три ассистента. И все были заняты. После этого я держала вас на грани сна и бодрствования, между жизнью и смертью. Вы ощущали боль и кричали со страшной силой, но до сознания это не доходило. Врачи меня бранили, угрожали. Эти крики их выбивали из колеи, мешали работать. Но я впервые в жизни взяла на себя весь риск.

- Вас за это накажут?

- Положено наказать, но в этот раз обошлось. Все понимают, что я действовала по необходимости. Киров вынес всю тяжесть операции, он и впрямь работал как мясник. Но спасла вас Эрика Андреевна. За одну эту операцию ей надо в ножки упасть.

Я пришла в сознание поздно вечером. У постели стояли врачи, я слышала их слова:

- Откройте глаза! Мелания, откройте глаза!

Я слышала, понимала, но сил поднять веки у меня не было. Не было сил даже дышать. Хотелось лежать совсем спокойно. Не дыша. Но меня не оставляли в покое.

- Мелания, дышите! Откройте рот! Дышите ртом!

- Вы меня узнаете? - склоняясь над постелью, спрашивала Эрика.

Я слышала ее, но не узнавала и не могла ответить.

- Операция удалась! Вы выздоровеете! Ну-ка, улыбнитесь! - настаивала она. - Дышите! Откройте глаза! Дышите! Дышите!

Наконец, я стала различать лица и понимать, что происходит. Только вот себя я еще не чувствовала. Хотелось спать. Я не ощущала ни боли, ни радости. Кто-то все время держал руку на пульсе, словно бы этим мог помочь измученному сердцу.

- Ну взгляни на меня! - почти взмолилась Эрика.

Я попробовала взглянуть, но глаза выкатились вверх и теперь не хотели закрываться.

- А кровь еще есть? - услышала я опять голос Эрики.

- Да, есть! Сейчас же начнем переливание - Врачи по очереди дежурили у моей постели, держали за руку, старались поделиться своей энергией. Нечеловеческими усилиями они вырвали меня из когтей смерти. Не только, а может быть, и не столько ради меня, сколько из самолюбия, из профессиональной гордости, из желания сдержать обещание, данное нашим латышкам, - сделать все возможное и невозможное. Они вырезали четыре опухоли с кулак величиной (мне их показали уже заспиртованными, как драгоценные экспонаты), вмешались в кровеносную систему и потом удивлялись, как мой организм выдержал столь глубокое вторжение; были опасения, что ноги парализует.

Никогда и нигде, ни в одной другой больнице Советского Союза со мной, немолодой и вконец ослабленной ссыльной, не стали бы так возиться. Но здесь, в таежном селе Тюхтете, меня спасли. Даже на родине, в Риге, это было бы невозможно. Наверно, помогло и то, что большинство врачей сами были такими же ссыльными. И еще: не знаю, мои кровные родственники смогли бы сделать для меня больше, чем сделали и отдали латышки Тюхтета. Лишь все это вместе взятое вернуло меня к жизни. И я думаю только, что нет таких слов, какими я могла бы выразить свою благодарность, нет таких дел или богатств, которыми могла бы отдариться.

Настал второй день после операции. Сил не прибавилось, боли не убавилось. И радости оттого, что жива, во мне все еще не было. Слишком было трудно.

На четвертые сутки мне стало совсем плохо. Губы высохли,

язык не слушался, веки стали тяжелыми, как мокрый дерн. Понадобилось новое переливание крови.

То была последняя схватка со смертью. Врачи победили. Латыши поддержали своими молитвами. Еще и еще раз - спасибо всем!

- Как дела у болящей? - спрашивали, останавливая на улице Кирова и Эрику, совсем чужие мне, незнакомые люди.

- Пока что трудно сказать. Подождем хотя бы неделю. Киров полусхрипнул сказал мне:

- В городе нет проходу. Выздоровливайте побыстрее, чтобы весь Тухтет наконец успокоился!

Моя операция прошла в самое темное время года, когда людей мучат долгие, скучные вечера. Еще и поэтому история моего чудесного избавления вызвала столько шума.

Спустя неделю латышкам разрешили навещать меня по одной и даже оставаться в палате на ночь. До этого у моей постели дежурили только врачи и медсестры.

Первой пришла Греточка. Поцеловала меня в лоб, вся осветилась улыбкой. Развернув множество слоев бумаги, достала цветочки бегонии и поставила в принесенный с собою граненый стакан.

- А это тебе от Луции! - и протянула клетчатый платок.

Сколько я обязана двум сестрам - и за себя, и за Алниса!

На следующий вечер пришла и осталась со мной на ночь маленькая Аустра, у которой за спиной был трудный рабочий день в валяльном цехе. Невеличка, никогда не жалевшая для меня ни ног, ни времени, часто оторванного от сна.

Луиза была у меня, тоже после работы, на третий день. Не сказав ни слова, опустилась перед кроватью на колени. Разве можно такое забыть? Сколько же тепла, красоты в человеческих отношениях! Кем-то сказано: прекрасен человек, остановившийся ради другого человека. Обычно у людей не находится ни времени, ни желания остановиться...

Латышки, о которых здесь сказано не раз, приходили и проводили часы у моей постели, и это ведь при том, что у каждой

хватало своих забот, бед, трудностей, хворей. Флора назвала их дорогу ко мне, никому не видимый подвиг милосердия и любви, паломничеством. И разве она не права?

Первое письмо домой. «Прошла уже неделя после операции. Все получилось на диво хорошо. Нигде на свете никто не мог бы сделать больше для моего спасения. Я бесконечно счастлива...»

Здоровье возвращалось. С каждым днем прибывали силы. Радовались врачи, весь персонал больницы, мои милые паломники. Радовались и гордились те бухгалтерши, те незнакомцы, что привозили мне дозы жизни из Красноярска, согревая собственным телом ампулы с донорской кровью. Их было много, жителей Тюхтета, причастных к моему выздоровлению. Иногда казалось - вся округа участвовала в происходящем, внося свою толику человечности, сочувствия.

Если бы не моя жуткая болезнь, я бы никогда не узнала, сколько доброго скрывается в людях. Уборщицы, русские приносили мне из дому то блинчики, то бутылку парного молока. Одна учительница средней школы, незнакомый мне человек, прислала в больницу шмат соленого сала, тетрадь с карандашом. Водовоз появился с кастрюлькой пельменей, сдобренных сметаной, «от своей старухи». И врачи приходили не с пустыми руками. Сам хирург Киров угощал крепким кофе. Эрика - печеньем от своей свекрови.

Подшло Рождество. Берзиня принесла ёлочку, украсила свечками. Латышки осыпали маленькими подарками и знаками внимания. Моя мама закончила поздравительное письмо стихами: пусть однажды для мучеников, оторванных от родины, откроются пути свободы...

. Прислал стихи Олаф, а его отец - мастер народных ремесел - свое приветствие нарисовал на бересте.

Рождественским утром Флора вручила мне открытку от сына. Алнис кинул ее в почтовый ящик недалеко, в Боготолу, по дороге на Дальний Восток.

Алнис призван в армию

28 октября 1952 года Алнис был призван в армию. Произошло это неожиданно и так стремительно, что он не успел даже съездить в Сермули и проститься с бабушкой. Собрала его и по-матерински проводила в дальний путь Луция. Служить Алнису предстояло на Дальнем Востоке.

Полдороги на Восток сын уже проделал однажды восьмилетним арестантом. В 14 лет вернулся в Латвию полулегально, под видом «помилованного» сироты. Теперь ему было 20 - и он в компании сотен таких же юношей ехал по Транссибирской магистрали как полноправный гражданин и новобранец. (Но всего через год он проделает обратный путь снова в вагоне с зарешеченными окнами, в компании воров и убийц).

В Боготоле на станции он отправил мне открытку.

За Красноярском следовали сибирские горы, Байкал и Забайкалье, река Амур, Хабаровск. Войсковая часть располагалась рядом с китайской границей. В Риге Алнис не успел доучиться; в который раз ему пришлось внезапно покинуть школу. И начатую самостоятельную жизнь, и дружбы, увлечения... Армейская служба, говорили ему, священный долг. Но в его судьбе это был очередной разрыв; она состояла теперь из нескольких несоединимых кусков.

Жизнь

1953 год в Тюхтете начался тяжелой автоаварией. Пострадавших было много, в больнице не хватало мест, и меня выписали раньше, чем собирались.

Январский короткий день закончился, и сосед Алексей Линкевич в темноте проводил меня к подводе с уже знакомой белой кобылой в запряжке. В моей избушке светило окно. Кому незнакомо чувство, охватывающее при виде освещенных окон дома. Тебя ждут!

Старая Берзиня, обе Аустры и Гредзените встретили меня широко открытой калиткой. В комнате Мика развалился на полу,

который отскребли добела, и замурлыкал при виде меня, как целый оркестр. Это было настоящее возвращение домой. В избе чисто, прибрано, пахнет пихтовой смолой.

Правда, к зиме жильё некому было утеплить. По углам на стенах выступил иней. На подоконнике снег, нанесенный сквозь щелку в окне. Но ничего не украдено. Стекла целы. И забор в порядке.

Отпраздновали мое возвращение к жизни, и мы с Микой остались вдвоем, вполне счастливые.

На ночь я закутывала голову в два-три платка. Иногда не хватало сил принести дров, и в нетопленной избе я не вставала с постели. Под лисьей шубой, которую принес мне из тайги знакомый охотник, я не мерзла. Мика тоже прятался под одеялом как можно дольше.

Холодно не было, я не скучала. Радовалась, что жива, дорожила теперь каждым мигом. Ничто в жизни не казалось больше дурным или непоправимым. Душа - точно умыта.

Мое местожительство не казалось мне глухим, темным, нищим, как раньше. Все вокруг окрасилось в цвета моей новорожденной радости. Я поняла, как хороша и красива жизнь где бы то ни было, жизнь как таковая, как неповторим даже один-единственный солнечный луч, проникший в замерзшее окошко землянки.

Вскоре Луиза прислала мне целый воз дров; ее два сына занялись пилкой и колкой. За дрова заплатила, за доброту и заботу осталась должна.

Из дому прислали деньги и посылку - масло, сало, теплую ткань на рубашку и блузку. Правда, как раз материи на блузку я там не нашла, кто-то изъял по дороге, такое случалось нередко.

. Элла у себя в колхозе получила денежную премию и 20-килограммового поросенка. В письме она делилась радостью: опять она может помочь своим ссыльным! И новобранцу Алнису тоже.

Посылка пришла и от Жени, вдовы Адольфа: копченое сало, яблоки. И хвойный венок на могилу мужа.

Латыши с базы приносили мясо, муку. Плита топилась весь День напролет. Я опять взялась за вязание. Работала лежа, как до больницы. Сидеть после операции было трудно, но ходить я уже могла.

Судьба Флоры

В моей лачуге календаря не было. Но по склону горы уже весело скакали козлята. Солнце в полдень согревало комнату не хуже печки. Ясное дело, пришла весна. Света и тепла вот-вот хватит всем.

Я вязала беспрестанно. Работы было хоть отбавляй. Зато я уже сама зарабатывала на хлеб насущный и к тому же могла хоть сколько-то отблагодарить своих спасителей. У меня сохранился с того года список вещей, которые я связала или собиралась связать за лето. Маме - кофту, Кристине - платок, Кукайните - платок, Лазаревич - салфетку, малышу - рукавички, учительнице - кофту, портнихе - шарф, Фане - рукавицы, Элзе - кофту, Флоре - платок, Аустре - платок, Луизе - платок, А. Я. - платок.

Пряжу приносили сами заказчики. Из дому тоже присылали свою долю. Мне оставалось только вязать - лёжа с утра до вечера. Когда я выполнила все, что значилось в том длинном списке, и все ли успела, сейчас уже не скажу, но зато прекрасно помню, как выглядели все эти кофты, шарфы, рукавицы и платки: каждая вещь требовала своего решения, нового узора, который я сама же и придумывала; повторений у меня почти не было. Работа так завладела мной, что пальцы сами уже как бы видели, где правый завиток, где левый, где звездочка, где петелька для пуговицы, где кант.

Именно тем летом укрепилась и созрела моя дружба с Флорой Иосифовной Гольдберг и Владимиром Федоровичем Гроссе, доктором наук, арестованным в Москве и после отбытия лагерного срока сосланным в Тюхтет. По воскресеньям, когда я, как обычно, вязала, они сидели у моей постели и рассказывали о себе, да и обо всем на свете. Оба были музыкальны, пели мне иногда, подарили радиорепродуктор. В Тюхтете им не хватало собеседников, они чувствовали себя довольно одиноко. С медперсоналом больницы отношения были ровные, но не близкие.

Флора вошла в круг самых близких мне людей и остается в нем по сей день, давно уже возвратясь в Москву. Флора очень ценила

латышей, в особенности после их трогательного «паломничества» ко мне, болящей. Я же могу сказать, что в жизни не встречала более чистого душой человека, чем она.

Чистым, открытым было отношение Флоры к любому человеку. Ее обожали и врачи, и больные, я в том числе. Флора не рыдала над чужими несчастьями, но ради больного готова была взвалить на себя любую тяжесть. Однажды из-за непростительной оплошности медсестры - неправильно введенной инъекции - умер пациент. Флора взяла чужую вину на себя: выгораживала мать многодетного семейства, попала под суд... Мне трудно представить, чтобы еще кто-нибудь мог поступить так самоотверженно, а для нее это была норма.

Флора в Москве окончила исторический институт, отбыла срок в лагерях. Именно там ее взял в помощницы знаменитый хирург, тоже «зек», заключенный, и она оказалась прилежной и талантливой ученицей. В 1949 году ее сослали в Тюхтет. Здесь она встретила Владимира Федоровича - московского немца, бывшего директора Института микробиологии, автора многих научных публикаций и книг, тоже ссыльного. Когда-то его отцу в Москве принадлежал знаменитый нотный магазин. Они зажили вместе в землянке, которая была ничуть не лучше моей.

Флора-Флорина был младшей дочерью врача-еврея, известного в Польше. Семья жила в Варшаве, дети ни в чем не знали недостатка. Но девочка с самых ранних лет прониклась сочувствием к бедному люду. Еще школьницей она вступила в коммунистическое подполье, жила идеалами всеобщего равенства и справедливости. Родители, прознав о секретах младшей дочки, пришли в ужас и отправили ее к старшей сестре в Израиль.

Вот что рассказывала мне сама Флора: «В Израиле я научилась немного говорить на иврите, немного по-арабски. Семья сестры была весьма зажиточной, и мне там нечего было делать. Климат слишком жаркий для меня, природа сухая, как бы привядшая. Я истомилась от скуки и тоски по родной Польше. Была в Вифлееме, была в храме Гроба Господня с живым огнем, была в Иерусалиме, обошла, объехала все святыне, в Библии описанные места. Но тоска не отпускала, я рвалась в Варшаву, и в конце концов добилась своего.

Мои идеалы и убеждения на чужбине еще более укрепились. В Польше я возобновила связи с подпольщиками и не отказывалась от самых трудных заданий. Дома я была под подозрением, но тем не менее долго как-то выкручивалась. Окончила среднюю школу. Влюбилась, впервые в жизни. Моего избранника, еврейского юношу, звали Фаба. Разумеется, тоже борец за справедливость. Фаба был из бедной семьи, с трудом окончил среднюю школу. Но я умела разглядеть в нем настоящее величие.

Представить его родителям я не могла. Он пережил уже несколько арестов, состоял на учете в полиции как коммунист. Мы могли встречаться только вне дома, чтобы предаваться мечтам. Была у нас и страна - воплощение революционной мечты: Советский Союз. Вот где люди свободны и счастливы, где рабочие и крестьяне у власти!

Новые обстоятельства подстегнули дальнейшее. Фаба оказался на грани провала, ему грозил арест. В семье узнали о моих новых «прегрешениях». Мы решили бежать из Варшавы, из Польши. Куда? Конечно же, в страну победившей революции! В СССР!

Распрощаться со своими было вовсе нелегко. Идеалы идеалами, а решиться на расставание с родителями, с родным городом я долго не могла. Мучилась, сомневалась, не спала ночами. Фаба уехал один. Помог мне случай. Хотя «помог» - это, наверное, не то слово. Случай был безобразный.

Однажды, наскоро перекусив, я вернулась в свою комнату и увидела там сестру, которая рылась в моем портфеле. Я так возмутилась, что, подскочив, залепила ей пощечину. Последовал жуткий скандал, в результате которого я сбежала - с тем самым портфелем в руке. И не вернулась. Никогда больше не видела ни одного из близких.

Меня объявили в розыск. Скрываться и затем перейти границу помогли товарищи по подполью. Сперва вручили поддельный испанский паспорт, визу, широкополую черную шляпу, одежду, я выучила несколько необходимых в дороге испанских фраз. По натуре я боязлива и не склонна к авантюрам, так что все это потребовало от меня невероятных усилий. До границы довел проводник, дальше пришлось передвигаться на свой страх и риск. Мне повезло. Границу перешла, никем не замеченная.

С Фабой мы встретились в Ленинграде. И тут, как пузыри, лопнули все мои представления и мечты о стране всеобщего счастья. И сама я была как сдувшийся воздушный шар: съеживаюсь, съеживаюсь, вот-вот от меня ничего не останется. Могу сказать: разочарование было мгновенным и бесповоротным. Ради этого я оставила мать и отца, родину? Но было поздно что-либо изменить.

Мы отправились в Москву. Там товарищи по партии помогли найти работу, жилье. Оба мы с Фабой поступили учиться на исторический факультет, через четыре года окончили его. Жизнь не была легкой, но скучать не приходилось. Шок от первой встречи со страной Советов давно прошел, мы, казалось, нашли свое место в тамошней жизни, вера в прежние идеалы вернулась. Коммунизм, говорили мы себе, враз не построишь. Нужны годы борьбы и труда, сильная воля, настоящие люди.

Фаба был теперь редактором в книжном издательстве, я учительницей. Работали с увлечением. У нас родилась дочь, но через несколько месяцев захворала и умерла. Я впала в отчаяние, о котором боюсь и вспоминать. Только чудесная любовь Фабы вернула меня постепенно к жизни.

Если бы у вас хватило терпения слушать, я бы рассказывала и рассказывала о своем муже. Такие люди - редкость. Но, может быть, длинного рассказа и не вышло бы, потому что его жизнь была короткой.

Зимой 1937 года однажды вечером прихожу я из школы. Смотрю - дверь нашей комнаты настежь, вещи разбросаны по всему полу. Нас ограбили! Надо срочно разыскать Фабу и звонить в милицию.

Тут за моей спиной возникла соседка. Я обернулась, спрашиваю: «Вот, полюбуйтесь! Вы ничего не видели?» Отвечает: «Как же. Видели. Вашего мужа арестовали и увели». «Как? Куда увели?» «Наверно, в тюрьму. Куда же еще!»

Я все еще не понимала. Как могли арестовать моего Фабу - честнейшего человека, убежденного коммуниста? Польского подпольщика! Тут трагическое недоразумение, надо срочно выяснить, в чем дело. И я побежала сломя голову к подруге Лизе - однокурснице, тоже учительнице, тоже еврейке.

- Лиза, ты можешь это понять - Фабу арестовали!

- Чему ты удивляешься? Сейчас всех нерусских берут подряд. Да и вообще, в нашей стране кто угодно в любое время рискует свободой и жизнью.

- Что за чушь! Ни одного невинного у нас не схватят.

- Ты что, слепоглухонемая? Ничего вокруг не видишь, не слышишь, не понимаешь?

Лиза была критически настроена. Хотя, между прочим, партийная. Я всегда старалась избежать спора с ней. Но в этот раз не совладала с собой.

- Никто не тронет человека, если он ни в чем не повинен. Это же не Америка, не Германия, а Советский Союз! Может быть, Фаба что-нибудь скрыл от меня?

Ох уж мне этот идеализм! Фабу я любила больше жизни и все-таки готова была скорее допустить, что он в чем-то виновен, чем заподозрить в несправедливости советскую власть.

Через пару месяцев арестовали и меня. Тюрьма, допросы, пытки. 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Тогда-то я и поняла, что Фаба ничего дурного не совершал.

Меня переводили из одного лагеря в другой, чем дальше, тем хуже. Работу я еще могла выдержать, но лагерная обстановка просто убивала. Начальство как будто нарочно выбирали из выродков, садистов. Не угодишь им - жуткий карцер на много суток. Карцер представлял собой совершенно темный каменный мешок, такой тесный, что в нем можно было только стоять. На оправку выводили раз в сутки, поэтому там стояла ужасающая вонь. Стены скользкие, липкие от сырости. Под ногами жидкая грязь. Кусок хлеба и кружка воды через день. Попала в карцер и я.

Почувяв запах хлеба, откуда-то выползли крысы. Я замахала руками, но те не боялись, видимо, привыкли к слабым узникам. Я подняла руки высоко над головой и перекладывала ломоть хлеба из одной руки в другую. Но крысы оказались сильнее. Отняли половину хлеба, искушали руки, поцарапали лицо. Я простояла в карцере три дня и ночи. И теперь вспоминаю их с содроганием.

После этого тяжело заболела. В больнице быстро сбили температуру и сразу же перевели в другой лагерь с характеристикой: упряма, не подчиняется режиму.

На новом месте меня назначили хлеборезом к уголовницам. Голод, ясное дело, ужасающий. Хлебная пайка 200 граммов в день. Делить хлеб на порции приходилось при всех, на столе, в присутствии оголодавшей орды преступниц. Меня честили почем зря за то, что мало отвешиваю. Последним хлеба всегда не хватало, а мне тем более. Иногда хлеб до раздачи отщипывали, отхватывали по кусочкам, и вообще не оставалось что делить. Следовали тычки, споры, жалобы. Освободил меня от этой «должности» только счастливый случай. Я говорю «счастливый», но он мог кончиться совсем печально. Однажды во время взвешивания недовольная воровка так ударила меня котелком по лицу, что рассекла надвое щеку, губы, подбородок. В больнице рану зашили, и я тут же была отправлена в следующий лагерь как «неисправимая драчунья». (Шрам на лице Флоры был очень заметен).

В другом лагере меня определили помощником к татарину-хлебопеку, известному злобным нравом, - мол, он умеет таким, как я, обломать рога.

То была правда. И татарин оказался не лучше карцера или целой банды уголовников. В первый же день он схватил меня и обошелся, как кот с мышью, не обращая внимания на то, что лицо мое было только что зашито в операционной. Никого другого поблизости не было, моих криков никто не слышал. Я даже укусить его не могла - рот завязан. На другой день я отказалась идти на работу, пускай хоть расстреляют. Голова моя горела, рана, только что зашитая, открылась.

Карцер. На этот раз без крыс. Через трое суток спрашивают: пойдешь на работу? «Нет». Еще трое суток. «Ну что, тебе не обрыдло? Идешь на работу?» «Нет!» И в третий раз карцер. Я выдержала, хотя с этого момента в легких начался туберкулезный процесс, и остались от меня кожа да кости. После третьего карцера уже не спрашивали ни о чем, переслали в очередной лагерь.

Там... Но хватит ужасов. Мне был назначен строгий режим, как неисправимой. Выдержала. Может быть, еще и потому, что попала в лагерную больницу, где родила мертвого ребенка от насильника-татарина. К тому времени у меня была открытая форма туберкулеза, разрушенная нервная система. Меня выписали, как только смогла сделать несколько самостоятельных шагов.

Родителей я бросила, родину-Польшу покинула. Думаю, что понесла за грехи немалую кару. Родным в немецких газовых камерах досталась, по крайней мере, скорая смерть, говорила я себе. Не то что «жизнь» в гуманных советских лагерях и застенках.

Фабу я потеряла, идеалами моими полакомились тюремные крысы. Ничто больше не связывало меня с жизнью и людьми. Каяться в своей наивности у меня не достало бы сил, но покончить с собой, я знала, хватило бы. Решение мое было твердо, рука не дрожала, когда я в стакан с водой ссыпала несколько десятков порошков люминала, специально скопленных тайком в больнице.

Вечер. Вокруг обычный для барака гвалт. Выпила густой раствор люминала, укрылась с головой вонючим лагерным одеялом и спокойно уснула. Такой меня нашли наутро и отвезли в больницу. Сердце не успело остановиться.

Неделю пролежала без сознания. Сохранить мне жизнь самоотверженно старались два лагерных врача, сами тоже осужденные - Николай Иванович и Владимир Федорович, ведавший лабораторией. Последний осуществлял медицинский контроль продуктов, привозимых в лагерь. В лаборатории имелись подопытные кролики, мясом которых он меня тайком подкармливал в течение всего последующего года. Меня выписали через год с подлеченными легкими и возвращенной волей к жизни. Однако в барак не послали. Оставили при больнице помощницей медсестры, чтобы я была под присмотром моих спасителей-врачей, к аргументам которых начальство иногда все-таки прислушивалось.

Шли годы. Пройдя на практике необходимую учебу, я сделалась операционной сестрой, правой рукой хирурга Николая Ивановича. Он многого требовал от меня и много давал. Между нами установилось идеальное взаимопонимание. Новое дело меня увлекло, и все, мучившее и терзавшее меня до этого, казалось дурным сном, о котором, правда, все время напоминал шрам на лице. Здесь, в лагерной больнице, начался наш роман с Владимиром Федоровичем. Он был заботлив, весел, в нем ярко проявлялись черты истинного ученого. Правда, он поддерживал переписку с женой - русской, московской докторшей, но, по его же словам, никогда ее не любил.

Фаба, о котором я ничего не знала все эти годы, неожиданно объявился - приехал ко мне в лагерь. Уже свободный. Непрестанно искал меня и только накануне узнал точный адрес. Он отбыл восемь лет в лагерях, по освобождении вернулся в Москву и теперь преподавал историю в том самом институте, где мы когда-то учились.

- Буду ждать тебя дома. Так же, как ждал каждый раз перед нашим свиданием, - сказал он.

Если бы я была уже на том свете, всю оставшуюся вечность жалела бы, что умерла слишком рано, не услышав от него этих слов.

Мы расстались легко, без слез. Я сказала, чтобы он не ждал меня, что я физически и духовно искалечена, что его женой не смогу больше быть ни при каких условиях. И когда выйду на свободу, неизвестно. Пусть он не беспокоится обо мне, у меня есть друг, Владимир, которому я обязана жизнью.

Фаба, несмотря ни на что, писал мне, от него приходили денежные переводы, посылки.

Из женщин самым близким мне человеком была латышка Хелга, невестка бывшего военного министра Латвии Беркиса. Золотое сердце. Единственное, что мне не нравилось, - что она вспоминала иногда, какие драгоценности у нее будто бы отняли в Свердловске. О всяких своих дорогих вещах, отобранных при аресте властями, нередко рассказывали и другие латышки. Я им не верила. Золото и бриллианты, норковые манто и шелковые ночные рубашки когда-то обеспечивали своим женам только богатейшие польские паны. Откуда такое у латышек?

Владимир Федорович отбыл срок первым и был сослан в Тюхтет. Меня, как и Хелгу, освободили год спустя; какое-то определенное место ссылки мне не было указано. Хелге разрешили вернуться в Латвию, а для меня недоступными оставались не только Польша, но и Москва, и европейская часть страны.

До Свердловска мы с Хелгой ехали вместе.

«Флора, если мне вернут отобранные вещи, мы могли бы одеться как подобает и завтра пойти в театр», - сказала мне Хелга.

«Опять ты о своих драгоценных вещах! Я ведь говорила, что в эти сказки не верю».

«Не веришь? Но у меня есть квитанция! Смотри! Мне удалось сохранить ее, как ни странно».

Пошли мы вместе, и действительно, через день Хелга получила обратно вещи, которые когда-то взяла с собой при аресте. Часть она мне тут же подарила: две ночные рубашки, две серебряные ложки, настольные часы, шелковое покрывало. Я так удивилась! И вещам, и тому, что они сохранились и были возвращены, и щедрости моей латышки. Мысленно не раз извинилась за то, что когда-то посчитала ее лгуньей.

Я поехала в Тюхтет к Владимиру - больше мне и некуда было ехать, не считая Москвы, для таких, как я, закрытой.

У Владимира была небольшая комнатка при больнице. Мы начали жить вместе, о чем я написала Фабе. Потом я узнала, что Фаба женился на своей студентке - латышке Тамаре.

Владимир бывал болен, нервозен, нетерпелив в отношениях со мной, но на сегодня он для меня весь свет в окошке, вся радость, вся жизнь. Чем лучше я его узнаю, тем незначительней кажутся мелочи и вырастает в моих глазах сам человек».

Вот вкратце рассказ Флоры, как он мне запомнился.

Как раз в те дни, когда я вышла из больницы, Владимир и Флора приобрели землянку за 1200 рублей. То была узкая, длинная, темная пещера с низким оконцем, никогда не видевшим солнца. Без дополнительного освещения там невозможно было читать даже в разгар дня. Уговоры друзей не покупать «никуда не годную» землянку они игнорировали, потому что устали искать лучшую.

В больнице мы сдружились. И оставались близки также и потом, делились и мыслями, и хлебом насущным. Когда я смогла выходить из дому, первый визит был к ним.

У них была черная кошечка с тремя котятками. Когда те уставали бегать и возиться, усаживались рядком у порога всегда в одном порядке: черные по краям, в середине серый. Никогда иначе. Десятки раз. Возможно ли было, что это случайность? Даже доктор микробиологии не мог сказать.

Еще был у них черный щенок Джем, неуклюжий, косолапый. Даже в самый сильный мороз он лежал в холодных снях, что, впрочем, псам не вредит. Когда Флора ходила по воду к колодцу

в соседнем дворе, Джем семенил следом. Зимой вокруг колодца нарастал лед, и однажды щенок прирос к этой наледи всеми четырьмя лапами. Флора побежала в землянку за топором, а бедный пес ревел, как сирена теперешней «скорой помощи». До того, как Флора вернулась, щенок успел оторвать одну лапу, оставив во льду черную подушечку; потом лапу пришлось долго лечить. Остальные три лапы хозяйка сумела вызволить из ледового капкана. Больше Джем к колодцу не бегал никогда.

Начал таять снег, воробьи точно опьянели, однако докторовой землянки весна почти не коснулась. В оттаявшее окно проникало больше света, но солнце так низко не заглядывало.

Тяжело заболел Владимир. В больницу он не хотел ни в какую. Ухаживали за ним дома. Флора ночами, я днем.

Прокатилась первая весенняя гроза с громом и молнией, сопровождаемая сильным ливнем. Травяная крыша не выдержала, с потолка полилось. Когда я наутро пришла к ним, все выглядело как после потопа. Вода лишь немного не дошла до кровати, где лежал больной. Вокруг - тазики, крынки, кастрюли, в которые беспрерывно капает, льется с потолка. Над головой Владимира пристроен столик, чтобы земля с потолка не попала в глаза. Флора уже ушла на работу, больной лежал в одиночестве.

- Доброе утро!

- Доброе утро! - бодро отвечал Владимир из сумерек в глубине землянки. - Не бойтесь, я еще жив. Там на табуретке мои сапоги, надевайте их и идите сюда. И скажите откровенно, что вам ближе - «Ромео и Джульетта» Гуно или Прокофьева?

Вопрос в тех обстоятельствах прозвучал, прямо скажем, неожиданно. А балет Прокофьева я к тому же в то время не видела и не слышала.

После обеда мы все-таки увезли Владимира в больницу, а Флора из своей полузатопленной землянки перешла в мою халупу.

Когда их землянка просохла, мы обе ее залатали, как могли, и доставили Владимира снова домой. Какой бы ни был, сырой и темный, это был их дом. Свой. Вокруг землянки они насадили множество цветов, так что снаружи их жилье выглядело даже по-своему романтично.

Коза моя заболела, пришлось забить. Флора и Владимир дали мне 300 рублей, чтобы приобрести новую. Покупка оказалась удачной. Коза, рыжая с черной головой, оказалась ласковой и умной. К Новому году она уже доилась.

Внезапно с работы уволили Флору. Она опять взяла на себя чужую вину. Сестра закапала в глаз больному спирт вместо пенициллина. «Понимаешь, у нее маленький ребенок, вся жизнь впереди. А мне ведь уже нечего терять. Глаз удалось сохранить, но скандал был!» В больнице нашлись врачи, не поверившие, что Флора могла совершить такую оплошность, однако начальству следовало реагировать на ЧП, и Флору уволили. Владимир снова заболел.

Вскоре знакомый врач вызвал Флору в Канск - работать в туберкулезном санатории. Пока оформляли документы, они продали землянку и перешли жить ко мне.

В Канске все сложилось для них как нельзя лучше: своя квартира, хорошие условия работы и жизни. Они звали в Канск и меня, но уехать еще дальше от родины было выше моих сил. Да и полуземлянки, обжитой за годы, было жаль. А всего трудней показалось расстаться с моими латышками, их-то никто и ничто не могло заменить.

Арнольд написал, что серьезно болен. Я продала свою шерстяную шаль, собрала и отправила в Норильск посылку. И вот письмо: посылку получил, встал на ноги и скоро будет в Иркутске: прощай, Север!

Письма с Дальнего Востока

Из писем Алниса.

6 мая 1953 года.

«Невыносимо одиноко в этом пустынном краю. На первых порах было трудно. Опять тебя вырвали из нормальной жизни, опять не окончена школа. Если все время об этом думать, положение кажется безнадежным.

Но скучать некогда. Я учусь на радиста. Специальность интересная, и после службы пригодится. Начальство не придирается - учусь я прилично, к тому же спортсмен, а еще могу помочь во всяких технических вопросах. Но бывают случаи, которые кончаются нарядом вне очереди - мытьем полов. В физическом смысле меня трудно сломить, есть закалка. О будущем стараюсь не задумываться - к примеру, сколько еще километров портянок придется намотать на ноги за службу. Нас тут семеро латышей. Я держусь вместе с таким Валентином Межмалисом. Характеры у нас противоположные, но мы ладим. Он тоже учится хорошо, развит во всех отношениях. Я отслужил уже полгода. Настоящие мои друзья рассеяны по всем концам страны, и все мы призваны в одну неделю...»

На большой карте, висевшей у меня в комнате, я не нашла поселок Гродеково, откуда приходили письма сына. Дальний Восток - это огромные пространства: все Приморье, прилегающая к китайской границе территория, уссурийская тайга с сопками и тиграми...

5 июня.

«К моим профессиям теперь прибавятся еще две: радиотехника и радиотелеграфиста. Дело хорошее. Наши старослужащие рассказывают, что на гражданке зарплаты от 1200 до 2500 в месяц. Хотя после службы я буду уже старым, все еще думаю учиться дальше. Планы могут опять лопнуть, но почему не помечтать об университете, институте.

Сейчас я в отпуске - в горах, где настоящий рай. Склоны гор поросли молодыми дубками. Воздух чистый, на вершинах сопок спят облака. Сверху земля кажется золотой. Много занимаюсь спортом, поэтому не пугают ни холод, ни дальние походы».

30 июля.

«Были на учениях, поэтому не писал. Пришлось по-настоящему тяжело. Всю дорогу шли дожди, учения в поле, спать приходилось чуть ли не в воде, а то и вообще обходиться без сна. Когда идем в наступление на «врага», даже кухня иногда не поспевает. Тяжело, но опять же закалка на будущее».

27 августа.

«Вызвал меня один большой начальник, спросил насчет прошлого. Я сказал все как есть. Тогда он признался, что это была проверка моей искренности, и ему известно, что сказанное мной - правда. Об отце я сказал, что он умер, но тот возразил - неверные сведения! Отец отбыл наказание и теперь трудится недалеко отсюда, пока что подробности он не может сообщить. Прямо и не знаю - верить или нет? Хотя - можно ли так врать?»

Можно. Так нам лгали сплошь и рядом, хорошо зная, что лгут.

2 октября.

«В ближайшие дни окончу школу и буду полноценным радистом. Все время был на учениях. Работа ответственная, требует полного напряжения духа, хотя физически не тяжелая. Во время учений передвигаюсь на легковушке, обеспечиваю связью начальника высокого ранга и с большими связями. Тут всё как на войне: стреляют, атакуют, отступают. Вокруг горы, как в Приморье. Был и на реке, которая отделяет нас от соседей. На том берегу видели их поселок, который ничем не отличается от наших. В горах обитают звери, каких в Риге можно видеть только в зоопарке. На деревьях прячутся фазаны... Иногда случаются неприятности, но я им не придаю особого значения.

Скоро мне 21. Довольно грустно, особенно если подумать, что пока ничего не достиг. Все надежды на будущее...»

И вдруг... Алнис пропал. После года службы на Дальнем Востоке, когда я, хотя и с перерывами, получала от него письма,

они прекратились. Прошел и месяц, и больше. Ни строчки. Тревожили глухие упоминания в последних письмах о каких-то «неприятностях». По документам Алнис числился воспитанником детского дома, родители которого неизвестны. Но ведь есть службы, есть целая армия сотрудников, есть бумаги, по которым можно без труда выяснить: 12 лет назад родители солдата арестованы и покинули родину в вагонах для перевозки скота.

Тревога росла с каждым днем. Может, с ним какое несчастье? На военных маневрах чего только не случается! А те самые тигры? Да мало ли какие опасности подстерегают там, на краю света?

Мысли сами собой скапливались, как грозовые облака, клубились глубоко в подсознании.

В начале ноября из какой-то войсковой части получила чужое письмо на имя сына. Открыла, не могла не открыть. Писал ему, видимо, армейский товарищ, Борис: «Алнис, думаю, пора тебе написать и переслать твою почту. Ты, наверное, уже у мамы...»

Из этих строк я поняла, что Алнис, во-первых, жив, во-вторых, уже не в армии и собирался ко мне. Вопросы оставались. Где он теперь? Что вообще случилось? Ведь он прослужил всего-то неполный год!

Наконец, 20 ноября пришла весточка от самого виновника всех этих беспокойств и тревог. «Еду к тебе, причем насовсем. Буду к Новому году. Подробности - по приезде. Как видишь, я жив. Жди. Сын».

Алнису всего 21 год, но сколько всего за спиной! Родился в достойной, работающей семье, но уже восьмилетним ребенком арестован и сослан в Сибирь, точно государственный преступник. В голоде и холоде, в чужих краях и под присмотром комендатуры прожиты шесть военных и послевоенных лет. Полулегальное возвращение на родину в статусе сироты, непрерывная борьба за хлеб и знания. Только-только жизнь стала входить в нормальную колею - призыв на военную службу. И вот теперь новый поворот. Должно быть, открылось жуткое преступление: два десятилетия назад он посмел родиться у своих отца и матери! Этого простить нельзя! Вон из армейских рядов! В тюрьму его! К ворами и убийцам!

Вторая ссылка

От солдата до арестанта

Тюхтет был сравнительно тихим поселением, до которого волны преступности, захлестывавшие порой Красноярск и даже Боготол, не докатывались. Мы лишь слышали о тамошних ужасах от приезжих. У нас бывали, правда, случаи мелкого воровства. И не такого уж мелкого: у меня однажды в ночь на «годовщину Великого Октября» украли молодую козу.

На этот раз, в декабре 1953 года, пришел и наш черед содрогнуться. Люди рассказывали: того-то раздели, другого ограбили, третьего чуть не пришибли на улице. Люди уже боялись в темноте выходить на улицу; снабжали двери крепкими запорами.

16 декабря я рано легла спать, но сон сначала не шел, а потом был неглубоким и рваным: крутились в голове слухи о бандитах, пугали даже удары ветра в лубяную крышу.

В чуткой полудреме услышала стук в дверь. Накинула на себя что-то, но свет зажечь не решилась. Подожду еще! Если это грабитель, то пришел не по адресу, если гость, то слишком поздно. Ну, а уж если латыш или латышка, оказавшиеся без крова, ищут «Малую гостиницу», придется впустить.

Через минуту шаги по снегу, идут вдоль стены к окошку, вот кто-то рукой легонько коснулся стекла. Легонько - значит, не бандит.

- Яновна, не бойся! - слышу через окошко голос соседки. - Я тебе гостя привела!

Я зажгла лампу и отворила дверь.

Вместе с клубом холода в землянку вошел солдат, согнулся в дверях чуть не вдвое; вещмешок в руке. Когда вошедший распрямился, голова уперлась в низкий потолок.

Если бы я не ждала Алниса, передо мной оказался бы рослый чужак с незнакомым голосом, глазами, глубоко запавшими в серое лицо. Но я уже столько раз представляла себе сына в солдатской форме!

После первых волнений и объятий Алнис присел на скамью и долго-долго смотрел на меня.

- Мам, я думал, ты после болезни совсем сдала, а ты только поседела. Как это тебе удалось?

Но сам он выглядел таким громадным и взрослым, таким чужим и таким родным. Вырос без меня. И уже прошел через такое...

В мою избушку пришла радость. Может, и мимоходом, но вот она, здесь. Я перестала думать: что завтра. Только бы не кончалось сегодня.

Растопила плиту, поставила чай и большой котел воды греться.

- Хлеба в доме нет, но я тебе картошки пожарю.

- Спасибо, есть не хочется. Что-то с желудком. Наверно, от скверной еды. В дороге горячего почти не видали. А тюремная баланда и вовсе отравя.

Путник стянул с себя рубаху, не стиранную уже два месяца, вымылся до пояса, попил чаю, улегся в постель, разложенную на спальной скамье, и счастливо вздохнул:

- До чего же хорошо! Вот я и дома. Не припомню, когда в последний раз спал на чистом. Два месяца на нарах и вагонных полках. В баню водили, а вот рубахи на смену не было.

- Малыш, если ты еще в силах говорить, расскажи - как это все вышло? Как из доблестного воина ты превратился опять в арестанта?

- Мамочка, я и сам ничего толком не пойму. Ни с того ни с сего - бац! - и под арест. Видно, не понравилось, что ты еще жива. Сказали сдать вещи и - по этапу к месту жительства матери. За что? - на такие вопросы никто не отвечает. Сослуживцы прощались, иные смотрели вбок, когда меня уводили из казармы под конвоем. Может, кто и подумал, что я беглый каторжник.

- Но где ж ты был все это время? Дорога с Дальнего Востока до нас - дней пять, ну, неделя.

- Я ж говорю - доставляли по этапу, от тюрьмы до тюрьмы. Кормили впроголодь, а то и вовсе оставался без еды. В компании уголовников. Им приглянулись мои часы. Дареные, мне дорогие - пришлось отдать, со всеми разом никому не справиться. Полтора месяца в дороге. Потом в Боготоле еще просидел пять суток,

пока меня не забрал тюхтетский милиционер, маленький такой, но знаешь, вполне человечный. Достал мне шубу, валенки, иначе я в армейских сапогах и ватнике замерз бы окончательно. (Милиционер, о котором Алнис говорил, по фамилии Романов, и впрямь относился к людям по-людски. Наверное, поэтому и не удержался на службе].

Здесь меня принял комендант. Отпустил к тебе под честное слово - завтра нужно все оформить как положено. Спросил, знаю ли я, где ты живешь. Я соврал, мол, знаю, - боялся, что оставят в милиции на ночь. На улице расспрашивал прохожих, но пока нашел, два часа прошли. Такие вот дела. Опять я выброшен на мель. Но ты, мама, не тревожься. Начну работать, как-нибудь проживем!

Заснул мой мальчик ближе к утру, под боком у него, свернувшись в клубок, мурлыкал Мика.

600 рублей

Вернерс за долгие годы лагерей скопил 600 рублей и все их прислал мне. Как будто за тысячи километров почувствовал, как мне именно теперь нужны деньги. Спасибо ему, великое спасибо! Будет на что купить сыну валенки.

Этого не хватало!

Наутро Алнис не смог подняться. Мика сладко потянулся, сладко зевнул и раз, и другой, прыгнул с постели. Человек за ним не последовал. Алниса свалил приступ боли в правом боку. Врач установил диагноз: аппендицит. Этого нам еще не хватало! Постельный режим, сказал доктор. Может быть, удастся обойтись без операции.

Прознав о приезде моего сына, один за другим приходили друзья и знакомые, не только латыши. Приносили гражданскую

одежду, кое-что из продуктов. Правду говоря, мы вполне могли обойтись своими силами, но никто принесенное не взял обратно.

Операция Алнису на этот раз не понадобилась, приступ миновал.

Пурга

Алнис пошел наверх, в гору, искать работу. Электрики в Тяхтете на тот момент не требовались. Напрасно проходив весь день, Алнис вернулся помрачневшим.

На другой день, 30 декабря, на местной машинно-тракторной станции - МТС - его записали на курсы комбайнеров. Занятия там уже начались. Это был все-таки выход, иначе присланных братом 600 рублей хватило бы ненадолго. На курсах выдавали рабочую одежду, обеспечивали питанием и небольшой стипендией. Курсы эти размещались в Ачинске - в 100 километрах от нас, и ехать почему-то надо было в последний день уходящего года.

Я успела постирать солдатскую форму. Уложила все в старый лагерный чемодан Адольфа, дала с собой в дорогу съестного, 100 рублей и часов в 10 утра проводила своего взрослого сына наверх, к машине.

День был пасмурный. Стужа, метель. Алнис в армейском бушлате (он длинней, чем фуфайка), и ничего теплого, даже на руках - тонкие фабричные варежки: мои, вязанные ему оказались малы. А до Боготола - 45 километров, при том, что пурга разыгралась не на шутку.

В Боготол шли в тот день всего две полуторки, и места в кабине оказались заняты, так что сыну предстояло ехать в кузове. Алнис ловко взобрался, устроился на мешке с зерном, помахал мне рукой и втянул голову в воротник бушлата. Хорошо еще, что ноги были в тепле: мы успели купить ему валенки. Машина выпустила облачко противного черного дыма и исчезла за поворотом у больницы.

Дома я не ощущала тепла: всем существом поспешала вслед за пургой в Боготол. Я чувствовала себя виноватой - отправила сына, еще полубольного, плохо одетого, в такую непогоду.

Под вечер стужа и снежные вихри только набрали силу. Слушая разбойничий посвист пурги, я гадала, добралась ли машина до Боготола или, как это нередко случалось, забуксовала в снегу. И если они уже в Боготоле, нашел ли мальчик, где согреться?

Стемнело. Я зажгла лампу. В постели свернулся калачиком Мика. По крайней мере в новогоднюю ночь здесь мог бы отдохнуть и мой сын, зачем я его отпустила?

Мучило и многое другое. Арнольд не пишет. Неужели с ним случилось самое худшее? У Эллы плохо с сердцем. Нет сил снова и снова идти в коровник, и не идти нельзя.

В землянке была со мной и коза, которая вот-вот должна была окотиться. Алнис так хотел попить молока, целый год не пробовал, но не успел. И купить было негде.

Я ничуть не сомневалась, что решение насчет курсов было правильным, но так обидно было, что не смогла ничуть побаловать сына после того, как мы столько лет не виделись.

Ночью населения избы прибыло: трое козлят. В доме полный ералаш.

Первые часы нового года были ничуть не легче предыдущих. Так же завывала и бесилась за окошком вьюга. Что с Алнисом? Опять, как в прежние годы, с замиранием сердца надо ждать его письма.

На курсах комбайнеров

5 января 1954 года:

«Мамочка, наконец-то прояснились мои обстоятельства и я могу что-то рассказать тебе.

В Боготол добирался трудно. То и дело приходилось работать лопатой, чтобы пробиться сквозь пургу. Недалеко от Чети пересели на машину побольше, но от Чети пришлось шагать пешком. По дороге нагнал парня, который направлялся в Боготол с той же самой целью. Пошли вместе. У него в Боготоле нашлись знакомые, мы у них остановились и остались на весь следующий

день. В Ачинск добрались 2 января, но так как занятия начинались только 4-го, пришлось остановиться в гостинице. Вчера только нас приняли на курсы, но угол надо было искать самим.

В школе комиссия из Москвы: курсы теперь будут числиться по линии трудовых резервов. Стипендию дают 285 рублей, 50 из них уйдет за жилье. Питание дважды в день бесплатно, но завтрак за свой счет. Учение будет, похоже, не из легких».

В моей «Малой гостинице» кроме козы и трех козлят, помещенных в пустую бочку, теперь жила еще и Мария Залите. Она с сыном Дзинтарсом в свое время самовольно уехала в Латвию, как некоторые другие матери, но в 1950 году была схвачена и приговорена к трем годам лагерей, после чего снова сослана в Тюхтет. Здесь очутилась без средств, без крыши над головой, и вот попросилась ко мне.

Был налоговый инспектор. На меня хотели возложить налог, как на единоличницу - «кулацкий элемент»: как же, свой дом и нигде не работаю. Объясняла, что только что из больницы, перенесла тяжелую операцию, что теперь на иждивении сына, который учится на курсах комбайнеров. Но так как Алнис еще не был у меня прописан, слова мои оставили без внимания. Пусть принесу справку из больницы, тогда они посмотрят.

Из письма от 13 января:

«Учеба идет полным ходом. Занятия по 8-10 часов каждый день. Предметы: устройство комбайна, механизация сельскохозяйственных работ, агротехника, политехучеба, физкультура, технология металлов, электротехника плюс те, которые пока еще впереди. И, конечно, практика, начнется она тоже немного позже.

Профессия комбайнера не единственная, которую предстоит освоить. Будем изучать механизацию скотоводства, картофелепосадочные машины, доильные аппараты, механическую стрижку овец, силососмесители, универсальные мельницы и т.п. Большая часть курсантов уже работали трактористами, помощниками комбайнера, шоферами, поэтому считается, что все уже в курсе дела, хотя я-то в этих вещах пока ни бе ни ме.

Кормят хорошо, в обед и ужин первое, второе и третье. Только завтрак, я уже писал, за свои деньги дома».

В Тюхтете температура держалась около минус 40, я никуда не выходила. Вязала, понемногу читала. На душе все время беспокойно, голова гудит.

Вернерс просит достать и прислать ему в лагерь тромбон. Я передала его просьбу Грете.

Флора и Владимир в Канске чувствуют себя неважно, болеют.

Умерла тетя Пенце. Ночью, в своей постели.

Для Гредзене пошила юбку и блузку. Почти готов и большой платок - за него обещано 70 рублей. На них куплю хлеб, керосин и прочее.

Борюсь с козлиной бандой; теперь и коза, и трое ее отпрысков привязаны в ряд у стенки. Им нужно постоянно готовить варево и 33 раза в день подтирать за ними пол. Иной раз скотинки доводят до того, что хочется всех выставить за дверь. И Мика тоже - он бодается с козлятами так, что вот-вот дом развалится.

Алексей сочинил хороший сценарий для кукольного театра. Прочитал мне вслух, понравилось.

Флора прислала 100 рублей - «Купи себе какой-нибудь пустячок, порадоваться». Сами еле сводят концы с концами на новом месте, а еще шлют мне. И не отговоришь: они жить не могут, если кого-нибудь хоть чем-нибудь не одарят.

Алнис, 24 января:

«На курсах пока что все хорошо. Только по электротехнике, как ни странно, получил четверку. Было так. Позавчера меня вызвали к доске и задали до смешного простой вопрос. Но тут вдруг у меня все вылетело из головы, я ничего не помнил. Покраснел, стою, как дурак, и молчу. Это длилось минут пять, потом отпустило, и я ответил на все вопросы. На тот первый тоже. Садись, четыре. Но не четверка меня расстроила, а эта странность - внезапно в голове полная пустота, что это?

Думаю, во всем Союзе только в сельскохозяйственных школах такое: питание, одежда и вдобавок стипендия. Нам выдали полотняные брюки и куртки, плюс ватники и ремни».

26 февраля:

«В этом месяце я круглый отличник. Из 200 курсантов отличников шестеро. Надеюсь, что и на экзаменах все пройдет

хорошо. Сколько же можно! Так хочется поскорее закончить и начать работать».

Элла написала, что выработала в 1953 году 1800 трудодней. Это рекорд. Но выдадут по ним немного и деньгами, и зерном. Лечит сердце и нервы сахаром, советует и мне то же. Сахаром? Мы забыли, что это такое.

Убивает холод. Козлиное семейство все еще в доме, только в середине дня выпускаю ненадолго. Зря я решила держать козлят, у меня ведь нет ни хлева, ни кормов. Но теперь, что уж, надо тянуть до весны. Одного озорника отдам Берзине, Дону и Дангу оставлю у себя.

Алнис, 14 марта:

«Несколько дней назад в школе ребята говорят мне: «Что с тобой? Посмотри в зеркало!» Я послушался - вижу, лицо в какой-то сыпи. И такая же на теле. Пошел в поликлинику. Скарлатина! Мигом в больницу! Там поместили в детское отделение, кровать вдвое короче моего роста. На 30 дней минимум. И это как раз в то время, когда надо кончать школу! Но уже на второй день спала температура, сыпь прошла. Врачи обознались. Это была всего лишь краснуха. Она не опасна и не заразна, но там у ребятешек я мог и вправду заразиться скарлатиной или чем-нибудь еще. Меня тут же выписали из больницы.

В этом месяце четверок пока нет. В честь выборов вишу на доске почета. С учителями отношения хорошие. Пока что никто не дал понять, что я не русский. Экзамены начнутся 15 апреля - с политики и изучения колхозного Устава. Через несколько дней - агротехника. Потом разные практики, экзамены по специальным предметам. И под конец госэкзамен, после которого присвоят квалификацию. Решать будет комиссия из представителей края, организаций и МТС. Государственный экзамен - 15 июля.

После выпуска вскоре начнется жатва. В первый сезон, говорят, придется туго, навыков еще нет. Опыт придет на полях. Заработок соответственно - сначала поскупее, но на хлеб нам должно хватить. У меня вообще теперь целый букет специальностей, так что крапива в нашем меню, думаю, не повторится. Жду, когда же наконец начну работать и жить по-человечески.

Вчера нам выдали бушлаты, похожие на армейские, только синие. Дали и брюки с гимнастеркой».

Алнис прислал мне денег, я купила колья на забор. Хочу огородить на горе все 15 соток. Вскопать столько не смогу, но хоть сена будет вдосталь. Деньги остались и на хлеб, правда, в магазине он не всегда бывает. А вот очередь - всегда. Очень жду тех дней, когда мой комбайнер будет привозить хлеб домой и мне не надо будет больше стоять в бесконечных очередях. Каждый день хожу в тайгу за ветками для коз. Приношу оттуда и прутья для тына.

Нужно строить козий замок, всю зиму скотина в доме. До весны в этот раз дотяну как-нибудь, с мая коз будет забирать пастух, ему причитается 4 рубля в месяц за козленка, 8 за козу, итого 12. Хлев к осени построят Алнис.

Мика за зиму отошал. Ничего, откормится, когда на горе появятся жуки и ящери. Сама я здорова, только сил иной раз не хватает. Первая моя весна, когда не жалею о здоровье. Это такое счастье! До лета надо связать еще четыре шарфа, не знаю только, успею ли.

На Пасху Нюра мне подарила четыре яйца, Аустра «за заслуги» - я ей помогала стены в комнате побелить - еще шесть. Праздник получился богатый.

Алнис, 17 апреля:

«Насчет твоего налога. Его не плати. Механикам-комбайнерам вообще не надо платить, это относится и к их семьям. Так что тяни резину, пока я не вернусь».

Мой ответ 19 апреля: «Снег на горе сошел, уже три дня там пасется моя скотинка. Самое трудное позади, с рук кормить больше не придется».

Аустра привезла несколько пудов картошки. Хватит и сажать, и на прокорм. Осенью отдашь зерном, если заработаешь. Картошку весной придется сажать самим.

Купила 120 колеи на забор за 100 рублей и 21 ящик гвоздей за 21 рубль, то есть не самих гвоздей, а деревянных ящиков под них. Купила еще килограмм сахара и хлеб. Топор отдала наточить за 5 рублей. Колья мне вгонит в землю один тут черный, за очень даже белую денежку. Остальное я сама...»

Я пишу ему 22 апреля:

«Мой погреб затопило водой с горы, пришлось вытаскивать и воду, и картошку. Получила легкое растяжение. Продала свои старые очки за 20 рублей и твои сапоги за 35. В них я ходила долго, пока каблук не сломался. Продала нашему пастуху.

В этом году у нас наводнение, вода в реке поднялась на три метра. Милиция обходит дома, которые под горой, предупреждает, что в любой момент надо быть готовыми убраться. Моя будка все-таки немного повыше, может и не заденет.

Мика всю дорогу пасется на горе вместе с козлятами. Спрячется за куст и вдруг бросается на них, как тигр. Козлята пугаются, отбегают, а потом сами, рожками вниз и вперед, бросаются в атаку.

Один большой платок закончила, берусь за второй. Три ночи была за сторожа в пекарне. Там адская жарница, но зато каждое утро дают полбуханки хлеба. У них ночной сторож приболел».

Алнис, 29 апреля:

«Боюсь, чтобы вода не наделала делов. Наш дом хоть и не в самой низине, но если река поднялась на три метра...

Комбайн - дело хорошее, но сравнить с работой электрика все же нельзя. Если будет работа по механизации сельского хозяйства, то электротехника станет главной. Жаль только, что закончу учебу перед самой жатвой. Не выйдет обжиться на новом месте, познакомиться с обстановкой на МТС, а главное, всучат тебе старую машину, на которой не заработаешь. Уборка - около двух месяцев, потом уже работа на самой МТС, где с заработком должно быть получше.

Участвовал в шахматном турнире, сыграл на отлично».

Я - Алнису 7 мая:

«Вожусь с забором. Колья уже ошкурила, обтесала. Поперечины тоже частью принесла из леса. Колья вбивает сосед Яша, я только указываю места. И детишки с нашей улицы помогают, что-то принесут, поддержат. Тяжеловато, конечно, но деваться некуда - старая изгородь совсем никуда, скотина чуть не в дом забредает. Шестов хватит, а для частокола я заказала три подводы за 90 рублей. Это из тех, что мне заплатили за шаль. Надо помаленьку вскапывать огород. Вязание мне поднадоело.

Со скотиной новая забота: на выпасе выросла цикута, от нее любая живая тварь мрет за пару часов. Этой самой цикутой отравилась на Енисее наша Эверте. Только на нашей улице уже четырех коров как не бывало. Живем в страхе, что будет.

Улица еще полузатоплена. Люди и лошади ходят выше по склону.

Я так здорова, что даже не верится. Только руки саднит, натрудила...»

Алнис приехал - сильный, веселый. Принялся осваивать землю выше на горе. Целина, никогда не знавшая лопаты, легко не сдаётся. Алнис сломал одну лопату, купил новую, сломалась и эта, купил третью. Дальше копать я ему запретила.

Сын напился вволю козьего молока, уехал. Я сама понемножку докопала несколько соток. Помогали латышки, а то и просто прохожие со стороны. Так обработали общими силами половину огороженного участка. Вторая половина осталась на сено.

Приехала из Риги Грета. На этот раз вместе с Илмарсом. Она спешила, надо было успеть посадить, что следует.

Грета рассказала, с каким трудом и лишь с разрешения Москвы удалось переслать Вернерсу тромбон.

Письмо Вернерса из Норильска, 22 мая:

«О должности комбайнера я самых лучших мыслей. Была бы у меня сейчас такая возможность, я бы поучился и на комбайне работал днем и ночью!

О себе пока что не знаю ничего. Где выйдет работать после освобождения? Кто знает, куда опять запихнут. Чего лично я хочу, теперь не имеет значения. Ясно, что я хотел бы поехать к вам и жить вместе с вами. Но главное - вырваться отсюда.

Мои настоящие друзья сейчас - скрипка и тромбон. Ты не можешь себе представить, сколько мыслей и работы я вложил в него, в этот самый тромбон. Ночей не спал, ждал, когда придет посылка. Время тянулось так медленно, что казалось - уже не дождусь. Греточка мне так услужила, что не знаю, смогу ли чем отплатить. Диву даюсь, сколько усилий она приложила ради чужого ей человека.

Теперь про мой счастливый час. Ждал я его, как уже сказано,

замучился ждать. И все гадал: примут ли его на почте, не покорежат ли в дороге. И вот однажды под вечер прибегает, запыхавшись, один лагерник и рассказывает: в машине среди прочих посылок видел большущий ящик. Еще один примчался - этот видел мое имя на ящике. Я, не доев ужин, бросился туда. Но посылку мне не дали, получишь, мол, днем, по всей форме. Так что получение состоялось на другой день. Выстроился при этом чуть не весь оркестр плюс толпа любопытных. Когда я подошел, инструмент уже лежал на столе, сверкая, как зеркало. Всей толпой двинулись в клуб, испробовать. Тромбон в точности такой, о каком я мечтал. Я на нем играю полгода, но уже обогнал многих, кто на свободе этим занимался годами. Тут требуется огромное терпение и, конечно, слух. Инструмент сложный, трудный. Нужно без конца упражнять правую руку, губы, язык, даже шею при двойном и тройном стаккато. Этого нет ни в одном учебнике, но наш маэстро мне это открыл. Присланную мне «Школу игры на тромбоне» один сосед по бараку красиво переплел. И прикрепил нержавеющей табличку с моей монограммой и крохотным изображением тромбона. Греточке Блумберг за все бесконечная благодарность.

После смерти Сталина у нас уже заметны хоть и небольшие, но перемены к лучшему. Разрешили писать несколько писем в год.

Весна пока не чувствуется. Снег вокруг 10-метровым слоем. Солнце, правда, светит почти круглосуточно. Сегодня видел серую птицу, только вот не знаю, как называется. Теперь лагерников утром провожает и вечером встречает с работы наш оркестр. У меня появилось свободное время, и трачу я его на то, чтобы учиться и играть. Мне как музыканту разрешено даже носить длинные волосы».

И мое письмо от 6 июня:

«Приехала Грета. Помогла своим посадить картошку.

Сегодня Троица. Весь день отсыпаюсь. А завтра опять за труды. Надо вскопать землю под капусту, срубить большой куст боярышника, который возле забора, выкорчевать последние пни».

15 июля Алнис окончил курсы комбайнеров. В аттестате из семи дисциплин лишь по одной четверка: ремонтные работы.

Документ на руки не дали, побоялись, что свежеиспеченных специалистов могут переманить со стороны. Выдали справку об окончании курсов.

И Алнис, и я рады безмерно.

Вместо комбайна - операционный стол

21 июля 1954 года Алниса зачислили комбайнером на МТС, дали 10-дневный отпуск на устройство.

1 августа он приступил к ремонту тракторной техники. Работа без крыши над головой, даже без простого навеса, без руководства, без определенного порядка, без твердой зарплаты. Труд Алниса не пугал. Но хотелось, чтобы наступила какая-то ясность. Дождаться бы жатвы, думала и я. В поле мой сын покажет, на что способен. И заработает, и отдаст наши долги, и что-то даст людям, не все же брать. Заживем, наконец, по-человечески!

Алнису дали совсем новый, ярко-красный комбайн № 20. Для начинающего честь неожиданная - как не радоваться! Тогда Алнис еще не подозревал, что в первый год на комбайне, произведенном в Красноярске, работать почти невозможно. Такие дают обычно новеньким - пускай помучаются! Новичок винит во всем свою неумелость и, получая потом урезанную зарплату, не предъявляет никаких претензий, - а начальству только того и надо! Новый комбайн, как правило, «поспевал» лишь ко второму сезону, после основательного зимнего ремонта и доводки. Но Алниса пока что неведение спасало от горьких предчувствий.

Перед отъездом молодых комбайнеров послали на разгрузку угля в Боготол. Три дня ребятам пришлось работать на солнцепеке, дыша черной угольной пылью. Спали тут же, под открытым небом; ночью, когда дневной зной сменялся резким похолоданием, зубы начинали выбивать дробь. Алнис приехал домой черный, как ворон, и совсем больной. Его скрутил новый приступ аппендицита. Еле-еле добрал до больницы. Срочная

операция и новое разочарование: другие, небось, уже выехали на новеньких машинах в поле, а он...

Я за неимением других собеседников говорила с Микой: судьба все-таки уж очень несправедлива к нам. Дала бы хоть месяц поработать парню на комбайне, разобраться с долгами. В долги мы влезли, сооружая длинную ограду. Алнис не меньше месяца теперь не годился для тяжелой работы. Придется мне опять браться за вязание. Наши надежды на лучшее в этот раз буквально перерезал хирургический скальпель. Так внезапно, так неожиданно, что не успели опомниться.

Слепой отросток успел загноиться, операция вышла тяжелая, и понятно, что комбайн на этот сезон отменялся. А мы в расчете на твердый заработок комбайнера подошли к зиме без дров, без денег, без хлеба. С долгами и необдуманными обещаниями.

Но я могла вязать. Алнис вскоре сможет выполнять работу полегче. Ладно, нам не повезло, но ведь жизнь на этом не кончается!

Краешек горизонта светлеет

Что нового?

После смерти красного тирана краешек горизонта, казалось, начал светлеть. Была объявлена амнистия. Правда, досрочно освободили в первую очередь тех, кто об этом и не мечтал, - уголовников. Вокзалы затопила толпа выпущенных на волю воров, грабителей, убийц и просто хулиганов. Вся эта публика дралась, пила, сквернословила, грабила, калечила, сметая всё и вся на своем пути. В Красноярске и в Боготоле, как рассказывали, не проходило и дня без новых происшествий. Совладать с такой стихией поначалу не умела даже мощная государственная машина. Со временем амнистированных начнут загонять обратно в тюрьму целыми бандами. Но ведь вначале эти сотни и сотни тысяч отчаянных головорезов нужно было обезвредить, переловить, заново судить, доставить в места заключения. Воровской лавины боялась даже милиция. Были слухи, что под шумок и сами служители порядка не прочь пограбить обывателя, но вполне возможно, что под видом милиционеров орудовали переодетые преступники. В Тюхтете, правда, обо всех этих ужасах только слышали.

Отмененную было смертную казнь восстановили. За убийство, за крупный грабеж теперь грозил расстрел. Может быть, где-то это и помогло восстановить порядок, но из Красноярска по-прежнему приходили жуткие вести.

Из политических свободу обрели первыми те, кто, отбыв пять лет лагерей, затем были сосланы. Некоторых даже реабилитировали и выплатили им по 10 000 рублей, как безвинно пострадавшим. В Тюхтете таких счастливых было трое: русский, украинец и немец. Ни один из них не вернулся на родину - сгорели на месте.

Немец, бухгалтер инкубатора, получивший в комендатуре документ о реабилитации, жил в двух километрах от места

работы. Пришел, не успев снять пальто, присел у своего стола, издал короткий стон и простился с жизнью. Сердце не выдержало.

Семидесятилетний украинец, ветеринарный врач, получил новый паспорт, 10 000 компенсации, и тут силы его покинули. Телеграфировал жене в Ленинград: приезжай за мной, один не доберусь. Жена примчалась, но опоздала на час. Старый врач, переживший столько мучений, не выдержал испытания радостью: разрыв сердца.

Третий из осчастливленных, русский, был из поселка Мельничный. И он оформил в Тюхтете новые документы, получил свои тысячи, в магазине купил пол-литра водки и... бесследно пропал. Искали его и милиция, и односельчане, но все без толку. Решили, что кто-то позарился на его деньги, убил и спрятал тело. Дело было зимой. И лишь на следующую осень в тайге нашли все, что от бедняги осталось. Выпив бутылку крепкой, он заблудился и замерз в тайге. 10 000 рублей, за вычетом истраченного на роковую бутылку, нашли у него в кармане.

Вольно или невольно мы прикидывали происшедшее на себя. Не хотелось бы на свободе повторить судьбу этих несчастных. Что свобода ждет и каждого из нас, мы не сомневались. На возмещение морального и физического ущерба, нанесенного нам, не надеялись - да и какими деньгами можно было измерить и заплатить за все, пережитое нами?

За бывшими зеками, теперь освобожденными от ссылки, приезжали родные. Кто был в силах, возвращался на родину самостоятельно. Для депортированных из Латвии в 1941 году отменили ежемесячную регистрацию в комендатуре. Теперь отмечаться следовало лишь раз в год. И еще одна новость: мы могли теперь жить и передвигаться в пределах всего района. Раньше - только в радиусе трех километров. Бывшим лагерникам зону передвижения расширили до всего края. Первыми воспользовались этим Мира и Алексей Линкевичи. В Тюхтете для них не было работы по специальности, им не разрешали даже давать кукольные представления.

(В Тюхтете ни один ссыльный не вправе был самостоятельно выступать на сцене. Олаф Гутманис, юноша с музыкальным образованием, мог выступать в школе или клубе только в дуэте, на

пару с русским, свободным человеком. Соло негласно запрещалось, а ведь у Олафа был хорошо поставленный, красивый голос. Точно так же на школьных концертах юный скрипач, литовец, не мог выступать в одиночку. Не разрешалось участвовать в концертах оперной певице, сосланной из Москвы еврейке. Так же и аккордеонист Роланд Игнашс мог играть в клубе лишь вместе с другими музыкантами, главное, чтобы не с ссыльными).

Тысячам лагерников местом ссылки назначили теперь края с менее суровым климатом. Так мой брат Арнольд оказался в Иркутске, и это, возможно, спасло ему жизнь.

Некоторых заключенных, отбывших свой срок, теперь не ссылали, освобождали совсем. Прежде такое тоже случалось, но заканчивалось послабление обычно новым арестом. Хотелось надеяться, что теперь будет иначе.

Вернулся в Сермули муж Эллы, Альфред Зиракс, начал работать в колхозе трактористом. Вернерсу 10-летний срок заключения скостили на три года и из лагеря выпустили; правда, пока что без права вернуться в Латвию.

Из мужчин, арестованных в 1941 году, живы остались немногие. Только двое из наших латышек дождались мужей - в Тюхтете приехали Вилис Звиедрис и Карлис Велде.

Вилис мог бы рассказать о судьбе солагерников, вдовы которых бедовали все эти годы в Тюхтете. Он знал, когда и как погибли многие из наших мужчин. Но оба выживших были скупы на воспоминания. Много в пережитом обжигало и ранило.

«Что нового?» - спрашивали мы теперь с нетерпением и надеждой друг друга на улице, на рынке, в магазинной очереди. И что-нибудь новое находилось почти всегда.

Линкевичи

Линкевичи, жившие на другом конце нашей коротенькой улицы, были одаренные, удивительно интересные люди. Знакомы они были уже с лагеря; здесь, в Тюхтете увлеклись кукольным театром. Алексей сам изготавливал куклы, писал сценарии, был

режиссером. Мира оказалась талантливой актрисой, виртуозно управлялась с куклами. В клубе выступать им нельзя было, и представления устраивались у них дома. Зрителями были близкие знакомые, ссыльные. Алексей работал в строительной бригаде; куклы, говорил он, это для души.

- Чего ради вы возитесь с этими куклами, если не можете этим заработать даже куска хлеба? - спросила я как-то напрямик Алексея.

- Это на будущее. Пригодятся когда-нибудь и наши куклы.

Меня их домашние спектакли восхищали. Мы виделись часто, до них было всего три минуты ходьбы.

Когда высланные по их статье получили возможность жить в любой точке края, они тут же переехали в Красноярск, где их кукольный театр в филармонии приняли с распростертыми объятьями.

Мы продолжали дружить, переписываться. Мира старалась держать меня в курсе новостей, особенно касающихся литературы и искусства. Сама она уже выступала в печати с театральными рецензиями, хотя жаловалась, что их безбожно «режут» и выхолащивают.

От Линкевичей я впервые услышала совет непременно прочесть повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Землю людей» Антуана Сент-Экзюпери, «Зиму тревоги нашей» Джона Стейнбека, «Чистые пруды» Юрия Нагибина. В «Литературной газете» по их рекомендации я теперь искала стихи Евгения Евтушенко, Бориса Слуцкого, турецкого поэта Назыма Хикмета.

Началась критика культа личности Сталина. Продлилась она недолго: видимо, подрывала сами основы официальной идеологии, сущность коммунизма. Новые веяния властям захотелось снова загнать в подполье. Началось гонение на писателей, художников. Сталинизм снова подымал голову и в Москве, и на местах. Старые страхи оживали. Но я, похоже, забежала на годы вперед.

Симфония в четырех частях

Люди начали возвращаться к жизни. Для меня такие новости звучали и звучат, как вдохновенная музыка. Я, кажется, могла бы составить симфонию из этих долгожданных, счастливых событий.

Часть первая. Валдис Блумбергс стал свободным человеком.

Часть вторая. Его жена Грета здесь, в Тюхтете, 6 августа родила дочь Луцию.

Часть третья. Счастливая семья, все четверо осенью 1954 года вернулись на родину.

Часть четвертая. Торжественные и радостные проводы семьи Блумбергов и затем встреча тети Луции с ее маленькой тезкой и крестницей.

В темноте, в грязи

Алнис перенес операцию в тот же день, когда родилась маленькая Луция, - 8 августа. Обоим пришлось нелегко, и оба вскоре пришли в норму. Луция, как уже сказано, обрела настоящую родину, Алнис начал думать о возвращении на работу.

Сын только-только встал на ноги после операции, когда я по дороге из больницы встретила знакомую еврейку Фаю. Спросив о здоровье моего сына, она поспешила сообщить, что и ее муж наконец-то отпущен на свободу. Они могли бы уехать хоть сегодня, но с работы не отпускают, пока муж не найдет себе заместителя. Работа хорошая, нетрудная - дежурный по электростанции, но в Тюхтете - ни одного свободного электрика.

- Может быть, Алнис мог бы сменить вашего мужа?
- А он что-нибудь смыслит в электричестве?
- Должен бы смыслить. Окончил техникум по этой специальности.
- Ой, что ж вы сразу не сказали? Мой муж сейчас же побежит к нему! В какой он палате?
- Но его еще не выписывают. Операция была тяжелой.

- Да, но говорить-то он может? О, если он и вправду понимает в этом деле, мы сможем уехать!

Фая вихрем унеслась куда-то.

На следующий день в больнице Алнис поделился радостью:

- Mamochka, мы с тобой теперь на коне! Считаю, что у меня есть работа. Этот мужик чуть не заплясал от радости, когда понял, что я могу заменить его.

- А ты сможешь там работать?

- Играючи!

И вскоре Алнис был уже дежурным электриком на электростанции местной МТС. Работа сыну нравилась. Большей частью он дежурил в помещении, время от времени приходилось и забираться на столб.

Я бывала там. В помещении находились генератор и пульт управления. Пол густо пропитался машинным маслом. Огромное окно тоже заляпано масляными пятнами и мушиными следами. Небольшой стол, по которому, кажется, ни разу не прошла тряпка уборщицы.

Дежурные электрики работали в три смены. Вторая смена для Алниса исключалась: той самой осенью он поступил в девятый класс вечерней школы. Поступил бы и в десятый, но такового в Тяхтете еще не было. Впрочем, по бумагам он закончил только семь классов. «Я и сам уже не пойму, в котором мне надо быть классе», - говорил он.

Ввиду исключения из армии и вторичной высылки у Алниса отобрали комсомольский билет. Но теперь после поступления на работу его вызвали в райком комсомола.

- Почему тебя сослали к нам? - спросил его плюгавый человечек с серым лицом.

- Потому что мой отец Ванагс, а не Сидоров, - дерзко ответил Алнис. Ему уже нечего было терять.

- А почему из армии выгнали?

- Спросите в комендатуре. Я этого и сам не знаю.

- Мы тебя в комсомоле пока восстановим. Но твой билет пускай побудет у нас. Посмотрим на твоё поведение...

- Благодарю, но ваш билет мне больше не понадобится. Шесть лет я был примерным комсомольцем, и что получил? С меня хватит.

Через некоторое время Алнису пришлось выдержать испытание: комиссия из нескольких инженеров проверяла его знания и квалификацию. Расспрашивали дотошно. Алнис экзамен выдержал. Проверяющие пришли к выводу, что он знает и умеет намного больше, чем требуется от рядового монтера.

На работу в первую смену сын уходил, когда было еще темно, и возвращался, когда было уже темно.

В дверях ему надо было согнуться чуть не вдвое, как складывается перочинный нож. Спустившись вниз на две ступени, он и в комнате не мог до конца разогнуться. Если он забывал нагнуть голову, то, широко шагнув, лбом обязательно ушибался о балку. Следовал удар кулаком по несчастной деревяшке, громкое «Черт подери!»; щепка с потолка летела в чугунок с супом... Фуфайку он снимал при входе, не особенно разводя руки, чтобы не задеть кастрюлю на плите или настольную лампу.

На ужин у нас обычно была или жареная картошка или суп, тоже картофельный. Алнис на однообразное меню никогда не жаловался. Если что-то было не по вкусу, говорил тактично, что нет аппетита. Как раз осенью я не успевала приготовить что-нибудь повкусней - подрабатывала на току, приносила оттуда лишнюю охапку соломы для коз.

После ужина Алнис недолго занимался по учебникам, потом натягивал тяжелые вонючие сапоги и в темноте, по грязи шагал в вечернюю школу или по субботам в клуб. Если у него была третья смена, на работу шел напрямик из школы и возвращался домой только утром. Человек принаравливается ко всему. МТС располагалась на одном конце Тяхтета, а мы, можно сказать, на другом. Расстояние - два с половиной километра. Проезжей дороги в гору не было, только пешеходные тропы. По одной такой тропинке, опоясавшей горный склон, Алнис и шагал на работу и в школу. Ноги молодые, и в сухую погоду крутой подъем ему не был в тягость. Но в дождь глинистая тропа становилась такой скользкой, что люди иной раз на четвереньках сползали вниз. Кто не работал, те в дождь или по темноте вообще не ходили в

центр. Для школьников и работающих взрослых тьма или ливень не могли быть оправданием.

Мощеных дорог и тротуаров в Тюхтете не было вообще. Летом улицы походили на разбитый, пыльный просёлок. Весной и осенью они превращались в черные грязевые потоки с омутами глубоких колдобин.

Алнису по этим грязевым руслам приходилось брести по меньшей мере четырежды в сутки, так или иначе карабкаться в гору, спускаться.

Сибирская грязь черная, липучая, прохожий месит ее, погружая сапоги в жижу до середины голенищ. Не раз Алнис возвращался с мокрыми ногами - трудно было не угодить в одну из бесчисленных ям. Я и сама однажды провалилась чуть не до подмышек в яму, вырытую для столба; осенью, ничем не прикрытая, она была неразличима под грязью.

В октябре грязь замерзала, а вот темнота на тюхтетских улицах царила всю зиму. На нашем холме жителей было немного, зимнюю тропу иной раз некому было протоптать. После метели Алнису почти всегда нужно было прокладывать путь по целине первым. Но он не жаловался - сугробы чистые, и проложить через них утреннюю тропу - вроде физзарядки.

Зимой по нашей улице изредка ездили на лошади в тайгу за дровами. А Валерка приспособил к этому козла, отправлялся с ним в лес часто, нагружая там рогатого изрядным возом дров.

В центре улицы накатаны, от столовой в хорошую погоду отправляются грузовики в Боготол.

Вечерняя школа

Занятия начались с опозданием, 15 октября. Программа почти та же, что в дневной школе. Девятый класс открылся впервые, и ученики были набраны с самыми разными возможностями и знаниями. Некоторые не могли справиться с программой и быстро отсеялись. Алнис тоже не успел в свое время окончить восьмой класс, но он не привык отступать.

В школе сын подружился с 32-летним немцем, бухгалтером Рихардом Лаасом.

У Рихарда на иждивении были родители и три сестры. Одаренный и очень добрый, душевный человек.

Письмо Вернерса

30 сентября 1954 года:

«Теперь каждый день какие-нибудь новости. Жизнь понемногу меняется к лучшему. Я по-прежнему играю в оркестре, осваиваю тонкости игры на тромбоне. Только что в Норильске прошла олимпиада с участием всех двадцати лагерных оркестров. Впечатление незабываемое - среди заключенных немало настоящих артистов, после долгих мучений у них впервые появилась возможность заняться любимым искусством. Мы заняли первое место! Оркестр рожечников под моим руководством признан лучшим во всем Норильске. Мне, конечно, еще учиться и учиться. Но ведь в музыке вся моя жизнь и вся радость.

Между прочим, на олимпиаде я в первый раз за семь лет видел живых женщин.

Думаю, меня скоро освободят. Тогда или приеду к вам, или останусь здесь уже вольным руководителем местного оркестра. До конца еще ничего не решил, но уже купил костюм, валенки и полушубок, чтобы было в чем выйти на свободу».

Письмо мамы

14 ноября:

«Элла уже две недели сильно болеет: сердце. Но на работу ходит. Колхозные коровы молока почти не дают, а доить все равно надо. Сама пью чеснок, настоящий на спирте, и чувствую себя получше. Здесь каждый день дождь. Хлеб гниет на корню, так что хлеба опять не соберут. Сердце болит и у меня, все жду, когда же кто-нибудь вернется домой...»

Рождественские подарки

И в Тюхтет пришло Рождество. Греточка прислала посылку - каждой нашей латышке по клетчатому платочку - и просила меня у елки раздать эти подарки. В благодарность за то, как мы проводили на родину маленькую Луцию.

После «торжественной части» я эти подарки вручила - для всех это была полная и, что уж говорить, приятная неожиданность. Теперь латышек Тюхтета можно было издали узнать по ярким, узорным косынкам.

Вот уже 2000 лет существует Христово учение. Тысячи и тысячи храмов созывают на Рождество прихожан, чтобы возвестить любовь, и на земле мир, и в человецех благоволение. Но любовь все еще не победила. Все еще днем с огнем надо искать человека, который не делал бы зла своему ближнему. Скромные дары Греты напоминали, что любовь есть на земле, есть люди, дарящие радость, не требуя ничего взамен.

В гостях у друзей

После Нового года Владимир и Флора пригласили меня в гости в Канск, прислали денег на дорогу. Разрешение передвигаться в пределах края у нас уже было, и я приглашению обрадовалась.

До Канска от Тюхтета 700 километров. Ехать нужно было через Красноярск, где я остановилась повидаться с Линкевичами. Проговорили всю ночь - так много всего скопилось на душе! Днем они меня сводили на берег Енисея, на знаменитый железнодорожный мост, когда-то удостоенный высшей награды на всемирной выставке в Париже.

Красноярск, основанный в 1628 году, расположен по обоим берегам Енисея. Река, прекрасная и мирная на вид, на самом деле настолько могуча, что, кажется, и сама не знает, куда девать свои безмерные силы. Позднее люди придумали, что делать с этой силой - в двадцати с чем-то километрах от города построили ГЭС, одну из самых больших в мире.

Город, обрамленный горами, красив. Жить бы и радоваться, но тени прошлого - тысячи каторжников еще при царях, а в наше время миллионы мучеников Гулага, отсюда рассылавшихся дальше на Восток и на Север, омрачают эту красоту.

Линкевичи показали мне свою новую кукольную программу. «Наше искусство признают, в филармонии ценят, но из клетки пока что и не думают выпускать».

Из Красноярска, перебравшись на другую сторону Енисея, я отправилась в Березовку, где в колхозе обосновалась Айвиексте с семьей, собранной заново отовсюду. Отец отбыл срок «за поддержку лесных братьев». Сестра Валия Рейнсоне заключение и ссылку отбывала на Колыме. Сама Айвиексте, в 1941 году сосланная вместе со мной в Тюхтет, с 1942 года работала в рыболовецкой артели на Крайнем Севере, в 1954 году по болезни переведена в этот самый колхоз под Красноярском; провожал ее сюда друг, немец, может быть, спасший ее от гибели в непроглядной полярной ночи... Теперь с ними вместе обретался и «славный Федя», сибирский друг Айвиексте. Жили они все вместе почти у самой реки. Латыши с нетерпением ждали, когда им будет позволено вернуться на родину. Латвия манила к себе, независимо от того, как сложилась тамошняя жизнь за прошедшие годы.

В Канске меня сердечно и ласково встретили оба доктора. Я прожила у них неделю. То был сон с открытыми глазами, давно забытая нормальная, светлая жизнь, согретая любовью и дружбой.

Квартиру? Пожалуйста!

То ли нам казалось, то ли и на самом деле наша землянка делалась все ниже и уже. Алнис то и дело ударялся головой о притолочную балку и чертыхался. Дорога в школу и на работу брала у него также слишком много времени и сил. Крыша лачуги прохудилась, плита требовала ремонта.

На электростанции круг обязанностей Алниса все ширился. С его мнением и рекомендациями считались теперь и заве-

дующий станцией, и инженеры МТС. Он был автором нескольких рационализаторских предложений, принятых на «ура». К нему нередко обращались за советом и электрики других предприятий. Алниса звали работать на инкубационную станцию, сулили хорошую квартиру и солидный оклад.

Предложение было заманчивым. И новое жилье, и зарплата побольше, учитывая, что мы еще не расплатились с долгами, были весьма желательны. Переходить поспешно на другое место, может быть, и не стоило, но почему бы не намекнуть начальству на то, что условия жизни работника могли бы быть и лучше?

Заведующий электростанцией, неприятно удивленный новостью о том, что его сотрудника хотят переманить «инкубаторщики», с ответом не медлил.

- Хотите зарплату побольше? Не вопрос. Считайте, что она вам повышена с 15 января.

- Но это не все, - чуть запинаясь, продолжил Алнис. - Я живу с матерью в тесной, низенькой землянке, к тому же далековато. Учусь в вечерней школе, время мне дорого.

- Хотите квартиру в центре? Пожалуйста!. Можете осмотреть прямо сегодня. Улица Кирова, 97. Только там нужен небольшой ремонт, это мы сделаем.

Квартира и впрямь была в самом центре Тюхтета, в нескольких минутах ходьбы от почты, школы, больницы, клуба и рынка. Путь до места работы сокращался больше чем вдвое.

Пошли осматривать новый дом - и не нашли калитки. Ее доверху замело снегом. Почему-то выюгам понравилось это место - всю зиму самый большой сугроб наметало именно здесь; набесившись по всей округе, пурга в изнеможении сваливалась наземь в этой точке. Целую гору снега нужно было отбросить, чтобы выйти наружу.

Свою полуземлянку мы продали Ивановне; ей с больным внуком было совсем негде жить. Заплатила она отрезом на костюм Алнису, прибавив еще 200 рублей. Кусок ткани Ивановне в свое время привез из побежденной Германии сын, после чего куда-то пропал. Материя была коричневая в полоску; полоска скорей фиолетовая. Алнис уже радовался, предвкушая, что будет у него

настоящий костюм - первый во взрослой жизни. Нам говорили, что с землянкой мы сильно продешевили, но не наживаться же на чужой беде. Искать покупателя побогаче совесть не позволила.

В новом жилье спешно поправили плиту и переселились в конце января. Коза оставалась на прежнем месте, покуда мы рыли для нее и утепляли соломой укрытие рядом с новым домом.

Как раз в это время в Тюхтет приехал из Минусинска товарищ Алниса, Андрис Эглитис, который там учился в техникуме. Постучался в дверь, видит - не заперто. Открывает, а оттуда - бе-е-е! Вместо хозяев уставилась на него круглыми черными глазами рыжая коза.

- Где хозяева-то? - спросил почему-то у нее приезжий. Коза покрутила и головой и хвостом: не знаю, мол, они мне не докладывают.

Остаток зимы ей предстояло провести в снежной яме на улице Кирова. Ничего, она выдержала.

Нам самим в новом доме было совсем неплохо, грех жаловаться.

Вместо свободы - золотые прииски

Вернерс 1 января 1955 года писал нам:

«С Новым годом, мои дорогие! Долго вам не писал, но причины были уважительные: никак не мог. Я руковожу эстрадным оркестром и вдобавок работаю, в настоящее время истопником. В свободную минуту расписываю ноты для оркестра, занимаюсь с музыкантами. Они в большинстве новички, так что приходится репетировать до упаду, чтобы звучало все-таки сносно. Сплю 3-4 часа в сутки. Я теперь знаю неплохо все инструменты, знаю, как нужно писать ноты для каждого. Дай мне мелодию, и я ее оркеструю для любого состава. Мне за эти дела дали даже похвальную грамоту.

29 декабря меня впервые отпустили в город на 12 часов. Десять км до Норильска проехал на автобусе. Там бродил по улицам, по магазинам, смотрел вокруг и не мог наглядеться. Зашел сфотографироваться.

30 декабря вызвали на суд - решать вопрос о досрочном освобождении. Народный суд констатировал, что я все эти годы честно работал, отличился в художественной самодеятельности, а потому освободил от дальнейшего отбытия наказания, но оставил пять лет ограничения в правах.

На днях выйду на волю, но домой меня не пустят. Если будет выбор, или останусь здесь как вольнонаемный, или поеду к вам. Здесь, в Норильске, я руководил оркестром рожечников, профессиональных дирижеров тут нет. Но мне все-таки хотелось бы уехать с Севера и жить с вами вместе».

Мы с Алнисом очень ждали Вернерса. У меня даже на дверном косяке была для него надпись на латышском: ключ там-то - на случай, если он появится, когда ни одного из нас не будет дома. Ждали долго, но так и не дождались.

Письмо Вернерса от 21 января 1955 года:

«Как видите, я уже не в Норильске, а «на материке». При освобождении из лагеря мне предложили на выбор Красноярский

край или Караганду. Я мог остаться и в самом Норильске, руководителем оркестра. Это и было бы, наверное, лучше всего, но я больше не мог выносить вечную пургу и мрак. Выбрал Красноярск. Тут же меня посадили в самолет, и через несколько часов я был в Красноярске, опять в тюрьме. Оформили документы, снова в самолет, там мне стало плохо. Из Красноярска хотел съездить к вам, но не разрешили. В Ачинске с самолета пересадили на поезд, доехали до Копьева, оттуда еще 100 километров в горы. Золотые прииски. На вид - тот же лагерь, только на этот раз без забора и вышек. Снабжение, похоже, хорошее. Сегодня в столовой даже купил молока, которого не пробовал восемь лет.

Сюда можно вызвать семью, у кого она есть, но кто ж это будет делать. В Норильске иной раз прикидывал, как покончить с собой. Сейчас чувствую себя до ужаса одиноким. Собираюсь добраться до соседнего поселка, где, говорят, есть латыши. Дальше не пускают. Я такой же арестант, как прежде, только что нет ограды с проводами под током...»

Вместо свободы, выстраданной, причитающейся даже по их незаконным законам, - золотые прииски! Каторжникам разрешают семьи вызвать - чтобы разделили их неволю? Чтобы только не пустить человека на родину?

И 5 февраля новое письмо: «Я работаю в шахте, учеником бурильщика. Работа тяжелая, но платят хорошо. Поселок наш называется Золотогорск. Одному здесь выдержать трудно...» И дальше Вернерс рассказывал, что познакомился с женщиной, та живет у матери. Сговорились жить все вместе. Обещают дать комнату. В конце сделала приписку Валя - несколько бессвязных, безграмотных строк. Вернерса можно было понять, но до чего же все выглядело тоскливо и безвыходно! Жаль брата. Жаль всех, кого изуродованная жизнь загоняла все глубже в пучину страданий.

В его ведении весь Тюхтетский район

Заведующий электростанцией - инженер

В феврале заведующий электростанцией ушел на несколько месяцев в отпуск без содержания. Временно исполняющим его обязанности назначили Алниса. Оклад заведующего был 800 рублей в месяц. Алнису платили на 100 рублей меньше, поскольку у него не было даже полного среднего образования. До этого как электромонтер Алнис получал 460 рублей.

Кроме работы на электростанции, Алнису нужно было часто выезжать на места, поскольку в его ведении теперь находились все колхозные электростанции Тюхтетского района.

Первый выезд - в Лазарево, где была закончена строительством новая электростанция. Документ:

Решение

Тюхтетского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Для сдачи в эксплуатацию электростанции колхоза имени Кирова (поселок Лазарево) создать комиссию в следующем составе:

1. ВАНАКС, заведующий электростанцией Тюхтетской МТС - председатель комиссии; . 2. ТИХОНОВ, председатель колхоза имени Кирова;
3. СОКОЛОВ, и. о. районного инспектора;
4. ПАРТИЧКИН, уполномоченный Сельхозбанка;
5. ШУМИЛОВ, передовик труда, межрайонные электросети;
6. ПОТЬКИН, электромонтер;
7. ЛУЛОВ, член правления колхоза им. Кирова;
8. ЗЕДЕНОВ, электромонтер колхоза им. Кирова;

9. МИХАЙЛОВ, полевой бригадир колхоза им. Кирова

Председатель Тюхтетского райисполкома Н. Пешутин (подпись, печать} Алнис был дома поздно вечером.

- Ну что, приняли?

- Нет. Внутренняя инсталляция ниже всякой критики.

- И что теперь?

- Составили протокол, я указал, что переделать, что исправить.

Когда все сделают, комиссия приедет снова.

- Председатель колхоза не злился?

- Злился - не злился, брак не оспоришь.

- А тюхтетские тузы?

- А что они? Им оставалось только подписать протокол.

Отвечаю-то за все я. Устроят брак - станция заработает.

Через некоторое время за Алнисом приехали из того же самого Лазарева, из колхоза имени Кирова. Не работает новая, только что установленная мельница на электричестве.

Алнис в тот раз, не заходя домой, прямо с работы отправился в Лазарево. Поехал как был, в легком пальто. Встретила его толпа колхозников. Увидев столь юного «спасателя», все были разочарованы. Но Алнис не растерялся. Взял в помощь себе несколько расторопных парней, распределил инструмент, бухты кабеля и протянул по земле временную линию к мельнице. Приставил людей - следить, чтобы не подходили к проводам во избежание травмы. Целый день без перерыва в паре с местным монтером работал не покладая рук, и к вечеру мельница заработала. Сбежались колхозники с мешками зерна - проверить, вправду ли работает новая мельница. Она работала. Колхозники радовались, благодарили, жали руку, председатель звал Алниса отметить победу. Но сыну некогда было праздновать: тем же вечером он был в школе и только после уроков появился дома.

Зимой по району приходилось ездить на лошадях, летом на машине. В места поближе Алнис иногда выбирался на казенном мотоцикле, хотя прав у него тогда не было. Но автоинспекторов в наших краях тогда вроде бы тоже не водилось.

Поездки по району стоили Алнису немалых усилий и нервов: работа была новая, непривычная и крайне ответственная. Он штудировал присланные книги по специальности, ответы нужно было искать в них - посоветоваться ему в Тюхтете было не с кем.

Недавний заведующий уволился окончательно, и с 1 августа 1955 года Алнис был утвержден в этой должности. Ему теперь платили как районному инженеру, но и дел прибавилось. Алнис был моложе всех своих подчиненных, и это создавало дополнительные трудности. Но административная хватка у него была, и обходиться с людьми он тоже научился. Так же, как в свое время его отец, он терпеть не мог лжи и двоедушия.

Электростанция была в плачевном состоянии - оборудование старое, материалы для ремонта приходилось доставать всеми правдами и неправдами. Алнис работал не покладая рук. Больше, чем от него требовалось. При нем электростанция заметно изменилась к лучшему, больше стало порядка и дисциплины. Алнис теперь пользовался неоспоримым авторитетом во всем районе.

Окончен девятый класс

При всем том сын продолжал учебу. Не все он успевал, но задачи решал, чего бы это ему не стоило, отрывая время от сна. Вместе с сыном и я стала школьницей - придет он с работы, ужинает, а я рассказываю ему все, что успела прочесть по теме. По крайней мере двойка ему в таком случае не грозила. Даже материалы XX съезда партии я ему вкратце излагала, чтобы Алнису не нужно было тратить время на изучение газетных полос.

К экзаменам сын готовился небрежно. Времени не хватало, да и желания тоже. В результате получил только две пятерки - по физике и черчению и одну тройку - по химии.

Четверо суток в тайге

В августе МТС выделила своим работникам участок для косьбы в мельниковской тайге, за 40 километров от райцентра. По воскресеньям туда выезжал грузовик, набитый людьми до отказа. На таежных полянах каждый сам выбирал себе место для покоса. И мы с Алнисом косили с утра до вечера, когда машина отвозила всех обратно в Тюхтет. Кого пугало комарье, кого медведи или двуногие звери, кому-то нужно было утром на работу, а молодые хотели успеть на танцы в клуб.

Я решила остаться. Отдохнуть как следует, побыть наедине с первозданной природой. Опасности? Я о них почти не думала. Неужели медведь будет специально искать меня?

Косари уехали, и вечер сразу сгустился, хмурая тайга надвинулась со всех сторон. Я продолжала косить до тех пор, пока могла видеть движение косы. До изнеможения, чтобы отвлечься, не поддаваться страхам. На краю поляны я заметила еще раньше большую осину; принесла туда уже привядшей травы. Я не знала тогда, что осину зовут ведьминым деревом, что ночевать под ней не советуют - мира не будет всю ночь.

Поела, мешок с хлебом подложила под голову вместо подушки и накрылась с головой одеялом, от комаров и гнуса. Но вечер теплый, душный, а под одеялом и вовсе нет воздуха. Ворочалась до полной темноты, в Сибири в такой момент внезапно становится прохладно, стихает звон мошкар, комарья - гимн кровососов.

Скрипы, шорохи, стуки. Я начала засыпать, но вдруг почувствовала какое-то движение в изголовье. Кто-то юркий подбирался к моему хлебу. Откинула одеяло, протянула руку, успела скорее угадать, чем разглядеть: бурундук! «Ай-яй-яй, как же это ты, дружок, никого не спросишь?» Полосатенькому нечего сказать в ответ, исчезает. Но рано или поздно он вернется за хлебом. Соблазн слишком велик, в его кладовой такого добра еще не было. Надо встать и подвесить мешок повыше на осиновой ветке. Бурундуки по деревьям не лазают.

Из тайги шибануло запахом трухи, слышней стали шорохи, шелесты, таинственные звуки, происхождение которых я не

могла объяснить. Но я, досчитав до 200, уже спала в своей травяной берлоге.

Разбудил меня - казалось, сразу же, - адский шум. Выглянула наружу - какие-то бегущие огни, стуки-бряки. Огни - в глухой тайге, посреди ночи! Сплю я, что ли? Нет, сижу, ясно вижу слышу. Только вот ничего не пойму. Что бы это могло быть? Нет, лучше не смотреть, не слушать. Быстренько зарылась как можно глубже в траву, натянула одеяло на голову, уши заткнула пальцами. А когда освободила их, все было тихо. Что за чудеса. Перегрелась на солнце, что ли?

Утром приехал Алнис.

- Мам, ты где ночью была?

- Здесь. Спала.

- И ничего не слышала?

- Еще бы не слышать! Тут был адский шум, стук, какой-то непонятный свет, огни... Так испугалась, что зарылась в траву и уши заткнула.

- Это была наша машина! Я послал к тебе своего шофера с техникой, боялся - как ты тут в тайге, одна.

- Да шум-то был другой... Стук какой-то...

- А-а... Это задняя дверка фургона открылась и хлопала всю дорогу. Парню было не до того. Он тебя искал-искал, испугался, что с тобой что-то случилось и приехал с этой хлопающей дверцей на станцию, где я его ждал.

Вторая и последующие ночи были спокойнее, но звуки ночной тайги по-прежнему пугали. Не так-то легко человеку перебороть древний, атавистический страх перед лесным мраком. Не такая уж я героиня, но все-таки заснуть удавалось. А утро вознаграждало за все, пережитое накануне. Я радовалась и самому августовскому утру, и тому, что вечером переборола свои страхи.

Еще одного правила я придерживалась неукоснительно: не углубляться в тайгу больше, чем на 10 шагов, не искушать судьбу: мало ли на кого можно там набрести, кого испугнуть.

Так я провела в тайге четыре ночи. Поблизости - ни жилья, ни человека. Лишь тайга со своими сумрачными тайнами. На пятый вечер я уехала на грузовике вместе с остальными и больше туда не возвращалась. А вскоре Алнис принес жуткую новость.

Косари на другой день после моего отъезда в нескольких десятках метров от моего бивака обнаружили мертвеца. Это и был тот освобожденный лагерник с 10 000 рублей компенсации и почти пустой бутылкой водки в кармане. Как он оказался так далеко в глубине тайги, останется неразгаданным навсегда. Замерз-то после выпитого, тут никакой загадки. Не он первый, не он последний.

А если бы я одна тогда набрела на труп! Брр... при одной мысли дрожь пробирает!

Письма близких

Арнольд из Иркутска, 26 июня 1956 г.:

«У нас тут дожди и дожди. Я работаю в лесу, работа тяжелая, особенно потому, что нельзя ни на минуту снять накомарник. Но лес удивительно красив. Здесь на воле растут многие цветы, которые у нас можно увидеть только в саду. Вечером соберу букет и несу домой. В вазе каждый день свежие цветы.

Послал тебе свой рисованный портрет. Автор - художник Удрис - работает карандашом. Если помнишь, в Народном доме в Даугавпилсе на стене было его полотно, «Рабочий пыл». Теперь вот вместе в тайге с рабочим пылом валим лес...»

Вернерс из Золотогорска, 19 июня:

«Мне надо бы спешно перевестись отсюда, в шахте мне грозит силикоз, а он неизлечим. Да и работа отвратная, хотя на заработки не жалуемся. У меня здесь теперь свой эстрадный оркестр. Были уже с концертом в Сарале, теперь зовут в Копьев. Инструментов у нас много, а вот музыкантов нехватка. Пианино тоже привезли. Жить бы можно, если бы не надо было нырять в эти шахты. С какой радостью я бы сейчас работал в лесу или еще где на свежем воздухе».

Моя мама. Сермули, 20 июля:

«Страшная жара. Земля такая твердая, что вилы не воткнешь. Опять скотину ждет бескормица. Сейчас все на сенокосе.

Я соткала 90 локтей материи на простыни, льняные. Хватит на всех, приезжайте только домой. Год у нас выдался неважный. Зерновые в колхозе считай что не сеяли, семян не было. Больше посадили кукурузы, больше земли заняли под лен. Картошки тоже посадили мало, какая нас ждет осень, можешь себе представить».

Месяц в инкубаторе

В комендатуре латышам начали выдавать паспорта с отметкой, что дозволено свободное передвижение по Красноярскому краю. Кроме того, по специальному разрешению мы могли выехать в гости к родным в Латвию на один месяц. Первой воспользовалась этой возможностью Луиза, и для всей нашей колонии ее отъезд стал событием.

В конце сентября засобиравшись в свою родную Валку и Кукайните. Она работала на инкубационной станции, и отпускали ее лишь при условии, что она подыщет себе замену на месяц отсутствия. Она пришла с просьбой ко мне - выручи, работа нетрудная, ночь сторожить, а утром покормить несколько сот цыплят. Очень мне не хотелось идти туда, но как я могу отказать латышке, одной из тех, кто меня спасал. Согласилась.

Днем там хозяйничали рабочие и бухгалтерия. Я заступала на свой пост в ночь, но кроме того на мне лежали заботы о козе, курах и свинье - хозяйстве самой Кукайните. Инкубационная станция представляла собой большое деревянное здание в лесу, в километре от Тюхтета. Хвойный лес начинался за последними домами села и подходил вплотную к окнам инкубатора. Ночью здесь оставался только ночной сторож, живший тут же. Сторожем и была наша Кукайните. А теперь я.

На мою долю выпали самые непроглядные осенние ночи. В темноте я шла вечером на работу, в темноте утром возвращалась домой. Круглые сутки оставаться я там не могла, у меня ведь тоже свое хозяйство.

Меня считали смелой, но эти ночные переходы по лесу давались и мне нелегко. Я, если признаться честно, боялась иногда до головокружения. Да и на самой станции необъяснимый страх не отпускал, хотя я была не одна: во многих комнатах копошились и попискивали разновозрастные цыплята.

Прямо напротив комнаты Кукайните был кабинет бухгалтера, где годом раньше от сердечного приступа умер только что освобожденный немец. Строение, должно быть, садилось, и в

коридоре всю ночь слышались «шаги нашего немца», как всем рассказывала Кукайните. За окнами шумели, скрипели, стонали под ветром сосны. Я вспоминала и другие рассказы подруги: будто бы в полночь кто-то всякий раз будит ее, дернув за волосы.

Всю ночь у меня горел свет. Обойти помещения я решалась не иначе, как утром. Цыплята так спешили получить свой корм, что в первое же утро началась давка, более сильные подмяли под себя слабейших, и вот уже первый урон: за растоптанных цыплят мне придется платить.

Однажды мне удалось уговорить тамошнего высокомерного кота разделить мое одиночество. Обычно он норовил от меня улизнуть.

Утром, покормив цыплят и задав корму животным, оставленным подругой на мое попечение, я дожидалась первых рабочих и спешила домой. Месяц выдержала. Но и теперь еще удивляюсь, как это Кукайните могла все это терпеть годами.

На золотых приисках

Вернерс, гостивший у нас, взял с меня слово, что и я навещу его в Золотогорске. Он так расписывал красоты тамошней природы, что заинтриговал меня. Да и Алнис уговаривал съездить, развлечься. Но прежде мне нужно было закончить осенние работы: расширить погреб под полом, в сарае замазать щели, убрать картошку и овощи, запустить козу. Так пришла зима, и я написала Вернерсу, что готова в дорогу.

«Значит, ты будешь только к концу декабря, - писал он в ответ. - Ох, как долго еще ждать! И не могла бы ты побыть у нас подольше? Несколько дней - слишком мало...»

Следом пришло письмо и от Вали: перед Новым годом назначена их свадьба. Алнис думал, что мне нужно быть там раньше, может быть, понадобится моя помощь.

Поездка дальняя. Из Боготола поезд до Ачинска, там пересадка и поезд до Копьева, городка примерно на полпути к Абакану.

В Копьев прибыли в полночь. Небольшая станция, пассажиров немного. Никакого транспорта снаружи. А мне добираться еще 100 километров до тех золотых гор. Собралась ждать до утра на станции, но тут услышала шум мотора и поспешила на звук. Подошла - там самосвал, до бортов загруженный углем. Постучала в окно шоферу:

- Куда едем?

- До Гидры.

Гидрой местные называли ГЭС, гидроэлектростанцию. До нее было 75 километров, Вернерс жил еще дальше в горах.

- Не возьмете меня?

- Ко мне тут еще один просился, его только и жду. Если не придет, можете ехать.

- Спасибо большое! - с этого момента я не отходила от машины ни на шаг.

Пассажир так и не объявился, и я забралась в кабину, в тепло. Немного опасалась предстоящего пути по горным дорогам, но с дорожными опасностями приходилось считаться.

Шофер уже включил зажигание, мотор заурчал, и тут к нам подошел человек в ватнике и стал проситься в машину - хотя бы и в кузов, на кучу угля.

- Ну что с тобой поделаешь. Лезь наверх, если не боишься свалиться или замерзнуть, - сказал шофер с явной досадой.

Выехали посреди ночи. Шофер говорлив. Ночью и надо говорить, объясняет он, иначе того и гляди заснешь за рулем. Расспросил, куда я еду, зачем. «Так вы здесь впервые?»

Начались горы, и шофер примолк. Все внимание на дорогу. Ехали около четырех часов. Вокруг необыкновенно красиво. Я ни о чем не спрашивала водителя, чтобы не отвлекать. Ехали мы довольно медленно. Где нужно разминуться с едущими навстречу, останавливались, сигналили. Но за весь долгий путь нам не встретила ни одна машина.

Вдруг заглох мотор. Оживить его не удалось, и оставшиеся два километра до Гидры мы шли пешком. Человека в кузове уже не было. То ли он спрыгнул там, где шофер притормаживал, то ли... О других вариантах думать не хотелось ни мне, ни тем более шоферу - он чувствовал себя виноватым: зачем разрешил парню ехать в кузове, зачем не поинтересовался, как он там.

В Гидре оказались в пять утра. Шофер указал, где Дом колхозника, там обыкновенно ночуют приезжие, и исчез. Денег за дорогу с меня не взял.

Колхозная «гостиница» состояла из одной большой комнаты. Я заплатила шесть рублей за сутки, бросилась в постель и уснула. Проснулась, закашлявшись от густого табачного дыма. На койках вокруг меня сидели мужики и вовсю дымили. Ни одной женщины. Я нащупала на стуле платье, кое-как натянула на себя под одеялом и кинулась к дежурной.

- Почему вы поселили меня в мужской номер?

- Э, милая, мужской, женский! У нас всего одна комната. Кто пришел, тот и спит. А женщин давно уже не было вообще.

Кипятка, а значит, и чаю так рано не полагалось, и я продолжила путь без завтрака. До Вернерса было еще 25 километров. Регулярного сообщения с Золотогогорском не существовало. Двинулась пешком. Оно и к лучшему - так можно подробнее рассмотреть

красоту и величие гор. Я шла, приостанавливалась, любовалась все новыми видами, открывавшимися с каждым изгибом пути. Такого я не видела никогда прежде. Природа открывалась здесь в неслыханном великолепии, на крутых скалах отливали серебром ветви пихт и кедров. Мертвые деревья, тоже серебряные, по-своему дополняли картину.

Так я прошла 10 или больше километров, когда меня на узкой горной дороге нагнала легковая машина с одним пассажиром. Меня любезно взяли с собой. Дорога здесь сужалась, все больше петляя. Понемногу стали пропадать кедров и пихты, их сменяли приземистые кусты, но каждый поворот по-прежнему открывал все новые красоты. Если бы у меня тогда был фотоаппарат! Или если бы я умела по-настоящему, в полную силу описать увиденное!

По левую сторону дороги теперь высились крутые красноватые скалы, справа чернел обрыв. Потом долго бежала рядом с нами река Сарал, коварная, по словам моих спутников - глотала не раз и людей, и машины. Выше в горах будут мхи, ягодники - черника, брусника, там в кратерах потухших вулканов плещутся озера. Рыба в здешних водах есть, но на крючок не ловится. Горы богаты разными рудами, золотом.

Меня довезли до Главстана - небольшого местечка, где проезжая дорога кончалась. Еще девять километров надо было пройти пешком. Я, согласно указанию брата, позвонила в клуб, и Вернерс вышел мне навстречу. Обнялись, жадно вглядываясь друг в друга.

- Ты здоров, братец? И что у тебя с рукой?

- А, пустяк. Придавило палец, и знаешь, это, может быть, спасло мне жизнь. Бурил породу, и огромный камень вдруг валится сверху. Если бы я не отскочил - каюк! Легко отделался. К тому же получил больничный на 10 дней, смогу быть с тобой.

- Не страшно после этого опять идти в шахту?

- Ну, идти-то надо, я и теперь себе не хозяин. Да и привык уже. Даже к смерти люди привыкают. Но хватит обо мне. Ты мне скажи, девять километров в гору одолеешь?

- Да уж как-нибудь. Горы тут у вас неправдоподобно красивые.

- Боюсь, эту красоту мы скоро не увидим. Пурга надвигается. Ясные дни тут редкость. Пурга заведется, бывает, на неделю.

Тогда только держись - легко потерять ориентацию, заблудиться, свалиться в пропасть. Но что это я тебя пугаю...

Тем не менее он смотрел на сгущающиеся тучи все с большей тревогой. Зимние бури в наших краях я переживала сотни раз, но горы есть горы. Опасения брата оправдались почти сразу: ветердохнул с дикой силой, и вскоре все вокруг уже тонуло в снежной сумятице. Дорогу замело почти мгновенно. Вернерс, идя впереди, отыскивал санную колею на ощупь. Видимость была не дальше полуметра. Не один час ушел у нас на то, чтобы одолеть пять километров. Тут был крохотный поселок, название которого я забыла. Зашли в столовую - перевести дыхание.

- Здесь я встретил Валю, - сказал Вернерс. - У меня еще не было ни жилья, ни человека, с которым хотя бы словом перекинуться. Ну, так и началось.

- У вас в самом деле свадьба перед Новым годом?

- Нет, это Валя пошутила. Опять же, подумали - больше шансов, что ты приедешь.

- Слава Богу, - не удержалась я.

Брат замолчал. Мне стало так жаль его...

Выпили по стакану чая с булочкой, и снова в дорогу. Пурга не унималась, хлестала по глазам, норовила сбить с ног. Вернерс пробивал путь, то и дело оглядываясь - убедиться, что я не отстаю. Подошли к шахте.

- Вот здесь я и работаю. Пурга утихнет, придем посмотреть. Он жил еще двумя километрами дальше и выше. Небольшой шахтерский поселок возле выработанной шахты. Дом замело пургой по самую крышу. К двери в снежном тоннеле был прорублен ход со ступеньками. Окна заслонены сугробами, так что весь день в комнате горит свет.

Летом, узнала я потом, по «улице» течет золотиносный ручей. Пенсионеры просеивают золотой песок прямо у своего крыльца. Содержание драгоценного металла в этом песке больше, чем в твердой горной породе. Валина мать летом тоже подрабатывает таким образом.

В теплом доме обе женщины встретили меня радушно, помогли снять шубу. Это не было так уж легко: шаль примерзла к воротнику, воротник к волосам.

Уху из рыбьих голов мы хлебали из общего блюда. В Сибири такое не редкость. В тот раз на столе появилось и тушеное мясо. Пообедали досыта. Вечером мне постелили в комнате, хозяева устроились на кухне.

Мебель для дома, добротную и простую, смастерил своими руками Вернерс. Но дом был перегружен массой мелочей, безделушек: кажется, и сантиметра не оставалось, свободного от коробочек, флакончиков, старых открыток; на стенах - вырезанные из газет фотографии. Комнатные растения соседствовали с бумажными «розами» и блестящими конфетными обертками. Утром, оставшись на минуту наедине с братом, я спросила: «Как же ты здесь дышишь?»

- Знаешь... Я слишком выматываюсь на работе, чтобы желать чего-нибудь, кроме теплого дома и горячей еды, - ответил он безрадостно.

Я хотела бы до конца понять его, но для этого, может быть, не хватало пережитых им семи лет лагерей...

В поселке золотодобытчиков Вернерса ценили. В клубе заведующая мне сказала с гордостью: «У нас теперь свой композитор и дирижер!» Брат руководил местным самодеятельным оркестром, расписывал нотные партии, сам играл на пианино или тромбоне. С ним считались.

Вернерс обладал не только музыкальным талантом (правда, без консерваторской огранки), но и натурой настоящего художника: нервный, впечатлительный, он быстро загорался, не умел думать о себе, планировать будущее. Может быть, это было и к лучшему в обстоятельствах, когда от самого человека зачастую зависело так мало?

Пурга бесчинствовала и на следующий, и на третий день. Когда она немного притихла, Вернерс сказал:

- Может, рискнешь? Хочу показать тебе мою шахту. Дотуда два километра. Покажу, как мы золото роем.

О своем Золотогорске Вернерс рассказывал увлеченно. Жалел, что не видны за снежной пеленой вершины тамошних гор. Указывал на огромные столбы - трос, протянутый через них, служил для перемещения вагонеток с породой сверху вниз,

на обогатительный завод. Когда месторождение исчерпано, трос снимают. Рабочий поселок тоже переносят к новой горе и новой шахте. Остаются пустые шахты, столбы и остатки домов, которые дешевле бросить, чем переместить.

К моменту моего приезда большая часть поселка уже «переехала» на два километра ниже, к новой шахте, где бурильщиком «вкалывал» мой Вернерс. «Перевозят только новые дома. Наш, ты видела, старый. Другие живут уже рядом с работой, а нам приходится мерить лишних два километра туда и обратно».

Брат указывает рукой вниз:

- Тут летом в ясную погоду можно видеть ограду из колючей проволоки и кладбище - пирамидки, кресты. Память о лагерях, много их тут было. Я их уже не застал, а рассказывают жуткие вещи. И сейчас в шахтах вольных меньшинство.

Мы начали подниматься к входу в шахту по ступенькам, выбитым в почти вертикальной скале. Нужно было одолеть 700 метров этого крутого подъема. Поднялись, отдышались. Вернерс повел меня в глубь горы. Почти полукилометровый ход с рельсами для вагонеток, а оттуда 50-метровая лестница к первому горизонту. И еще по 50 метров к следующим, второму и третьему горизонтам. На каждом горизонте штреки, в которых бурят, взрывают, грузят и отправляют руду. Золотоносная руда - светло-серый камень, похожий на доломит, но очень твердый.

На горизонты мы не поднимались - там требовались пропуск и спецодежда. Шли вдоль рельсов, по которым мимо нас, громохкая, то и дело проносились электрокары с вагонетками.

- Ты знаешь, я бурильщик. Передо мной каменотесы кверху от очередного горизонта проделывают узкую длинную щель, в нее забивают бревно длиной 15-20 метров с насечкой, вроде трапа. Я по нему взбираюсь вверх с 25-килограммовой аппаратурой на спине. И там, опираясь спиной в одну, ногами в другую стенку расщелины, бурю в камне отверстия для взрывчатки. Бур работает на сжатом воздухе, он поступает к аппарату по трубке, все это мне надо тащить за собой. При работе аппарат постоянно брызгает водой, смывая вредную пыль, но часть все равно попадает в легкие. Работаю в резиновом костюме, но вода так или иначе оказывается

и внутри, так что сухим со смены не выйдешь. На глазах защитные очки, правда, их то и дело забивает пылью и грязью. Летят камни, травмы у нас не редкость.

- Неужели не страшно по утрам заходить в шахту?

- Поначалу было страшно. Потом привыкаешь, а куда деваться?

Бурильщики сменяют взрывники. Затем включается вентиляция - шахту проветривают от газов. Убирают руду, укрепляют потолки новых штолен. И снова бурильщики карабкаются по столбам (лестницы обошлись бы слишком дорого) с победитовыми сверлами, и тянут за собой рукава, подающие сжатый воздух и воду.

Работа не только тяжелая, но и вредная для здоровья. Рано или поздно шахтер болеет силикозом (Вернерс не станет исключением). Рудная пыль оседает в легких, затвердевает и остается там до конца дней. Резко приближая этот самый конец.

Руду вывозят из шахты электрокарами, тележки автоматически опрокидываются, сваливая ее в специальные емкости, из них руда так же автоматом попадает в ковши, а те уже по тросу скользят вниз, к горно-обогатительному заводу, расположенному там, где мы заходили в рабочую столовую.

Мы с братом долго стояли, смотрели, как по одному, более высокому тросу приходят пустые ковши, как наполняются рудой и со стоном по нижнему тросу плывут обратно. Один за другим - пустые, наполняются, исчезают в белом месиве пурги. Буря им не помеха.

Вернерс долго-долго смотрел на них, а потом дрожащим голосом рассказал мне... «В прошлую неделю по телефону из шахты на обогатительный завод срочно вызвали нашего мастера. Пурга была такая же сильная. Одному из мастеров не хотелось пробираться вниз пешком. Он не дал заполнить один из ковшей и забрался в него. Это строгойше запрещено, но он решил рискнуть. Так он спускался вниз, к заводу, когда в механизме что-то испортилось, и он повис в ковше, подвешенном к тросу, на высоте 400 метров, на ветру и сорокаградусном морозе. Машину исправили и запустили через два часа. Из ковша на заводе выпал насмерть замерзший человек. Хороший был мастер».

Когда мы с братом спустились с горы, навстречу нам шли горняки второй смены с лампами, прикрепленными ко лбу. У многих были бледные, отдающие зеленью лица. Силикозники, сказал Вернерс, этих уже ни один врач не спасет. Но пока ноги держат, должны работать. Совсем больным, «списанным» людям платят пенсию, но платить ее государству приходится совсем недолго.

В шахте работают и другие сосланные латыши, они живут в общежитии.

Пурга стихла, и я пустилась в обратный путь. Вернерс договорился, чтобы меня подвезли на попутной подводе. После чего мне надо было пройти еще пять километров пешком. И вскоре после того, как я оказалась на дороге одна, опять налетела пурга.

Снежные вихри норовили сбить с ног, столкнуть с дороги, забивали дыхание; были минуты, когда я теряла последние силы и надежды. Казалось, некая злобная сила вот-вот подымет меня в воздух и швырнет, как щепку, в ущелье. Ни живой души поблизости. Впечатление такое, что горной дорогой с начала этих буранов никто не ходил и не ездил. Хорошо, что Вернерс дал мне длинный посох. Заметенный путь приходилось угадывать, нащупывать. Я трижды проверяла палкой место, куда собиралась шагнуть, - пропасть, я это помнила, была совсем рядом с узкой дорогой.

Стемнело. Я уже почти ничего не видела перед собой. Я не сдамся. Хочу еще раз увидеть сына, твердила я себе. Я не поддамся отчаянию. Были моменты, когда после очередного удара ветра я передвигалась вперед почти на четвереньках.

О чудо! - почти так же внезапно, как налетела, пурга прекратилась. Но зато мрак окончательно сгустился. И навалилась усталость. Мне вдруг стало все равно, что со мной будет. Хотелось немедленно свалиться и уснуть.

В романах и драмах в самый критический момент к герою приходит спасение. Со мной случилось именно так. Я ведь давно не понимала, правильно ли иду, сколько успела пройти, как далеко до моей цели - Главстана. Увидев впереди какие-то огоньки, я сначала не могла поверить своим исхлестанным вьюгой глазам.

Чувство было такое, точно солнце вдруг взошло посреди ночи. Я поняла: это избавление. Не заблудилась, снежная буря не столкнула меня в пропасть. Огни вдалеке светились так мирно, так дружелюбно, они манили, как огни родного дома.

Но пока я добрела до первых домов Главстана, силы были исчерпаны. При свете первого же окошка я взглянула на свои ручные часы. Полдесятого. Постучалась в один дом, попросилась на ночлег, получила отказ. Второй дом, третий... Края суровые, на приисках полно уголовников. Незнакомого, чужого человека здесь, в горах в дом не пускали.

Дошла до столовой. И там был свет. Дверь не заперта. В помещении была одна женщина - уборщица. На приветствие ответила вежливо. Спрашиваю: нельзя ли мне посидеть у вас, согреться. К сожалению, ничего не выйдет. Она работу закончила, пора домой - и столовую необходимо закрыть на замок.

Проситься в другие дома? Наверняка бесполезно. Да и сил не осталось. Я уселась на ступеньки крыльца той самой столовой. Придется ждать здесь утра. Дождусь ли я его живой или мертвой, зависело уже не от меня. С этой мыслью я начала засыпать... И вдруг сквозь дрему услышала шум автомобильного мотора. Вскочив на ноги, я бросилась бежать в направлении звука. Из темноты вынырнули фары. Я замахала руками. Машина затормозила.

- Скажите, пожалуйста... Вы здесь будете ночевать или поедете?

- А тебе куда надо?

- Мне бы уехать отсюда.

- Куда уехать-то?

- В Копьев.

- Это можно. Только вот выгружу муку на складе. Жди у столовой.

Не обманет он меня? Поплелась на знакомое крыльцо.

Машина подъехала примерно через час. Из Главстана отбыли ближе к полуночи. Дорогу замело. Водителю приходилось то и дело выскакивать, работать лопатой. Он бранился. С грузом ехать было куда легче. Я ему помочь не могла.

25 километров до Гидры преодолели к утру. Зашли в столовую позавтракать. Там шофер узнал, что нужно загрузиться и

немедленно ехать в Копьев. Парень всю ночь не спал, и теперь ему предстояло по горным дорогам катить еще 75 километров.

- Нужно принять сто грамм, иначе не выдержу, - сказал он, как бы оправдываясь. Попробовала отговорить, он разозлился. Я побоялась, что придется идти пешком. Отступилась.

Мой водитель принял сто грамм, и еще, и еще сто. Я не на шутку испугалась. Но другой машины в Гидре не предвиделось.

С погодой как будто повезло. Дорога тоже лучше. И мои опасения вроде бы не оправдались. Шофер внимательно следил за дорогой, свалиться в пропасть или врезаться в скалу не собирался. Я, тоже не спавшая ночью, изо всех сил противилась сну. Жаль было бы не увидеть еще раз грозную и захватывающую красоту гор, к тому же до конца уверена в безопасности поездки я не была.

Каждые десять километров дорога менялась к лучшему - нет прежней крутизны, путь шире, ровнее, надежнее. Только мост через реку Сарал разбудил прежние страхи.

Чем ровнее, накатанней становилась дорога, тем слабее внимание водителя. В одном месте машина сошла с дороги на пологую насыпь, заметенную снегом. Треснуло шасси, под днищем что-то непрерывно стучало. Шофер опомнился, выбрался снова на дорогу. Но вскоре спиртное опять затуманило его голову. Руль он не выпускал из рук, но зато непрерывно жал на газ. Машина мчалась с дикой скоростью, от сломанного шасси грохот был, как в кузнечном цехе. Я дергала шофера, убрала его ногу с педали, на руле теперь была третья, моя рука, и я руль уже не отпускала. Хорошо, что дорога была гладкой и снег на ней лежал ровно. До сих пор не знаю, каким чудом нам удалось живыми добраться до станции.

Нашла елочку!

Дома я нашла Алнису совсем больным. Из командировки в колхоз вернулся с гриппом. «Очень тяжелая форма», как сказала Эрика Андреевна. Она приходила к нам на дом, делала все, что

могла, но болезнь не отступала. Не помогали лекарства, тем более бесполезны были мои слезы и причитания.

В последний день уходящего года я оставила больного одного и отправилась искать елку. Думала, что найду в ближнем подлеске и скоро вернусь. Брела через сугробы, но без толку: елочки нигде не видела. И почему-то мне втемяшилось в голову: если елочки не найду, можем с болезнью не справиться. Глупо, но подумав так, я уже не могла вернуться домой без этой самой елочки. До сумерек лазила по кустам, и в конце концов елочка, хотя и голая с одного боку, нашлась. Я отряхнула ее от снега, срезала, и она мне показалась очень даже симпатичной.

Дома Эрика уже сидела у постели больного. Двери я вообще не запирала, чтобы врач или сестра со своим шприцем могли войти и в мое отсутствие. Больница была от нас недалеко.

Я тихонько рассказала Эрике о своей непрощенной мысли и отчаянных поисках елочки, но она даже не улыбнулась. Алнис был очень болен.

Елочку установила на столе. Хвоя была еще мокрой от растаявшего снега. Прикрепила и зажгла три свечи. Несколько минут мы с Эрикой провели в молчании, исполненном значения. Потом она поднялась, пожелала, чтобы Алнис выздоровел в наступающем году, и ушла.

Алнис лежал то ли в беспамятстве, то ли в глубоком сне. Я сидела рядом, меняла компрессы на пылающем лбу. В доме сильно пахло хвоей. Три свечи горели.

Пришла Тамара, учительница. Я уступила ей место у постели больного. Она сменила компресс и, ни слова не говоря, глотала слезы.

Перед самой полночью, когда Новый год уже подступал к Тюхтету увязая в сугробах, наша Майра принесла трех козлят. Надо бы радоваться, а я была в растерянности: что с ними делать? Оставить их - самим молока не хватит, Алнису его понадобится много. Никому из знакомых козлята, сколько я знала, не были нужны.

Я вернулась в дом и тихонько спросила Тамару: - У вас хватит духу сделать злое дело?

- Если иначе нельзя, то хватит.

Обе пошли в полночь, на стыке двух лет, и быстро исполнили его, это дело - тяжелое, но необходимое именно в тот миг, когда крохотные комочки еще не познали ни боли, ни воли к жизни.

И небо осветилось, затрещали ракетницы - наступил Новый, 1956 год.

Когда мы вернулись в комнату, Алнис открыл глаза.

- Будь, пожалуйста, будь здоров, мой мальчик! С Новым годом!

Что шепнула, склонясь к нему, Тамара, я не слышала. Зажгли три новых свечи и стол с елочкой перенесли к постели больного.

Болезнь еще долго не отступала. К гриппу прибавилась свинка - детская болезнь, которая особенно тяжело протекает у взрослых. Алниса часто мучили сильные, до потери сознания, головные боли. Из больницы хотя бы раз в день приходила по-прежнему Эрика, дважды - сестра, чтобы сделать уколы. Тамара все свободное время проводила у постели больного.

Были и еще осложнения, всего теперь и не припомнишь. И вот врачу Кирову прислали новые антибиотики. Эрика с лекарством поспешила к нам.

- Надеюсь, теперь справимся.

Пенициллин, у нас в Тюхтете появившийся чуть ли не впервые, не обманул ожиданий. Уже на другой день болезнь отступила.

Теперь он быстро выздоравливал. Единственно головные боли еще долго повторялись. Сын вернулся к работе, учебе, любви, танцам в клубе. И к мечтам об институте.

Арнольд свободен!

Письмо Арнольда, 8 января 1956 года:

«Ждали, что уже сегодня скажут, кого выпустят на волю, но напрасно. Начальник сегодня предложил мне после освобождения остаться у них садовником или пекарем. От того и другого отказался.

Пятнадцати из нас сказали сфотографироваться. И мне. Так что надеюсь скоро быть дома. Вы меня к себе не ждите. Меня тянет на родину. Только если там нужно будет работать в колхозе, тогда приеду, и пусть Алнис берет меня на работу к себе. Погостить у вас хорошо бы и теперь, но я не знаю, каков будет порядок освобождения».

10 января:

«Ну, наконец могу обрадовать. Вчера в столовой раздатчик мне шепнул, что я уже одной ногой на свободе. Изготовление паспортов занимает 10 дней. Окончательный расчет - в Тайшете, там дадут и билет до конечной станции, и денежное содержание».

Из Тайшета, 23 января:

«Я уже здесь. Все улажено. Были в магазине, купили продукты на дорогу. Попробовал кружку пива. До свидания в Сермули». И из Латвии, с родины, из родного дома:

«В Ригу приехал в 7 часов вечера. Чемодан оставил в камере хранения. Думал на ночь остановиться у дяди Мартыньша, но оказалось, что он уже умер.

В Сермули первой меня встретила мама. Она скоро закончит ткать длинное полотно, всех ждет не дождется домой. Когда-то мы жили здесь все вместе, радовались. Теперь тут невесело. Поля заросли лесом, кустарником, и не узнать. Когда приедет Алнис, восстановим теплицу. Из депортированных в 1949 году уже вернулись Микельсоны, скоро ждут Веиспалиса, Калкуню, Акменкалнса.

Из одежды моего ничего не осталось. Весь гардероб - то, что на мне. Но я об этом особенно не думаю. Вряд ли тем, кто сейчас носит мои пиджаки, на сердце так легко, как мне. Я ведь снова дома!

Вчера приехала Карлина Бурова и побудет какое-то время у нас. Оба ее сына выросли, женились, зарабатывают, так что можно и погостить у родни.

В колхозе в прошлом году был неурожай, на трудодни выдали копейки и хлебом всего ничего».

Арнольд потому и не собирался вступать в колхоз, что заработать там трудно, а работы не впрок.

Из письма Вернерса:

«Меня звали в Гидру руководителем духового оркестра с квартирой и окладом 800 рублей, но я не мог вовремя туда поехать и упустил возможность. Теперь хотят здесь, в Золотогорске, освободить от шахты, чтобы я организовал эстрадный оркестр. И квартиру тоже обещают, уже складываю ноты в чемодан в ожидании переезда. Есть надежда, что не останусь в забое навеки».

Где ключи от нашей свободы?

Пытки

Алнис много сделал, чтобы ввести автоматизацию на электростанции, укрепить штаты. Теперь как будто можно было спокойно работать. Но как раз покоя и не было.

Сначала болезнь, трудное, долгое выздоровление. Головные боли все еще не оставляли, возобновляясь после каждого серьезного усилия. Но в школе, несмотря ни на что, Алнис и Рихарде были в числе первых.

В неделю у Алниса оставались всего два свободных вечера, когда не нужно идти в школу: субботний и воскресный. В субботу молодые обычно шли на танцы в клуб, в воскресенье - в кино. А больше в Тюхтете и пойти было некуда. Танцевали под звуки аккордеона, на котором играл слепой музыкант. Ребят было мало, девушки часто танцевали друг с другом - «шерочка с машерочкой». Русские танцуют и пляшут темпераментно, не так застенчиво и медленно, как мы, латыши.

В вечерней школе близилось время экзаменов. Алнис своевременно просил директора МТС предоставить на это время отпуск с 2 по 24 апреля 1956 года. Основание - постановление Совета Министров СССР от 13 февраля 1956 года.

Заявление Алнис подал 24 февраля. Ответа не было. Директор, как выяснилось вскоре, не хотел не только предоставить Ванагсу внеочередной отпуск для сдачи экзаменов, как это было предусмотрено законом, но и собирался ему всячески препятствовать, так как прослышал о желании Алниса поступить в институт. Терять такого работника он не желал ни в какую.

Алнис попросил вмешаться директора школы Попкова. Тот охотно согласился напомнить главе МТС, что отпуск работающим на время экзаменов полагается по закону. Как на это отреагировал директор МТС Сергеев, расскажу немного позже, а пока обращусь к нашим домашним делам.

Нам прислали из Латвии фотоаппарат «Любитель» и пленки к нему, о чем мы давно уже мечтали. 2 апреля Алнису предстоял первый выпускной экзамен; мы надеялись, что с этого дня начнется его 20-дневный отпуск. Мои испытания начались еще раньше - несколькими охапками сена надо было еще целый месяц кормить двух коз. Пришлось уменьшить порцию молока Мике. На дворе было минус 25.

Мы первыми прибыли когда-то в Тюхтет и, похоже, последними уедем отсюда. Высланных в 41-м году все еще никуда не пускали. Разрешали вернуться на родину больным, инвалидам, если за ними в Латвии было кому ухаживать, но в любом случае лицам не моложе 55. В нашем районе освободили также калмыков, которые служили в Красной Армии. Отпускали и тех, у кого были какие-нибудь советские награды.

О нас ничего не было известно. Свобода была нужна хотя бы для того, чтобы Алнис беспрепятственно мог поступить в институт, хорошо бы в Риге. Но говорить об этом было рано.

В Латвию на один месяц отпускали, если получить разрешение в Красноярске. Но это стоило больших денег, которых у нас не было.

Я связала Алнису красивый жилет и сказала, что он за это должен выдержать все экзамены. Он обещал постараться.

25 марта предстояли очередные выборы. В предвыборной агитации должны были участвовать все учителя и ученики десятого, выпускного класса вечерней школы. В колхозы выезжали агитбригады.

Теперь о директоре МТС Сергееве. Он и не думал поддаваться - сила и возможности были в его руках. Он чувствовал себя задетым и задумал как следует помучить непокорного подданного, а затем уволить, и тогда не нужно будет ни платить отпускных, ни оказывать положенные работнику бесплатные услуги по машинной или конной вспашке приусадебного участка и пр. Алнис навел в своем электрохозяйстве образцовый порядок, многое автоматизировал, так что теперь электростанция какое-то время могла работать и без него. Мавр сделал дело, мавр может уйти. Какой-то ссыльный смеет качать права? Мы ему покажем

права! - думал, по-видимому, директор, представитель местной номенклатуры, коммунист. И показал.

Нет, Алниса не уволили, повода не нашлось. Но директор объявил о сокращении штатов и возложил на него дополнительно обязанности радиотехника. Совместить эти две работы, притом в разных местах, было практически невозможно. Кроме того, перенятие новой должности было назначено как раз на день первого школьного экзамена.

Ванагс мог выполнить приказ начальства и остаться без школьного аттестата. А его отказ автоматически означал увольнение. Сын выбрал школу. Последовал приказ об увольнении Ванагса в связи с сокращением штатов. Радиотехник становился по совместительству заведующим электростанцией. Врио - временно исполняющим обязанности. Приказ издан 27 марта, сдача дел происходила в конце месяца, когда в школе шли последние консультации и до экзаменов оставались считанные дни. Между тем передача электростанции требовала массу времени и усилий: составлялись акты, заседала комиссия, собирались требуемые подписи, все это в спешке, на нервах. Сдал Алнис свое хозяйство благополучно, после чего едва держался на ногах. Но удержался.

В это время, как раз в канун первого экзамена, из Чульска прибыли латыши, которым полагалось полное освобождение по инвалидности. Один старик получил нужные документы и уехал домой, в Вайнёде. Кто-то отправился доказывать свою правоту в Красноярск. Эти люди жили у нас по неделе, по две - деваться им в Тюхтете было некуда. Все мы теснились в одной комнате - жили, ели, спали, делились своими бедами. Алнис в это время учился. Приезжие из всех сил старались ему не мешать, но ведь они были люди, не призраки. Из Чульска приехали и Гутманисы - Олаф с родителями. И они оформляли документы на освобождение в Тюхтетской комендатуре. Оформили. Уехали на родину.

Экзамены мой мальчик сдал. В аттестате были шесть пятерок и семь четверок. Как ему это удалось в таких обстоятельствах - ей-богу, не пойму до сих пор.

Выпуск в вечерней школе состоялся 20 апреля. День выдался прохладным, но это не помешало ему стать радостным и

значительным для многих. Все 11 выпускников гурьбой прохаживались по улицам Тюхтета с аттестатами, свернутыми в трубочку, и встречные радовались вместе с ними.

Праздник по этому случаю устроили у немца Альберта, поскольку у его родителей была двухкомнатная квартира. Мать троих выпускников была хозяйкой бала. В праздничном меню были котлеты с картошкой и солеными огурцами. На сладкое - чай с печеньем. Не было недостатка в главном - шутках, песнях, танцах. Я захватила с собой свою книгу - «Моему мальчику», пристроила ее в кухне на отдельном столике и попросила одноклассников Алниса оставить в ней свои пожелания. Вот они (с некоторыми сокращениями):

Я часто думаю о способностях моего друга и его энергии. Он далеко пойдет.

Альберт

Дорогой друг, помни наш девиз - знать больше, знать лучше и всю жизнь идти только вперед.

Рихард

Всегда будь достойным сыном своей мамы, набирайся знаний, стань отважным борцом за коммунизм и счастье человечества!

Подпись неразборчива

Нет ничего лучше, чем в своем товарище найти друга, который всегда поможет в трудную минуту. Я знаю, что таким можешь быть и ты.

Ефремов

Красивых слов не умею дарить, потому дарю свое сердце!

Подпись неразборчива

Этот день помни всю жизнь!

Подпись неразборчива

Алнис, желаю тебе наилучших достижений в жизни. Быть настойчивым в достижении поставленной цели, а упорства тебе хватает. Ты своего всегда добьешься!

Люся

Желаю тебе всего самого-самого, а хорошая цель у тебя есть.

Лена

Желаю тебе поступить в институт и закончить его. Будь всегда таким, каков ты есть, т.е. справедливым и хорошим другом. Не сойди с верного пути и будь всегда впереди.

Жергунова

Будь всегда таким отзывчивым, каким был в школе. Ты мне помог, когда было трудно, спасибо. Дашь институт!

М. Бекеш

Хочется тебе пожелать чего-то необыкновенного, но не знаю, чего. Желаю построить свою жизнь так, чтобы не надо было думать о ее ничтожности.

А. Кревель

Желаю тебе всего самого лучшего, что можно пожелать другому. Желаю быть полезным нашему социалистическому обществу, гордиться им и радоваться, что нам повезло жить в это время. Успехов тебе во всем, наш чудесный товарищ!

Валя К.

Нет слов, чтобы высказать все. Одного хочу пожелать - чтобы исполнились твои самые заветные мечты и планы. Будь счастлив везде и во всем, мой дорогой друг!

Тамара К.

День получения аттестата, начало новой жизни помнят все и всегда. Нет ничего приятнее в жизни, чем вспомнить это время юности, искренности и правдивости. Желаю тебе всего того, что люди называют счастьем.

Подпись неразборчива

Я благодарна тебе - ты поддержал во мне силу духа, когда она меня чуть не покинула. Ты из тех, кто никогда и нигде не теряет голову. И сегодня - в тебе бурлит радость жизни! Будь таким же всегда! Вперед и выше!

Нина К.

И все сказанное было правдой, пускай и частичной. Алнис и впрямь был сердечным, готовым прийти на помощь, справедливым, всегда стремился к знаниям, дававшимся так нелегко.

Мне написал его крестный, Константин Карулис: «В Алнисе, видимо, много лучших душевных качеств от Лекшелиса, это и благодаря твоему воспитанию и влиянию. И отцовская неотступность очевидна. Хоть бы у него хватило пороку, чтобы твердо встать на ноги в жизни и работе...»

Море не умирает

Я никогда не встречала белого воробья, но зато своими глазами увидела латыша, пережившего все лагеря смерти, начиная с 1941 года, и выжившего. Несколько начальных месяцев он был вместе с моим Александром, и не сказать чтобы охотно, но все-таки рассказывал об этом.

- Тогда, ночью 16 июня 1941 года мужской эшелон из Даугавпилса отправился раньше вашего. Ехали мы недолго. До станции Бальбино. Там всем приказали выйти из вагонов и сложить чемоданы в кучу в конце перрона. Нас самих погнали пешком за 30 километров к Юхновской усадьбе. Располагалась она рядом с шоссе Смоленск-Москва. После 1917 года здесь устроили концлагерь для пленных немцев, а затем и латышских стрелков. В Юхнове до нас заперли эстонских офицеров. Разделив на группы по 100 человек. Точно так же разделили и нас. Всего там оказались 10 000 человек.

Ограда в три ряда. Первая пониже, через нее пропущен электрический ток. Вторая - высоченная, как крепостная стена. За ней нейтральная полоса, посыпанная песком. И снова низкая, с электротоком. На страже также целая свора овчарок.

Есть давали раз в день. Голод, невыносимая жара, грязь и вонь, удушающее безделье, полная неизвестность. Иные сходили с ума. Кто-то, не выдержав, бросался на ограду и сгорал, прекращая мучения, которые, правду говоря, были еще цветочками по сравнению с дальнейшим.

Однажды Игнаш увидел в руках охранника газету. Он не пожалел свои карманные часы - отдал их за свежую «Правду».

Наверное, то был самый дорогостоящий экземпляр газеты в мире. Газету тайком передавали из рук в руки, пока не зачитали до дыр. Отрезанные от остального мира, мы жадно искали новостей. Война в тот момент еще не началась, и для многих это было разочарованием: надеялись на перемены, хотя бы и самые драматичные.

В Юхнове мы томились больше месяца. То ли вагонов не хватало, то ли в новых лагерях не успели пропустить ток через колючую проволоку. Только 28 июля двинулись в обратный путь. Голодных, истощенных людей те же 30 километров заставили пройти без отдыха, нас гнали и теснили вертухаи на конях. Помню, на обочине дороги стоял и смотрел на нас парнишка, полуголый, как маленький Тарзан. Там и сям встречались деревни, жалкие избы с дырявыми крышами. Но многие из нас были так измотаны, что видели только носки собственных сапог.

На станции мы получили свои вещи там же, где их оставили полтора месяца назад, все это время они валялись под открытым небом. Одежда заплесневела, сахар растаял. Но то, что осталось от провизии, мы уничтожили, не обращая внимания на плесень и гниль.

И снова вагоны для перевозки скота, по 60 человек в каждом, маршрут Казань-Свердловск-Туринск.

В Туринске нас выгрузили, отняли ножи, кольца и прочие ценные вещи. Пешком погнали в один лагерь, затем из него - в другой, расположенный в глубине леса. На второй день с утра на работу в лес. Труд тяжелый, питание дважды в день: пол-литра супа из помидорной ботвы, даже не помытой, с песком. Хлебная пайка вначале была 300 граммов в день, потом - по выработке.

У всех начался понос, пошли по телу нарывы. Ни одного врача на весь лагерь. Люди умирали прямо в бараках. Хоронили тут же, в лесу, забрасывая трупы ветками - выкопать могилы было некому. Правда, потом из тех, кто посильнее, составили бригаду могильщиков, но и они с трудом выкарабкивались из вырытой ими ямы. Или оставались в ней. Живым все труднее становилось хоронить умерших, число которых возрастало с каждым днем. Ни могильного холма, ни креста, ни имени погибшего. Но мы завидовали тем, кто уже отмучился.

Ванагс - мы его звали Сашей - вывозил из леса бревна. Вымотался, был очень болен, но смерти не сдавался. Даже шутил по ее поводу. В лесу ловил ящериц и утолял голод. В бараке поддерживал настроение, не давал ныть, не давал умереть до срока. Золотой был человек.

Пришла зима. Саша уже не мог работать, не в состоянии был сдвинуть с места бревно. Его тогда послали на дальние луга, возить сено. А одежда не по сезону, на ногах летние носки, руки голые, - брали-то нас по теплу в чем были. Саша обморозил руки и ноги. Лечения никакого. Пошли язвы, пальцы гнили, на ступнях выступила голая кость. Боли ужасные. Не понимаю, как он выдерживал, как мог жить.

Саша не поддавался отчаянию, верил, что вернется домой, верил в справедливость и человечность. Но я не верю, что он мог долго выдержать в таком состоянии. Позднее в лагере появилась санчасть на три койки, но с обморожениями туда не принимали. Таких больных было слишком много, и они рано или поздно умирали в бараках.

Мне посчастливилось, обморожений у меня не было. Я еще дома вскрыл пуховую подушку и этим пухом утеплил изнутри рукавицы и носки. Так и спасся. У многих рукавиц вообще не было, в июне никто не догадался взять их с собой. (У мужа рукавиц не было, потому что он перед расставанием отдал свои мне).

В бараках не топили. На потолке днем выступал иней, ночью он таял от дыхания множества людей и капал сверху.

Саша спал вместе с Айвиексте. Я - рядом. Снизу они стелили Сашино шерстяное одеяло, накрывались шелковым ватным, которое было у Айвиексте. Тепло все же не было. Особенно мерзли те, кто днем оставался в бараке. Разрешали не ходить на работу только ослабленным вконец, обреченным. Ни Саша, ни Айвиексте уже не могли ходить. Оба лежали молча. Страшно вспомнить. Не понимаю - неужели у наших мучителей вообще не было такого органа, который называют сердцем. Ни один зверь не станет терзать живое создание так, как мучат людей вроде бы тоже люди.

Однажды утром в декабре вызвали бывшего министра Аушкапса, редактора Ванагса, бывшего судью Юстуса и генерала Эзериньша. Всем приказали собираться. Отправят по этапу.

Я был на работе, не видел, как Саша поднялся на покрытых кровоточащими язвами ногах, как взял обмороженными руками чемодан, как «пошел» практически без ног. Те, кто это видел, давно мертвы. Мне только рассказывали... помню урывками. В Свердловске их всех вроде бы приговорили к пожизненному. Там их следы теряются. Правду не узнать. Может быть, их сразу же...

- Насчет тех 10 лет, про которые вам всю дорогу впаривали в комендатуре, это все чистейшая ложь, - сказал мне Вилис Звиедрис.
- Не верю, что Саша дожил до 1942 года, ты уж прости меня за прямоту.

Да, на все мои вопросы неизменно следовал ответ: осужден на 10 лет без права переписки. Значит, жив? Я хотела верить, я верила, что так.

В 1956 году написала новый запрос и в Ригу, и в Свердловск. Вот уже 15 лет он в «исправительных трудовых лагерях» отбывает десятилетний срок! И опять прежняя отписка: «Осужден на 10 лет... Без права...»

Еще одно мое заявление - которое по счету? - на этот раз на имя прокурора Уральского военного округа. И тут через несколько дней после того, как Алнис получил аттестат, 25 апреля меня вызывают в Тюхтетскую комендатуру.

- Ты писала заявление насчет мужа?
- Писала.
- Пришел ответ.

Из синей канцелярской папки комендант достал листок бумаги и запинаясь прочел: «Ванагс Александр Карлович, 1907 года рождения, умер 22 октября 1945 года от миокардии».

(Нет!! Он умер от голода, от гангрены отмороженных и не леченных ног! Убийцы!! Я не произнесла этого вслух. Сдержалась).

- Уже в 1945 году? - переспросила я. - Но ведь целых десять лет после этого вы сообщали, что он отбывает наказание в исправительно-трудовых лагерях. Чему мне верить - тогдашним ответам или теперешнему? И если муж умер, хотя бы скажите - где?

- Где, тут не сказано. Распишитесь! - комендант пошевелил густыми бровями и, положив ладонь на верхнюю часть листка, переместил его в мою сторону.

Я взяла ручку, кончики пальцев вдруг стали ледяными. Столько всего вместилось в одну эту страшную минуту, сгустилось в ней. Где же оно, это место на счастливой советской земле, откуда весть о смерти самого дорогого для тебя человека идет 10 лет? Откуда, точнее говоря, вообще не добыть ни крупинцы правды? А то, что Алнису когда-то говорил большой армейский начальник: «Ваш отец жив и работает неподалеку от места вашей службы»? Откуда в человеке, пускай даже коммунисте, столько бесчеловечности, откуда эта способность лгать в глаза, даже и без особой нужды? Обманывать самые святые надежды?

Все эти годы сердце чувствовало убийственную правду, но не хотело ей верить. Без этой веры не знаю, смогла ли бы я пережить все, что выпало на нашу долю.

Я быстро поставила свою подпись и выбежала из комендатуры.

Мой любимый. Непокойное сердце, светившее и согревавшее все вокруг. Добрые, хранящие руки, помогавшие всему живому! Глаза, в которых светились лишь чистая радость и любовь. Серо-голубые глаза, глубокие, как море, безмерное и неисчерпаемое. Но море не умирает. Правда ведь? Море не умирает.

Я не плакала, идя домой. Плакало небо. Слезы лились с высоты небес долго, казалось, что нескончаемо. На улице в дождь ни души. Только я и он. Все в нем было исполнено красоты: лицо, сердце, мысли, слова, душа.

На улице никого. Только дождь, только я и он.

Мне бы вечности не хватило, чтобы идти и идти с ним рядом.

Где они, эти ключи?

Олаф Гутманис освобожден как инвалид. Получили долгожданную свободу и его родители, все трое уже на родине. В Тюхтет приезжают латыши со всего района, получают паспорта и свободу, отправляются в Латвию.

Карлис Ниедра, сын знаменитого писателя и политика Андриевса Ниедры, переведенный в Иркутск вместе с нашим

Арнольдом, туберкулезник, но его все еще не отпускают. Что не мешает ему мечтать об освобождении. В свои 65 лет он даже написал об этом стихотворение - впервые за свои 65 лет:

*На чужбине сердце стынет,
Поседев за столько лет.
За спиной твои пустыни,
Впереди забрезжил свет.*

*Не горюй, голубка мама,
И не плачь, и слезы смой:
Сын твой выбрался из ямы,
Скоро жди его домой.*

*За спиной тайга и тундра,
Рабский труд и смерть друзей.
Встречи нам дожидаться трудно,
Но бывало и трудней.*

*Сына ждет родное поле,
Что манило столько лет.
Наши жизни - в Божьей воле,
В Божьей воле мрак и свет.*

Вернерс 3 мая написал из Золотогорска, что получил паспорт и может ехать куда угодно.

И все больше латышей в Тюхтете распродавали убогое имущество и уезжали домой уже совершенно законно, с паспортами вольных людей. С родины приходили письма, полные и радости, и нескрываемой горечи. Радость - от встречи с близкими, с родной землей. Горечь и боль - потому что многие, многие не находили дома, из которого были изгнаны много лет назад. Строения были растащены по бревнышку, сожжены или же в них жили чужие люди. В Риге и других городах крестьян, колхозников и бывших ссыльных не прописывали. Хорошо, если у возвратившегося из Сибири была родня, дававшая на первых порах приют и помощь.

25 марта нам написал Угис: «Думаю, вам самой нужно бы обратиться к Булганину или Ворошилову, чтобы Вас отпустили

домой. Сейчас многие так делают и возвращаются. В Риге Вас, правда, не пропишут, и о работе не может быть речи. Но главное сейчас - по крайней мере оказаться на родине...»

Где же, у кого были ключи от нашей свободы?

Элла написала, что соседи, сосланные в 49-м году, уже приехали и скоро вроде бы придет черед нам, депортированным перед началом войны. И тогда - нас ждут Сермули, хлеба и молока хватит всем. «Ты могла бы пастушить в колхозе, это для здоровья полезно и даст какую-то копейку. Алнис смог бы учиться в Риге».

А кто такой Булганин? Человек, перенявший трон от Маленкова. А Маленков? Этот вступил на трон сразу после смерти Сталина, но, говорят, оказался слишком либеральным, потому и не удержался у власти. Булганин процарствует тоже совсем недолго. Но пока что было его время.

Мне казалось, что нет смысла писать Булганину: никакого «законного» предлога для моего освобождения не имелось. Как инвалида отпустить меня не могли, ибо я официально состояла на иждивении сына. Ссылка Алниса автоматически прекратилась бы, поступи он в институт. Тогда и мой вопрос разрешился бы сам собой: как инвалид и как мать свободного гражданина я могла бы, наконец, вернуться в Латвию. Так где же ключи от моей свободы? Они и сами за семью замками.

И вот письмо от нашего бывшего коллеги: «Езжайте-ка прямиком в Ригу. На селе сможете прописаться. Если нет паспорта, получите здесь. У меня есть возможность Вам помочь. Езжайте только не демонстративно, без лишнего шума... Есть у Вас деньги на дорогу? Если нет, то сколько прислать? Перед выездом напишите. Будем ждать...»

, Однако я все еще сомневалась. А вдруг Алниса ждет еще одно крушение? Рискнуть? Или ждать «законного», всеобщего освобождения?

Новое письмо. «Ваши сомнения могу себе представить. Но не бойтесь, никакие опасности Вам здесь не грозят. Будет где остановиться, и в случае претензий насчет «самовольного» приезда мы сможем Вас защитить. Только никому там не рассказывайте правду. Говорите, что едете в гости, Алнис - поступать в институт в Риге. Так мы ждем!»

Но мы никак не могли решиться. Жизнь научила всех и каждого, что опасно довериться даже другу. Предположим, мой бывший товарищ по работе действительно настолько влиятелен, что может помочь нам. Тогда возникает вопрос - откуда это влияние? Какой ценой приобретено? Рисковать свободой именно в тот момент, когда она так близка? Мы сердечно поблагодарили нашего благожелателя, но решили подождать с отъездом.

Настоящим, верным ключом к свободе был бы студенческий билет Алниса. Теперь и мои, и его мысли были об этом.

Домашние заботы

Нам уже не грозил голод. Не нужно было отмечаться в комендатуре. Можно было не бояться мучительной смерти близких в концлагерях. Земные, простые заботы теперь одолевали меня. В хозяйстве были две козы и два поросенка, им-то и предстояло материально обеспечить наш путь на родину или поступление Алниса в институт здесь, в Сибири, если сорвутся другие планы.

Как обычно, к весне запасы корма для коз подходили к концу. А голодная коза - существо невыносимое, способное вымотать нервы даже самому невозмутимому человеку. В шесть утра обе начинали реветь, как корабельная сирена, и, перемежаясь паузами, этот рев мог продолжаться часами, если не находилось чем «откупиться». Поэтому приходилось еще по снежку с утра вести обеих скандалисток в лес. Там, найдя вербу, я наклоняла ветку и ждала, пока бородатые красотки не обглодают ее догола. Наклоняла вторую, третью, десятую, пока животы обеих коз не наполнялись пушистыми комочками, гибкими ветками и пчелиным хлебом.

Снег стоял, но пастухи все еще не начинали сезон. По утрам я провожала Алниса на электростанцию, брала в одну руку холщовую сумку, в другую - веревочные поводки, повязанные на шее Майры и Джипы, и огородами двигалась к колхозному полю, где уже выглянули из земли хвощи и первая трава.

На приусадебном участке бежал понизу весенний ручей. Тут Майра застревала, ни в какую не хотела ступить в воду. Джира рвалась домой. Когда после долгих препирательств мы все же перебирались через ручей, неприятности кончались. Перед нами было колхозное жнивье, с осени оставшиеся колосья - козам, а мне возможность привести нервы в порядок и порадоваться весне.

Случались еще и холодные, промозглые дни, внезапные снегопады, свойственные запоздалой весне. Выйдя с моим маленьким стадом, я в такие дни не могла ни сидеть, ни вязать, лишь стоять, повернувшись спиной к ветру. В такие моменты меня одолевали горькие мысли о бесцельности «жизни», на которую обречены миллионы людей, о заключенных и ссыльных, о судьбе моего мужа, о разрушенной жизни братьев, о трудностях, ждущих Алниса и уже перенесенных им, о бесконечных трудах Эллы в колхозе, о слезах моей мамы, о себе самой.

Дни мои целиком заполняли хлопоты с козами и свиньями, уборка, стирка, штопка, вязанье и заботы об Алнисе и его институте. Нас, как и остальных несвободных людей, остро волновала каждая новость, каждый слух о возможных переменах, но выпасть из привычного рабочего ритма мы были не вправе. Особенно теперь, с наступлением весны, когда закладывались основы существования на год вперед.

По окончании школы Алнис поступил в «Заготзерно» - в его обязанности входил ремонт электрооборудования. Трудился он честно и успешно, как это было в его природе. Но когда по итогам месяца выяснялось, что ему причитается крупная сумма, директор начинал ворчать. В Тюхтетте привыкли к тому, что работник безропотно принимает то, что дают, не пытаясь да и не умея защититься. Алнис умел доказать свою правоту, но это стоило нервов и отнюдь не вызывало благоволения начальства.

Дни Алниса мчались, как зверьки при лесном пожаре. Работа, подготовка к институту, весенние хлопоты на нашем земельном участке. За пару вечеров он вычистил хлев, разбросал навоз и ждал обещанную директором лошадь, чтобы начать вспашку. Не дождавшись, пошел к начальству.

- Вы у нас работаете без году неделю, а уже вспахать огород требуете.

- Летом пахать будет поздно! Да ведь и вы обещали...

- Мало ли что я обещал. Лошадей не хватает.

- Может, и рабочим надо выполнять свои дела так же, как вы выполняете обещания?

- Вы, молодой человек, заходите слишком далеко. А ведь у нас, знаете ли, незаменимых нет.

- Вы правы. Поэтому можете с сегодняшнего дня искать другого электрика. Мне надо искать работу, где помогут с такими простыми вещами. Без картошки, сами знаете, не проживешь.

Дверью Алнис не хлопнул. Спокойно вышел. Униженными просьбами в таких случаях ничего не добьешься, а сын свою, как работника, цену знал. Директор позволил ему уйти, но уже через несколько минут послал вдогонку человека, которого наставлял: «Скажи Ванаксу что ему вспашут землю уже сегодня, а завтра будет ему машина дров».

Мирным путем нигде и ничего нельзя было добиться. Только силой, только хитростью. Каждому из мне известных людей везде и всюду приходилось без устали бороться за свою правду, свой кусок хлеба, за выживание.

Землю вспахали. Мы посадили картошку. Дрова привезли, Алнис с друзьями по вечерам сделали остальное: распилили, накололи, сложили. Главные весенние работы были закончены в срок.

Но тут началась засуха. Не обыкновенная в Сибири сушь, а настоящая засуха - говорили, что под влиянием пятен на солнце. Почва растрескалась, сады и посевы выжгло. Если вечером на горизонте появлялось облачко, глаза всех с надеждой обращались к нему, но напрасно. Окрестные болота и те пересохли. Алнис ходил за водой к дальней глубокой яме, в которой чудом сохранилась вода; оттуда черпали ее все жители улицы. Там, видимо, бил небольшой родник, питавший болото. К вечеру вычерпывали яму почти до илистого дна, но к утру она опять наполнялась.

Как-то соседка посмотрела на наш огород и всплеснула руками: «Черт возьми! Вы что, весь горох поливаете?» Поливали, конечно, не то выгорел бы и горох. Алнис дважды в неделю приносил ведер двадцать воды. Не отставали и соседи, несли, кто сколько мог и

сколько можно было зачерпнуть. Многим работающим привозили воду бочками с реки. Алнису приходилось за чистой водой идти почти километр. Однажды, правда, и нам привезли полную бочку.

Град

17 июня 1956 года после обеда в небе на западе наконец-то появилась большая темная туча. Она немного поднялась над горизонтом, потом опустилась за край, снова поднялась, опять ушла вниз, точно не в силах вскарабкаться по гладкому небосводу. Завидев тучу, женщины бросились сажать капусту. Над огородами зазвенели громкие, радостные голоса, шутливая перебранка с курами и поросятами. Долгожданная туча во всех вселила заряд бодрости и надежды.

Поспешила и я на огород; сажала капусту не разгибаясь, некогда было голову поднять. Ближе к вечеру все вокруг потемнело. Иссиня-черная завеса стремительно надвигалась, наверху все бурлило, как в водовороте.

- Страшно-то как! - сказала Галина старой соседке.

Дохнуло зимней стужей.

И посыпались с неба кусочки льда, градины величиной с семенную картошку. Я только-только успела заскочить в сени, как по крыше словно бы начали строчить из пулемета. Все злей, все сильнее. Вскоре грохотало так, точно настал Страшный суд и град камней обрушился на живущих. Куски льда, упав, еще подсакивали вверх, прокатывались по земле и лишь тогда замирали. Воздух стал белым, небо гремело. Крыша дрожала и всхлипывала. Ледяные «картофелины» вскоре покрыли землю толстым слоем.

Я стояла в прихожей перед дверью. Мика успел забежать в хлев и оттуда через открытую дверь уставился на меня расширенными от ужаса глазами. Пробегка до дома ему показалась слишком опасной. И справедливо. Пришибло бы градом - и поминай как звали.

Небесный гнев кипел минут 15-20. Затем небо смилостивилось, град помельчал и перешел в мирный, короткий летний дождь.

Я вышла во двор. Земля была бела, как зимой. Нога скользила и сбивалась на ледяных зернах. На участке - полнейший разгром. Все живое, зеленое было побито, разорвано в клочки и похоронено под слоем градин. Из всего этого выживет, если повезет, разве картофель. Остальное нужно сеять и сажать заново. Так жалко было и своих усилий, и стараний Алниса, в такую засуху ему нужно было притащить сотни ведер воды, и вот - все оказалось напрасным! Жаль было и колхозников - можно себе представить, что творится на полях!

Земля долго не оттаивала. В воздухе стоял почти зимний холод, а было уже 17 июня. Дул северный ветер, солнце стыдливо пряталось за последним цельным, не порванным облаком. Даже старики такого града за весь свой век не видали, да и не слышали о таком.

То были годы наибольшей солнечной активности - 1955-й, 1956-й. Свирепые зимние бураны, запоздалые весны, засушливое лето, ливни и град, грозы, а осенью беспрерывные дожди. Настроения солнца быстро менялись - и это немедленно сказывалось на земле и на людях.

После града вернулись жара и сушь. Днем в огород не зайдешь босиком - голые ноги печет нестерпимо. Мы с Микой садились вдвоем на крыльце и терпеливо ждали, когда станет попрохладней. Я вязала, Мика умывался и готовился к ночным похождениям. Нередко к нам подсаживалась и соседская Галька, поделиться новостями о доме и скотине. Только ближе к вечеру можно было начать сев и прополку. Солнце наконец-то не жгло затылок, а земля - голые ступни.

Я засеяла грядки заново, опять посадила капусту. И снова сушь! Алнис ходит за водой для полива.

- Сколько ведер сегодня?
- Сколько сможешь.
- Смогу столько, сколько надо.

Мика

«До чего же наглая рожа!» - получив фотографию Мики в полный рост, писал мне из Канска Владимир. «И вправду наглая!» - приписка рукой Флоры. Это сказано было, впрочем, ласково. Мику любили все, кто его знал.

Для нас самих наш мурлыка был самым красивым, самым умным из земных котов. По рабочим дням Мика в одно и то же время садился ждать Алниса. Устраивался верхом на приворотном столбе и без устали изучал ту часть улицы Кирова, куда доставал взгляд. Походку Алниса он узнавал издалека, отличая от других: поступь энергичная, шаг широкий. Завидев хозяина, кот подавал громкий звуковой сигнал. Если прохожих было немного, бежал навстречу, если больше - ждал. Подойдет Алнис - Мика вспрыгивает ему на плечо, трется о его щеку и на своем кошачьем языке рассказывает обо всем, что дома случилось за день.

Мика и Алнис очень привязались друг к другу. Вечерами они ужинали вместе, каждый на своем уровне. У них и вкусы были схожие: обоим нравились козье молоко, отварная картошка, рыба. Обоим не нравились драники из тертой картошки. Лишь в вопросе о мышах и курении их взгляды расходились.

Алнис решил на Томск

В Томске

Профессию человек нередко выбирает раз и навсегда, и хорошо, если это занятие, к которому лежит его сердце. Я бы впала в преувеличение, сказав, что электротехника была для Алниса именно таким призванием. Но у него были и знания, и немалая практика в этой области, а такими вещами не бросаются. Сын решил и дальше идти по той же стезе. Ту же самую специальность выбрал и Рихард. Оба поехали в Томск - выяснить тамошние обстоятельства и возможности. И выбрали Политехнический институт - крупнейший во всем Союзе.

Томский Политехнический, основанный в 1896 году, выпускал в год около 1500 инженеров. Номера студенческих билетов были уже пятизначными. Главное здание - светлое, просторное, стайка молоденьких березок у входа.

Томск, существовавший уже три с половиной века, выглядел молодо - его недаром называли городом студентов. Друзья попали в институт во время весенней сессии - побывали в аудиториях, обошли студенческий городок, поговорили с первокурсниками и «старыми» студентами. В роще возле университета звучал аккордеон, от крутых берегов реки Томи доносилось щелканье соловья; ветер доставлял из ближней тайги запахи хвои и цветов. Алнису и Рихарду все здесь оказалось по нраву; оставалось лишь взять в институтской канцелярии отпечатанные правила поступления в вуз.

Домой ребята приехали веселые и полные решимости. Путь выбран. Теперь - только вперед!

В Тюхтете оба собрали и оформили все необходимые документы и 22 июня ценными письмами отправили их в институт.

Последнее лето в Тюхтете

Черемуха перед окнами соседнего дома успела отцвести. Колхозная рожь, побитая градом, и наши посадки картофеля по-прежнему напоминали о пережитом.

Весеннее беспокойство между тем охватило молодых, и Алнис не был исключением.

- Мам, привет! - передо мной вырастает сын с Микой на плече.
- Привет-привет, - откликаюсь я, поднимая голову от плиты.

Сумка с пустой молочной бутылкой сброшена на полку, Мика прыгивает с плеча сам. Сапоги летят в угол направо, портянки на пол, рабочая одежда в прихожей водворяется на крючок. Все так стремительно и ловко, как у жонглера на цирковом представлении. Теперь он умывается, в левой руке подаренный Тамарой одеколон, осталось брызнуть им на лицо и волосы. Торопливо опустошив тарелку супа, Алнис говорит «Спасибо!» и устраивается на кровати с Микой на груди и «Красноярским рабочим» в руке.

Я спешу на улицу - нужно открыть ворота, стадо возвращается с выпаса.

Вид впечатляющий. Немалому строю четвероногих предшествует облако пыли. За ним шествует моя рыжая Майра, неизменно первая. За ней - коровы в известном порядке. Где-то посередине - Джипа. У каждой коровы и козы - свое, раз и навсегда установленное место в процессии, меняется оно лишь в редких, исключительных случаях. Только овцы и телята бредут как попало. Животные движутся быстро, целеустремленно. Ничто не может сбить их с пути. Взгляд - вперед. Шумно дышат и спешат. Каждая корова, коза, овца, теленок знают свой дом и уверенно сворачивают к родным воротам.

Я впускаю своих коз, дою и оставляю на ночь во дворе - в хлеву слишком жарко. Теперь покормить Мику и поросят, и мой рабочий день закончен.

Алнис успел просмотреть газету и лежит с открытыми глазами. Этой весной ему есть о чем подумать и помечтать.

- Попей молочка и уж ложись по-настоящему! - говорю я.
- Нет, пойду.

- Ну, так иди сразу, чтоб пораньше вернуться, - командуя я, как, должно быть, тысячи других матерей.

Алнис поднялся, выпил одним духом свои пол-литра молока, облачился в новый костюм и - «Пока, мамочка!»

В дверях его встретил красноватый свет заходящего солнца, смешанный с уличной пылью и запахом свежеспелых огурцов. На улице велосипедисты, редкие машины и свиньи, до позднего вечера снующие тут же.

Алнис постоял еще у ворот, посмотрел на сваленные перед штакетником дрова - завезти завез, а во двор перенести не успел. Решительно отворил калитку и зашагал в сторону почты. Левая рука в кармане брюк, правой он давал отмашку. Голова слегка наклонена вперед, словно груз дневных забот еще не до конца сброшен.

Улица весной выглядела нарядной, точно перед праздником: чуть ли не у каждого дома цвела черемуха или рябина. Деревья росли вплотную к окнам, не пропуская в дом ни весну, ни лето. Окна не открывались, и черемуховому аромату приходилось проникать в комнаты обходным путем, через двери.

Люди выходили поглядеть на закат; усаживались на скамейках перед домом. Громкие, звучные женские голоса были неотъемлемой частью вечерних часов. Все говорили одновременно, толком не слыша друг друга. Всего охотней женщины судачили о милиционерах и их женах, о незамужних учительницах. Кумушки понижали голос, только завидев очередного прохожего. Тут была пища глазам, языки могли минутку передохнуть. Молодой парень или девушка заслуживали особого внимания, при виде их молчать уже не получалось, но собеседницы переходили на шепот.

Жаль, что меня эта доля миновала - не посидела я ни на одной из этих скамеек, а ведь могла бы, с обитателями улицы более или менее была знакома. Там бы я узнала новостей больше, чем могли предложить «Красноярский рабочий» и «Правда» вместе взятые. Что говорят об Алнисе, мне пересказывала жившая в другой половине дома Маруся. Она-то нередко присаживалась на ту или другую скамейку: ни деревьев, ни скамеек у нашего дома не полагалось, то была казенная, эмтеэсовская собственность.

Когда на улице вечером появлялся Алнис, всезнающие дамы, не отрывая от него глаз и подталкивая одна другую локтями, замечали:

- Глянь, этот опять наладился на Садовую!
- Скоро свадьба.
- Девке всыпать бы горячих. С латышом! А еще учительница!
- А Кузьмины, родители ее, куда глядят?
- Да разве теперешние молодые родителей послушают!

Женщины знали даже то, чего не знал сам Алнис. Например, насчет свадьбы - это была бы для него новость!

Во всяком случае, он прибавлял шаг, чтобы поскорей миновать лавочки соседей. Любопытные взгляды жгли, как суховой в пустыне.

Ни Алнис, ни сама Тамара о свадьбе не заговаривали. Вряд ли молодая учительница рассчитывала на большее, чем уже было и устраивало обоих. Высшее образование не мешало девушке испытывать робость перед парнем, перед мужчиной. Судьба женщины в Тюхтете вообще была незавидной. В девицах, в пору ухаживания еще ничего. Но после свадьбы женщину нередко ожидала полурабская доля. Мужья своих жен, сыновья матерей не баловали уважением, не говоря уже о любви. Закон провозглашал равноправие женщины и мужчины, но соблюдалось оно главным образом при распределении тяжелых работ. В Тюхтете нередко можно было видеть, как женщина идет с рынка, неся на одной руке ребенка, во второй держа тяжелую сетку с рыбой, а перед ней на некотором отдалении шествует муж с портфелем, в котором всего лишь буханка хлеба.

В школе тоже не наблюдалось ни малейших попыток воспитать в детях уважение к женщине, победить старые недобрые традиции. Подростки грубили своим матерям и, похоже, стыдились их, а ведь повсюду в мире само слово «мать» произносят с благоговением...

Так же относились к своим женщинам греки, несколько мягче - калмыки. А вот немцы, а также люди, получившие образование и воспитание в центральной России, женщину уважали. Уважали даже больше, чем латыши.

Мы с Аустрой однажды зашли в кино на детский киносеанс. Места в зале не нумерованы, мы сели там, где понравилось. И услышали от милых деток: «Эй, тетки, убирайтесь! Тут не ваши места!» В зале присутствовали учителя, но никто даже не пытался сделать юным наглецам замечание. Мы и не подумали «убраться», за что были награждены и вовсе не детскими выраженьями.

Позже я заговорила об этом с Тамарой - она была классной руководительницей в старших классах.

- Как вы такое допускаете? Дикое грубо по отношению к взрослым в присутствии учителей?

- А что мы, учителя, можем сделать? Поучений школьники не желают слушать, а применить какое-либо наказание к ним категорически запрещает директор. Совершенно бессильны мы, когда речь идет о детях начальства. Эти могут появиться в классе под хмельком, прогуливать, срывать занятия. Жаловаться некому, пойдешь против директора - тебя сошлют в тайгу, в глухой угол, откуда потом не выберешься.

- А что плохого в тайге? Тамошним детям тоже ведь надо учиться. /

- В колхоз? Похоронить себя заживо? На такую жертву добровольно никто не пойдет.

Жизнь в Тюхтете во многом строилась на страхе. Жены более или менее боялись мужей, матери - сыновей, подчиненные - начальников, начальники - Красноярска и так далее. Терпели многое, боясь неосторожным движением обернуть дело к худшему. Мы с Алнисом мечтали об иной жизни. Если сыну не повезет с Томском, придется ехать на Красноярскую ГЭС, ее как раз начали строить, и Алнис мог бы там работать и учиться заочно.

Алнис не умел экономить силы. И работал, и гулял с полной отдачей, точно все всегда решалось раз и навсегда, здесь и сейчас. В «Заготзерне» в кратчайшие сроки сменил всю электропроводку, по вечерам гонял мяч или гулял с Тамарой, по субботам до глубокой ночи танцы в клубе, по выходным - плавание; отдыхать, ничего не делая, он не умел вовсе.

Из Томска и он, и Рихард получили уведомление: оба допущены к приемным экзаменам.

- Алнис, побереги силы. Позанимайся хотя бы немного!
- Сил хватит. И еще есть время.

В нем появилась какая-то новая уверенность, свобода движений. Хорошо, когда человек видит перед собой ясную цель.

Приехала Валда

Когда я, исполненная надежд, уже готовила понемногу вещи Алнису для будущей студенческой жизни, мать Валды одолжила мне свою швейную машинку.

- Да чем же я тебе отплачу?
- Пускай сынок оплатит.
- Чем?

- Ну чем. Приедет Валда из Латвии, пусть Алнис ее разок на танцы сводит.

И только-то? Я обрадовалась и тут же передала ее слова сыну. Тамара в это время была в Ленинграде на курсах повышения квалификации педагогов, по вечерам Алнис был непривычно свободен. За учебу он еще по-настоящему не брался.

Приезд Валды к матери ожидался в начале июля. Обсуждали его с горячностью, как водится, все латыши. Девочку многие помнили еще с тех времен, когда она здесь, в Тюхтете, то на улице утешала плачущего малыша, то заплетала косички подруге, то делилась последним куском хлеба с тем, «кому нужнее». Прошли уже 10 лет с того дня, когда она уехала на родину с детским эшелонам, но хорошее так быстро не забывается.

Мать Валды жила в своей землянке, деля ее с Модрисом Екабсоном. Мать его рано умерла, мальчик остался круглым сиротой. Его было приняла в свой дом тетя Пенце, но недолго прожила и она...

Брат Валды Роланд отбывал пожизненную ссылку в Чульске - таежном поселке в 120 километрах от Тюхтета. Я уже рассказывала о том, что его выслали еще дальше в таежную глушь, чтобы

разлучить с русской врачихой, комсомолкой Таисией, имевшей неосторожность влюбиться в ссыльного.

Модрис простоял три дня возле столовой, ожидая машину, с которой должна была прибыть Валда, но все впустую. Приехала она на четвертый день, и никто ее не встретил.

Видели девушку русские женщины, и в тот же вечер новость обошла весь Тюхтет. Услыхали тогда же и мы с Алнисом, что Валда приехала и «выглядит как киноактриса».

- Мне она сейчас уже не нравится, - сказал Алнис. - Киноактрисы хороши только на экране.

- А ты забыл, что должен сводить ее на танцы? Как бы я без машинки прострочила твою рубашку?

- Ну, это другое дело. В долгу не останусь.

В субботу вечером Алнис поздно вернулся из тайги, где заготавливал еще одну машину дров. Когда он умылся и поел, я спросила:

- На танцы-то пойдешь?

- Пойду.

- Зайдешь за Валдой?

- Вроде поздно уже. Может, она будет в клубе.

Но в клубе Валды не было. Застеснялась одна пойти, как потом рассказывала ее мама.

В субботу Алнис и Рихард по дороге в клуб встретили брата Валды, только что приехавшего из Чульска. Ему дали отпуск на время, пока в Тюхтете гостит сестра. Все трое парней были в широких выходных брюках, таких длинных, что они загребали уличную пыль и грязь. Что поделаешь - мода, хотя бы и самая уродливая и непрактичная, в определенном возрасте закон.

Все трое отправились за Валдой, но дома были только ее мама и Модрис. Теперь уже вчетвером молодые люди ждали прихода «кинозвезды», ушедшей в магазин. Валда пришла через полчаса и, смутившись, остановилась в дверях. Модрис взялся познакомить девушку с остальными.

- Это Алнис, я тебе о нем рассказывал, это его друг Рихард, а с Ваней мы вместе работаем... - Ваней он назвал родного брата Валды Роланда, с которым она не виделась 10 лет.

Валда церемонно пожала руку каждому и села рядом с мамой на край постели.

Роланд глядел на сестру во все глаза. Их мама тайком утирала слезы.

- Мам, ты что плачешь?

- Доченька, ты вправду никого из них не узнаешь?

Валда переводила взгляд с одного на другого... и вспыхнула:

- Роланд! Боже, где же твои пышные волосы? Как же мне было узнать тебя... Ты тогда был... совсем другим.

- Да уж. Был! - в землянке наступило неловкое молчание. Там, в Чульске, за шесть лет он потерял половину волос, здоровье, былую жизнерадостность. У него теперь были двое детей и жена, с которой он, похоже, не ладил.

На столе появилось угощение: хлеб, нарезанное ломтями мясо. Бутылку вина, принесенную Алнисом, взялся открыть Модрис, но она в его руках треснула и развалилась буквально напополам. Парень так расстроился, что пулей выскочил из землянки. Валда подтерла пол, хозяйка дома уже улыбалась.

- Это на счастье. Всем нам!

Глаза Валды то и дело увлажнялись, вздрагивали губы; казалось, при взгляде на брата она едва удерживается от слез. «Нет... Никакая она не киноактриса!» - решил мой Алнис.

Роланд тем временем рассказал, что добирался в Тюхтет три дня на тракторе - машины вязнут в грязи. Настал черед Валды. Ее новости были неутешительны. В Риге трудно с жильем и с работой. Без особого распоряжения никого не прописывают. Зато приезжих, завербованных на заводы, устраивают без помех. На улицах все реже слышна латышская речь. Из колхоза никого не отпускают. Новости были невеселыми, но молодость собравшихся брала свое, и вскоре из землянки уже раздавались взрывы смеха... За разговорами незаметно настал вечер, гости распрощались. Алнис вернулся домой, молчаливый и просветленный.

- Ну как, понравилась тебе Валда?

- Не то слово. Жалко, что не встретился с ней сразу!

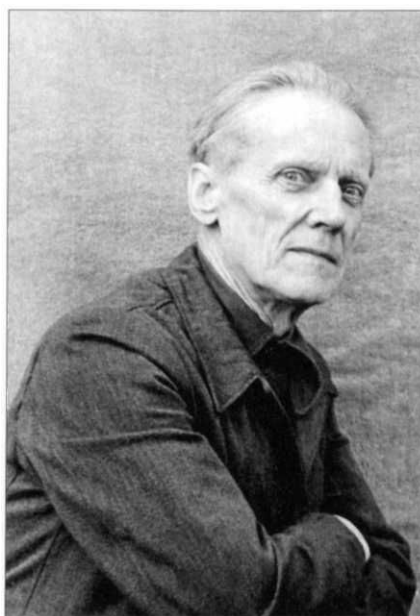
Всего неделя оставалась ему до отъезда в Томск. Днем он все

еще работал в «Заготзерне», вечерами спешил к Валде. Последнее воскресенье провели опять всей компанией: Алнис, Рихард, Роланд, Модрис, Валда. День был безоблачный, светлый; вечером Валда отпросилась у матери на часок погулять с Алнисом. Часок затянулся... У молодых в такую пору время течет по-иному, чем у нас, их матерей.



Мой брат Арнольд в Иркутском лагере

Сын известного писателя, священника, политика Андриевса Ниедры, юрист



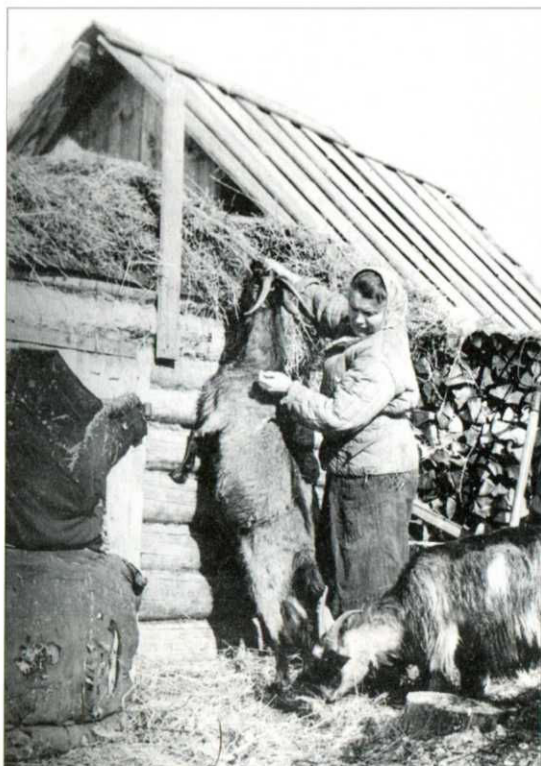
Карлис Ниедра после освобождения из лагеря в Иркутске в 1957 году



Алнис и Рихардс на улице Кирова возле нашего дома. Здесь они ссыльные-студенты. По этой улице они ушли. 1956 год

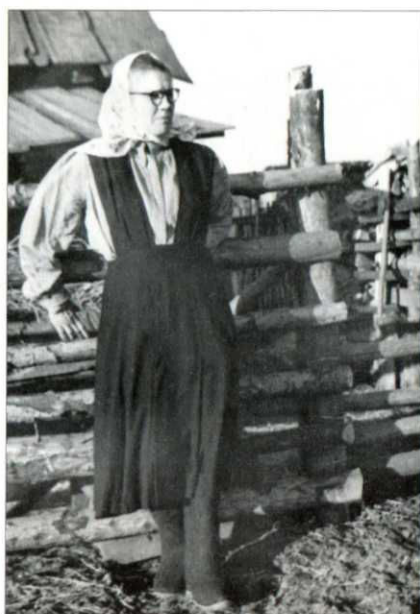


Валда с мамой и братом



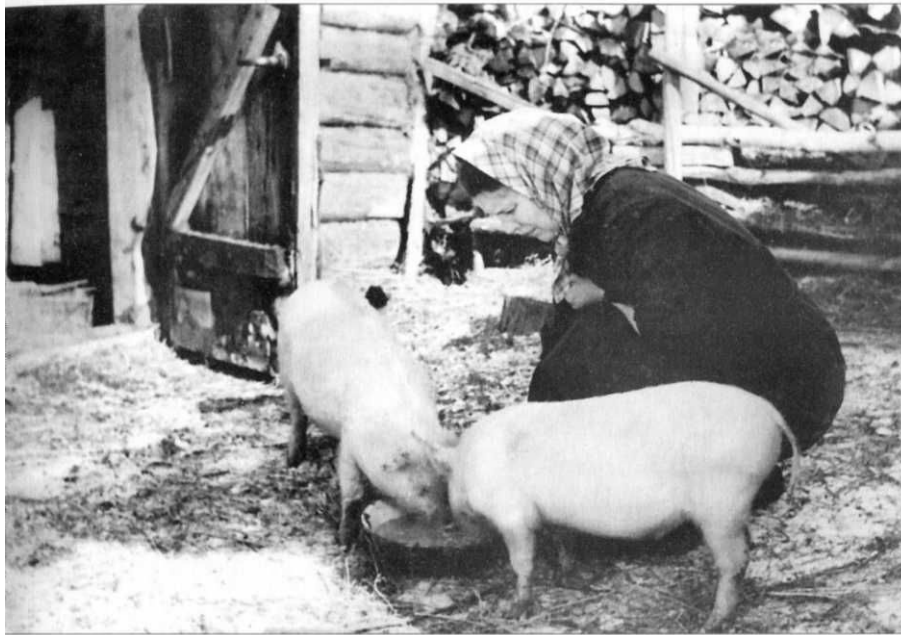
Аустра

Я с козами у последней
охапки сена. Сарай
с дровами и хлев
принадлежат соседям



День Анны у Гредзениекса

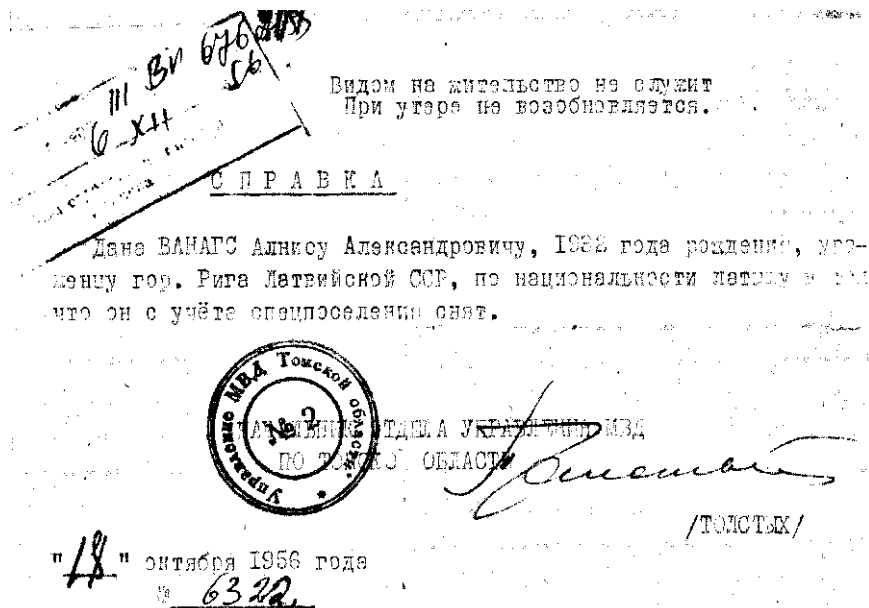
Жду почтальоншу



Я с хрюшами



Стадо возвращается с пастбища к хозяевам на улицу Кирова



Копия документа об освобождении Алниса, который означал и мою свободу



Плацкарта к
проездному
билету
Боготол-Москва



Разрешение
войти в залы
Третьяковской
галереи в ботах

Билет в Третьяковскую
галерею



После возвращения на родину зимой 1957 года



Сермули весной 1957 года



Элла и Валда на пригорке в саду



Мой брат Арнольд



Сермули зимой



Мама, Валда, Элла и я на весеннем солнышке у дома Сермули



Вернерс с мамочкой



Арнольд



Мамочка в саду



Мелания Ванага. Фото Гунарса Янайтиса

Высота должна быть взята!

В утро отъезда Алнис дольше обычного пронежился в постели, играя с Микой. А поднявшись, быстро собрал чемодан, купленный накануне, и отправился в путь. Ему предстояли вступительные экзамены.

Письмо сына от 21 июля 1956 года:

«Мама, мы добрались счастливо. В Боготоле было трудно с билетами, только ночью все же удалось купить. Устроились в общежитии. Тут надо пройти массу процедур. Теперь осталась только медкомиссия, прописка и мелочи. Для прописки требуется разрешение тюхтетского коменданта.

Поступающих понаехало видимо-невидимо. По слухам - шесть человек на место. Много медалистов. Мы об этом стараемся не думать - учимся. С Рихардом установили для себя жесткие правила, как насчет занятий, так и экономии. Не знали, что и за общежитие надо платить целых 18 рублей. Питаемся в столовой. Мой адрес: Томск 4, улица проф. Усова, 177, комната 222».

Первый экзамен был назначен на 1 августа. Я в этот день испереживалась, держа оба кулака (второй - за Рихарда]. Поросята, недокормленные по этому случаю, визжали, коз я подоила тоже лишь к вечеру, когда экзамен так или иначе наверняка прошел. Но «жертвы» мои оказались напрасными...

Алнис из Томска: «Мамочка, жаль мне и твоих поросят, и твои кулаки: первый экзамен был только сегодня, физика. Оба мы сдали хорошо. Сочинение теперь 9 августа. Трясся я, как осиновый лист, да и Рихард так же, но оба держались молодцом. Фактически конкурс сейчас три человека на место. Мы готовы ко всему, кроме того, чтобы сдать. Многие уже провалились, притом даже не вечерники. Логично было бы, кажется, паковать чемоданы, но ведь случаются и чудеса. Вкалываем по 14-16 часов в сутки. И сон, и аппетит потеряны напрочь. Держит только сила воли. Честно говоря, страшит сочинение».

Валда - Алнису, 30 июля:

«Больше всего сейчас хочу, чтобы исполнились твои замыслы, и верю, что кроме знаний поможет тебе и удача. К тебе каждый день летят мои самые лучшие помыслы, и кулак держать я не забываю тоже. Ладно, не буду тебе мешать, время твое дорого. Роланд собрался тоже уезжать, и снова мы расстанемся неизвестно на сколько...»

Тамара - Алнису, 5 августа:

«Пишу тебе, а сердце плачет. Только представлю себе, как ты там мучаешься, не могу ни работать, ни спать...»

7 августа Валда отправилась в обратный путь. С ней вместе на родину возвращались Аля Звиедре и старшая Аустра, получившие освобождение. Все мы, как обычно, провожали их до машины, уже ждавшей у столовой. «Передайте привет родине и ждите скоро нас тоже!»

Письмо Валды Алнису с дороги:

«Трудно было расставаться с Тюхтетом. Перед отъездом еще раз обошла все места, где мы с тобой гуляли. Мы были вместе совсем недолго, но этого хватило, чтоб увидеть в тебе человека с сильной волей и характером. В дороге мне будет о чем подумать. Болею за тебя, только не знаю, в какой именно момент «держать кулак», в какие дни ты сдаешь. С каждым часом я дальше от тебя, но письмо полетит обратно, чтобы донести до тебя и Рихарда мои самые-самые пожелания...»

Алнис мне, 10 августа:

«Отъезд домой откладывается, поскольку провалиться с сочинением нам не удалось. У обоих все хорошо. Видно, ваши «кулаки» помогли - знаний у нас было куда меньше, чем хотелось бы. Теперь на очереди немецкий. На иностранном языке срывается каждый четвертый. Боюсь, как бы и нам 13 августа не попасть в число неудачников. Еще потом, 17 августа, математика, которая еще страшней. И если с ней повезет, то впереди еще химия, с той мы бы справились. Меня не так пугает возможный провал сам по себе, как возвращение после этого в Тюхтет.

С нетерпением оба, Рихард и я, ожидаем финала этой драмы; выдержали бы нервы. Ощущение как на пороховой бочке. Если

проходим и с тройками, то в первые полгода не будет стипендии. Шестого, если не увидишь меня дома, считай, что немецкий сдан».

Тамара вернулась с курсов и очень переживала за Алниса. «Как бы я хотела тебе помочь сейчас, если бы это было реально возможно!»

Алнис, 13 августа:

«И снова мы не едем домой, выкарабкались и в этот раз оба живыми. Прошлой ночью мне снился какой-то бред насчет 13 числа. А Рихард утром забыл зачетку. Думали, ну все, мы пропали. Но опять повезло, так что вы за нас хорошо болеете! Теперь математика. Это самое главное испытание. Что получится, трудно сказать. Хоть бы на троечку вытянуть...»

Тамара - Алнису, 14 августа:

«Наконец пришло от тебя письмо, и настроение - как на праздник. Но потом опять накатили заботы. Мне, наверное, придется взять и историю, а с ней сам знаешь как...

Следующий у тебя, значит, 17-го. Ты должен победить! Не знаю, как я смогу без тебя всю осень, зиму, весну. Может, и вовсе тебя никогда не увижу, если твоя мама уедет к тебе. Как подумаю об этом, становится тяжело. Но не буду портить тебе настроение. Тебе надо быть сильным! Докажи этим там, на что ты способен. А способен ты на многое! Я в это верю и за это тебя уважаю...»

Алнис, 17 августа:

«Очередной самый трудный экзамен сдан, и притом нормально. Пока что без подробностей - интересней будет потом рассказывать. Следующий экзамен, химия, 20 августа. Трудный, как и остальные, поэтому договорились раньше времени не радоваться. Весь этот процесс движется вперед и стоит невероятных усилий. Никакого снисхождения к вечерникам нет, а мы на это надеялись, единственное, что спасает - знания, ради которых сейчас вкладываем все возможное и чуть-чуть невозможного тоже. Люди сходят с дистанции один за другим, и это тоже действует на нервы, мы ведь уже 20 дней вроде как висим над пропастью. Вчера математику провалили 84 человека.

Я сегодня отвечал, вместе с решением задач, примерно два часа. Задач было одиннадцать.

На нашем факультете три специальности: заводская электрификация, кабельная техника, электрические машины и аппараты. Мы подали заявления на последнюю. Так как она и лучшая, то примут тех, у кого выше баллы. Всего поступят 70 человек, из которых 30 медалисты, им экзамены сдавать не надо. Остается 40 мест, а желающих и теперь примерно 250...»

Уже по приезде Алнис, как и обещал, поделился подробностями того решающего экзамена по математике. Ему досталось отвечать в первой тройке. Вытянул билет, прочел первую задачу и сначала ничего не понял. Нервы отказали. Он поднялся, подошел к столу экзаменаторов и сказал: не понимаю этой задачи. Ну ничего, ответили ему, время еще есть, посидите, подумайте.

Алнис вернулся на место и вдруг осознал, что он наделал. Какие могут быть последствия.

И тут он собрал в кулак всю свою волю. Что бы там ни было, он не сдастся! Эту высоту надо взять! Разобрался с первой задачей. Справился с двумя следующими. И решил одну за другой остальные девять. Получил 4. Если бы не запаниковал вначале, была бы пятерка.

Письмо Вернерса:

«Как я понял, вам сейчас приходится нелегко, только вот не знаю, чем помочь. Думаю вернуться на шахту, там за пару месяцев можно заработать на дорогу домой. Готов на все, только бы выбраться с этих золотых гор.

Алнис молодчик - работая, окончил школу, да еще с такими отметками. Дай Бог, чтобы он поступил в институт! Тогда он далеко пойдет. И я помогу, чем сумею. Беспокоюсь - что и как будет теперь с тобой?»

Я и сама не знала, что теперь будет со мной, да и не думала об этом. Только бы мальчик сдал экзамены и ему не нужно было бы возвращаться в Тюхтет.

Письмо Флоры:

«Алнис экзамены сдаст, я уверена. И в сто раз больше хочу этого, потому что тогда Вы могли бы переехать к нам в Канск. Важно, чтобы Вы сами этого хотели. Очень прошу, пишите мне, как проходят экзамены.

Я сейчас переживаю не только за Алниса. В Москве поступает в Медицинский институт дочь моей подруги Наташа. Владимир рекомендовал ее одному из своих больших друзей. Болею и за нее, хочу, чтобы поступила и нашла свое место в жизни. У Алниса шансов больше. Своя голова на плечах, свой талант всегда надежней любых рекомендаций. Вспоминаю одно Ваше письмо, где вы рассказывали, как в обед Алнис получал от Вас уже полуразжеванного Маяковского или материалы XX съезда. Потом рассказывала друзьям - на что готова мать ради родного сына. Муж жене так никогда не поможет.

Очень жду Вас к нам. Ни с кем на свете мне не бывало так спокойно на душе, как с Вами. Ваше слово у нас дома - закон. И не только дома, а вообще в самых сложных жизненных ситуациях. Если бы мы знали, когда Вас ждать, уже начали бы готовиться...»

Алнис, 18 августа:

«Вчера уже писал тебе, что математику сдал. Сегодня одолел половину химии. Если бы надо было только повторить пройденное, - но беда в том, что фактически больше половины материала новая. За этот месяц голова настолько забита всякой всячиной, что при всем желании в ней не найти свободного местечка. Приходится утрамбовывать. Немало такого, чего вообще не было в школьных программах.

Если троек не будет, у нас появится небольшое преимущество, но об этом рано говорить, пока не сдана химия. Сегодня на консультации опять испортили настроение, предупреждая о «повышенных требованиях». Время спуталось, никакой разницы между рабочими днями и выходными. Впечатление такое, будто что-то навалилось на грудь, как бывает во сне, и стряхнуть не получается. Хорошо, что всего два дня осталось до свободы - в ту или другую сторону. Еще немного - и наступит полная ясность: или исполнение мечты, или поражение, за которое краснеть не придется.

Об этих экзаменах всего не расскажешь - можно было бы роман написать. Забыл сказать. Тема моего сочинения была - «Ленин - горный орел, вождь партии. По Маяковскому и Горькому».

Насчет общежития пока ничего не известно, кроме того, что дают в зависимости от набранных баллов. Но это не главное. Если поступлю, с остальным тоже справлюсь. Мной движет мысль, что от моего поступления зависит твоя свобода. Твоя и моя.

Следующее письмо будет или вестью о победе, или... Или побежденный рыцарь сам тебе расскажет о печальном исходе этой драмы».

За отчаянной борьбой Алниса и Рихарда следили с замиранием сердца не только близкие, но и их учителя, а кроме того, разумеется, все немцы и латыши Тюхтета. Ко мне то и дело забежали латышки спросить, как там, в Томске, дела у парней. Придут, посидят на ступеньках или на краешке кровати, угостятся ломтем хлеба с молоком - и до следующего раза.

19 августа, несмотря на угрызения совести, я отнесла на рынок свое белое покрывало - подарок латышек на мое 50-летие, ни разу не использованный. А когда ты постелешь новенькое покрывало, если кровать - центр всей домашней жизни! На белом роскошном покрывале ни гостей посадить, ни самой улечься - жалко! Я бы, конечно, не стала его продавать. Сберегла бы для памяти. Но если Алнис поступит в институт и придет, мне не на что будет отправить его обратно в Томск. Все, что было накоплено, ушло на две его поездки и месяц приемных экзаменов.

Латышки мои, конечно, обиделись, но я сделала вид, что этого не замечаю. Можно было бы, вероятно, и подождать еще пару дней «в надежде», что Алнис не поступит и деньги на дорогу ему не понадобятся. Но я так не могла. И неблагородно, неблагодарно продала подарок как раз в день своих именин. И мои латышки тут же, на рынке, снова расщедрились - подарили ночнушку и отрез ситца на платье.

- Только уж на этот раз не выложи сразу все это на прилавок! - сказала со смехом Мария.

Прямо с рынка латышки проследовали ко мне - скромно отметить именины. Я сварила молочный суп с овощами, который, правда, подгорел и стал совсем коричневым. Но от этого не менее вкусным.

- Это в твоём духе, - констатировала Анна Юрьяне. - Или картошку посолить забудешь, или салат пересолишь, или суп у тебя подгорит, или чай всем хорош, но без чая!

Хотела бы я веселиться, но мысли возвращались то и дело к Алнису Последний экзамен - завтра. Его успех в какой-то мере стал бы гордостью и радостью для всех латышей. А неудача прибавила бы лишний глоток горечи.

Гости ушли рано. И мы с Микой завалились спать, мечтая, чтобы ночь прошла побыстрее.

Силы духа тебе и хоть немного везения в этом последнем рывке, мой мальчик!

С победой!

К вечеру в понедельник я уже не находила себе места ни в доме, ни снаружи. Уселась на крыльце и не сводила глаз с почты, которую можно было видеть от нас; ждала вести, как тяжело больной ждет наступления утра.

И вот через улицу наискосок, словно зная, как ее ждут, чуть не бегом приближается почтальонша, размахивая телеграфным бланком. Значит, добрая весть. С плохой она бы так не спешила и не подавала знаки издали.

- Танцуйте!

- А стоит?

- Всенепременно!

Телеграмма:

«Сдал хорошо результат 26 сам после 26 выезжаю - Сын». По улице уже мчалась к нам Тамара. Почтальонша успела обрадовать и ее.

- Какая радость! - выпалила она, не успев отдышаться. - И как я рада за вас, ведь это означает вашу свободу!

- Я пока что могу радоваться только за сына.

- Да. Он смог! Следующая

телеграмма: «Студенты приезжают

25. - Сын»

Значит, и Рихард принят. Два студента. Любимый мой, порадуйся с нами! Телеграмма:

«Ликуем поздравляем! - Флора, Владимир».

Письмо Олафа Гутманиса: «Ну, Алнис молодец! Выдержать такой конкурс! Примите мои поздравления. Таким сыном можно гордиться!»

Большей радости здесь, в Сибири, я не знала. Беды я переживала в одиночку. Счастьем хотелось поделиться со всеми.

Поступление Алниса в институт означало свободу для нас обоих. Свободу и возвращение на родину.

Для самого Алниса - акт самоутверждения.

Для латышей Тюхтета - в конце концов, то же самое: мы можем!

Детоубийцам, палачам и надсмотрщикам мы тоже доказали лишний раз: даже из страшной, зловонной ямы, из пропасти, в которую нас кинули, можно вернуться к жизни. Значит, зло не всесильно, что бы там оно о себе не возомнило.

Из детей тюхтетских латышей-ссылных высшую школу позднее окончили Банюта Варна, Александра Звиедре, Андрис Эглитис, Илзе Брока, Инесе Югере, дети Сейсумсов, Клавиесов и, возможно, еще кто-то, о ком я не знаю.

...Алнис поспел как раз к завтраку. Вскоре он сидел на кровати, свесив руки между колен. Мика тут же вскочил ему на плечо, прижался серой мягкой щекой к щеке хозяина и завел свою самую ласковую музыку. Мы с Микой были, кажется, счастливы ничуть не меньше, чем сам герой.

Под глазами Алниса синие тени; многодневную усталость не скроешь. Глядя Мику он сказал:

- Я еще по-настоящему не верю, что все кончилось. Ух! Знаешь, самым изматывающим было ожидание в коридоре, то, как тряслись все вокруг, белые, как мел, лица неудачников. Поэтому мы с Рихардом все экзамены старались сдавать одними из первых. Со мной такое было впервые в жизни. Раньше что бы я ни сделал, я чувствовал, что мог бы и лучше, что знаю и могу больше. А вот в этот раз на экзамене по математике я понял: выдал все, на что способен. Если бы не сдал, винить себя мне было бы не в чем. В считанные дни исправить все, что недополучил в вечерней школе, заделать все дыры было невозможно. Лучше ответить я не мог бы ни при каких условиях. Резервов не оставалось, ни капли.

- А что было после экзаменов?

- А... После каждого экзамена мы с Рихардом шли в киношку - рассеяться и не думать о том, что впереди еще испытания. Но как увидим на улице парня или девушку с чемоданом, дрожь пробирает. Так жалко было каждого, кто провалился, и сразу казалось, что и нас ждет то же самое.

Но, слава богу, все теперь за спиной. Впереди учеба, работа, свобода.

Тропой свободы

Отъезд

Пришла пора нам с сыном опять расставаться. И надолго.

Я сшила мешок, в который сложила белье и мелочи. В новый чемодан Алнис сам уложил посуду, электроплитку, самодельную настольную лампу, уют и несколько книг - все это могло понадобиться в новой, студенческой жизни.

Перед отъездом волнение, разом и радостное, и грустное, ни от кого не скроешь. Мика тоже волнуется и не отходит от Алниса ни на шаг. Рихард свое добро оставил в уже сговоренной машине и пришел помочь с багажом Алнису.

Мы распрощались.

На улице я их обоих сфотографировала и благословила в далекий и трудный путь.

Они ушли по тюхтетской улице Кирова, где только начиналась их тропа к желанной свободе. Два студента - сильнейшие в своем поколении.

Вон из квартиры!

Эти слова вслух не были произнесены. Но действия буквально соответствовали их смыслу. Едва оба парня отбыли и я вернулась домой, раздался стук в дверь, звук которого немедленно напомнил удары кулаков, слышанные пятнадцатью годами раньше. В комнату ввалился завхоз МТС, словно бы ждавший этого момента где-то за углом, и уведомил о том, что завтра же мне нужно убраться из квартиры, иначе меня выселят с милицией.

- Нет такого закона, чтобы мать выселять из дома, если сын уехал учиться.

- Ах так? Посмотрим, есть такой закон или нет! - начальник выкатил на меня белки глаз. - Я вас предупредил!

И сказав свое, он нервно закурил папиросу и вышел, хлопнув

за собой дверью.

Закон, гласивший, что родителей нельзя выставить из жилья, когда их отпрыск поступает в вуз, существовал, но в Тюхтете он не имел законной силы. «Закон - тайга!» - говорили здесь и поступали по своему усмотрению. Что Ванагс в Тюхтет не вернется, им было ясно, как божий день, а уж меня-то они и вовсе не брали в расчет.

Я, наверное, могла бы еще догнать Алниса, машина, стоявшая у столовой, вряд ли уехала. Но мне не хотелось омрачать сыну этот день. Да и вряд ли ему удалось бы чего-то добиться. Жизни, даже при наилучшем исходе, мне бы здесь уже не было.

И не успела я толком опомниться, как на следующее утро заявили новый квартирант с семейством и всеми пожитками. Звали его Вася, и Васькой же звали его мальчишку. Вася с женой тут же свалили мое добро в угол, стол и книжные полки вынесли на двор. И сказали, чтобы до вечера моих «шмоток» здесь не было. Дверь будет заперта, сказал Вася, и чужих людей мы не впустим.

Все произошло так внезапно, в таком темпе - и однако я не поддавалась отчаянию. Не зима. Можно прожить и в сарае, который построен Алнисом из материалов, добытых им в тайге. Так что это наш персональный сарай, хотя и расположенный в «эмтеэсовском» дворе.

Я занесла в сарай одежду и книги, тазы, ведра, закрыла его на ключ и отправилась на Лесную улицу к младшей Аустре. Рассказала о происшедшем.

- Что думаешь делать?

- Поживу в сарае с козами, пока Алнис пришлет проездной билет.

- Да ты что! Иди с утра к коменданту, он должен помочь.

- Комендант должен убедиться, что мы не сбежали, а где нам жить, не его забота.

- Вот сволочи. Что скажет Алнис?

- Алнис вряд ли удивится.

- Как же не удивиться! Мать выгнали на улицу!

Ночь я провела у Аустры. На другой день она получила на работе разрешение поселить меня в своей комнате как «родственницу». И я перешла к ней вместе с двумя козами, которым летом достаточно было простого навеса.

Письма Алниса из Томска (1956 год)

«3 сентября.

Добрый вечер, мам!

Мы на месте. На столе горит наша лампа. Комната уютная, чувствуем себя как дома.

В Томск прибыли на второе утро. Пошли в старое общежитие, оставили вещи и отправились к декану.

Почти всех сразу по приезде отправили в колхоз, но нас с Рихардом и нескольких студентов 4-го курса оставили при кабинете электроники или, точнее, на монтаже лаборатории, где мы и проработали сегодня первый день. Работа интересная. Главное преимущество в сравнении с теми, кто сейчас в колхозе, что нам уже дали общежитие, а насчет них решать будут только 25-го.

Комната на шестерых. Тесновато, но ничего страшного.

В комендатуре сказали, что как только принесу справку из института, т.е. что я действительно студент, мне выдадут чистый паспорт.

Я всем доволен, и нервы отошли. Боюсь только, чтоб тебе там не пришлось слишком трудно. Береги себя! Не забудь, тебе надо еще жить и жить. Утешает лишь то, что дрова заготовлены, корм для коз тоже, и жилье как матери студента защищено законом.

Посылаю тебе фото нашего дворца знаний.

Адрес: Томск 4, улица проф. Усова, 13, кв. 4

Сердечный привет и от Рихарда. Алнис».

«16 сентября.

Мамочка, я очень тревожился, что от тебя так долго нет письма. Потом получил, и чувство такое, что оставил тебя в труднейшем положении, притом бессилён пока что помочь. Говорят, цель оправдывает средства, но я в этом начинаю сомневаться.

С паспортом задержка. Получу только после того, как пришлют мое персональное дело из Тюхтата. Боюсь, как бы армейская история не подложила мне свинью. Пишу об этом, чтобы, если что, для тебя какой-нибудь новый поворот не стал опять неожиданным.

С работой нам повезло. Работаем часов пять в день рядом

с почти готовыми инженерами, от которых можно многому поучиться. Мне краснеть не приходится, выступаю почти на равных. Мне доверяют любое дело. Раз в день едим в столовой, два раза дома. Продукты на рынке дороги.

Жду, когда ты попадешь домой, тогда заживу посвистывая, сердце не будут терзать угрызения совести.

Спасибо тем, кто тебя приютил, за помощь! Алнис».

«25 сентября.

Послезавтра пойду к коменданту, узнаю, не пришли ли документы. Было бы хорошо, если б ты к Новому году оказалась уже дома.

Работаем так же. Инженеры видят, что мы с Рихардом со всем справляемся самостоятельно и стараются нас использовать рационально. За хорошую работу нам обещают доплатить к стипендии еще 200 рублей.

В этом месяце я отдохнул, нет больше того нервного напряжения. Ходили и на танцы, но девиц нормальных считай что не было, должно быть, все в колхозе. С 8-го не курю...»

«30 сентября.

Завтра в 14.00 начинаются учебные занятия. Все в послеобеденное время. Работу завершили с честью, все довольны. Наложены ценные связи, и в смысле знаний по технике этот месяц дал многое.

Стипендию теперь присуждают только на основании заявления плюс документ о семейном положении. Тебе нужно тоже взять в сельсовете справку, что ты нетрудоспособна и на моем иждивении и прислать мне.

Из Тюхтета мое дело еще не пришло. Освобождают на сегодня только сосланных в 41-м году».

«7 октября.

Уже целая неделя прошла с начала занятий. Все так непривычно - ведь у меня никогда не было возможности вот так, нормально учиться. Мне придется трудно, темпы высоки. Сокурсники сильные, конкурс прошли только лучшие. Все еще чувствую последствия экзаменов, нажать опасаясь, голова не держит. Думаю, это временно, все войдет в нормальную колею.

Сказываются пробелы, оставленные вечерней школой. Надеюсь, не отстану, иначе грозит отчисление, а уж этого никак нельзя допустить.

За те деньги от продажи свиньи хотелось бы купить осеннее пальто. В папиной старой шинели вроде как уже неудобно ходить по улицам Томска.

Арнольд прислал 100 рублей. Стипендию вот-вот получу. Всего мне хватает. Ты только держись! Осталось потерпеть совсем недолго...»

«15 октября.

Заданий так много, что физически невозможно выполнить их все вовремя. Больше всего достает немецкий, спрашивают по нему строго. Главное не завалить зимнюю сессию. Мозги только иногда бастуют, бывает, что ничего в них не лезет.

На день рождения Валда прислала яблочк...»

«24 октября.

Послал тебе справку об освобождении. Остается ждать результатов».

Этого письма, этих слов я ждала 16 лет.

Алнис уже с долгожданным чистым паспортом. Но сможет ли он когда-нибудь ощутить себя по-настоящему свободным, счастливым?

Письма близких

Все мы свято верили, что это последняя наша осень в ссылке. Убрав урожай, мы с Аустрой использовали каждый выходной, чтобы еще раз обойти красивейшие места Тюхтета, заглянуть в тайгу, которая все долгие годы неволи радовала и помогала выжить. Сумрак тайги скрывал наши слезы, богатства тайги нас спасали от голода.

Прочие дни становились светлее от писем. С мечтами о близкой свободе, с отголосками пережитых страданий. В них порой была тяжесть, но уже не чувствовалось безнадежности. Теперь в письмах сосредоточилось почти все содержание моих дней. Прежде всего, в весточках от сына. И в новостях от родни.

Когда вернется домой Вернерс, как расстанется с Вале́й? Что с сердцем Эллы и с ее бесконечными трудами? Как здоровье нашей мамы? Что делает Арнольд? Что пишет, чем дышит Олаф? Когда выйдет на свободу Ниедра? Как дела у Флоры и Владимира? Писем было много, и беспокойство ожидания заставляло меня загодя встречать почтальоншу.

Письмо Вернерса из Золотогорска, 10 сентября: «Я так боялся вскрыть конверт, зная, что там или победа Алниса, или его поражение. А когда прочел первую же строку, такая радость проняла меня до костей, словно сам я был принят. Вот счастье! Дай Бог ему здоровья, которое мне кажется самым важным в жизни. Передай, пусть не стесняется сказать, если ему понадобится моя помощь!

В шахту я больше не полезу, месяц как перебрался на поверхность. Эта шахта уже выработана, нам предстоит переселение на другую гору...»

Письмо от Эллы. Сермули, 5 октября:

«Наша мама очень больна - кровоизлияние в мозг. Две недели была так плоха, что врачи уже за ее жизнь не ручались. Только ее вера в то, что увидит дома вас всех, не дала сердцу остановиться. Врачиха постоянно бывала, помогала с камфарой и глюкозой. Сейчас ей уже лучше, и думает она не о себе, а об Алнисе, как бы он себя совсем не замучил. Теперь она уже может сидеть, чистит картошку, ждет добрых вестей от тебя.

Вчера выслала тебе посылку, собрала кое-что, нужное в дороге.

Картошку убрали, со скотиной стало полегче, можно пускать где хочешь. Вчера сообщили, что мне будет премия 248 литров молока за перевыполнение плана надоев. У меня третье место в колхозе.

Ждем известия, как дела с твоим освобождением. У нас картофеля много, свинья откормлена. Одну корову можем дать тебе, у нас на подходе телка молочная. Приезжай смело, зиму выдержим, а как там дальше, посмотрим.

Колхозное садоводство обещает купить ваши стекла для теплицы. Вам обоим на эти деньги хватило бы пожить какое-то время».

Флора:

«Ваше письмо об успехе Алниса получила в один день с письмом моей подруги Лизы о неудаче Наташи. Насколько Ваше письмо было наполнено радостным волнением, настолько Лизино - болью и разочарованием.

Наташа не поступила в медицинский институт, потому что пройти туда можно было только с круглыми пятерками. У нее неважное здоровье, на заводе работать она не может, а в любой другой институт поступать уже поздно. Она могла бы приехать к нам, но тогда ей придется потерять московскую прописку.

Сейчас я в Иркутске на экзаменационной сессии. Владимир мне ничуть не помогает учиться, это мне больно. Снова вспомнила, как Вы «разжевывали» для Алниса материалы XX съезда и творчество Маяковского. Мать отдает свою любовь, ни с чем не считаясь. А муж... но хватит об этом.

Приглашаю Вас поселиться пока что в Канске, пожить у нас. Хотя бы недолго - знаю, что скоро Вас ждет свобода. Вы не представляете, какое это было бы счастье для нас. Я Вам обещаю сплошной отдых, к хозяйству и близко не подпущу. Книги есть, радио, река, лес, каждый вечер кино. Разве Вам не подсказывает шестое чувство, сколько в нас родственного? И Владимир тоже очень хочет, чтобы Вы с нами пожили. Подумайте и напишите...»

Да. Приглашение заманчивое. Мне было бы хорошо у них - лучше, чем где бы то ни было. Но сердце противилось. Сердце не позволяло отдалиться от родины еще хотя бы на версту, а ведь Канск, где жили Флора с Владимиром, был на целых 800 километров дальше к востоку. Я не могла ехать вообще никуда - чтобы после получения официальной свободы первым же поездом помчаться в Латвию. И сердце смотрело только туда, только в ту сторону.

Вей, ветерок!

В Тюхтете была небольшая и неважная театральная труппа, самодеятельность, которой руководила учительница немецкого языка Шамне.

«Режиссер» пришла ко мне домой, когда Алнис еще сдавал экзамены в Томске; поинтересовалась, как дела у ее бывшего ученика. Кто-то из наших успел сказать ей, что у меня есть Райнис в русском переводе, это и было настоящей целью ее прихода. Райниса на русском языке мне прислали из Риги, потому что латышские издания были раскуплены.

- У вас, может быть, есть «Вей, ветерок!» на русском?

- Есть.

- Как вы думаете, не могли бы мы поставить эту пьесу в Тюхтете? Я летом видела спектакль в Москве, пьеса мне очень понравилась.

Я отвечала, что пьеса эта не под силу местным любителям, что тут нужны сильные профессиональные актеры. Даже у нас в Латвии, сказала я, «Вей, ветерок!» не ставят на маленьких провинциальных площадках.

Шамне, вроде бы, меня поняла, но все же попросила книгу - прочесть текст глазами.

О дальнейшем я узнала только через пару месяцев - в день премьеры. Я была все это время так занята эпопеей моего мальчика, потрясена выдворением из квартиры, захвачена мечтой о скором возвращении на родину, что нигде не бывала и почти ничем не интересовалась. И мои латышки словно бы избегали меня, но я не придавала этому значения.

Оказалось, Лилия взяла со всех клятву молчания. Ведь я из-за своей ограниченности готова преградить прекрасной латышской пьесе путь на сцену нашего славного Тюхтета. Шамне от нее услышала, что пьеса легка для исполнения и что латышки ей всячески помогут.

Латышки пообещали помочь и с реквизитом, костюмами, народными песнями, чтобы ощущался латышский колорит.

Начались приготовления: собирали и шили национальные одежды, вспоминали песни. Забот хватало, и латышки после 15-летней духовной изоляции схватились за эту затею с энтузиазмом.

Премьера состоялась в новом клубе. Мне о ней в последний момент сообщила Аустра, и это было для меня настоящим ударом. Не потому что все было сделано втайне от меня, а из-за недоброго

предчувствия.

- А раньше сказать ты не могла?
- Да от меня все держали в секрете, так же, как от тебя.

Пришлось сделать вид, что поверила.

- Может, пойдем все-таки, посмотрим?

- Нет, Аустра, сил, чтобы тут на это смотреть, мне не хватит. А ты иди. Как я хочу, чтобы представление хоть сколько-нибудь удалось, чтобы латыши не осрамились!

- Ну, Шамне в этом что-нибудь да смыслит.

- Будем надеяться. Странно только, что она держала у себя два месяца мою книгу и - ни слова о том, как она ее использует! Ну да ладно. Желаю успеха!

Аустра пошла на премьеру. Там были все латыши. Лилия восседала на почетном месте. Местные русские заполнили зал. Надо видеть своими глазами, что это за латышская культура, о которой столько слышано!

Аустра из клуба пришла тихая, не говоря ни слова, юркнула под одеяло. Только в воскресенье утром рассказала обо всем.

Прежде всего, актеры не знали текста, и суфлерша не могла помочь сразу всем. Несли отсебятину.

Три латышки за сценой пели «Вей, ветерок», и это было лучшее во всем спектакле - звучало очень хорошо.

Декорации были собраны как попало из прежних русских постановок.

Улдис и другие представители латышской знати расхаживали по сцене в украинских шароварах. Байба, главная героиня, щеголяла в таких заплатанных обносках, что там живого места не было. Юбка принадлежала Марии и использовалась на картошке; ее же были и советы: чем больше заплат, тем лучше. Так была представлена людям наша Латвия, но главное, по словам местных знатоков, «пьеса неинтересная, никуда не годная»!

Первое представление стало и последним. О Райнисе больше никто не хотел и слышать, и пуще всего пьеса «опротивела», по их же словам, самим актерам.

Шамне слишком поздно поняла свою ошибку.

А что же мои латышки? Тоже поняли, но ведь после боя кулаками не машут.

Я до сих пор не могу спокойно вспоминать эту историю, в превратном свете показавшую сибирякам наш народ, нашу землю и нашу культуру.

Все мы были настроены на скорый отъезд, но скоро только сказка сказывается. Жили в постоянном напряжении, взвинченные, ранимые. И нашим показалось так заманчиво - представить пьесу - народную песню, как определил ее жанр сам Райнис, здесь, в местах, где пережито столько унижений и бед. Чем это кончилось, я уже сказала. Доходило до того, что я боялась показаться на улице: казалось, что не избежать ехидных замечаний.

В отношениях между латышами в 1956 году произошло похолодание. Зато в смысле экономики год был удачным. У всех были запасы охлажденной свинины, многие продали лишних коз, лишний картофель. Все надеялись на скорую свободу, откладывали деньги на дорогу и устройство там, на родине. Все ждали великого дня, когда с первым утренним ветром могли бы пуститься в долгожданный, выстраданный путь домой.

Свобода!

С учета снят

18 октября 1956 года Алнис получил в Томском областном управлении Министерства внутренних дел удостоверение, что он с учета спецпоселенцев снят.

24 октября в коротком письме Алнис сообщал: «Я уже дважды в своей не слишком длинной жизни терял и снова обретал свободу. Жутко надоело мучиться и мотаться по свету не по своей воле». В том же конверте была справка для передачи в комендатуру. Я добавила еще от себя справку медицинской комиссии о моей *myocardial dystrophy*. Комендант пообещал немедленно отправить документы в Красноярск, но и спустя три недели я видела наши справки под стеклом на его столе.

На октябрьские праздники Алнис приехал погостить на два дня. В легких серых спортивных брюках с резинками в поясе и на щиколотках, брезентовых туфлях и в окончательно выцветшей отцовской шинели. Наряд, что и говорить, довольно-таки жалкий.

Как раз в этот день в Тюхтет доставили партию демисезонных пальто. Мне не хватало 600 рублей, их пришлось одолжить у Аустры. И Алнис мой приоделся. Обувь осталась та же, но пальто новенькое, белые шерстяные носки прислали из дому, кашне со звездочками - Гина. Кепка у него была совсем хорошая, прошлогодняя. Таким его можно видеть на фотографии.

За два дня Алнис обежал весь Тюхтет, простился со знакомыми, - возвращаться сюда он не думал. Щемящим было расставание с Тamarой, отдавшей парню немалую часть своей доброй души.

Алнис ушел из дому по огородам, тронутым первой изморозью, - ушел навсегда.

Будни в Томске

Из писем Алниса

«19 ноября.

В Тюхтете в тот вечер ждал машину до самого вечера, и зря. Настроение было не ахти. Потом встретил Володю, переночевал у него и уехал уже утром.

Учеба идет со скрипом. Было три контрольных. И три четверки. Впереди немецкий язык и физика. Опасаюсь двойки. Контрольные работы дважды в семестр, потом экзамены. Я уже немного освоился с этой системой. Этот год решающий. Выдержу - дальше будет полегче. Кажусь себе совершенным тупицей, когда не могу сообразить каких-то вещей. Но многим приходится не легче. И совсем уж легко мне не давалось ничто и никогда».

«3 декабря.

Твоя уверенность в моем всемогуществе необоснованна. В конце января экзамены, потом две недели каникул. Все еще приходится латать дыры вечерней школы. Год трудный. Для разрядки занимаюсь легкой атлетикой, участвую в соревнованиях.

Очень жду твоего освобождения. Но если ты уедешь, не знаю, куда деваться на Новый год».

Наступил 1957-й

1957 год в Тюхтете начался с обнадеживающей новости: всем калмыкам было разрешено вернуться на родину. Их родные степи в то время начали превращать в пахотные земли, требовались рабочие руки, и коренные хозяева были там нужны. Радовались и ликовали не только калмыки, но и все другие ссыльные.

Первые мужчины тут же отправились в Калмыкию на разведку, остальные начали распродавать имущество, собирать деньги на дорогу.

Посланные вернулись в отчаянии. Оказывается, на родине калмыков никто не ждет. Их дома заняты, и новые хозяева

грозятся ни одного калмыка не пустить на порог. Учреждения тоже никакой помощи не сулят. Так что без предварительной договоренности ехать туда не советуют.

Калмыков в 1943 году депортировали за выказанные будто бы ими симпатии к немцам. Сосланы были все до единого, что сделало их возвращение на землю отцов особенно проблематичным. Поэтому большинство калмыков остались, где были. На родину, правда, отправлялись одна за другой делегации, искавшие возможности возвращения народа на его землю.

Освободили и всех поволжских немцев, но без права вернуться в места их прежнего проживания. Им отвели новую территорию в Саянах, предложив создать там автономную область. Из Тюхтета никто этим предложением не соблазнился, немцы продолжали жить в местах, к которым успели притерпеться.

Евреям также советовали отправиться в Биробиджан, центр искусственно созданной Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Некоторые семьи выехали туда.

Индивидуально, по особым договорам освобождали представителей других народов, в том числе и латышей, начиная с инвалидов и стариков.

Алнис своей цели - выбраться из тюхтетской грязи и снегов - добился. Он жил в крупном городе, учился в институте. Свобода, которой он был лишен с восьми лет, когда еще не вполне сознавал смысл этого слова, теперь была ему официально возвращена вместе с «чистым» паспортом. Теперь был мой черед. Оставалось только дожждаться, когда Красноярское отделение Гулага пришлет бумагу о моем освобождении.

Перед Алнисом стояли еще две задачи: получить высшее образование и вернуться на родину. Они не были легко и быстро достижимы, но уже преодоленные препятствия были, пожалуй, потрудней.

Письмо Алниса:

«17 января.

Идут зачеты. Уже сдал почти все. Только вот немецкий все еще мучит. За два дня перевел тексты, 20 000 знаков! Осталась грамматика. Из-за такой ерунды приходится терять столько

времени, надоело до чертиков, но что делать, головой стену не прошибешь.

Экзамены начнутся 26 января. Если где-то срежусь, займусь на каникулах и исправлю. Провалиться можно не больше чем по двум предметам, иначе вылетишь из института.

В нашей комнате ребята славные, мы уживаемся. Саша очень даровитый, никогда не просит ничьей помощи, умеет доходчиво объяснить непонятное. В чем-то мы все хромаем, половина материала плохо усвоена, но бьемся каждый как можем. Боюсь только лишиться стипендии, тогда все же придется просить родных о помощи. Заканчиваю - пора зубрить проклятые инфинитивы. Борьба продолжается, другой дороги нет. Победит сильнейший».

В Сермули ждут

Арнольд пишет: «С великим нетерпением ждем твоего освобождения. Валда уже откормила кролика. Шлю деньги на дорогу - 300 рублей. Если не хватит, напиши, скоро опять получка.

Мама чувствует себя лучше и надеется дожидаться вас обоих - тебя и Вернерса».

Мой великий день

19 января над Тюхтетом повисла низкая морозная мгла, в которой едва можно было различить пожарную каланчу и водокачку. Как двое часовых, стояли они возле стены этой самой белесой мглы, заиндевелые и продрогшие до сердцевины. Каждое утро, когда иду задать корму козам, они встречают меня первыми. Такие привычные - неотъемлемая часть тюхтетских рассветов.

Одна башня гнала в гору воду, вторая бдительно следила, не загорелось ли где-нибудь что-нибудь. Каланча выглядела бравой воякой, водокачка страдала одышкой и нередко оказывалась не на высоте: выстаивая на морозе, длинная очередь женщин с

пятикопеечными талонами и пустыми ведрами в руках дружно бранила исполком, который деньги берет, а водой не обеспечивает. В таких случаях всем приходилось спускаться к реке, где чернели проруби, которым не давали замерзнуть.

В то утро я тоже приобрела за пять копеек талон на два ведра воды и с коромыслом отправилась к водокачке. Очередь уже переминалась в подножии башни, тут же стояли учрежденские сани с бочками (бочка воды стоила рубль).

- Что, опять воды нет? - справилась я.

- Вода вроде есть, да труба замерзла, - ответили вразнобой сразу несколько голосов. - Оттаивают. Сказали ждать.

Я заняла очередь и стояла, пока не замерзли ноги, а воду все не давали. Тогда оставила коромысло и ведра под присмотром соседки и забежала в комендатуру, расположенную тут же, через пару домов. Узнать, как там дела. Не нужно будет по холоду ходить лишний раз. Пока трубу разморозят, успею вернуться.

В комендатуре народу было немного: несколько калмыков и немка. Моя очередь подошла быстро.

Комендант - вот уж чего не ждала и не видела раньше - поднялся навстречу и протянул руку. Я отступила в сторону и посмотрела назад. Но за спиной никого не было.

- Поздравляю! Вы свободны, - сказал с непривычной мягкостью комендант, в других случаях суровый и резкий. - Садитесь. Вчера из Красноярска поступило распоряжение вас освободить. Можете оформлять паспорт.

Весть не была неожиданной, но дыхание у меня перехватило и сердце екнуло.

- Благодарю! - прошептала, разом потеряв голос, и опрометью выскочила наружу.

- Передайте Залите, и на нее пришло освобождение! - крикнул комендант вдогонку.

Нет такой музыки, которую можно было бы сравнить с хором в моих ушах, на все лады распевавшим уже слово «свобода». Такое слышали только те, что сами многие годы пробыли в неволе. Октябрьская улица, по которой я спешила теперь к Марии, была расцвечена во все тона ликования, волны морозной мглы катили над землей оду радости. Звенели, пели земля и воздух.

То был холодный день. Столбик ртути в термометре у здания милиции опустился ниже цифры 40. Слезы радости замерзали на ресницах, и увиденный сквозь них мир переливался всеми цветами радуги. Такой прекрасной Сибирь зимним утром еще не бывала никогда.

Я спешила к Марии. И услышала голос учительницы Шамне:

- Мелания Яновна, куда вы так разбежались? Что-нибудь стряслось?

- Нет, ничего! - пробормотала я, торопясь дальше. Не хотелось на улице просто так, на ходу проронить святое слово «свобода». - Извините!

Я спешила к Марии с великой вестью. До чего приятно нести человеку такую новость!

Но Марии не было дома. Возле узкой, покосившейся двери на гвозде висел большой ключ. Что делать?

Тут я увидела в снегу черную головешку - Мария, должно быть, тоже спешила и вытащила недогоревшее полено, чтобы можно было закрыть трубу. Так, значит, писать есть чем. А на чем?

Передо мной была недавно побеленная стена лачуги, и я, ничуть не жалея эту белизну, с наслаждением вывела углем крупные, черные буквы:

Tu esi briva!

Ты свободна! Надпись выглядела впечатляюще. Ее можно было видеть и с улицы, в чем я убедилась, уходя. Посмотреть бы на Марию, когда она это увидит. Но Мария если уж отправлялась куда-то, отправлялась надолго: поговорить в нашем положении - что поесть. А мне пора было вернуться к водокачке.

Очередь моя, конечно, давно прошла. Ведро мои были у раздатчицы воды, и получила я их в сопровождении не самых лестных комментариев.

Дома меня ждала Аустра с письмом и телеграммой.

Флора сообщала, что Владимир совсем плох и просила срочно приехать.

Прощание навсегда

Могучая сила у такого призыва: ты срочно нужна!

Я переоделась и помчалась к столовой в надежде найти там машину, идущую в Боготол. По пути забежала на минуту в «Фотографию» - сделать снимок на паспорт.

Владимир действительно был тяжело болен. Инфаркт. Его мучили сильные боли, не позволявшие ни двигаться, ни волноваться. Невозможно было даже перевезти его в больницу, где он годами лечил других. Больному приходилось дни напролет лежать в одиночестве: Флора была занята в больнице.

Я не могла отказать друзьям в помощи, но только что обретенная свобода пьянила до беспамятства. Я думала и о своей маме, которая тоже боролась с болезнью за тысячи верст от Канска. Я успела телеграфировать ей о своем освобождении, и она, конечно, ждала меня, изнывая от нетерпения.

Я прожила у Флоры и Владимира два дня. Дольше не могла: перед глазами днем и ночью стояла мама. Ну да, двое из нас, Элла и Арнольд, были уже при ней, но теперь была моя очередь.

Владимир прощался, не скрывая слез. «Больше не увидимся», - сказал он. На дорогу я получила от Флоры 500 рублей. Боже, прости мне это торопливое прощание.

Флора проводила меня через лес, поцеловала, сказала тоже, что, видимо, расстаемся навеки. Но я была словно в трансе: только бы скорее на вокзал! Оглянувшись, увидела: Флора стоит, прислонившись к сосне. Приостановилась и я. Умом я понимала, что нужно бы остаться, помочь этим двум людям так же, как они в свое время помогли мне. Однако душа ничего не хотела знать.

Я уехала. Но образ Флоры, одиноко стоящей у той далекой сосны, останется в моей памяти вечным укором.

Последние дни в Тюхтете

Комендант удивлялся - как это человек, получивший свободу, не приходит оформить документы. Я к этому моменту даже не подписала извещение о моем освобождении.

Фотография на паспорт была уже готова, и вожденный документ я получила сразу. Но чтобы выписаться из Тюхтета, нужно было выполнить еще несколько формальностей.

Выдавая мне паспорт, комендант вернул и мою фотографию, выдранную из старого латвийского паспорта, - его отобрали за 16 лет до этого при высылке. Был ли это жест доброжелательности или так полагалось по инструкции, не знаю до сих пор.

Выписавшись, я пошла на рынок, хотела продать кое-что из своих вещей. Но покупателей на них не нашлось.

Жаль было Мику. Хорошо, что на какое-то время его взяла к себе Аустра. Я взяла с нее слово: при отъезде она отнесет кота к ветеринару, пусть усыпит, чтобы он не мучился без дома, без еды, без ласки.

Козу Майру пришлось продать. Русские, которых я знала, любили детей, а вот к животным, по моим наблюдениям, были довольно безжалостны. Притом я не могла искать для Майры наилучшего хозяина - приходилось отдавать первому, кто купит. Из вырученных денег что-то отослала Алнису, что-то маме. Нужно бы было отправить переводы еще в несколько адресов, но деньги кончились.

Последние дни в Тюхтете пробежали быстро. Сходила на Подгорную, к той землянке, где провела долгие, трудные годы болезни. Побывала и на улице Кирова, где начиналась тропа моего Алниса к долгожданной свободе. Калитка была занесена доверху снегом точно так же, как в день, когда мы переселялись сюда на житье. Добрела до реки, полюбовалась на тайгу - до чего же она могуча, до чего прекрасна! Деревья стояли в сплошном серебре. Прощай, тайга. Спасибо, что помогала выжить в самые черные дни. Оставайся такой же богатой и щедрой. Больше не увидимся - завтра уезжаю на родину, путь к ней для меня наконец-то открылся.

Возвращение на родину

В дорогу!

Суббота, 2 февраля. Как и всю предыдущую неделю, морозно. Рано утром, до начала работы латыши пришли попрощаться со мной. Не было только Луизы. Я расставалась с людьми, вместе с которыми прожиты 16 лет. Вместе радовались, печалились, мучились, работали, праздновали. Случалось все: споры и непонимание, оговоры, обиды, но что бы там ни было, мы всегда оставались в главном одной семьей. Я, может быть, сумела помочь им немногим, зато они мне - всем, я бы просто не выжила без этих людей. Каждой из пришедших я была обязана благодарностью, которой словами не выразишь. И язык слез тоже был для этого мелковат.

Латышки не ждали за свою любовь и поддержку возмещения. Они проводили меня на родину, как сестру.

Мика устроился на постели Аустры и, казалось, наблюдал за всем происходящим хладнокровно. Но когда я подошла и к нему попрощаться, он вдруг обхватил мою руку всеми четырьмя лапами и прижал к своему бархатному животу, и только себе я могла признаться, что его-то мне жаль оставлять больше всего. Так много самых трудных месяцев, лет проведены с ним вдвоем. Не было такого кусочка, которым бы я не поделилась с Микой, и каждой новостью, радостной или горькой, я делилась с ним так же. Прощай, серенький, единственный друг многих дней и ночей!

Аустра провожала меня до Боготола. Мне удалось договориться с шофером с МТС. Ехали в кузове грузовика - кабина была уже занята.

Когда мы обе забрались на мешки с зерном, провожающие достали носовые платочки. Но мое сердце было так переполнено счастьем, что я едва сдерживала улыбку. Прежде, так же точно провожая уезжавших на родину, я тоже не могла сдержать слез. Теперь слезы высохли.

Мотор уже урчал вовсю, когда прибежала Луиза. Она бросила мне снизу пестрые варежки:

- Это тебе шлет мама. Всю ночь вязала, только что кончила. Пожелала тебе теплых рук и счастливого пути.

Эти-то варежки все же отворили запертые шлюзы - я заплакала. Не успела даже сказать спасибо, только благодарно улыбнулась сквозь слезы.

Поехали. Машина свернула к аптеке. Группка людей, машущих руками, пропала из глаз.

Тюхтет стремительно уходил в прошлое. Будущее начиналось сразу за сосновым бором. Вот он, этот бор, знакомый наизусть, остался позади, вот прогремел под нами мост через Тюхтетку; последняя, длинная улица.

По-зимнему тихо, дорога наезжена. И великаны кедровые с черными стволами, и душистые пихты прощаются со мной тоже, каждый по-своему. Березы и осины по грудь погрузились в снежные сугробы. А вон на снегу огоньком сверкнула рыжая лиса.

- Аустра, гляди - лиса! - толкаю локтем свою молчаливую спутницу.

- Не могу. Мне нехорошо что-то...

Вот тебе и на. Чем ей поможешь? А впереди еще больше сорока километров в кузове грузовика.

- Ты тоже замерзла? - спрашиваю зачем-то.

- Да холод-то можно терпеть...

Не надо ей было ехать. Но сейчас думать об этом поздно.

До Боготола добрались, хотя и полуживые от холода и тряски. По пути на станцию немного отошли; я смогла выстоять очередь в кассу, и с билетом посчастливилось - уезжаю в эту же ночь. Билет до Москвы стоил 312 рублей плюс доплата за плацкарт 56 рублей 70 копеек. Я тут же дала телеграмму приятельнице Флоры, Лизе, чтобы та встретила меня в Москве. Поели с Аустрой в ближайшей столовой и пошли искать машину на Тюхтет. Не нашли. Смеркалось уже, а машины все не было. Аустре, видно, придется ночевать на станции.

Часа через полтора в станционный зал вошел подвыпивший человек, спрашивая, нет ли пассажира на Тюхтет. Аустра

отозвалась немедленно, но я стала ее отговаривать от поездки - с нетрезвым шофером, да еще ночью. И народ, ожидавший поезда, соглашался: нельзя ехать. Но Аустра была непреклонна: «Мне все равно!»

Шофер стоял тут же и все слышал. Под конец тихо спросил ее: «Так что, едем?» «Едем!»

С тяжелым сердцем проводила я АуSTRU до машины и отпустила в черную ночь.

На станции, когда я туда вернулась, услышала сказанное кем-то шепотом: «Живой она вряд ли доедет». «Типун тебе на язык!» - подумала я. И без того было муторно на душе.

Как добиралась домой Аустра, я узнаю потом из ее письма.

Подошел мой поезд.

В поезде на Москву

В Сибирь нас везли, согнанных в кучу в вагонах для перевозки скота. Из 30 человек, ехавших в нашем зарешеченном вагоне, 12 остались на сибирских кладбищах.

Возвращалась я после пережитых мук и болезней скорей призраком, чем созданием из плоти и крови. Но с надеждой на родине воспрянуть и сызнова стать человеком.

Мое место было на верхней полке, но забираться туда не пришлось: какой-то красноармеец предложил поменяться. За 10 рублей я получила чистое белье и почувствовала себя даже слишком хорошо.

Поезд отошел точно по расписанию, в 18.42, медленно, тяжело начал разгоняться. Земля наших мук и страданий уходила во тьму.

Как только за вагонным окном развиднелось, я уже не отрывала от него взгляда. Но видеть можно было немного. Редко мелькнут жалкие строения какого-нибудь колхоза, избы, щедро осыпанные снегом. Вокруг станций толпились приземистые домишки, покосившиеся заборы. Ближе к станции пути раз-

ветвялись; показывалась березовая или осиновая рощица, гипсовые безвкусные статуи. Все почерневшее от паровозного дыма и копоти. На одной станции березы вздымали черные, облепленные хлопьями сажи ветви, словно в царстве смерти. Жуткий вид.

Мороз по-прежнему свирепствовал, но только снаружи, и узнавали мы о том, сколько градусов там, от проводника. В вагоне было тепло. Станцию Тайга, где была пересадка на Томск, я проспала, а собиралась обязательно ее посмотреть - ведь именно здесь начинался отдельный путь моего сына, его восхождение.

Городок Тайга гремел на всю Сибирь своей воровской шайкой. Работники здешней станции разворовывали чуть ли не каждый багажный вагон. Я как-то от своей посылки после полугодового поиска и расследования получила лишь пару знакомых поношенных вещей; не было даже ящика, мне вынесли их в руках: «Вот, это все. Хотите, берите, не хотите - не надо».

Начиная с Новосибирска поезд подцепили к электровозу, - быстрее, чище паровоза и не так шумно.

Тайгу теперь сменяли нередко широкие степные пространства. Потом белые пятна исчезли, пошла сплошная тайга, ровная поверху, точно море. Потом начались горы, замелькал за окном березняк, природа становилась больше похожей на ту, что я видела с детства.

Урал начинался небольшими холмами, но с каждым часом они становились выше. Очень хотелось не упустить тот момент, когда поезд входит в горы, но наступила ночь. Темно стало за окном, к тому же иней задернул законный пейзаж, как занавес с бахромой.

Утром пробудились все еще в горах, правда, уже с другой стороны Уральского хребта. Только после завтрака горы спустились к реке Урал и на другой берег переходить уже не стали.

- Моя спутница, бухгалтер, ехала на курорт. Она была недовольна всем и всеми, изводила упреками проводников. С другой стороны окна устроилась седая женщина, неразговорчивая и грустная; она не задавала даже обычных в дороге вопросов - куда и зачем едут соседи. Верхнюю полку занял красноармеец, уступивший мне свое место, отпущенный домой, в Киев, в отпуск. Когда не спал, он читал или старался чем-нибудь помочь другим. В соседнем купе

ехали хоккеисты, шумный народ. Они были отлично одеты, вкусно ели, много пили и, разгорячившись, не выбирали выражений.

Вагон - своеобразный остров, где встречаются ненадолго характеры и судьбы. Люди быстро знакомятся, становятся открытее. Правда, я обменивалась со спутниками лишь необходимыми фразами. Так у меня оставалось больше времени для раздумий и мечтаний, которые должны были сбыться совсем скоро, через несколько дней.

Москва

Москва заявила о себе невообразимым шумом, нечистым перроном и назойливыми приставами носильщиков. Лиза меня не встретила. Несколько обиженная, я отправилась искать ее по записанному адресу.

Лиза - чужой человек, еврейка, подруга Флоры с юности, приняла меня радушно, предложив чувствовать себя как дома. Вечером пришла ее дочь Наташа, ошарашившая мать новостью: она записалась на подготовительные курсы в Институт лесной промышленности.

- Но доченька... как же так - кто выбирает предмет, совершенно не входящий в круг его интересов? Это легкомысленно!

- Мам, тебе ли не знать - в гуманитарные вузы нам попасть почти невозможно. Там, кстати, и подготовительных курсов нет. Выбор небогат - или техника, или ничего.

Я девушку поддержала: техника и впрямь лучше, чем ничего.

Впервые в жизни я увидела в тот вечер телевизор. До этого о телевидении только читала.

На второй московский день я наметила посещение Третьяковской галереи, о котором мечтала давно. Очередь в музей я заняла в девять утра, хотя кассы открывались лишь в полдесятого. Входной билет стоил три рубля. Оставила в гардеробе верхнюю одежду, но в храм искусства меня не пустили.

- Снимите боты! В ботах не дозволено! - строгим голосом остановила меня служительница.

- Я не могу их снять. Это моя единственная обувь.

- Меня это не касается.

- Я проехала 4000 километров, чтобы попасть в святилище искусства, и меня не хотят сюда впустить?

- Идите к директору. Если он даст письменное разрешение...

Я разыскала директора Третьяковки, попросила разрешения пройти в боты.

- У нас полы накрыты коврами, в уличной обуви по ним не ходят.

- Понимаю. Но разве нельзя сделать исключение? Директор молчал, насупившись.

- В конце-то концов, галерея существует для того, чтобы содержать дорогие напольные ковры или для того, чтобы ее можно было осмотреть?

- Прочитайте правила для посетителей, там все сказано.

- Нет, уж извините. Там не может быть сказано, что посетители должны брать из дому запасную обувь. И неужели мне, приехавшей издалека, нужно непременно унижаться перед вами, чтобы увидеть полотна, принадлежащие все-таки народу?

Директор, услышав опасное слово «народ», молча выписал мне разрешение.

Я не ставила целью обойти по порядку все залы, а искала то, что хотела увидеть воочию. Потрясающие полотна Сурикова, солнечные боры Шишкина, синие мечты Врубеля, его изумительного «Демона», светящиеся холсты Куинджи. Мир искусства захватил меня целиком, и целого дня оказалось мало.

На следующий день я хотела попасть в Большой театр, услышать оперу. Лиза меня охладила: туда билет можно купить за декаду до спектакля или же втридорога у спекулянтов, да и то если повезет.

Я выехала утром, но у касс Большого уже толпился народ. За колоннами не протолкнуться. И все спрашивали билет на сегодня. Иногда появлялся перекупщик с парой билетов, которую у него тут же выхватывали. И снова ожидание. Под вечер мне удалось купить с рук два билета, себе и Лизе, на «Царскую невесту» в филиале Большого. Билеты стоили по 45 рублей каждый.

Слышать оперу впервые за 16 лет было неописуемым наслаждением.

Спектакль был такого уровня, с каким встречаться мне еще не приходилось. Живой оркестр, великолепные певцы взволновали и вернули в настоящую жизнь словно бы из долгого небытия.

На третий день после обеда я уезжала в Ригу. Билет уже был в кармане. В здании вокзала я услышала, не веря своим ушам, как пассажиры, занявшие длинную скамью, говорили на моем родном латышском. Все это были латыши, отбывавшие ссылку в разных концах Сибири. Освобожденные по индивидуальным заявлениям. Только калмыков и поволжских немцев освободили всех, поголовно, - они и высланы были всем народом.

В Риге после 16 лет разлуки

В поезде Москва-Рига почему-то не было и следа от того уюта, от тех удобств, которыми мог похвалиться транссибирский экспресс. Вагоны старые, темные, душные. Проводники точно не выспались, даже форма помята. В окно стучался снег пополам с дождем.

В 14.48 выехали. Стемнело рано, и под шелест дождя за окном пришла ночь. Последняя ночь на чужбине.

От Москвы до Риги 927 километров, поезд должен был преодолеть их за 35 часов. Ночь растянулась надолго, и поезд, казалось, забыл, что в таких случаях мог бы и поспешить. Хотя бы в порядке исключения. Утро наступать тоже не торопилось. Утро 10 февраля 1957 года словно бы не понимало, какой великий день оно открывает. Какой праздник. Хотя и не вписанный красными буквами во все календари.

Это был мой, лично мой праздник, призванный разом возместить долгие годы неволи. И утро, словно бы услышав меня, стало открывать одну за другой совсем новые картины. Дождя тут не было и в помине, только лужицы там и сям, как напоминания о ненастной ночи. Совсем недавно Сибирь провожала меня

40-градусными морозами, а здесь, на пороге милой родины, ручьи уносили с собою остатки снега.

Зилупе. Граница. Тут я должна непременно выйти.

Ноги подкашивались. Первые шаги по родной земле. Даже через обувь я чувствую ее тепло. Родину я сразу узнала всеми шестью чувствами - близкую, теплую, милую. Неужели нужна была столь долгая и страшная разлука, чтобы по-настоящему понять, как она дорога мне?

Но тут же, следом пошли первые разочарования. Всюду слышалась лишь русская речь. Нет, это еще не Латвия, а покореженные, разбитые ворота в нее. Ворота, в которые на моих глазах устремлялась шумная, неродная толпа.

Поезд продолжал путь на Ригу. Взгляд мой не отрывался от окна. На ближнем пригорке торопился навстречу мне друг былых дней - серый валун. За ним еще два, поменьше. И еще один. В Сибири таких не водится. Значит, все-таки родина! Мне так не доставало в чужой стороне этих камней, их появление меня особенно тронуло. Латыш с этими валунами, пришедшими из ледникового периода, сросся душой так же, как с родной землей и небесами. Вспомнила, у Андрея Пумпурса, автора нашего рукотворного эпоса «Лачплесис», описано, как ссыльный, возвратясь к своему порогу, обеими руками берет такой камень и прикладывает к челу, чтобы наконец преодолеть страдание.

Земля все та же. Меняются лишь обстоятельства и люди, называющие ее своею.

На одной станции стояли на перроне участники похоронной процессии с хвойными ветками и венками в руках. Они переговаривались на латышском, и я долго уже после того, как поезд стал набирать ход, смотрела на их удаляющиеся фигурки.

Менялись станции, сменялись пейзажи за окном. Не все картины были отрадными. Посреди одичавших садов чернели разоренные семейные гнезда, сараи с провалившейся крышей, руины, оставшиеся от каменной кладки, дыры вместо окон. Много брошенных домов промелькнуло за окном вагона, и все это были уколы в сердце, готовое радоваться. Да и многие жилые дома выглядели неопрятно, совсем непохоже на то, что я помнила с детства.

Русская деревня создает чувство общности, но не чужды ей и зависть, неуживчивость, ссоры. Жить в деревне легче, чем на латышском хуторе, но в хуторском, замкнутом и в то же время открытом всему миру хозяйстве есть своя, неповторимая красота.

Чем ближе к Риге, тем больше вымерших хуторов я видела за окном. Латышский, веками создававшийся сельский двор и сад, кажется, умирал, ничего не оставив взамен. Виднелись, правда, новые станционные здания, колхозные строения, фермы, но вот новой крестьянской усадьбы - ни одной. Как это не походило на то, что я видела за 16 лет до этого и так часто восстанавливала в мечтах!

Уже начинались белые песчаные холмы, замелькали дома Московского предместья. Рига.

Поезд остановился. Почти остановилось разом и сердце.

На перроне встречающие, радостные возгласы, объятия. Может быть, там, среди встречающих и мой Александр? Как всегда, с веточкой вербы или серебряной полевицей в нагрудном кармане пиджака. Подойдет, скажет: «Как я ждал тебя!» И мы вместе поедem домой - Домой? Нет. В Риге у меня давно уже нет дома.

Я замечталась и осталась последней в вагоне. Закрепила лучше лямки рюкзака и на полусогнутых ногах сошла на перрон.

Я стала высматривать Яниса, коллегу, работавшего когда-то вместе с нами в редакции. Я послала ему телеграмму из Москвы. Не двоюродным братьям Петерису и Рейнису не кузинам Лидии или Карлине - ни одному из родственников телеграфировать не решилась. Доверилась Янису получужому человеку, адрес которого и получила-то случайно.

Но и Яниса не было среди встречающих. Перрон почти опустел, и ни одного мужчины на нем не осталось. Значит, не пришел. Жалко, но после Сибири этим не испугаешь. Ну, придется до поезда на Амату посидеть на вокзале, может быть, тут же и переночевать (я еще не знала, что вокзал ночью закрывают на шесть часов).

Главное - не волноваться! И я спокойно, размеренным шагом двинулась к выходу. На старом вокзале у калитки стояли парень и девушка и пристально всматривались в меня. Потом подошли и спросили, не Ванага ли я из Сибири. Они, дети Яниса, получили

телеграмму и пришли встречать меня; отец их был в командировке. «Поедьте к нам. Бабушка тоже ждет, она будет рада».

- Спасибо, милые! - сказала я им и пошла в камеру хранения, сдать рюкзак.

Стоя в очереди, еще раз перебрала в памяти всех, к кому вроде бы могла пойти в Риге, ближнюю и дальнюю родню, тех, кого пощадила война, не затронули и черные ветры нового времени. Нет, ни к кому не тянуло, ни у кого из них я бы не хотела сейчас погостить хотя бы часок. В памяти возникали рассказы побывавших на родине, письма вернувшихся раньше. «Они нас стыдятся», «те, что на больших должностях, боятся такого родства», «кому охота стелить на ночь постель вшивому преступнику, который в 41-м году двухлетним был навечно сослан в Сибирь». Такие замечания, может быть, и субъективные, не могли не врезаться в память. Мы боялись, что нас выставят за дверь, боялись быть в тягость, боялись себя, потеряв представление о своей человеческой ценности. Лучше уж держаться подальше от родни и прежних знакомых, не вторгаться в их жизнь, не навязывать никому свои беды и счастья.

Вокруг обыкновенная вокзальная суета, разговоры большей частью на том языке, в плавильном котле которого мы все полтора десятилетия варились в Сибири. Лишь теперь я сообразила, что в моей Риге я не самый желанный гость. Что меня с неотступной силой влекла сюда только память.

Дети молча стояли, ждали, когда я справлюсь с багажом и со своими раздумьями.

На вокзальной почте я отправила телеграмму домой - завтра приезжаю первым поездом на Амату. А теперь - с детьми Яниса в рижское Задвинье.

Бабушка приняла меня ласково, точно вернувшуюся издалека дочку. И дети были добры ко мне и внимательны, а ведь они видели меня впервые.

Видно было, что живет семья небогато. Дом щелястый, холодный. Купили недавно, задешево, потому что строение предназначено на слом. Зато теперь они могут жить все вместе.

Тем же вечером мы с девушкой отправились в театр. В Опере шел спектакль по драматической поэме Ибсена «Пер Гюнт».

Билеты мы купили еще по дороге с вокзала. В главной роли выступал Артур Димитерс, Азу играла Алма Абеле, Сольвейг - Расма Рога, Анитру - Дина Купле.

Публика, к моему удивлению, была в повседневной одежде - женщины в вязаных платьях, мужчины в свитерах. Но это и к лучшему, среди них и я в домотканой одежде, пошитой и присланной в Сибирь моей мамой, выглядела пристойно.

Зал Оперы был, как прежде, высок и роскошен, а спектакль - точно сон, при котором не хочется проснуться.

В программке вместо прежнего: «Национальная Опера» значилось: «Государственный Академический ордена Красного Знамени театр оперы и балета».

На другой день автобусом отправилась в Ригу. Вышла, проехав через мост, на набережной Даугавы. Здесь меньше зеленых насаждений и немало проплешин там, где до войны были дома. Нет дома Черноголовых, нет Ратуши, нет... нет... Но Старая Рига почти вся уцелела. То есть уцелели здания, прежних улиц нет. Есть улицы Коммунальная, Комсомольская, Красногвардейская. А где Аудею - улица Ткачей, где улица Грешников, улица Екаба? И дальше - не увидишь табличек с названиями: бульвар Аспазии, улица Бривибас - Свободы...

Под стать «новым» улицам и прохожие, очень уж не похожие на прежних рижан. Преобладают те, чья родина там, где им лучше, где кто-то уже раньше, до них возвел дом, распахал и засеял поле.

В Риге в дефиците сахар и масло - так же, как в Сибири. Ладно! Пускай бы не хватало даже хлеба, была бы только улица Свободы!

Этот февральский день для меня полон и праздничных, и скорбных ощущений. Радость возвращения. Горечь воспоминаний.

Собралась с духом и пошла навестить крестную, Карлину Бурову. В квартиру меня впустила чужая женщина, предупредив шепотом, что Карлина очень больна.

Крестная меня сперва не узнала. И только потом несколько ожила, рассказала, что недавно перенесла операцию, теперь ей лучше, только вот какая-то слабость. Альфред работает в ресторане, Арнольд учится на режиссера. Арнольд, легок на помине, прибежал проведать родительницу и шепнул мне на ухо, что мама совсем плоха.

Горестной вышла эта короткая встреча. Крестная умерла спустя несколько дней.

В 11 часов в тот же самый день я села в поезд, чтобы преодолеть последний отрезок долгого, долгого пути к дому. Что я перечувствовала, шагая к вокзалу, ожидая поезда, входя в вагон... Нет, этого не выскажешь.

Последний рывок

Как сказочная музыка Грига, звучали названия станций: Ропажы, Сигулда, Лигатне, Иерики. Следующая - Амата.

Я заранее вышла в тамбур, ближе к выходу. Через стекло двери смотрела на леса, поля. Снега везде еще хватало. Климат в этих местах резче и холодней, чем возле Риги. Ели, правда, уже стряхнули снег и радуют глаз зеленью.

Белый замерзший Агатский залив, прогремел под колесами мост. Поезд сбавил ход. Станция та самая, что была, деревянное строение, истоптанный снег вокруг. У коновязи - вороной конь в запряжке.

Поезд встал. Я первой схожу на перрон. Ко мне спешит Элла. В старом, сером мамином пальто, такая знакомая и родная, с лицом, отуманенным заботами.

Поезд с грохотом покати́л дальше, а мы все еще стояли друг против друга, во все глаза глядя, точно на какое-то чудо. Мозолистые руки, которые я сжимала в своих, сами по себе были рассказом о прожитых ею годах. Они же, эти годы, смотрели на меня сквозь слезы радости. Губы, посиневшие от холода, пытались сложиться в улыбку.

- Сестрица, ты пришла пешком?

- Нет, видишь, там вороной? Выпросила в колхозе лучшего коня. И ведь дали! Он нас домчит мигом.

Я словно вернулась домой после долгой болезни. И в то же время сознание точно бы вины за свою слабость, за неизгладимое клеймо преступника на лбу, хотя и вытравленное преступниками. А еще боль оттого, что вернулась одна. До чего же она непонятна,

душа: только что была переполнена радостью, и тут же, как в болотную прорву, погрузилась в тоску.

Я вернулась домой с грузом чужой грязи, налипшей на ноги, усталая, с камнем застарелой боли в груди.

Яудзумская горка, с которой уже виден отчий дом.

Сермули!

Сермули

Дом выглядит по-другому. Нет больше старого клена, провожавшего и встречавшего нас с первых жизненных шагов. И тогда, в тот еще незнаемый путь он проводил нас, а вот встретить - не довелось. Может быть, потому, что не все оттуда вернулись?

Старый клен помогал всем обитателям хутора жить и работать, радоваться и стойко переносить невзгоды. Он как бы присутствовал в подтексте всей нашей жизни. Теперь от него остался лишь трухлявый обрубок.

Клен, о котором помнил любой, побывавший у нас хоть раз, был живым, раскидистым, так что крона его закрывала полкрыши.

Дому теперь не хватало большого клена, сада. Только в восточном окне, к которому в первый день жизни меня поднесли, чтобы показать ребенка солнцу, блеснул яркий отсвет в знак приветствия. Спасибо!

И тут, звонко лая, вылетели ко мне два пса - Бекус и Джек. Они прыгали, виляли хвостом, кружили, повизгивали, всячески выказывая свою радость. Только все эти нежности предназначались не мне, а Элле. Меня с нетерпением ждала только мама.

И вот я стучусь в дверь.

- Прошу! - произнес из глубины тихий, милый голос.

Мама привстала с низкой скамеечки, сидя на которой чистила картошку. Опираясь на палочку. И упала в мои объятия.

Мне застлало слезами глаза. Страдания всех детей и внуков легли на эти слабые плечи, оттого они и согнулись. Каждый из нас нес свой груз, свою боль, а ей нужно было пережить страдания всех. Глаза запали в глазницы. Губы истончились и крепко сжаты. Улыбка только в уголках губ.

Мамочка!

Держу ее в руках и не верю, что это происходит на самом деле. 16 лет подряд такое могло случиться только во сне. Мамочка!

Глажу ее седые волосы, снег, который никогда не растает.

На обед картошечка с соусом, какой умеет приготовить только мама. И кисель из морошки со сливками на сладкое. Морошка растет, как и раньше, по соседству, и вкус ее не забыт. А вот вкус сливок за прошедшие годы испарился из памяти. На кухне было так же тепло и уютно, как в добрые старые времена. У плиты собаки грызли кости, на скамье мурлыкал толстый кот Батрак.

Наконец-то я дома.

День уже перевалил за половину, а мне хотелось еще навестить Горку. Мама, правда, сказала, что там все повырубили, испоганили, но я все же не могла не сходить туда, не поздороваться.

Снега у подножья холма оставалось немного; речку перешла по льду. Начался крутой подъем; мой отец когда-то устроил тут земляные ступеньки, но от них уже ничего не осталось. Я знала, что меня там уже не ждут большая ель, Янова ива, две березы, между которыми каждое лето привязывали гамак. И все же такого разорения, которое предстало передо мной, я не ожидала. Горка, наш чудесный заречный парк зарос почти непроходимым кустарником, из которого повсюду торчали куски колючей проволоки.

Я продиралась через кусты, гладила каждое деревце, оставшееся от лучших времен, как это делал мой любимый, когда по утрам приходил сюда. Летом так было всегда, и каждое утро его встречал птичий хор, к которому он «атавистически» присоединялся.

Из больших деревьев сохранилась лишь береза на крутизне, у беседки. Вокруг нее столпились кусты сирени и ольхи. Но белая береста просвечивала через эту чащу. Я приблизилась к березе - и в эту самую минуту на нее с шумом и гамом опустилась целая стая галок. Я прогнала их, и мы остались с березой наедине. Нам было о чем вспомнить. Не может быть, что прошло 16 лет! Может быть.

Было... прошелестела береза. Тот, о ком мы обе думали, не придет. Его нет, наверно, был он слишком хорош для этого мира, слишком любил все зеленое и живое. Нет и нашей чудесной Горки. И она, видать, была слишком хороша для этих времен, слишком красива. Ты знаешь, береза, у них теперь красота и добро под запретом.

Пора было возвращаться к мамочке. На полпути домой меня позвал Рияскалнов камень. Как бы я могла пройти мимо!

Камень лежал, как медведь, утонувший в снегу, только черненький нос, высунувшись из сугроба, смотрел на меня. Привет, старый друг! Я дотронулась до него, погладила еле заметно и поспешила дальше: вот снег растает, тогда и поговорим, у нас есть что рассказать друг другу.

Какой я богач! Как много здесь того, что мне принадлежит, чему принадлежу я, не говоря уж о корнях, связывающих нас с моими и их предками и значит, с этими местами - на всю их глубину!

Мама хлопотала у плиты, готовила ужин.

- Ну и как тебе наша горка?

- Нет слов. Единственно береза там, у беседки, еще жива.

- Должно быть, спасла ее вышняя сила. Знаешь, мы не знали, куда деваться, когда бригадир там пилил и валил деревья, все подряд. В доме было слышно - падая, они стонали, точно люди. Потом устроили там загон для телят. И все было смято, потоптано - цветы, саженцы, дорожки. Красота им поперек горла.

В колхозе имени Дзержинского

Сермули сделались молочной фермой колхоза имени Дзержинского. Здесь держали две группы - 24 коровы. Элла отвечала за одну группу, Марта Бундзениеце за вторую. Кормов вечно не хватало, платили копейки. У доярок не было ни выходных, ни праздников, ни одного свободного утра - вставать приходилось в полчетвертого. Трудились скотницы-доярки, пока были в силах.

Такая доля выпала Элле. Рабочий день начинался и заканчивался в темноте. Зимой доярки сами доставляли в хлев солому

с поля или недобранную осенью мерзлую картошку, которую приходилось выковыривать ломом из твердой, как камень, земли. Иногда пускали коров кормиться в ближнем ельнике. Когда молоденькие елочки и ольховник поблизости были обглоданы, буренки по снегу протаптывали тропу дальше.

То и дело приходили с контролем. Взвешивали, измеряли и корма - все ту же солому, и надоенное молоко. Забывали только взвесить тонны снега, из-под которых солому доставали, дрова, истопленные, чтобы отогреть мерзлые клубни, сено из своих запасов, принесенное колхозным телятам. Забывали проверить, сколько сил и здоровья потеряно колхозницами.

Может показаться, что я сгущаю краски. Но после всего виденного и слышанного рука не поднимается писать иное. Элла доработалась до того, что уже не могла справиться без маминой помощи. И, забегаю вперед, скажу, что ей в конце концов не дали пенсии, ни копейки!

Многое в колхозе имени Дзержинского было мне чуждо, хотя службы его располагались в моем родном дворе.

Письма издалека

Алнис, 15 февраля:

«Поздравляю с возвращением на родину! Бесконечно рад, что больше не придется мучить себя, упрекая, что оставил родную мать на произвол судьбы.

Я уже сдал три экзамена. Первые два на тройку - не мог себя заставить зубрить, осенняя перегрузка все еще сказывается. Бывает, что болит голова. По физике на билет ответил хорошо, а засыпался на самом легком вопросе, вдруг нашло на меня - в голове совершенная пустота. Если лишат стипендии, возьму ночную работу, меня это не пугает, видели и не такое. Соседи по комнате сдали хорошо.

Со мной вместе живут два брата, Леша и Женя. Сироты, у них вообще нет никакой родни. Просили написать тебе, что будут тебя считать и своей мамой. Еще просят, чтобы ты им написала по-русски. Они славные парни. Когда тебе надо было уезжать, они даже предлагали помочь деньгами - из своей стипендии, чтобы я тебе послал. Напиши всей нашей комнате, люди будут рады...»

Алнис еще не раз писал о братьях Юдиных. Ребята сильные, хотя им приходится нелегко - никакой помощи со стороны. У них одно пальто на двоих, а нормального костюма - ни одного. Зато у каждого своя язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Жизнь их складывалась безрадостно. Родители пьяницы, отец к тому же агрессивный. Когда старшему исполнилось 12, отец с матерью выставили их за дверь, запретив возвращаться. В детский дом они идти не хотели, добрались до кавказских гор, ютились в пещерах, жили на подножном корму. Осенью стали думать, что делать дальше. Нашлись все-таки добрые люди, взяли их в дом; днем ребята работали, оба поступили в вечернюю школу. Время от времени меняли города, школы, работу. В 1956 году получили аттестаты об окончании школы и добрались до Томска в надежде найти работу получше. Еще не найдя, где остановиться, устроились в парке на скамейке, гадали, с какой улицы начать поиски. На соседней скамье сидели девушки с книгами в руках.

Леша подсел к ним, поинтересовался:

- На кого учимся?
- Да вот поступаем в Политех. А вы? Вы тоже?
- Мы... Как бы это сказать. Мы еще не решили.
- Так решайте! Экзамены вот-вот. Опоздаете подать документы!

И оба брата неожиданно для себя решили поступать в институт. Документы у них приняли, поселили в общежитие. Главное, по крайней мере на месяц, у них теперь была крыша над головой. Начали готовиться. Проев последнюю пятерку, шли ночью что-нибудь грузить, зарабатывать новую. Вернее, в поход за заработком они ходили поочередно: один работает, другой спит. Перед экзаменом по немецкому языку у Леша окончательно развалились ботинки. Пришлось и ботинки носить поочередно: один сдал экзамен, бегом в общежитие, брат обувается и топает в институт. Парни никогда не знали родительской заботы, домашнего тепла. У обоих были проблемы со здоровьем.

Алнис, 23 февраля:

«Сессию сдали все, и одна учительница нас пригласила в гости, в деревню. Провели ей электричество, исправили радио, сделали еще то-сё по дому. Зато и были награждены и обласканы. Даже не верится, что совсем чужой человек может быть таким добрым. Облазили всю деревню, были на эмтеэсовской электростанции, она в плачевном состоянии. Все трое отдохнули телом и душой...»

17 марта:

«Мам, ты меня совсем забыла. Хоть бы одно письмо после твоего отъезда!»

Я была в полной растерянности. Куда могли подеваться письма? Я написала и отослала несколько. И ему, и братьям Юдиным, и «целую тетрадку» на русском языке для всей комнаты, времени у меня здесь хватало. Ясно было одно: человек, которого я просила опускать в почтовый ящик мои письма, оказался ненадежным.

Председателем нашего колхоза был Элмарс Эглитис. Он согласился купить стекла для теплицы, которые мы когда-то закопали в землю, опасаясь скорых бомбежек. Колхоз собирался строить теплицы, и стекла понадобятся. На полученные деньги Алнис летом сможет приехать из Томска на каникулы...

Алнис, 3 апреля:

«Я остался без штанов. Все разлезлись. Если можешь, подсоби. В магазинах продают черный сатин, стоит недорого. Если бы ты могла сама пошить, с резинками внизу и в поясе, помнишь, как в тех, которые мне оставил Гроссе Владимир.

Сессия кончается 15 июля. Как ты думаешь, наши средства позволяют мою поездку? Или же мне остаться на лето здесь и подработать? И насчет перехода в Ригу пока не знаю. Здесь я наравне со всеми, а там, небось, окажусь в хвосте. Нужно еще подумать. Перейти или окончить здесь второй курс...»

Олаф из Лиепай:

«Живем в такой спешке, что на письма просто не хватает времени... Папа с мамой работают. Я тоже работаю в театре за разовые гонорары и учусь на 3-м курсе музыкального училища. Фортепиано в доме нет, и без инструмента трудно. Часто приходится с театром выезжать на гастроли по Латвии. На стихи времени не остается, но все же строфа-другая иногда возникает. Стихи пока что никому не посылал, только собираюсь...»

Сын Андриевса Ниедры Карлис из Иркутского лагеря:

«Вчера к нашей и без того пестрой публике добавились еще 30 мужиков - эти отбыли свой срок за обычные уголовные преступления и теперь их на пять лет «спецпоселяют» в отдаленные районы Севера и Востока. Оборванные, грязные и большей частью пьяные до беспамятства. Такая вот братва.

По моим расчетам, на родине осталось 500-600 000 латышей. В Риге из 1,2 миллиона жителей латыши хорошо если составляют пятую часть. И эмигранты по всему земному шару уже успели обжиться на своих новых родинах и вряд ли думают о возвращении. Не говоря уже о тех смешанных семьях, которые склоняют чашу весов в ту же сторону. Пусть меня назовут расистом, я смешанные браки не одобряю. Наше теперешнее положение осложняется тем, что у нас нет среднего поколения, война и ссылка их сожрали. Остаются старики и молодые, только-только выбравшиеся из детских пеленок...

Как подумаю - самому боязно, сколько всего и всякого за ночь не втемяшится в голову!.. Одно могу сказать: переписка с Вами

для меня свята, здесь я могу высказать самую неожиданную, крамольную или глупую мысль, зная, что надо мной не посмеются, а прочтут с интересом.

Скоро уже шесть утра, пора и на боковую...

Какой-то из могикан».

Карлис Ниедра, сын знаменитого пастора, писателя и политика, окончил юридический факультет университета, когда я на него только поступила. Переписываться мы с ним начали с легкой руки моего брата Арнольда, они были в одном лагере. Арнольда освободили раньше, его позже. Как-то Ниедра прислал мне свое фото - лицо и особенно глаза, не раз смотревшие в лицо чужой и своей смерти, многое мне сказали без слов. У него был туберкулез; когда по освобождении Карлис вернулся в Ригу, его не ждал там никто.

Флора из Канска, 15 марта:

«Меланечка, родная моя, я все еще стою в лесу и прощаюсь с Вами. Тогда думала, что это последняя наша встреча, и сейчас убеждена в этом. Мы никогда не уедем из Канска, а Вы в Канск никогда не приедете.

Я совсем больная в отношениях с людьми. Я многим не верю. Я столько обманывалась в людях, что оборвались все связи. Я больше не верю и самому близкому человеку. Долго не получая от Вас письма, я уже подумала было, что Сибирь для Вас пройденный этап вместе со всеми сибиряками и с нами. Владимир меня бранит. Он Вам верит. Вы меня поймете и простите, видно, у меня уже что-то вроде психического заболевания.

Как приятно было прочесть Ваши слова - «Я счастлива»! Если кто и заслужил счастье, это Вы.

Владимиру немного легче, но проблем много. Он уже не сможет работать, а это для него трагедия. Он сам все понимает, и это для него смертельная травма...»

20 марта:

«Я надеялась, что Вы напишете побольше, что сможете понять - Ваши письма в нашем одиночестве словно дружеская рука. Но вихрь новых событий поглотил все прошедшее, скоро мы, должно быть, будем забыты напрочь. Наверное, так тому и

следует быть, даже чисто физиологически. Владимир опять не встает с постели. Правду от нас, врачей, не скроешь, а она ужасна. И мое сердце не железное, у меня больше нет сил. Сердцу надо бы разлететься на куски, а я все живу. Не работаю, правда, но долго так продолжаться не может. И мы не одни страдаем. Страдают так или иначе те миллионы, что «счастливы» выдержали лагеря...»

28 марта:

«Как Вы, заново родившийся человек? Те коротенькие записки, что мы получили, - неважный симптом. О нас... Но достаточно Вы уже видели наших слез, не стану их проливать в письмах. Жду от Вас хотя бы одно обстоятельное письмо о том, как Вы понемногу забываете кошмарный сибирский сон. Владимир очень болен. У него был второй инфаркт».

Я не могла врать Флоре, и правду сказать ей тоже не могла.

Насколько ценила и ценю, любила и люблю по сей день Флору, я никогда ей не высказала. После моих коротеньких «писулечек» она, кажется, разочаровалась во мне, как в друге, а я не умела оправдываться или оправдывать себя.

Аустра из Тюхтета

10 апреля 1957 г.:

«Сегодня уехали на родину пятеро наших. Я осталась почти одна. Ощущение такое, что никуда мне отсюда не деться. Жаль, что ты так страдаешь от перемены климата. Если что, езжай обратно ко мне и Мике. Я бы работала, а ты вела дом. Как-нибудь справились бы до тех пор, как Алнис окончит институт. Я, видать, слишком рано обрадовалась свободе, ушла из валяльного цеха, придется вернуться с повинной, а то из квартиры выкинут.

Наши с дороги пишут, что едут в общем вагоне, без плацкарты. Но так или иначе - а ведь едут домой...»

23 апреля:

«Какая радость! По твоим просьбам меня наконец освободили. Телеграмму ты, наверно, уже получила.

Мика третий день как пропал. Я сама виновата. В субботу, в ночь на пасху были оба дома. Я его взяла на колени и говорю: скоро, брат, придется нести тебя в ветпункт. Говорю, а слезы падают ему на гладкую шерстку. И вот - он, видно, все понял и больше домой не приходит. Не знаю, что и делать. Сказала Марусе - если увидит, пусть действует вместо меня, чтобы котику не пришлось мучиться от голода.

Я шла проводить Луизу с семейством, а она еще издали кричит мне: «Аустра, ты свободна! Ты свободна!» Я онемела, хотя и давно ждала этой минуты. Побежала фотографироваться на паспорт, совсем забыла, что сперва надо идти в комендатуру».

Я радовалась за Аустру, но вот Мику мне было жаль, как близкого человека. В Сермули дела обстояли худо. Элла с больными руками не могла больше доить коров, и жилье требовалось колхознице, которую назначили на ее место. Наш дом, родовое гнездо принадлежало теперь колхозу, и всем нам - Элле с семьей, мамочке, Арнольду и мне предстояло его оставить.

Арнольд на скорую руку женился. Элле жилье предоставили в Яунземе. Мы с мамой пока что жили в своем доме. Не рассказать, что пережила мама, не зная на старости лет, куда податься, что будет.

Флора из Канска

19 апреля:

«У Владимира - катастрофическое ухудшение, смертельно опасные приступы. Он осознает близость конца и боится смерти.

Пережито столько, что я совсем устала. И у меня сердце. Я все-таки не железная. И на всем этом фоне такая весть. Вы ведь знаете, что мои сестры, братья и родители остались в Польше и я о них ничего не слышала больше 25 лет. Все мои розыски до сих пор были безуспешными. Наконец, через некоторых знакомых и через посредство Красного Креста, получаю письмо от сестры. Представь себе: живы мои сестра и брат! Они в Израиле. Это коротенькое письмо от сестры - крик и счастья, и боли. Моя мать,

сестра с мужем и тремя детьми, другая сестра, с которой вместе тоже были муж и трое ребят, убиты в варшавском гетто. Брату удалось спастись, а одна сестра и до войны жила в Израиле. О моей матери, когда она была жива, я не плакала, а сейчас о ней, замученной в гетто, рыдаю и буду рыдать до конца моей жизни. Лучше бы мне этого всего не знать...»

Лиза написала из Москвы 27 апреля:

«Флора сейчас у меня. Она самолетом прибыла вместе с Владимиром, уже смертельно больным, его положили в больницу. Теперь она чуть не каждый час проводит у него, приходит измученная. У Владимира парализована часть мозга, и он не вполне нормален. Сказывается лагерь! Флора не может спать. Слезы на ее глазах не просыхают. Было бы лучше, если б он умер, лучше для обоих. Я это говорю от себя. Но смерть от нас не зависит. Мучениям Флоры не видно конца и края, и я его тоже не вижу. Все ее добро, до последней рубашки, в Канске, а она не может оставить Владимира; денег нет...»

Тут я могла бы остановиться, но лучше доскажу все до конца.

19 сентября Флора написала, что Владимир уже ничего не понимает. Смерть, оказывается, иной раз не самое худшее. Какая цепь несчастий для Флоры! А ведь она сама по себе - воплощенная любовь к людям, милосердие. Ей был присущ какой-то особый талант понимания людей, каким-то неведомым чувством она узнавала, чем может помочь другому, и помогала. А как я могу ей помочь в ее положении? Я ей даже настоящее письмо не могу написать. Не в состоянии.

Лиза, 27 сентября:

«Наташа поступила в Лесной техникум на вечернее отделение. Но она там не выдержит. У Наташи нет главного: желания работать, терпения, чуткости по отношению к ближнему. Вы с Флорой, кажется, вините меня в неправильном воспитании дочери, но ведь человек - очень сложная конструкция, и я, как учитель, через руки которого прошли тысячи юных судеб, знаю, что большую роль играет множество сложных и самых незначительных на первый взгляд обстоятельств. Наташе повредила семья отца. Мне, должно быть, надо было уехать из Москвы, чтобы оградить ее от этого

влияния. Не хочется об этом говорить, тема слишком болезненна. И это моя боль, моя беда, которую понять можно только изнутри. Чувствую себя одинокой, мне недостает чудесного искусства - умения жить. Флору невозможно прописать в Москве, вдвоем нам было бы легче...»

Владимир вскоре умер. Лиза писала:

«Флора очень убивалась, но я вижу, что она возвращается к жизни. Она дружит с братом Владимира, тоже врачом, и его семьей, сплошь музыкальной. Да, ведь Флору в Москве все же прописали! За нее хлопочет также один доцент, друг Владимира, он даже устроил ее в санаторий.

Ваш исторический анализ насчет вымирания малых народов и склонности больших народов к насилию, разумеется, справедлив и отвечает фактам. Это закон борьбы за существование, открытый Дарвином. Но, если говорить о еврейском народе, то от него давным-давно не должно было остаться и следа. Его уничтожали и водой, и железом, но он жив. И кого нам, евреям, прикажете любить? Какая нееврейская нация может похвалиться тем, что не заражена антисемитизмом? И все же я готова любить всех добрых людей, все нации без исключения.

Мой дом всегда ждет Вас...»

В 1958 году Флора получила от сестры приглашение в Израиль на шесть месяцев. «Но мы с сестрой и раньше были чужими, нам даже как-то не о чем разговаривать. Лучшее взаимопонимание у меня с братом, который лечился даже в психиатрической больнице - следствие бегства и всего пережитого. Меня он узнал и временами был полностью в сознании. У него я прожила всего дольше. Объехала весь Израиль. Климат жаркий, пыльно, положение рабочих несладкое, приехавшие недавно не могут найти работы. Я шести месяцев не выдержала, уехала раньше, хотя сестра-то думала, что я останусь там насовсем».

Флора в Москве начала работать в научно-исследовательском институте, занимающемся проблемами опухолей позвоночника и головного мозга. Позднее я целый месяц летом жила у нее, хотела проверить здоровье именно в ее институте. Но тут я забежала далеко вперед; пора вернуться к событиям в Сермули.

Хороший выбор

Заболела Элла. Семь лет проработала она на ферме. После чего отказали и сердце, и руки.

Сермули, как уже сказано, принадлежали теперь колхозу. Дом, усадьба со всеми хозяйственными постройками и инвентарем были отчуждены колхозом, как кулацкое имущество. Теперь на колхозную ферму Сермули должна была прийти новая скотница-доярка, она же новая хозяйка жилья.

Однако сначала Элле нужен был санаторий; у нее было острое воспаление суставов ног и рук. Половину санаторной путевки оплачивал колхоз. Элла долгое время считалась лучшей дояркой не только колхоза, но и всего района.

Элла отбыла в санаторий в апреле, и я временно переняла ее группу на ферме, а также все внешние работы. Месяц я как-нибудь выдержу. Потом, когда Элла будет окончательно освобождена от работы по болезни, группу коров возьмет на себя жена Арнольда Анна, благодаря чему и мы с мамой сможем остаться в Сермули.

Меня вызвал к себе председатель колхоза и спросил, не возьму ли я на себя обязанности юрисконсульта. Нет. Культорг Кипене также интересовался: как насчет театрального кружка и хора? Драмкружок я вести не взялась бы, а вот хором занялась бы с радостью. К сожалению, руководить было нечем: колхозного хора пока что не существовало, никто и не приступал к его организации. И тогда я пошла в пастухи. Это был хороший выбор.

Мне нравилось это занятие. Когда пасли ближе к дому, воспоминания обступали меня целой толпой. С ними было лучше, чем с реальностью. Будущее, куда ни кинь, выходило тупиковое.

Самый дальний выпас был за два километра, у Ревельского озера. Туда нужно было гнать стадо через всю нашу бывшую, сермульскую землю, теперь почти сплошь заросшую ольхой. Ольха, она такая - дай ей только волю, заполонит все. Не только Сермули оказались в таком положении. Колхоз не в силах был освоить все

отнятые у людей земельные площади. Заросшие ольхой пустыри не мешали «строить коммунизм».

Мы с подопечными коровами с каждым днем все лучше понимали друг друга. Буренок уже не надо было понукать, гнать на пастбище или оттуда домой. Они шли сами, останавливаясь время от времени, чтобы потереться шеей о встречное дерево.

У озера начинался чистый рай, пастушеская идиллия. Мне нужно было всего лишь отыскать уголок позеленее, удобный для дойки. Я могла читать, заносить что-нибудь на бумагу. На этом самом месте когда-то в Северную войну происходило большое сражение русских со шведами. Самый высокий холм был шведским кладбищем, где однажды, проведя борозду поглубже, колхозники наткнулись на остатки красной военной формы шведа; рядом обнаружили шпоры всадника, кости человеческие и конские. Прямо напротив, на той стороне озера были русские военные погребения.

У озера, с краю начинающегося болота когда-то располагалось древнее святилище, там теперь росли три дубка - молодая поросль, сменившая могучего предка. Здесь находился раньше и каменный алтарь - старый Ревелис увез и вмуровал его в стену своего дома. У озера со стороны Кайкуне в густом кустарнике прятались остатки древней кладбищенской кладки, в двадцатых годах измеренные и учтенные.

К озеру наведывались рыбаки высокого ранга из Цесиса, Риги. Но озеро, подмигнув мне, как соучастнице, успевало спрятать своих обитателей ближе ко дну. Что на западной стороне под корягами, под корнями, в пещерах прятались раки, приезжие и не подозревали. Когда разозленные неудачей рыбаки убивались восвояси, озеро восстанавливало зеркальную гладь, под и над которой рыба возобновляла свои беспечные игры. Я умудрялась достать из пещерки упитанного рака, поговорить с ним по душам, наказать, чтобы днем не показывался на свет, и отпустить с миром.

Когда озеро, случалось, начинало хмуриться и вода чернеть, я просила своих коров отойти от греха подальше. Мелкая злоба никого не украшает. Даже морю к лицу не так легкая зыбь, как настоящая, его достойная буря.

Ревельское озеро, как, может быть, и все озера Латвии, с подветренной стороны зарастает. Там уже широкой полосой зеленела плавающая травяная решетка, причем она, становясь все тверже, нарастала вглубь. Ступит на нее корова - погрузится в воду по колено, но не провалится. Попьет и выбирается не без труда обратно, на берег. Водопой был вообще-то дальше в лесу, но скотина предпочитала пить из озера на открытом месте, и мешать ей было бесполезно. Мне оставалось только переживать и призывать всех добрых духов, чтоб не случилось худого.

Я любила ранние утра, когда просыпаются цветы, когда седина рассветного луга вдруг засверкает брильянтами, когда и мысли учатся чистоте у прохладной, крупной росы. С весны над шведской погребальной горой всегда трепыхались и пели два жаворонка. Пели без нот - по настроению, состоянию духа - своему и солнца.

На краю озера призраком возникал дом Крауяс, вернее, то, что от него осталось, руины, одинокая яблоня в саду, заросший шиповником погреб. Во дворе ветер качал стебли полевицы. Ближе к лесу скособочился бывший сарай.

Крауяс теперь - порушенные мечты, руины осмысленной, чистой жизни. Десятилетия назад здесь два счастливых человека складывали камень к камню, возводили стропила, азартно, с размахом строили, закладывая основы и дома, и своей жизни. Сюда вложены их молодые силы, их рассветы и, может быть, вечера допоздна; их радости, их надежды. Распахивали целину, сеяли пшеницу, сажали яблони и картофель, ухаживали за розами и новорожденными телятами. Руки становились грубее, поступь медленней, но в глазах по-прежнему светилась радость и гордость сделанным. Их труд проложит дорогу детям, дом послужит поколениям крестьян, их поля уже стали частью родины, и без них она неполна. Но... вот что осталось от всего этого: груда развалин, бывший сад, заросший ольшаником.

Где я возьму слова похвалы сегодняшнему дню, если в сердце боль за ушедших, ограбленных и замученных? За еще живых, лишившихся крова и места под небом отцов?

Только в местах, куда я гнала пастись свое стадо, таких разоренных домов было пять: Крауяс, Леяс Вилкашас, Леяс

Раудукалнс, Озолини и Апшукалнс. И сколько обездоленных людей стояло за ними! К этим руинам никто не приходит с венками, со слезами, с проклятиями убийцам и насильникам. Я с благоговением и ужасом склоняю голову перед памятником жертвам нацистских преступлений в Саласпилсе. Но с не меньшим волнением, с не меньшей болью думаю о тех, кто претерпел нечеловеческие муки в чекистских застенках и в лагерях Гулага; память о них сегодня хранят единственно развалины, о которых только что сказано.

Оставшийся от дома Крауяс сарай еще в начале лета был, можно сказать, полужив, но и он обрушился в грозу. В тот раз на выпас прибежали наши девчонки, но тут началась гроза, дети спрятались в сарай переждать дождь. И тут же вслед за ними под крышу влетела огромная жаба, уставилась на девочек выпученными глазами, издавая странные, пугающие звуки. Я-то знаю, что она хотела сказать детям: спасайтесь! Но дети и без того так испугались жабы, что опрометью кинулись из сарая. И в тот же самый миг мощный порыв ветра подкосил старые балки, крыша рухнула на то место, где только что были дети. Спаслась ли сама жаба, не знаю, но я после этого готова была каждую представительницу этой породы расцеловать в ее безобразную мордашку.

- У-у-уу! - звучит призыв над лесами и болотами.

- У-у-уу! - отвечаю я на призыв так же звонко и протяжно.

Коровы слышат знакомый сигнал, прекращают жевать, поднимают головы, поворачиваются, иная еще и откликается собственным протяжным «Му-у-уу», и мы выступаем в обратный путь. Джека пробудился от дремы и доказывает, что не зря переводит корм: носится посреди стада, подгоняет, напоминает, что дома их ждут.

Коровы с крутыми округлыми боками медленно шествуют к дому. Первой - всегда Лаура. И так же точно второй и третьей неизменно оказываются Сея и Вента. Страуме замыкает шествие. Привычный порядок нарушают разве первотелки. И еще стельные коровы, несущие внутри себя новое, будущее существо с особым достоинством и осторожностью.

Лес, болотце, канавы, речка Эжупите, осинник, и вот уже за холмом показался наш дом. Дом - от самого слова, кажется, уже веет теплом. Для меня его главным воплощением всегда была мама. Вон она сидит у окна, ждет, встретит улыбкой и горячим обедом. А я ей принесу полевые цветы или пригоршню ягод в туеске.

Новости от Алниса

21 мая 1957 г.:

«Брюки, которые ты сшила и прислала, замечательные. Спасибо. Как влитые. Еще куплю (сам) башмаки и буду на волне!

Идут зачеты. Пока что везет. Экзамены начнутся 16 июня и продлятся месяц.

В Томске сейчас красиво, город утопает в зелени. По обеим сторонам главной улицы - черемуха.

Живя в общежитии, учиться легко. Любую неясность прояснит кто-нибудь на месте. Даже споры у нас интересные. Например, если группа плохо подготовлена по марксизму, мы с Сашей перемигнемся, и один из нас начинает что-нибудь с жаром доказывать. А второй яростно возражает. Каждый защищает свою позицию, причем с аргументами, со всякими цитатами в руках. Так мы готовимся к лекциям, и это помогает. Иной раз наша преподавательница только под конец добирается до сути и, вздыхая, признается, что два вопроса опять остались не затронутыми. Вообще она подает это все доходчиво, интересно. Нам с Сашей обещала зачет автоматический, без защиты. Это хорошо, главное - время экономит. По математике и физике получу зачет таким же порядком, как студент, не пропустивший ни одной контрольной. Нас с Сашей считают сильными, хотя в отношении меня это и не совсем справедливо...»

26 июня:

«Идут экзамены. Некоторые уже сдал, на четверки. Следующий - математика, этого боюсь не слишком, поэтому два дня поработал грузчиком. Таскал мешки с сахарным песком, силенок хватило. Мешки 100-килограммовые, и тащить надо было вверх по крутой лестнице. Подработал, чтобы можно было сходить иногда в театр, в кино. На остальное и так хватает.

Встретил нескольких латышей, и мы с ними в лесу отпраздновали Лиго. Когда потом зашел к ним в гости, один парень

вскочил при моем появлении и спрашивает: «Ванагс Алнис»? Смотрю - это одноклассник из ремеслухи! После армии приехал проведать своих родителей, высланных сюда. Латыши понемногу уезжают домой. И одна девушка из этой компании - Илга - тоже попрощалась. В Риге поступит в вечерний институт.

13 июля конец сессии, а 15 августа надо быть обратно, всем институтом отправляемся убирать урожай на Алтае. Кто не поедет на Алтай, тех с 1 августа ждут в колхозе тут, в Томском районе...»

Последний экзамен Алнис сдал на неделю раньше и сразу же полетел к нам. Как он радовался, после стольких лет впервые оказавшись опять на родине!

Два дня погостила у нас и Валда, успев понравиться всем. Уехала она, а следом пора было отправляться в Томск и сыну.

22 августа:

«Я уже в алтайском колхозе. На комбайне самостоятельно работать отказался, без настоящей практики боюсь брать на себя такую ответственность. Работаю помощником комбайнера».

8 октября:

«Работали по 10 часов в день и больше. Вечером с прожектором. Комбайн был старый, поломка на поломке. Зато теперь я могу смело работать самостоятельно. В колхозном правлении сказали, что если приеду на следующий год, получу свой комбайн. Получил премию и благодарность в приказе. Научился водить грузовик, возил зерно и дрова. Нас хорошо кормили. Заработал 800 рублей и 200 килограмм зерном. Хлеб хотел послать вам, но всякие формальности помешали.

Вчера отпраздновал свой 25-летний юбилей. Группа подарила мне аккордеон «Вельтмейстер» с четырьмя регистрами, братья Юдины - наручные часы. Девушки - расшитую рубашку и шарф. Вообще - много сердечности и внимания.

Теперь нас 15 человек в комнате. Места в общежитии делили, когда мы были на Алтае, и теперь уже ничего не попишешь. Компания другая, шумная, ни толком позаниматься, ни отдохнуть. Хотя ребята в общем неплохие...»

18 декабря:

«Второй курс - самый трудный. У нас тут шутят, что второкурсник теряет человеческое лицо и обращается в автоматическую счетную машину: в нее загружают программу, и та работает без еды, без сна и прочих человеческих отпавлений. 20 января начинается сессия, о которой и думать-то не хочется. Теперь пугает не то, что останусь без стипендии - как бы из института не вылететь...»

Осенние вести

Косить траву, заготавливать сено для своих нужд разрешалось только после того, как эти работы завершались в колхозе. До конца сенокоса запрещалось работать на себя и ночью. Если кто-то все же умудрялся накосить на стожок, нередко «незаконное» сено отнимали. Накосить и просушить травы невозможно так, чтобы никто не увидел. Подходящий климат для доноительства.

И для нашей коровы мы смогли поработать на дальнем покосе лишь в конце августа. Раздобыли лошадь, решили привезти заодно и сено, и дрова. Я помогала Арнольду, грузившему на подводу дрова возле пастбища, поскользнулась и упала, сломав два ребра. Две недели пролежала в больнице, пастушество мое после этого уже давалось нелегко.

Письмо Аустры от 24 сентября. Нет, прежде расскажу о ее делах своими словами.

Аустра, вернувшись из Сибири, поселилась в Смиттене в одной комнате с матерью и двоюродным братом. Теснота, безденежье. Нужно было искать работу. И нашла - линейной рабочей на железной дороге. Неделя в командировках, тяжелая мужская работа, ночевки где попало, без малейших удобств. К трудностям в Сибири мы привыкли, но оказалось, что здесь нужно начинать чуть ли не сначала. Прошедшие годы измотали и мать. Дом отняли, теперь, говорила она, приходится на старости лет тесниться в чужом доме, на чужих хлебах...

Аустра: «Были опять в командировке на Агатском мосту, пробыли почти неделю. Ужасна моя жизнь. Эти долгие поездки на линию, осенью спишь мокрая в холодных сараях. И дома тоже ведь нет своего угла. Сын Анны Гредзене подорвался на mine, теперь совсем одна, работает в пекарне, жалуется, что целыми днями не видит свежего воздуха. Я говорю, я бы лучше обошлась без воздуха, чем вкалывать каждый день вдали от дома и сутки напролет на свежем, ох, каком свежем воздухе. Многие еще можно бы написать, но что уж... Я держусь только ради мамы».

Олаф Гутманис из Лиепай, 5 сентября 1957 года:

«Привет, хозяйюшка!

Это высокое звание сейчас уже, может, и не про Вас, но для меня оно привычно с тех времен, когда Вы были тухтетской «домовладелицей».

Мы уже год как живем в Лиепаве. Я все это время занимался штопкой прохудившегося опять здоровья, нигде не работал. Оказавшись у моря, получил вспышку в легких и отправлен прямым ходом в Вайнёдский санаторий. Потом крестный прислал заграничное лекарство, и я встал на ноги. Теперь получаю пенсию, справляюсь с домашними делами, а в оставшееся время иду к морю или озеру. Только что пробыл еще четыре месяца в санатории, пора искать работу. Мне обещали место домоуправа с окладом 450 рублей в месяц. Пойду наверно, хватит лодырничать. Мама о себе и папе напишет отдельно.

Никаких планов на будущее у меня нет. Не до учебы. Надо работать и следить за здоровьем. На досуге попеть в каком-нибудь славном хоре. Послушать других, почитать и, конечно, набросать на бумаге то-сё.

Были попытки добыть хоть щепотку славы и денег, но ничего не вышло, и теперь мое честолюбие помалкивает. Из Союза писателей вообще не ответили, а посланные в сатирический журнал «Дадзис» три стихотворения были вежливо и отечески отклонены. Нет, сказали мне, нужной остроты, ощущения современности, слишком многословно, дидактично и т.п. Единственный, кто хоть сколько-то признает во мне поэтический талант,

старый стихотворец Круза - один знакомый показал ему мои стихи. Этого мне достаточно, чтобы, по крайней мере, продолжать писать для друзей и знакомых. Может, прощупаю возможность вступить в поэтическую секцию у нас в городе, но пока что на это нет сил.

Алнису, думаю, лучше было бы учиться в Риге, среди латышей. Будете ему писать, передайте привет.

Не думаете перебраться в город? Конечно, для работы сельское уединение полезно. Я-то деревней сыт по горло. Хочется столько всего видеть, слышать, быть среди людей.

Шлю при этом несколько стихов, - Олаф».

Обязанности и права колхозников

У колхозников было право трудиться на колхозных полях и животноводческих фермах при ненормированном рабочем дне за вознаграждение, размеры которого не были определены, и при этом, разумеется, «отдавать все свои силы», как возвещалось в газетах и на радио.

Нельзя было не работать, если ты держался на ногах, нельзя было отправлять детей на учебу в город - детям колхозников предстояло сизмальства с гордостью осваивать профессию скотника. Неважно, у кого из них склонность к искусству, механике, педагогике, торговле или медицине. Все это предназначалось городским детям.

О выходе из колхоза нечего было и думать. Рабство! Сколь архаично ни звучало бы это слово, оно произносилось в душе большинства, но только мысленно, и то не без опаски. Жизнь в колхозе больше всего напоминала то, что известно нам о положении предков, крепостных людей. Только вместо лучин теперь электричество, вместо шпицрутенов и виселиц - лагеря смерти, где рабский труд тех же самых крестьян напоследок использовался для «строительства коммунизма».

В положении бродяги

22 ноября выпало много снега, и он уже не таял. Двери хлева нельзя было открыть. Пастушка повесила на дальний крюк потрепанную рабочую одежду и представила себе, как проведет завтрашний день в тепле, дома.

Мама шила Анне фартук. Кот в кресле старательно мыл и без того уже чистенькие белые лапы. Солнце держалось возле края тучи и не жалело последних лучей. Сермули. Старый добрый дом, и нам с мамой в нем тепло и уютно.

День был хорош. Но короткий. И под вечер...

- Мне завтра надо ехать. Сама знаешь... - тихо сказала я маме.

- Хоть бы Арнольд был дома! Доченька, только далеко не уезжай.

- Далеко от тебя не уеду. Попробую найти работу в Цесисе.

За мою пастушескую службу мне еще не заплатили. От колхоза было не добиться. Плохо, когда нет почвы под ногами. Надо было что-то делать.

Рано утром я шла в Гикши на автобус, чтобы оттуда отправиться в Цесис. В кармане четыре рубля. Во втором кармане пальто нащупала что-то... Хлебушко, два яйца - мама положила незаметно для меня. Мать!

Яйца я съела в Гикши, еще до прихода автобуса. А хлеб грел мой карман весь день.

В Цесисе я зашла к Луизе, может быть, она подскажет что-нибудь насчет работы.

- У нас у самих проблемы. Мужчины уже работают, но с чем приехали, с тем и живем, так что мне тоже надо куда-то устраиваться. Но тут ведь как - только глянут в трудовую книжку - и все: как же, репрессированная! Пообещали, правда, место нянечки в детском саду, там еще не была.

- Но жить тебе есть где.

- Сами кое-как разместились, а мама до сих пор по родным, то у одних, то у следующих. Понимаешь, каково у меня на душе? Так нужна квартира! А что у тебя?

- Зимой работы в колхозе нет, потому и приехала к тебе. Ты же знаешь, что здесь и как. Я бы согласилась на любую работу.

Сказала это, и лицо залилось краской. Я словно выпрашиваю у Луизы милостыню, а у нее у самой руки пустые.

- Знаешь, Соколиха, - ласково прервала мои самообвинения Луиза, - давай-ка мы с тобой пройдемся по Цесису. У меня есть кой-какие адреса, и насчет работы, и насчет жилья. Если повезет, разделим удачу напополам: тебе - работу, мне жилье.

Делить нетрудно, когда делишь то, чего нет.

- У вас квартира не сдается? - спрашиваем, придя по одному из адресов.

- Что вы, что вы, - отвечает женщина по-русски, - давно сдана! Мы еще не успели переехать в Ригу, а жильцы уже едут. Из Казани.

Еще один адрес.

- Нет! Это какая-то провокация. Мы никуда не собираемся и ничего никому не сдаем!

- Вот и все! - вздохнула Луиза. Больше адресов у меня нет. Давай теперь попробуем насчет работы. В детсад нужна ночная няня. Ты бы пошла?

- Конечно! Только бы пристроиться поначалу. Потом будет видно.

Заведующая детским садом была Луизе знакома. Однако ответ неутешительный: нет мест.

Пошли на работу к Арнольду, взять немного денег, но он отпросился пораньше и уже уехал домой.

Во второй половине дня потеплело, начало таять. Я была в неподшитых валенках, и они быстро намокли. Мы блуждали по городу уже много часов, и все без толку.

- Хватит! - сказала я Луизе. - Сил больше нет. И ноги мокрые.

Луиза пошла домой, готовить ужин своим мужчинам, а я - к своей родственнице Альвине; я знала, что она живет одна в двухкомнатной квартире. Альвина была двоюродной сестрой моего отца, в прежние времена она часто и охотно гостила у нас в Сермули.

Тети не было дома, ждать пришлось долго. Промокшие ноги стыли на каменных ступенях лестницы, но деваться было некуда. Наконец, Альвина появилась.

- Ты меня признала? - спрашиваю, протягивая ей руку.

- Да нет... не узнаю пока.

- Мелания. Сермули.

- Ах так? Значит, вернулась уже? А к нам каким ветром?

- Мама дала адрес. Просила передать привет.

- У меня сегодня трудный день. Похоронили одну знакомую. Сейчас мне пора на поминки.

- Я тебя не задержу. Пришла только спросить, нельзя ли побыть у тебя до утра. Ноги у меня промокли, и вечером уже никуда не уедешь.

Я не без труда произнесла свою просьбу и теперь ждала ответа, словно приговора в суде.

Альвина медлила с ответом, теребя рукой снятую перчатку.

- Если бы я оставалась дома, тогда бы да, - наконец, нашлась она. - Но сама видишь - мне надо идти, нельзя не пойти на поминки, и квартиру ведь так не оставишь. Так что извини!

Бац! И дверь этой квартиры захлопнулась у меня перед носом. Не буквально, разумеется, - мы говорили на лестнице, не дойдя до той самой двери.

Я шла на вокзал - надо же было мне куда-то идти. Шла по старой, узенькой улице Роз и спрашивала себя: «А теперь куда, на какой курорт собираетесь, госпожа хорошая?» И сама же себе отвечала: «Вот дойдем до вокзала, там и сделаем окончательный выбор!»

В голове все смешалось, однако ноги уже не так мерзли, и не было мне ни слишком тяжело, ни тоскливо.

Всего вернее было бы сейчас поехать в Бауску к сестре мужа - к его, моего Лекшелиса сестре, но не хватало денег на билет. Можно бы и поближе, в Риге зайти к Маузланам, но моих средств не хватит и до Риги.

Цесисский вокзал, тут же и автостанция. Докуда можно доехать автобусом за моих 2 рубля 15 копеек? Пожалуй, до Берзкрогса. Встала в очередь у кассы.

- Берзкрогс!

- Три рубля.

- Тогда нет, у меня денег не хватит.

- Сколько не хватает? - спрашивает молодая женщина у меня за спиной.

- Рубля.

- Возьмите! Из-за рубля не ехать туда, куда нужно!

Купила билет и в изнеможении откинулась на скамью. Рядом присела женщина, только что выручившая меня.

- Вы, значит, в Берзкрогс?

- Да, - отвечаю нехотя. Женщина неотвязна, как судьба:

- В поселок? Что-то я вас там не видела.

- Да, в поселок. Знакомая там счетоводом.

- Где же она живет?

- Наверху, за конторой. Колхоз Вилиса Лациса.

- Так это же совсем другой Берзкрогс!

- Как другой? Разве под Цесисом не один Берзкрогс?
- Два - как минимум. Один в Веселаве, другой в Марснени.
- У меня билет на 19.00. В какой Берзкрогс этот автобус?
- В наш, в Марснени, - отвечали сразу несколько голосов. - Ваш отправляется на десять минут позже. Он в другую сторону.

Я поспешила к кассе обменять билет. Кассирша непреклонна: обменять нельзя, покупайте новый.

«На что? - спрашивала я себя, не отходя от кассы. - На слезы, непрошенно падающие из глаз? Но нет, я не выкажу свою слабость на людях...»

- Сколько можно торчать у кассы? - спрашивает разозленный голос.

- Мне билет не меняют.

- Куда?

- В Берзкрогс, Веселава.

- Давай сюда! - слышалось из очереди.

Билет в конце концов получила. Выехали в темноте. Я не знала, что меня ждет там. Ехала к родственнице, с которой мы не встречались ни разу в жизни. Но это меня уже почти не волновало: после всего равнодушие охватило меня, действуя как наркоз.

Двери моей родственницы открылись. Здесь мне не отказали ни в чашке горячего чая, ни в ночлеге. Я прожила в Берзкрогсе до Рождества, заработала шитьем целых 25 рублей. Правда, деньги мне заплатить еще не успели, когда я решила навестить АуSTRU, которая успела уйти с железной дороги, потому что вышла замуж и уехала к мужу в Дравели. Я написала ей, попросила встретиться в Рауне, так как от самой АуСтры уже знала, что одной мне найти дорогу вряд ли удастся. АуСтра теперь была телятницей, дома у них была своя лошадь.

До Рауны я шла по шоссе пешком - примерно 15 километров. Не хотела просить у дальней родственницы ни рубля, хотя вряд ли бы она отказала - но я и без того была ей благодарна за гостеприимство.

В Рауне прождала лошадь до сумерек. Стало ясно, что письмо не дошло и мне придется шагать пешком и дальше. В темноте, по незнакомому проселку... Я не должна была поддаться отчаянию. Надо принять вызов судьбы. Силы еще есть.

От Рауны до Дравели восемь километров. Это ненамного дальше, чем от Сермулей до станции Амата. Ничего особенного. В Рауне расспросила о дороге и тихим зимним вечером пустилась в путь. Сумерки в ближнем лесу сменились темнотой. Через несколько километров я уже не умела отличить лес от поля. Звезды спрятались за облаками. Сыпал легкий снежок.

Дорогу я нащупывала ногами. В тех самых валенках, в которых однажды пробивалась сквозь метель по узкой дороге в горах Алтая, на краю пропасти, в тех самых, в которых стояла на каменной лестнице в доме Альбины.

Аустра в письме перечислила мне хутора, мимо которых шла дорога к ней. По светящимся окнам я догадывалась, где нахожусь. Чувствовала я себя хорошо, ничего не боялась. Пунктик страха в моем мозгу, видимо, атрофировался.

Шла я медленно, осторожно, чтобы не потерять твердый наст под ногами. Вошла в большой лесной массив, сразу почувствовав его дыхание. Если бы не запах, я бы и не поняла, что нахожусь в лесу. Я дышала жадно, как жаждущий пить. В какой-то момент я почувствовала себя частью природы, внутри которой шла и дышала.

Лес, однако, оказался небольшим. Выйдя из него, я сразу почувствовала свежесть равнины.

Второй лес оказался куда больше. Я шла, шла, и в легкие мои струился запах сосен, елей и чего-то еще, неведомого. Понадобилось 60 лет жизни, чтобы я вдруг почувствовала, что слилась с природой. И это зимой, в ночной тьме и на холоде!

Я остановилась. Было изумительно легко на душе. Вот где было бы место в мире, самое подходящее для меня, как долго я его искала! Я уже не нащупывала дорогу - словно это и был конечный пункт моего пути, словно больше не придется просить, унижаться, стучаться в чужие равнодушные двери.

Внезапно за спиной послышались шаги. Снег хрустел под чьими-то ногами, в тишине было слышно учащенное дыхание. Вернулся страх.

Иду. Незнамо что следует за мной. Остановлюсь - останавливается и нечто за спиной. Шаг вперед - и там шагнули. Снег уже валил крупными хлопьями, таял на горячем лице. То ли зверь,

то ли призрак не хотел отставать. Сейчас бросится на меня, и исход предрешен. Недавнее счастливое слияние с природой было прощанием с ней?

Дольше терпеть я не могла. Если мне конец, то тянуть незачем.

- Эй, есть тут кто-нибудь?

- А как же нет? Есть! - отозвался женский голос, к которому присоединился вдруг собачий лай.

- А что же вы молчали? - сказала я невпопад.

- А что ж вы закричали, - сказала женщина с невидимой улыбкой, - вы нас прям напугали! Я и не знала, что впереди человек.

- А этот ваш... волчий родич, он-то что молчал?

- Забоялся и он, видно, не решался голос подать. Никакой не богатырь. Всего лишь такса. Вы из какого дома?

- Ни из какого. Я дом только ищу.

Женщина оказалась учительницей из Яньюмуйжи. До Дравели, сказала она, еще километров пять.

Снег все падал. Так же пахло хвоей. Лес вошел в меня, как я в него. Подошел неслышно мой Александр, Лекшелис. Беззвучный, близкий, живой в нежизни. «Держись! Тебе прожить еще и мной недожитое. Довершить мной недовершенное. Я помогу, буду с тобой, как до этого, как всегда. А пока что - не спи! Поднимайся!»

Мы с ним всего лишь любили друг друга и свою землю. Служили ей, как умели. За что он поплатился жизнью, а я, как безродный пес, бреду по чужим проселкам, как нищая, вымаливаю себе работу и крышу над головой. Все и вся размолото в пыль тяжким молотом коммунизма, человеческие души в том числе. И я сама, и все, меня окружающее. Только теперь я до конца поняла: чем глубже загнать человека в страдание, тем быстрее падает в чужих глазах его ценность, тем ниже его самооценка.

Мой любимый не оставлял в покое, тормошил: «Люди уснут, погаснет свет в окнах, и ты не увидишь, где твои Дравели. Вставай!» Я встала, отряхнула снег и снова на ощупь двинулась вперед.

Крохотные оконца телятника, наверное, горели всю ночь. Увидев их, я поняла, что добралась до цели. Рядом в двух окнах тоже теплился свет. Постучалась.

Дверь открыла Аустра.

- Ты? Как ты здесь оказалась?

- Вот, пришла.

- Пешком? От самой Лисы?

- Нет, из Рауны. (Что не из Рауны, а из Берзкрогса, я умолчала).

- Сумасшедшая! Восемь километров, темной ночью! Почему не написала?

- Отослала письмо неделю назад. Видно, не дошло.

Ужин, разговоры, ночь на чистых простынях, утро, когда Аустра тихонечко поднимается, чтобы пойти к своим телятам.

Пожила у подруги несколько дней и отправилась домой. До Рауны Карлис, муж Аустры, довез меня на лошади, оттуда - на своих двоих до Берзкрогса. Получив от Алмы 25 рублей, поехала в Бауску.

Мама нащупывает дорогу назад

Пока меня не было дома, Элла часто навещала мамочку. Но именно в эти дни умер ее тесть, о чем она очень скорбела. Хозяин Вилкашей был сердечный, остроумный человек, по-отечески относившийся к Элле. После похорон Элла всю свою любовь перенесла на маму, приходила в Сермули каждый день и под конец увезла маму к себе в Яудзуми. Казалось бы, лучшего не надо и желать. Теплый дом, забота, дочерняя любовь.

Но тут Элла тяжело заболела, на «Скорой» ее увезли в больницу в Цесис. Мама решила вернуться в Сермули. Был сильный мороз, но она решила идти во что бы то ни стало. Опираясь на палку, глубоко погружая ее в снег, она делала шаг за шагом. Однако ноги плохо слушались, сердце билось в ушах. Ноги было не поднять - казалось, тяжесть всех прожитых лет, всех невзгод и гонений налипла на них. Солнце все еще стояло на утренней стороне, и лучи были почему-то колючими.

И все же - она одолела уже полпути. Никто ее в Сермули не ждет. Арнольд на работе. Разве Джека выбежит навстречу с радостным лаем.

Мамочка брела мимо Нижнесермульского сарая, мимо того, что осталось от гробовой клетки (там наверху всегда стоял старый гроб, вся округа приносила сюда своих усопших, и безмолвное тело покоилось здесь до тех пор, пока не был готов для покойного свой, настоящий гроб). Вот показалась липа, когда-то посаженная ее руками, сегодня она была так холодна и неприступна, точно и не признала путницу.

Мама подошла, прижалась к стволу. «Хоть бы у меня было твое здоровое сердце, хоть бы я стояла на земле так же твердо!»

Липа уронила на руки маме несколько кристаллов - звездочек и позвала в гости потом, летом. Зимой ее сердце затвердевало и оказывалось не добрей, не мягче, чем у многих людей.

Рияскалнс. И Джека, вот он. Прыжками летит навстречу, хвост так и ходит туда-сюда, облизал рукавицы, лизнул даже палочку, снова подпрыгивает от радости и ведет, то и дело оглядываясь,

маму домой. Собачья любовь многократно вернет каждую ласку, каждое доброе слово. Люди устроены иначе - помнят до мелочей услугу, оказанную другому, а добро, доставленное им, забывают быстро. Даже дети не всегда помнят, сколько своего сердца, своей жизни и даже счастья отдала им мать.

Джека помнил все. Он сейчас всем телом уминал снег перед мамой, чтобы ей легче было идти. И маме идти стало легче.

Старый дом насупился, зябко ему. Втянул голову в плечи и даже не смотрит на свою хозяйку, так долго заботившуюся о его благополучии и красоте.

Мама долго-долго шла, преодолевая те полкилометра, что отделяли Яудзуми от Сермулей. Она миновала погреб, покачала головой, увидев снова трещины в стене. 54 года, общие для нее и этого дома, сотни тысяч шагов, движений тела и души, незаметных для других. Жизнь казалась такой длинной, когда виделась из детства, отрочества, юности. А теперь показалась такой короткой.

Дверь была закрыта на защелку, но руки застыли, никак не открыть. И голова почему-то кружится. О, наконец-то. Дверь подалась. Переступить через порог. Пройти через холодные сени. Постучать в дверь. Никто не отвечает. Не слышат, что ли? Еще раз постучать!

Дальнейшего она не помнила.

Арнольд, вернувшись с работы, нашел маму беспамятной, отвез в больницу. Сердце, голова, нервы, кровяное давление.

В Бауске

Милда и Валдис занимали комнату на втором этаже деревянного дома. Теперь к ним прибавилась я. Ничего, все поместились, привыкли. Я теперь работала у Валдиса в магазине семян. Казалась себе неуклюжей, неловкой, но опыт понемногу прибывал, я ведь люблю и умею учиться.

Родные хлопотали, искали для нас с мамой жилье в Бауске и возможность прописаться. Казалось, жизнь налаживается.

Но судьба моя знала многое лучше меня.

«Амате» требуется счетовод

Элла написала мне в Бауску, что колхоз имени Дзержинского преобразован в совхоз с куда более привлекательным названием «Амата». Прислала и вырезку из газеты «Цесу Старс» со статьей «Новое советское хозяйство». «В конце декабря прошлого года по желанию коллективов сельхозартели «Коммунар» и колхоза им. Дзержинского с согласия Совета Министров ЛССР образован новый совхоз «Амата». Директором его назначен Имант Упманис, агрономом - Элмарс Салака, ветеринарным врачом Янис Лацис, главным бухгалтером Отто Баярс. Три отделения совхоза будут руководить тт. Эглитис, Эрхарде и Плаудис».

Сермули вошли в третье отделение, которому срочно требовался счетовод. Антония Эрхарде через Эллу предложила эту должность мне, обещая казенную квартиру. Элла написала, что и мама очень просит, чтобы я не оставалась в Бауске, а вернулась домой.

Нелегко мне было решиться на переезд; в Бауске все только-только наладилось, но не могла же я отказать родной матери. Зарплата там будет меньше, чем в магазине, да разве дело только в деньгах?

И я позвонила Элле, что еду и предложенное место приму. Но судьба, судьба...

На бауском шоссе гололед. Автобус занесло в кювет, он опрокинулся набок. Беспамятство, сотрясение мозга. Скорая помощь. Меня доставили в рижскую больницу.

Когда смогла держать в руке перо, написала в «Амату», что прошу придержать место счетовода для меня. Больницу покинула, не вылежав до конца, и поспешила домой (так я продолжала говорить и тогда, когда дома в полном смысле слова у нас уже не было].

Мама была еще в больнице, Арнольд - в Цесисе, и я остановилась у Эллы в Яудзуме. И немедленно отправилась в контору совхоза.

Директор Упмалис принял меня радушно, подтвердил, что должность все еще за мной, предостерег - начало будет не из легких, но главное не терять присутствия духа.

- Спасибо. А как, извините, с жильем? Мне обещали... Мне маму нужно привезти из больницы.

- Видите ли, жилье есть, но его занимает пока человек, совершенно посторонний. Нужно его выселить, а это не так-то просто. Но ведь у вас родня? Есть где переждать?

- Родня есть, где переждать - тоже есть, а вот жить негде. Сами знаете - у родни семьи, теснятся все в одной комнате, не хотелось бы садиться людям на шею. И опять же маме после больницы нужен покой,

Директор развел руками. Ну нет у него квартиры, которую он мог бы выделить мгновенно, как рабочий комбинезон со склада.

Я почти пожалела, что уехала из Бауски. Оставалось положиться на директорское обещание.

Назавтра в конторе мне указала рабочее место Малда со второго отделения. Объясняла все терпеливо и дружески, но я мало что поняла. Какие и от чего высчитывать проценты, что такое километр-час и прочие премудрости предстояло еще освоить. На третий день я заколебалась. Люди вокруг были добры и внимательны, но у меня-то цифры путались в голове, мозги отказывались работать; с ужасом я убеждалась, что взялась не за свое дело и уже собиралась в этом признаться. Но перед этим мне следовало показаться в Рейнской больнице. Там мне поставили диагноз: нервное потрясение, воспаление мозговых оболочек. Лекарства, компрессы. Постельный режим. Умственный труд до выздоровления исключается.

Он не пришел

Я тут ворожаю события, как тяжеленные камни, но не все я в силах поднять, а к некоторым не могу и подступиться. Самые тяжелые, неподъемные надо оставить там, где они есть.

...В комнате живут трое, а теперь здесь и постель болящей, это я.

Вечер 15 марта 1958 года. 10 часов.

Голова горит, точно там, внутри, разложен костер. Может быть, в комнате жарко.

Я встала, надела старое мамино пальто, висевшее в прихожей, вышла в ночь. Может, к речке пойти? К Недиене? Чтобы освежиться? Но ведь зима еще, речка замерзла.

Посмотрела в небо. Спросим-ка Большую Медведицу, что делает сын там, вдали? Звезды притворяются, что не слышат.

Пройти в хлев, включить свет. На охапке сена, принесенной накануне, свернувшись в клубок, сладко спит Дик. Счастливый! Ему не холодно, не жарко. Захотелось и мне прилечь с ним рядом. Попрошу котяру чуть-чуть подвинуться, выйдет и для меня местечко. Выключим свет, вот и хорошо.

Сон нейдет. Запахи... Теплые, густые, каких еще запахов ждать в хлеву. Звуки, потрескивания, шорохи всякие-разные, не сразу разгадаешь.

Почему бы не прийти человеку, которого я никогда не переставала ждать? Но нет, слишком поздно. Или - слишком рано?

Прокукарекал петух. Напугал, мерзавец.

А он так и не пришел. Даже во сне. Не знал, наверное, что искать меня надо в хлеву...

Через полстолетия

В 1941 году в том смертельном эшелоне были и двое братьев-преступников - пятилетний Андрис и двухлетний Гунтис Эглитисы. Теперь уже седовласые, братья решили на этот раз по своей воле поехать в Тюхтет. Они и еще Тейка - единственные из детей нашего вагона, кому удалось после смерти тирана вернуться с берегов Вель-реки.

Моему названному сыну Андрису по возвращении было что рассказать.

- В те времена в районе было 79 населенных мест. Сейчас - вдвое меньше. Население, наоборот, возросло, - было 21 000 жителей, теперь 27 000. В Тюхтете число жителей удвоилось: было 3500, ныне больше семи тысяч. Люди из деревень переселяются в районный центр.

- Где ты все это взял? - спрашиваю Андриса.

- Мне это все рассказала заведующая тамошним музеем. Она вообще-то учительница, Валентина Васильевна Ложкина. Она с удивительным энтузиазмом объездила буквально весь район, собирая исторические сведения, чего раньше вообще никто не делал. Этим летом (1989 год) ей удалось со своими школьниками найти на берегу Чулыма клыки мамонта и нижнюю челюсть мастодонта! Из Москвы прислали комиссию...

- Ты ведь помнишь, каким был Тюхтет. Что изменилось?

- Городок разросся. В центре улицы асфальтированы. Построен райком партии, трехэтажный. Костел снесли. За старым кладбищем всё застроили домами. Базы «Загоскот» нет и в помине. На ее месте все заросло кустами.

Появился аэродром - самолетом можно добраться до Красноярска.

Есть рейсовый автобус до Боготола.

Построили новую школу.

Жива Эрика Андреевна, хирург. Латышей она вспоминает со слезами на глазах.

Воспоминания о ссыльных, особенно о латышах, здесь живы.

Сохранилось и кладбище, где 18 июля 1941 года похоронен в возрасте трех месяцев каторжник Карлис Эглитис; мы привезли с собой памятную табличку, посвященную ему.

Сохранилась и партия, история которой вписана кровавыми буквами в это столетие. В Тюхтете для нее воздвигли единственное трехэтажное кирпичное строение. Перед ним памятник Ленину, он нравится свиньям и козам, гуляющим вокруг. По праздникам к монументу возлагают цветы, которые тоже нравятся козам и коровам.

Асфальт как будто прикрыл былую грязь, но следы, оставленные нашими лаптями, проступают. Здесь наши пути в комендатуру, в больницу, в очередь за хлебом, на кладбище. Они неизгладимы.

И навеки вписаны в историю.

Содержание

Познакомимся!	6
Вступление	7
13-14 июня	11
Последние мгновения на родине.....	22
В Сибирь	29
В Тюхтете	50
На базе «Заготскот»	64
Бездна страданий	89
Во власти Енисея	94
Главное - выстоять!	Ю3
На разных работах.....	130
Пестрый народ нашей базы	141
Открылась горькая реальность	155
На родине и не только	163
Обратно на родину	176
Сермули.....	196
Тюхтетские события	206
На родине.....	236
Страданиям нет конца	260
Малая гостиница	288
Сон или реальность?	293
Из моих писем домашним	298
Элла	302
О русских, латышах и других на нашей улице	304
И снова под сенью смерти.....	308
Судьба Флоры	324

Письма с Дальнего Востока	335
Вторая ссылка	338
Краешек горизонта светлеет.....	352
Вместо свободы - золотые прииски	365
В его ведении весь Тухтетский район.....	367
Письма близких	373
Месяц в инкубаторе	374
На золотых приисках.....	376
Арнольд свободен!	388
Где ключи от нашей свободы?.....	390
Алнис решил на Томск	408
Высота должна быть взята!	417
С победой!	424
Тропой свободы	426
Свобода!	436
Возвращение на родину	444
Письма издалека	460
Хороший выбор	468
Новости от Алниса	473
Обязанности и права колхозников	478
Мама нащупывает дорогу назад	486
«Амате» требуется счетовод	488
Он не пришел	490
Через полстолетия	491

Мелания Ванага
На берегу Вель-реки

Melanija Vanaga
Velupes krasta

Издатель:
Общество "Фонд развития Абатского края"
Kantoris", Amatas pagasts, Amatas novads, LV-4141,
Latvija

Отпечатано в типографии "Latgales druka"

Это книга о любви. Правда и то, что в ней женщина, пережившая крушение всего, что ей было дорого, унижения, муки, тяжкий подневольный труд, вереницу смертей, лишенная свободы и родины, дает самые убедительные показания о диких преступлениях сталинщины, которые кое-кто сегодня не прочь оправдать и чуть ли не воспеть.

Но прежде всего это книга о любви – к любимому, к сыну, к людям, к языку и народу, к природе и жизни. Ко всему тому, что только и дало автору и главной героине этой удивительной книги силы выжить.

Роальд Добровенский

ISBN 978-9934-14-253-6



9 789934 142536